Ш(Фр)
Б 21

БАЛЬЗАК

ОНОРЕ БАЛЬЗАК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В 24 ТОМАХ

ТОМ 17

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА

3 ЭТЮДЫ О НРАВАХ

СЦЕНЫ СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ

СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ

Сердцам разбитым — мрак и тишина.
Моей матери.

ГЛАВА I
КРАЙ И ЧЕЛОВЕК

Погожим весенним утром 1829 года человек лет пятидесяти ехал верхом по крутой дороге, направляясь к большому селению, расположенному неподалеку от Гранд-Шартрез. Селение это — центр многолюдного кантона, протянувшегося по долине горной речки с каменистым, часто пересыхающим руслом. В ту пору, наполнившись тающими снегами, она бежала бурным потоком по долине, стиснутой двумя кряжами, вставшими друг против друга, а над ними со всех сторон вздымались остроконечные вершины Савойи и Дофине. Хотя ландшафты между цепями обеих Морьен и схожи, но нигде не найти такого разнообразия местности, такой игры света и теней, как в том краю, по которому проезжал незнакомец. То вдруг долина расширяется, и в любое время года вы видите неровный ковер сочной, пленяющей взгляд зелени, вспоенной горными ручьями; то выглянет водяная лесопильня, мелькнут ее убогие, живописно разбросанные постройки, склады ободранных еловых стволов и проток, отведенный от бурливого ручья в широкие деревянные желоба, сквозь щели которых пеленой выбиваются струйки воды. Лачуги, раскинувшись там и тут, потонули в цветущих плодовых садах и наводят на мысль о трудолю-

бивой бедности. А поодаль домики под красными кровлями из плоской круглой черепицы, похожей на рыбью чешую, говорят о достатке, приобретенном долголетним трудом. Над дверьми висят плетенки, в них сушатся сыры. Куда ни взглянешь — виноградные лозы, словно в Италии, опутали изгороди и заборы, обвили невысокие вязы, листва которых идет на корм скоту. В иных местах холмы по прихоти природы сошлись так близко, что между ними не поместиться ни промышленному строению, ни пашне, ни хижине. Лишь река, шумя своими водопадами, разделяет две гранитные стены, уходящие ввысь и поросшие елью с темной хвоей и кедром, высотою в сто футов. Деревья эти — стройные, причудливо расцвеченные пятнами мха, разнолистые, встают величавыми колоннадами по обеим сторонам дороги, украшенной пестрой оторочкою из толокнянки, калины, букса, розового шиповника. Свежее благоухание кустарника смешивалось с терпким ароматом горных цветов и пряным запахом молодых побегов лиственницы, тополя и смолистой сосны. Облака пробегали между скал и то заволакивали, то обнажали дымчатые вершины, кое-где такие же воздушные, как тучки, пушистые хлопья которых рвались об их уступы. То и дело менялись виды, менялось освещение; горы меняли цвет, склоны — оттенки, долы — очертания, и всякий неожиданный штрих — луч солнца, пробившийся меж стволами, естественная лужайка, обломок скалы — придавал веренице этих картин особую прелесть средь тишины уединенного уголка в то время года, когда все молодо, когда солнце озаряет чистые небеса. Словом, то был прекрасный край, то была Франция!

Путешественник, человек высокого роста, был в синей суконной одежде, вычищенной так же тщательно, как должно быть, чистили по утрам его лоснившегося коня, на котором он сидел будто влитой, как сидят старые кавалерийские офицеры. Если бы черный галстук, замшевые перчатки, пистолеты в кобурах и вьюк, крепко притороченный к седлу, и не изобличали в нем военного, то беспечность, которой, казалось, дышало его смуглое лицо, рябоватое, но с правильными чертами, решительные движения, твердый взгляд и посадка головы — все говорило о военных привычках, ибо от них никогда не

отделаться солдату, даже вернувшемуся к домашнему очагу. Всякий другой на его месте был бы очарован красотами горной природы, особенно радующей взгляд там, где она сочетается с большими речными долинами Франции, но офицеру, разумеется, довелось побывать во всех странах, куда только ни заносили наполеоновские войны французскую армию, и он любовался пейзажем, ничуть не изумляясь его разнообразию. Очевидно, Наполеон искоренил в душе солдата чувство удивления. Поэтому-то невозмутимое выражение лица является безошибочным признаком, по которому наблюдатель узнает людей, некогда сведенных в полки под недолговечными и все же нетленными знаменами великого императора. Путешественник в самом деле был одним из тех вояк — ныне их увидишь не часто,— которых пощадила пуля, хотя они и участвовали во всех наполеоновских походах. Впрочем, ничего примечательного в его жизни не было. Он храбро сражался, как подобает простому и честному солдату, выполнял свой долг и днем и ночью и вблизи и вдали от императора, метко разил саблей, однако зря не наносил ни одного удара. В петлице у него красовалась розетка ордена Почетного легиона, но лишь потому, что после битвы под Москвой весь полк в один голос признал его всех достойней ордена в тот памятный день. Он принадлежал к тем редко встречающимся, сдержанным, застенчивым людям, не ведающим душевного разлада, которых унижает сама мысль, что можно хлопотать о себе, и он повышался в чинах медленно, согласно закону о выслуге лет. В 1802 году его произвели в лейтенанты, а командиром эскадрона он стал, несмотря на седые усы, только в 1829 году; однако жизнь его была столь безупречна, что каждый, будь то даже генерал, невольно испытывал при встрече с ним чувство уважения, и этого неоспоримого превосходства, конечно, не прощали ему лица вышестоящие. Зато простые солдаты, все без исключения, выказывали ему чувство, похожее на то, какое питают дети к доброй матери, потому что относился он к ним снисходительно, хотя и строго. Сам он был прежде таким же солдатом, как они, знал их горькое веселье и веселые горести, проступки, извиняемые или наказуемые, называл солдат не иначе, как своими *ребятами*, и позволял им в походе отбирать фураж и снедь у

горожан. Личная его жизнь была окутана тайной. Он, как почти все вояки тех времен, видел окружающий его мир лишь сквозь пороховой дым или же в минуты затишья, редко выпадавшие посреди войн, которые вел император со всей Европой. Думал ли он когда-нибудь о женитьбе? Никто не мог ответить на этот вопрос. Разумеется, Женеста одерживал победы над женщинами, кочуя из города в город, из края в край, бывая на всех празднествах, устраиваемых полком или в честь полка, однако достоверно ничего об этом не было известно. Святошей он не притворялся, от веселых пирушек не отказывался, полковых нравов не задевал, но отмалчивался или отшучивался, когда ему задавали вопрос о его любовных похождениях. Бывало, какой-нибудь офицер спросит его на пирушке: «Ну, а вы, Женеста?», а он отвечает: «Выпьем-ка, господа!»

Словом, в г-не Пьере-Жозефе Женеста — своего рода Баярде, но без его блеска — не было ничего поэтического, ничего романтического, настолько он казался человеком заурядным. Весь его вид как будто свидетельствовал о достатке, хоть жалованье и было всем его богатством, а будущее его зависело от пенсии. Наш командир эскадрона под стать тем старым торговым волкам, которые вынесли из неудач житейскую опытность, граничащую с упорством, никогда не расходовал жалованья целиком и скопил про запас двухгодичный оклад. Карты он недолюбливал, и когда в компании искали, кем бы заменить выбывшего игрока или кого еще вовлечь в экарте, он прикидывался, будто его это не касается. Он не позволял себе ничего лишнего, но не отказывал себе в необходимом. Мундир служил ему дольше, чем другим офицерам полка, потому что аккуратность, которую порождает скромное состояние, вошла у него в привычку. Можно было бы заподозрить его в скаредности, когда бы он с таким удивительным бескорыстием, с такой сердечностью не открывал кошелек молодому вертопраху, дотла проигравшемуся в карты или разоренному сумасбродством другого рода. Вероятно, ему самому случилось потерять в игре изрядное состояние,— с такой готовностью давал он взаймы; он полагал, что судить поступки должника у него нет права, и никогда не напоминал о возврате денег. Для него, детища полка, одинокого

как перст, армия была отчим домом, а полк — семьей. Поэтому мало кто доискивался, в чем же таится причина его почтенной бережливости; она внушала уважение, ее охотно приписывали вполне естественному желанию скопить побольше на старость. Женеста предстояло получить чин подполковника, и все предполагали, что его честолюбивые стремления сводятся к тому, чтобы выйти на пенсию с полковничьими эполетами и поселиться где-нибудь в глуши. Молодые офицеры, судача о Женеста после маневров, утверждали, что он принадлежит к той породе людей, которые в училище получают первые награды и на всю жизнь остаются честными, исполнительными, не ведающими страстей, полезными и пресными, как белый хлеб; но люди вдумчивые были о нем другого мнения. Подчас взгляд или же замечание, полное горького смысла, какими обычно бывают слова нелюдима, вырывались у него, свидетельствуя о душевных бурях. Вы понимали, глядя на его спокойное лицо, что он умеет обуздывать страсти и таить их в глубине сердца, а это умение завоевано дорогой ценой — привычкой к опасностям и грозным случайностям войны. Однажды сын какого-то пэра Франции, новичок в полку, сказал, что из Женеста вышел бы самый добросовестный в мире священник и самый честный лавочник.

— Добавьте — и наименее льстивый маркиз,— вставил Женеста, смерив глазами молодого хлыща, который не ожидал, что начальник услышит его. Окружающие расхохотались: отец лейтенанта, известный пролаза, подделывался ко всем властям и во время государственных переворотов всегда всплывал на поверхность, и сын смахивал на папашу. Во французской армии встречались люди типа Женеста: в деле они бывали даже велики, а затем вновь становились скромнейшими людьми, за славой не гнались, забывали об опасности; пожалуй, они встречались гораздо чаще, нежели то позволяют предполагать недостатки человеческой природы. Однако вы бы ошиблись, подумав, что Женеста был человек безупречный. Он отличался подозрительностью, вспыльчивостью, был придирчивым спорщиком и вечно хотел доказать свою правоту, даже если заблуждался, и был полон национальных предрассудков. От времен солдатской службы у него сохранилось пристрастие к крепким напиткам.

Когда он бывал в парадном мундире и при всех регалиях, то выходил из-за стола с важным, сосредоточенным и неприступным видом. Он довольно сносно знал светские правила и законы вежливости, как некую инструкцию, которую считал нужным соблюдать с военной точностью, был наделен природным умом и здравым смыслом, недурно разбирался в тактике, стратегии, теории фехтования верхом и в трудностях ветеринарного дела, зато образование его было запущено невероятно. Он помнил, но смутно, что Цезарь был не то консулом, не то римским императором; Александр — не то греком, не то македонцем; но без спора согласился бы и на то и на другое происхождение или звание. Когда при нем беседовали на исторические или научные темы, он напускал на себя важность и ограничивался легкими, одобрительными кивками, как и надлежит человеку глубокомысленному, достигшему высот скептицизма.

Когда Наполоен 13 мая 1809 года написал в Шенбрунне обращение к французской армии, занявшей Вену, обращение, в котором говорилось, что «австрийские принцы, подобно Медее, собственными руками задушили своих детей», Женеста, только что произведенный в капитаны, не пожелал посрамить свой высокий чин вопросом, кто же такая Медея. Он положился на наполеоновскую гениальность, а так как был убежден, что императору подобало говорить с французской армией и австрийским двором лишь на языке официальном, то решил, что Медея была какая-нибудь эрцгерцогиня сомнительного поведения. Но поскольку Медея, упомянутая в обращении Наполеона, могла иметь нечто общее с военным искусством, он не оставлял о ней мысли до того дня, пока мадмуазель Рокур не возобновила «Медеи». Капитан прочел афишу и в тот же вечер отправился вс Французскую комедию, чтобы увидеть знаменитую актрису в роли мифологической героини, о которой осведомился у соседей. Однако если он в бытность свою простым солдатом проявил достаточно настойчивости, чтобы научиться читать, писать и считать, то, став капитаном, он, разумеется, понял, что ему надлежит заняться своим образованием. Поэтому он с жаром принялся читать романы и новые книги, дававшие ему обрывки знаний, которыми он умело пользовался. В благодарности к

своим учителям он доходил до того, что брал под защиту Пиго-Лебрена, говоря, что находит его поучительным и даже знатоком человеческого сердца.

Офицер этот, которому осторожность и житейская мудрость не позволяли предпринять ни одного бесполезного шага, только что выехал из Гренобля и держал путь в Гранд-Шартрез, испросив накануне у командира полка недельный отпуск. Он не рассчитывал на длинный перегон, но его все время сбивали с толку путаные указания крестьян, которых он расспрашивал о дороге, и он решил сначала подкрепить силы, а потом уже двигаться дальше. Вряд ли застанешь дома хозяйку в страдную пору, однако он все же остановился перед хижинами, которые окружали пустошь, принадлежащую общине, образуя четырехугольную площадь, неровно очерченную и открытую для любого прохожего. Земля на этом общинном владении была укатана и чисто выметена, но изрыта ямами для навоза. Кусты роз, плющ и высокая трава прильнули к растрескавшимся стенам домишек. Между двумя домишками торчал чахлый смородиновый куст, на нем сушилось тряпье. На куче соломы развалился боров, первый обитатель деревни, на которого наткнулся Женеста; заслышав стук копыт, боров хрюкнул, поднял рыло и спугнул большого черного кота. Показалась молодая крестьянка с охапкой травы на голове, а вслед за ней четверо мальчишек в лохмотьях, и все же резвых, шумливых, быстроглазых, миловидных, загорелых,— сущие бесенята, напоминавшие ангелов. Солнце сверкало, и от этого словно чище становился воздух, лачуги, навозные кучи и гурьба вихрастых ребятишек. Путешественник спросил, нельзя ли достать кружку молока. Вместо ответа девушка кого-то окликнула хриплым голосом. На пороге хижины появилась старая женщина, а девушка прошла в хлев, указав пальцем на старуху, к которой и направился Женеста, сдерживая лошадь, чтобы не смять детей,— они уже так и шныряли вокруг. Он повторил просьбу, но женщина отказала наотрез: кто станет снимать сливки с молока, оставленные на масло! В ответ на это офицер пообещал как следует вознаградить ее за убыток; он привязал лошадь к столбу у ворот и вошел в хижину. Четверо хозяйских мальчишек по виду были одногодки, это странное обстоятельство поразило приезже-

го. Был еще и пятый сын у крестьянки — он вцепился в ее юбку; хилый, бледный заморыш требовал, разумеется, усиленных забот, и значит, он был дороже других, был любимчиком.

Женеста уселся у высокого, нетопленного очага, над которым стояла на полке статуэтка божьей матери из разрисованного гипса, с младенцем Иисусом на руках. Прекрасный символ! Пол в лачуге был земляной, утрамбованный самым первобытным способом; этот пол, хоть и чисто выметенный, со временем покрылся выбоинами и был весь в бугорках, словно апельсиновая корка. Возле очага висели деревянный башмак, наполненный солью, сковородка и котел. Напротив входной двери стояла кровать с пологом и фестончатым подзором. Топорные трехногие табуретки с сиденьем из буковой доски, хлебный ларь, большой деревянный ковш для воды, ведро и глиняные горшки для молока, на ларе — прялка, несколько плетенок для сыра, потемневшие стены, дверь, источенная червями, с зарешеченным оконцем над притолокой — вот как было устроено и обставлено неказистое жилище. Теперь расскажем о сцене, свидетелем которой оказался офицер, от нечего делать стегавший по полу хлыстом, не подозревая, что перед ним разыгрывается своего рода драма. Когда старуха со своим золотушным любимчиком, ходившим за ней по пятам, скрылась за дверью, которая вела в погреб, четверо ребят, вдоволь насмотревшись на офицера, принялись гонять борова. Животное, с которым они обычно играли, показалось на пороге лачуги, и мальчишки с таким ожесточением накинулись на него и надавали ему таких увесистых тумаков, что ему пришлось стремглав убраться. Выставив врага, дети пошли штурмом на дверцу в чулан: щеколда, поддавшись натиску, выскочила из ветхой скобы, они ворвались в хранилище плодов, и Женеста, с любопытством наблюдавший за этой сценкой, увидел, что они сейчас же набросились на сушеные сливы. Тут иссохшая, одетая в грязное рубище старуха внесла кувшин молока для гостя.

— Ах, вы, негодники! — закричала она.

Старуха бросилась к мальчишкам и одного за другим вытащила из чулана, но слив не отобрала, а только тщательно замкнула дверь в свою сокровищницу.

— Ну, ну, ребятки, будьте же умниками. Не углядишь за ними, они все сливы и поедят. Этакие ведь сорванцы! — прибавила она, глянув на Женеста.

Она уселась на табуретку, привлекла к себе золотушного мальчугана и с чисто женским проворством и материнской заботливостью стала расчесывать ему волосы, смачивая их водой. А четверо воришек, сопливых, грязных и вопреки всему здоровых, кто, прислонившись к стене, кто — к кровати или ларю, молча жевали сливы и бросали исподлобья лукавые взгляды на незнакомца.

— Дети-то ваши? — спросил офицер у старухи.

— Прошу прощения, сударь, приютские. За каждого мне всякий месяц дают по три франка и по фунту мыла.

— Полноте, матушка, они вам наверняка обходятся раза в два дороже!

— Об этом нам и господин Бенаси толкует, да ежели другие берут детей за ту же цену, то нам и подавно приходится. Думаете, легко заполучить детей? Все пороги обобьешь сначала. Считайте, что молоком мы их поим даром, да ведь оно и нам почти ничего не стоит. Ну, а ведь три франка, сударь,— деньги. Вот тебе пятнадцать франков словно с неба упали, не считая пяти фунтов мыла. А как бьешься в наших краях, покуда заработаешь десять су в день!

— У вас есть своя земля? —спросил Женеста.

— Нет, сударь. Была земля, пока жив был покойник, а как умер, такая нужда забрала, что пришлось продать.

— Да как же вы умудряетесь, не задолжав, дотянуть до конца года? — удивился Женеста.— Ведь вы за эти гроши и стираете на детей, и кормите их, и присматриваете за ними.

— То-то и есть, господин хороший,— подтвердила она, продолжая расчесывать золотушного малыша.— Без долгов до нового года не дотянешь. Да, сами видите, господь помогает. У меня две коровы. Летом, в жатву, мы с дочкой подбираем колосья; зимой ходим в лес за валежником, по вечерам прядем. Только вот, не дай бог еще такой зимы, как в прошлом году. Семьдесят пять франков мельнику за муку задолжала. К счастью, мельник-то арендатор господина Бенаси... Господин Бенаси — вот кто друг бедняку! Долгов он еще ни с кого не тре-

бовал и с нас наверняка не начнет. К тому же корова у нас отелилась, чуть полегче будет обернуться.

Четверо сирот, которые видели любовь и заботу только от этой старой крестьянки, покончили со сливами. Воспользовавшись тем, что их приемная мать, разговаривая, не сводит глаз с офицера, они сомкнутым строем собрались еще разок сбить щеколду с двери в чулан, где хранились сливы. Их подстрекало ребяческое необузданное желание полакомиться. Шли они не так, как идут на приступ французские солдаты, а молча, как немцы.

— Вот ведь сорванцы! Да угомонитесь вы или нет?

Старуха встала, схватила самого рослого, шлепнула его и вытолкала за дверь; он и не подумал заплакать, остальные же притихли.

— Трудно вам с ними приходится!..

— Да нет, сударь, ведь они несмышленыши: почуяли сливы, а не доглядишь за ними — мигом объедятся.

— Любите вы их?

При этом вопросе старуха подняла голову, с усмешкой взглянула на офицера и ответила:

— Как же не любить! Троих уж вернула,— прибавила она со вздохом,— живут-то они у меня только до шести лет.

— А свой-то у вас есть?

— Схоронила.

— Да сколько вам лет? — спросил Женеста, чтобы сгладить впечатление от вопроса.

— Тридцать восемь, сударь. Вот на Иванов день минет два года, как муж у меня умер.

Она наконец одела золотушного малыша, и он, казалось, поблагодарил ее тусклым, но любящим взглядом.

«Вся ее жизнь — самоотверженность и труд»,— подумал Женеста.

Под этой кровлей, достойной яслей, где родился Иисус Христос, женщина, не унывая, несла самые тяжелые материнские обязанности. Какие сердца погребены в глубочайшем забвенье! Какое богатство и какая нищета! Солдат лучше других оценит величие в деревянных башмаках, Евангелие в отрепьях. В иных местах найдешь книгу священного писания, переплетенную в муар, шелк, атлас, с разъясненным, дополненным, комментированным текстом, а тут поистине был воплощен самый дух свя-

щенного писания. Как не уверовать в высшие предначертания провидения, глядя на женщину, которая, став матерью брошенным детям, как стал человеком Христос, подбирала колосья, мучилась, должала, обсчитывала себя и не желала признаваться, что нищает, выполняя долг материнства. При взгляде на эту женщину нельзя было не признать, что есть какое-то родство между душами, творящими добро в этом мире, и духами небесными; потому-то офицер и смотрел на нее, покачивая головой.

— А что, господин Бенаси — хороший врач? — спросил он наконец.

— Не знаю, сударь, но он лечит бедняков даром.

— Да, видно, он добрый человек,— задумчиво заметил Женеста.

— Уж такой добрый, сударь! У нас нет человека, кто бы утром и вечером не поминал его в своих молитвах.

— Вот это вам, матушка,— сказал Женеста, протягивая несколько монет.— А это детям,— продолжал он, прибавляя экю.—Далеко ли до дома господина Бенаси?— спросил он, вскочив на коня.

— Нет, что вы, одно лье, не больше.

Офицер уехал в полной уверенности, что ему придется проехать еще самое малое два лье. Однако вскоре сквозь деревья замелькали дома у околицы, а потом показались деревенские кровли, теснившиеся вокруг высокой конической колокольни,— на солнце сверкали жестяные полосы, скрепляющие по углам ее шиферную крышу. В таких крышах есть что-то самобытное, они свидетельствуют о том, что близка граница Савойи, где их встречаешь на каждом шагу. Долина здесь расширяется. Уютные домики, разбросанные по небольшой равнине и вдоль реки, придают много прелести хорошо возделанной местности,— со всех сторон ее обступили горы, и кажется, будто выбраться отсюда невозможно. Не доехав до селения, расположенного по южному склону плоскогорья, Женеста осадил лошадь в вязовой аллее перед целой оравой мальчишек и спросил, где дом г-на Бенаси. Дети стали переглядываться и уставились на незнакомца,— так изучают они все, что впервые попадается им на глаза: сколько любопытства в каждом лице, сколько

разнообразных мыслей! Немного погодя самый шустрый босоногий мальчишка, с живыми, озорными глазами, повторил за офицером, по привычке, свойственной детям:

— Дом господина Бенаси, сударь? — И добавил: — Сейчас проведу.

Он зашагал впереди лошади, то ли желая похвастаться, что указывает дорогу приезжему, то ли из детской услужливости, а быть может, просто повинуясь той настоятельной потребности в движении, которая в этом возрасте управляет и душой и телом. Женеста ехал по главной улице селения — каменистой, извилистой, окаймленной домами,— видно было, что возводили эти дома как кому заблагорассудится. Тут пристройка с печью вылезла прямо на середину дороги, там островерхий домишко выступил боком и чуть не загородил часть ее, а подальше горный ручеек изрыл ее канавками. Женеста увидел несколько кровель, крытых потемневшей дранкой, еще больше — соломой, и некоторые — черепицей. Семь-восемь шиферных крыш, разумеется, были над домами кюре, мирового судьи и местных богачей. Это была настоящая глушь, деревня как будто стояла на краю света, ни с чем не связанная, всему чуждая, точно жители ее составляли одну семью, оказавшуюся вне социального движения, с которым их соединяли лишь самые неприметные нити да сборщик податей.

Женеста проехал еще несколько шагов и увидел на верхушке горы широкую улицу, проходившую выше деревни. Очевидно, существовало старое и новое селение. И в самом деле, когда офицер пустил лошадь помедленней, он рассмотрел в узком просвете прочно построенные дома, новые крыши которых пестрели над старой деревней. Из новых домов, с улицы, обсаженной молодыми деревьями, до него донеслось пение — так поет за работой ремесленный люд,— и слитный шум мастерских: глухое жужжание станков, визг напильников, стук молотов. Он заметил жидкий дымок, подымавшийся из труб над домашними очагами, дым погуще — над горнами тележника, слесаря, кузнеца. А за деревней, куда вел его проводник, Женеста увидел фермы, разбросанные тут и там, хорошо возделанные поля, ровные ряды насаждений — словом, уголок наподобие Бри, затерявшийся в глубокой складке земной коры; с первого взгляда нельзя

было и подумать, что он существует между этим селением и заслонившими его горами. Тут мальчуган остановился и сказал:

— Вот *его* дом.

Офицер спрыгнул с коня и накинул повод на руку, затем, решив, что всякий труд заслуживает оплаты, вынул из кармана несколько су и протянул их мальчугану, который взял деньги, удивленно вытаращив глаза, не поблагодарил и остался поглядеть, что будет дальше.

«Цивилизация в этом крае развилась мало, уважение к труду велико, а нищенство еще сюда не проникло»,— подумал Женеста.

Проводник Женеста с бескорыстным любопытством смотрел ему вслед, прислонившись к невысокой ограде двора, в которую по обеим сторонам ворот была вделана почерневшая деревянная решетка.

На воротах, глухих внизу и некогда выкрашенных в серый цвет, торчали поверху желтые прутья, заточенные копьями. Концы этого облупившегося украшения образовали полумесяц над каждой створкой, а когда ворота затворялись, средние прутья сходились наподобие аляповатой сосновой шишки. Замшелые, источенные червем ворота почти истлели под действием солнца и дождя. Столбы ворот, увенчанные столетником и плющом — их занесло сюда случайно,— заслонили стволы двух «гладких» акаций, зеленые кроны которых похожи на пуховки. Ворота разваливались, а это говорило о беззаботности хозяина, что, очевидно, пришлось не по душе офицеру: он нахмурился, как человек, вынужденный отрешиться от каких-то иллюзий. Мы привыкли судить о людях по себе и, снисходительно прощая им наши слабости, строго осуждаем за то, что у них нет наших достоинств. Офицеру хотелось, чтобы г-н Бенаси был домовитым, безукоризненным хозяином, а между тем ворота дома свидетельствовали о полном его безразличии к собственности. Рачительный и бережливый солдат, каким был Женеста, сразу же по одному виду ворот мог вывести заключение о жизни и нраве незнакомца, что он, несмотря на всю свою осмотрительность, и не преминул сделать. Ворота были полуоткрыты — какая беспечность! Женеста воспользовался сельской доверчивостью, без всяких церемоний во-

шел во двор и привязал лошадь к прутьям решетки; когда он затягивал узел, из конюшни донеслось ржание; офицер и его конь повернули головы: двери конюшни растворились, и на пороге показался старый батрак в красном шерстяном колпаке, как две капли воды схожем с фригийским, в котором принято изображать Свободу,— такие колпаки все носят в этих краях. В конюшне хватило бы места для нескольких лошадей, и старик, осведомившись у Женеста, не к г-ну ли Бенаси он пожаловал, предложил приютить его коня, ласково и восхищенно глядя на великолепного жеребца. Офицер пошел вслед за конем, взглянуть, хорошо ли ему будет в конюшне. Там было чисто, подстилки вдоволь, и у обеих лошадей Бенаси был сытый вид, по которому всегда распознаешь лошадей кюре. Из дому на крыльцо вышла служанка и, казалось, ждала, чтобы незнакомец, как полагается, обратился к ней с вопросом, но он уже узнал от батрака, что г-на Бенаси нет дома.

— Хозяин ушел на мельницу,— объяснил старик,— хотите застать его там, ступайте по тропке, что ведет к лугам: в мельницу и упретесь.

Женеста предпочел пойти познакомиться с местностью, чем ждать прихода Бенаси, и отправился по дороге к мельнице. Когда он вышел за околицу селения, разбросанного по косогору, взгляду его представилась долина, мельница — словом, один из самых чарующих пейзажей, какие ему доводилось видеть.

Река подступала к подножию гор и здесь разливалась небольшим озером, над ним уступами поднимались вершины, и по тому, как менялись оттенки освещения, как местами ярко, а местами тускло виднелись гребни, поросшие темными елями, можно было угадать, что меж горами пролегли бесчисленные долины. Мельница, недавно выстроенная на берегу озера, казалась уютным уединенным домиком, примостившимся у воды, под сенью прибрежных деревьев. За рекой, у самого подножия горы, вершину которой в этот час слабо озаряли багряные лучи заходящего солнца, Женеста увидел с дюжину покинутых лачуг без окон и дверей; в обветшалых кровлях зияли дыры; вокруг раскинулись прекрасно обработанные, засеянные поля; огороды заняты были теперь под луга,— их орошали каналы, проведенные не менее искус-

но, чем в Лимузене. Офицер невольно остановился и посмотрел на развалины деревни.

Отчего глубокое душевное волнение охватывает нас, когда мы смотрим на развалины жилищ, пусть даже самых неказистых? Нет сомнения, руины для человека — воплощение несчастий, и при виде их каждый испытывает гнетущее ощущение. Кладбища наводят на размышления о смерти, покинутая деревня — на думы о тяготах жизни; смерть — несчастье, которое мы предвидим заранее, тяготы жизни — беспредельны. А беспредельность навевает глубокую печаль. Так и не поняв, отчего деревня покинута, Женеста вышел по каменистой дороге к мельнице и осведомился у работника, сидевшего около двери на куче мешков с зерном, тут ли Бенаси.

— Господин Бенаси пошел вон туда,— сказал парень, показывая на развалившуюся лачугу.

— Видно, деревня погорела? — спросил офицер.

— Нет, сударь!

— Отчего же она такая? — продолжал Женеста.

— Отчего? — повторил парень, пожимая плечами и входя в дом.— Это уж пусть вам растолкует господин Бенаси.

Офицер перешел по мосту, сложенному из больших валунов, меж которыми пробивался поток, и скоро очутился у дома, указанного работником. Соломенная крыша держалась прочно и была еще совсем цела, хоть и поросла мхом, окна и двери с виду были в хорошем состоянии. Женеста вошел в хижину и увидел у очага, в котором горел огонь, больного, сидевшего на стуле, а перед ним — пожилую женщину, стоявшую на коленях, и мужчину, повернувшегося лицом к очагу. В хижине была всего лишь одна комната, свет падал из крохотного оконца, завешенного холстиной. Пол был земляной, а всю обстановку составляли стул, стол и прескверная кровать. Женеста никогда не видел такого убожества, такой бедности даже в России, где крестьянские избы напоминали берлоги. Тут не было признака домашней утвари, не было никакой посуды для варки хотя бы самой простой пищи. Комната смахивала на собачью конуру, только миски недоставало. Если бы не жалкая постель и не одежда больного — отрепья, висевшие на гвозде, да деревянные башмаки, выложенные внутри соломой,— каза-

лось бы, что хижина, как и остальные дома в деревне, необитаема. Старая крестьянка, опустившись на колени, старалась погрузить ноги больного в лохань, наполненную мутной водой. Услышав шаги и позвякивание шпор, необычное для слуха, привыкшего к однообразной поступи деревенских жителей, мужчина, стоявший у огня, обернулся к Женеста с изумлением, которое выразилось и на лице старухи.

— Незачем спрашивать — вы ли господин Бенаси,— сказал офицер.— Сударь, извините приезжего: я не стал ждать вас дома, нетерпение привело меня к вам на поле битвы. Не беспокойтесь, продолжайте свое дело. Когда вы освободитесь, я расскажу о причине своего приезда.

Женеста присел на край стола и умолк. От огня в лачуге было светлее, чем от солнца: горные вершины дробили его лучи, и они никогда не попадали в этот уголок долины. В очаге ярким пламенем горели смолистые еловые ветви, и в отблесках огня офицер разглядел лицо человека, посетить которого, узнать и до конца разгадать заставляло его тайное побуждение. Г-н Бенаси — местный врач — все стоял, скрестив руки; он сдержанно выслушал Женеста, ответил на его поклон и снова повернулся к больному, не подозревая, что его самого внимательно изучает приезжий офицер.

Роста Бенаси был среднего, но широк в плечах и в груди. Просторный зеленый сюртук, застегнутый наглухо, не позволял офицеру подметить характерные особенности его сложения; он стоял неподвижно, фигура его была в тени, но тем ярче выделялась голова, озаренная отсветом пламени. Лицо доктора напоминало лицо сатира: высокий, чуть покатый лоб с выразительными буграми, широкие скулы, вздернутый нос, раздвоенный на конце, что обличало остроту ума. Линия рта была изогнутая, губы — полные и красные. Резко выдавался подбородок. Карие глаза с живым взглядом, сверкавшие особенно ярко оттого, что белок отливал перламутром, говорили об укрощенных страстях. Волосы, прежде черные, а теперь седые, глубокие морщины, густые, тоже поседевшие брови, прожилки на носу, желтизна, багровые пятна на щеках — все свидетельствовало о пятидесятилетнем возрасте врача и о его тяжком труде. Голову прикрывал кар-

туз, и об ее форме можно было лишь догадываться, но все же офицер подумал, что именно о такой голове и говорится — *светлая голова*. Женеста привык общаться с людьми решительными, каких выискивал Наполеон, и по чертам лица распознавать человека, предназначенного для больших дел, и тут, угадав в неведомой ему жизни Бенаси какую-то тайну, подумал, всматриваясь в его примечательный облик: «Почему он остался сельским врачом?» Пристально рассмотрев это лицо, которое, невзирая на сходство с самыми обычными человеческими физиономиями, носило печать сложного внутреннего мира, противоречившего заурядной внешности, Женеста последовал примеру доктора и обратил внимание на больного, а тогда ход его размышлений сразу изменился.

Немало довелось перевидать старому кавалеристу за его боевую жизнь, но сейчас он почувствовал изумление и какой-то ужас, взглянув на лицо, никогда, должно быть, не озарявшееся мыслью,— лицо мертвенно-бледное, выражавшее одно только безмолвное страдание, как личико ребенка, который говорить еще не умеет, а кричать больше не может,— словом, тупое лицо старого умирающего кретина. Кретин был единственной разновидностью человеческой породы, какой еще не приходилось наблюдать командиру эскадрона. И в самом деле, стоило только взглянуть на лоб с дряблой, отвисшей кожей, глаза, напоминающие глаза вареной рыбы, на голову, покрытую короткими, редкими волосками, вылезавшими от недостатка питания, сплюснутую голову, неспособную что-либо воспринять, и всякий на месте Женеста ощутил бы невольное отвращение к существу, которое не было наделено ни красотою зверя, ни духовным миром человека, которое никогда не обладало ни разумом, ни инстинктом и не ведало даже подобия речи. Казалось, трудно было проникнуться жалостью к обездоленному существу, кончавшему мучительное прозябание, ибо нельзя назвать это жизнью, однако старуха глядела на него с трогательным беспокойством и так заботливо растирала его икры, словно кретин был ее мужем. А доктор Бенаси, вглядевшись в застывшее лицо, в тусклые глаза умирающего, ласково взял его за руку и пощупал пульс.

— Ванна не действует,— сказал он, покачав головой,— уложим-ка его обратно.

Он сам поднял этот мешок с костями, перенес на кровать, откуда, очевидно, раньше извлек его, бережно выпрямил холодеющие ноги, уложил руки и голову с заботливостью, какую проявляет мать к своему больному ребенку.

— Все кончено, он сейчас умрет,— прибавил Бенаси, не отходя от кровати. Старуха, по щекам которой катились слезы, смотрела на умирающего, упершись руками в бока. Молчал и Женеста, не в силах объяснить себе, почему смерть никому не нужного существа производит на него такое сильное впечатление. И его тоже охватила бесконечная жалость, какую питают к этим бедным созданиям в тех краях, куда забросила их судьба,— в долинах, лишенных солнца. В семьях, где есть кретины, чувство это, переродившееся в религиозное суеверие, исходит из прекраснейшей христианской добродетели — милосердия, и из веры, столь полезной для общественного порядка, из представления о грядущих воздаяниях, а это единственное, что примиряет нас с земными горестями. Надежда заслужить вечное блаженство побуждает и родственников несчастных и всех окружающих расточать самые теплые заботы, самоотверженно оказывать помощь безмозглому существу, которое сначала не понимает этих забот, а потом их забывает. Замечательное вероучение! В силу его слепое милосердие идет рука об руку со слепым страданием. Население тех мест, где живут кретины, верит, что они приносят семье счастье. Благодаря этой вере отрадной становится жизнь того, кто в городах был бы осужден на милость ханжеской и жестокой благотворительности, вынужден терпеть больничную дисциплину. В верховьях Изера кретины, а там их очень много, живут под открытым небом, вместе со стадами, которые они приучены пасти. Там они по крайней мере на воле и к ним относятся с уважением, как того и заслуживает несчастье.

Вдали, через ровные промежутки, раздавались удары деревенского колокола, звон его оповещал верующих о смерти одного из их братьев. Божественный призыв пролетал пространство, замирая, доносился в хижину и разливал там тихую печаль. Послышался шум шагов — по дороге двигалась молчаливая толпа. И вдруг зазвучали церковные песнопения, вызывая непостижи-

мое чувство, которое охватывает самые неверующие души и заставляет их поддаться трогательной гармонии человеческого голоса. Церковь спешила помолиться о существе, не ведавшем о ней. Появился кюре, впереди него шел служка с крестом в руках, а позади — пономарь с кропильницей и около пятидесяти женщин, стариков, детей: они хотели слить свои молитвы с молитвами церковными. Доктор и офицер молча переглянулись и отошли, уступая место толпе, опустившейся на колени в хижине и во дворе. Когда священник начал читать отходную над человеческим существом, никогда не грешившим, с которым верующие пришли проститься, почти на всех огрубевших лицах появилось искреннее умиление. По шершавым щекам, обожженным солнцем, обветренным на работе под открытым небом, покатились слезы. Бесхитростно было это чувство добровольного родства. Во всей общине не нашлось бы человека, который не жалел бы кретина, не подавал бы ему ломтя хлеба насущного; бедняга находил отца в каждом мальчугане, мать — в девочке-хохотушке.

— Он умер,— произнес кюре.

Слова эти возбудили горестное смятение. Затеплились свечи. Многие хотели остаться на ночь возле покойника. Бенаси и офицер вышли. Несколько крестьян остановили доктора:

— Уж если вы не спасли его, господин мэр, значит, сам господь бог пожелал призвать его к себе.

— Я сделал все, что мог, друзья,— ответил доктор.— Вы не поверите, какое для меня утешение то, что̀ вы сейчас услышали,—обратился он к Женеста, когда покинутая деревня, последний обитатель которой только что умер, осталась позади.— Десять лет назад меня чуть не избили до смерти камнями в этой деревне; теперь она опустела, а в те времена ее населяло тридцать семейств.

Женеста посмотрел на него с таким изумлением, что доктор после этих вступительных слов рассказал ему по дороге всю историю.

— Приехав сюда, сударь мой, я обнаружил в этой части кантона с дюжину кретинов,— начал он, оборачиваясь и указывая офицеру на развалившиеся дома.— Деревенька расположена в горной теснине, на самом берегу

реки, которая питается водами тающих снегов; застоявшийся воздух, недостаток благодетельных солнечных лучей — они освещают лишь верхушку горы — все способствует распространению ужасного недуга. Закон не запрещает этим несчастным созданиям вступать в брак, их охраняет здесь суеверие, сила, тогда еще мне неизвестная. На первых порах я проклинал ее, а потом стал ею восхищаться. Но ведь из-за этого кретинизм мог распространиться по всей долине. Уничтожить эту физическую и духовную заразу — значило оказать большую услугу краю; необходимость была неотложная, но благодеяние это стоило бы, пожалуй, жизни тому, кто взялся бы его осуществить. Тут, как и в других общественных кругах, пришлось бы, совершая доброе дело, затронуть если не корыстные интересы, то, что еще опаснее, религиозные убеждения, вылившиеся в суеверие — самую прочную форму человеческих убеждений. Однако ничто не испугало меня. Я стал ходатайствовать, чтобы меня назначили мэром этого кантона, и добился назначения, а потом заручился словесным одобрением префекта, и как-то ночью почти всех этих убогих за определенную мзду перевезли в Эгбель — в Савойю: там их много, и уход за ними хороший. Население возненавидело меня, узнав об этом акте человеколюбия. Кюре произнес проповедь, направленную против меня. Напрасно я пытался растолковать самым разумным жителям селения, что необходимо удалить кретинов, напрасно лечил больных даром — все же меня чуть не пристрелили однажды у лесной опушки.

Я отправился к гренобльскому епископу и попросил сменить кюре. Преосвященный был так добр, что позволил мне выбрать кюре, способного помочь моим начинаниям, и на счастье я повстречал одного из тех людей, которых словно посылает само небо. Я продолжал свое дело. Ночью, заранее настроив подобающим образом умы, я вывез еще шестерых кретинов. На этот раз у меня нашлись и сторонники — кое-кто из людей мне обязанных, а также члены общинного совета: в них я разжег жадность, доказав, как дорого обходится содержание убогих и насколько выгоднее обратить земли, бывшие во владении кретинов без законного основания, в земли общинные, в которых так нуждалось селение. На мою сто-

рону перешли богачи, но бедняки, старухи, дети и несколько косных упрямцев продолжали относиться ко мне враждебно. К сожалению, и в последний раз увезли не всех. Кретина, которого вы только что видели, не было дома, его не отправили вместе с другими, и наутро он оказался единственным представителем своей породы в деревне, где жило еще несколько семейств, почти слабоумных, но еще не затронутых кретинизмом. Мне хотелось довести дело до конца, и я, надев мундир, пришел днем, чтобы увезти несчастного из его жилища. О моем намерении стало известно: только я вышел из ворот, как меня обогнали друзья кретина, перед его лачугой столпились старики, дети и женщины — они встретили меня бранью и градом камней.

В этой сумятице я наверняка пал бы жертвой исступления, какое охватывает толпу, раззадоренную криками и гневными чувствами, выражаемыми сообща, но спас меня сам кретин. Послышалось какое-то кудахтанье, и бедняга появился на пороге хижины, словно предводитель этих фанатиков. Стоило ему показаться, как крики прекратились. Мне пришло на ум предложить полюбовную сделку, и мне удалось все объяснить, благо, на мое счастье, водворилось спокойствие. Положение-то ведь было такое, что мои приверженцы не осмелились бы поддержать меня, да и помощь их была бы чисто отвлеченной, а ведь этот суеверный народ с еще большим усердием стал бы оберегать своего последнего кумира; я увидел, что увезти его невозможно. Итак, я пообещал не трогать кретина, оставить его дома с уговором, что общаться с ним не будут, что все жители перекочуют из деревни на другой берег реки и обоснуются в поселке, в новых домах, постройку которых я взял на себя, прирезав к ним наделы земли,— их стоимость община мне возместила впоследствии. Однако, сударь мой, хотя эта сделка была выгодна крестьянским семьям, целых полгода пришлось потратить, чтобы побороть их сопротивление. Любовь крестьян к своим хижинам просто непостижима. Ведь, казалось бы, неприглядный домишко, а привязан к нему крестьянин больше, чем банкир к своему особняку. Почему? Кто знает. Быть может, чем меньше чувств, тем они сильнее. Быть может, человек, почти не живущий жиз-

нью умственной, живет привязанностью к вещам, и чем их меньше, тем, разумеется, он их больше любит. Быть может, с крестьянином происходит то же, что и с узником... он не растрачивает понапрасну своих душевных сил, сосредоточивает их на одном предмете, и его чувство от этого крепнет. Простите мою говорливость, но мне так редко случается обмениваться с кем-нибудь мыслями. Впрочем, не подумайте, сударь, что я часто предаюсь бесплодным размышлениям. Здесь во всем требуется дело и явная польза. К сожалению, чем у́же кругозор этого бедного люда, тем труднее заставить его понять, в чем заключается его истинная польза. Поэтому-то мне и пришлось вникать во все мелочи моего начинания. Каждый твердил одно и то же, все слова были исполнены здравого смысла, и возражать было трудно: «Как же так, сударь, дома-то ведь еще не выстроены». «Ну что ж,— отвечал я,— обещайте мне поселиться в них, как только они будут готовы». По счастью, сударь, мне удалось добиться, чтобы вся гора, у подножия которой стоит деревня, покинутая ныне, стала собственностью нашего селения. Стоимость леса, раскинувшегося по горным кручам, оказалась вполне достаточной, чтобы окупить земли и обещанные дома, которые и были отстроены. Как только одно из строптивых семейств там поселилось, не заставили себя ждать и другие мои подопечные. Благоденствие, наступившее после этой перемены, было так разительно, что его оценили и те, кто особенно суеверно держался за свою деревню, лишенную солнца, иначе говоря, лишенную души. Завершение этого дела, приобретение земель для общины — владение ими было подтверждено государственным советом — сделало меня влиятельным лицом в кантоне. Да, сударь, но сколько хлопот! — заметил доктор, приостановившись и выразительно взмахнув рукой.— Одному мне известно, какое расстояние отделяет селение от префектуры, где ничего не добьешься, и префектуру от государственного совета, куда никому нет доступа. Ну, а в конце концов,— продолжал он,— бог с ними, с сильными мира сего: они уступили моим назойливым просьбам, и на том спасибо. Если бы вы знали, сколько добра иногда приносит какой-нибудь небрежный росчерк пера!.. И вот через два года, после того как я взялся осуществить эти мелкие и

вместе с тем большие дела и довести их до конца, у всех неимущих обитателей завелось по меньшей мере две коровы, стадо выгоняли на горные пастбища; не дожидаясь согласия государственного совета, я проложил сеть оросительных канав, наподобие швейцарских, овернских или лимузенских. К великому изумлению жителей, зазеленели великолепные луга, и коровы стали давать гораздо больше молока, потому что улучшились пастбища.

Огромны были последствия этой победы. Все принялись подражать моему способу орошения. Возросло количество лугов, скота, сельскохозяйственных продуктов. И тут я уж спокойно занялся улучшением этого еще не возделанного уголка земли и просвещением жителей, лишенных всякого образования. Видите, сударь, наш брат, человек одинокий, любит поболтать; зададут ему вопрос,— он как начнет отвечать, не остановишь его. Когда я попал сюда, в долине было душ семьсот жителей, теперь насчитывается около двух тысяч. После истории с последним кретином я добился всеобщего уважения. С людьми я всегда обращался мягко, но в то же время твердо, и в кантоне меня стали считать непогрешимым. И я все сделал, чтобы заслужить доверие, не показывая, что добиваюсь его. Я только старался внушить уважение к себе, свято выполняя все свои обязательства, даже самые пустячные. Я обещал взять под свою опеку беднягу, только что умершего на ваших глазах, и действительно окружил его еще бóльшими заботами, чем прежние покровители. Его кормили, за ним ухаживали как за приемным сыном общины. В конце концов жители поняли, какую я оказал им услугу вопреки их воле. И все же у них сохранились отголоски прежнего суеверия; да я и не думаю порицать их за это; я воспользовался культом, создавшимся вокруг кретина, чтобы завербовать самых разумных для помощи несчастным. Ну вот мы и пришли! — после некоторого молчания произнес Бенаси, завидя крышу своего дома.

Он не ожидал от слушателя похвалы или благодарности: рассказывая о трудном начале своей служебной деятельности, он, казалось, уступил безотчетному желанию высказаться, которому поддаются люди, удалившиеся от общества.

— Сударь,— сказал офицер,— я осмелился поставить лошадь в вашу конюшню. Надеюсь, вы простите меня, когда узнаете, зачем я приехал.

— Ах да, зачем же? — спросил Бенаси, будто отогнав какие-то беспокойные мысли и вспомнив, что спутник его — человек приезжий.

У него был открытый и общительный нрав, и он встретил Женеста как знакомца.

— Сударь,— ответил офицер,— до меня дошли слухи о чудесном исцелении одного жителя Гренобля — некоего господина Гравье, которого вы приютили. Я и поспешил к вам в надежде, что вы и меня излечите, хоть я не имею оснований рассчитывать на вашу благосклонность. Но, пожалуй, я заслуживаю ее! Мне, старому вояке, покоя не дают давнишние раны. Вам понадобится по крайней мере неделя, чтобы изучить мое состояние, ведь боли у меня бывают лишь приступами и...

— Ну что ж, сударь,— прервал его Бенаси,— комната господина Гравье в вашем распоряжении, пожалуйте...

Когда они входили в дом, доктор торопливо распахнул дверь, и Женеста подумал, что он рад заполучить постояльца.

— Жакота! — крикнул Бенаси.— Приезжий господин будет у нас обедать.

— Позвольте, сударь,— возразил Женеста,— не лучше ли сначала договориться об оплате?

— Какой оплате? — переспросил доктор.

— За мое содержание. Не станете же вы даром кормить нас — меня и мою лошадь...

— Если вы богаты,— ответил Бенаси,— то заплатите; если нет,— ничего и не надо.

— Ничего? — заметил Женеста.— Это, по-моему, дороговато. Но дело не в том, беден я или богат,— скажите, пожалуйста, не мало ли будет десяти франков в день, не считая оплаты за лечение?

— Терпеть не могу принимать плату за радость, которую я испытываю, оказывая гостеприимство,— произнес доктор, нахмурив лоб.— Лечением же я займусь только в том случае, ежели вы мне понравитесь. Богачам не купить моего времени, оно принадлежит жителям нашей долины. Ненадобно мне ни славы, ни богатства, я не требую от больных ни восхвалений, ни благодарности.

Деньги, которые вы мне уплатите, пойдут гренобльским аптекарям за лекарства, необходимые здешним беднякам.

Всякий, услышав эти слова, произнесенные резким тоном, но без горечи, подумал бы, как Женеста: «Вот это душа человек».

— Так, значит, сударь,— сказал офицер со свойственной ему настойчивостью,— я буду платить вам ежедневно десять франков, вы же располагайте ими, как вам заблагорассудится. Итак, решено, а об остальном уж мы столкуемся,— прибавил он, беря доктора за руку и пожимая ее с подкупающей сердечностью.— Сами увидите, я не сквалыга, хотя и предлагаю за свое содержание всего десять франков.

После этой борьбы, в которой Бенаси не выказал ни малейшего желания прикинуться великодушным благотворителем, мнимый больной вошел в дом врача, где все было под стать обветшалым воротам и одежде владельца. Каждая мелочь говорила о том, как равнодушен Бенаси ко всему, что не является насущной необходимостью. Он провел Женеста через кухню — это был самый короткий путь в столовую. Если кухню, закопченную, как в харчевне, украшал богатый набор посуды, то роскошь эта была делом рук Жакоты, прежней служанки кюре, которая имела обыкновение говорить *мы* и полновластно хозяйничала в доме у доктора. Если на камине и стояла начищенная грелка, то уж, конечно, потому, что Жакота любила поспать зимой в тепле, а заодно согревала грелкой и постель хозяина, который, как она говорила, ни о чем-то не позаботится; Бенаси же нанял ее за те достоинства, которые всякому другому показались бы невыносимым пороком.

Жакота желала распоряжаться всем домом, а доктору и хотелось найти такую женщину, которая бы распоряжалась его хозяйством. Жакота покупала, продавала, прибирала, меняла, ставила и переставляла, укладывала и раскладывала все, как ей было угодно; ни разу не сделал ей хозяин замечания, и Жакота, как хотела, управляла домом, конюшней, батраком, кухней, садом и хозяином. По собственному почину она меняла белье, затевала стирку, запасала провизию. Она ведала покупкой и убоем свиней, бранила садовника, решала, что по-

давать на завтрак и обед, из погреба бегала на чердак, с чердака — на погреб, наводила порядки, какие ей вздумается, не встречая ни малейшего отпора. Бенаси поставил только два условия: чтобы обед был в шесть часов и чтобы расходовалось не больше определенной суммы в месяц. Женщина, которой все повинуется, всегда напевает, и Жакота, бегая по лестницам, то заливалась соловьем, то посмеивалась, то тихонько мурлыкала, то пела, то опять мурлыкала. Она была очень чистоплотна и дом держала в чистоте. Хорошо, что у нее такие вкусы, а то не сладко пришлось бы господину Бенаси, говорила она, ведь бедняга до того неприхотлив, что капусту съест вместо куропатки и не заметит; не будь ее, господин Бенаси целую неделю не менял бы рубашку. Жакота неутомимо возилась с бельем, ее призванием было начищать мебель, она просто обожала чистоту, чистоту просто-таки церковную, безукоризненную, самую сверкающую, самую умиротворяющую. Она враждовала с грязью и без передышки смахивала пыль, стирала, гладила. Ей не давало покоя, что ворота пришли в такую ветхость. Целых десять лет в начале каждого месяца вымаливала она у г-на Бенаси обещание сделать новые ворота, покрасить стены и все устроить *по-благородному*, а он до сих пор не сдержал слова. Поэтому, сетуя на беспечность хозяина, она неизменно заканчивала похвалы ему одной и той же фразой:

— Не скажешь, что он глуп, ведь он прямо чудеса творит в наших краях. А все-таки он бывает глуп, ну до того глуп, что все ему в руки совать нужно, как малому ребенку!

Жакота любила дом, как свой собственный, да и, прожив в нем двадцать два года, она имела право на такой самообман. Бенаси, приехав сюда, узнал, что после смерти кюре продается дом, и приобрел все: здание, землю, мебель, посуду, вино, кур, старинные стенные часы с фигурками, лошадь и служанку. Жакота, образцовая представительница стряпух, носила платье из темного ситца в красный горошек, до того облегавшее, до того обтягивавшее ее грузный стан, что, казалось, ткань вот-вот треснет. От белоснежного круглого чепца с оборочками как будто еще белее становилось ее бледное лицо с двойным подбородком. Низенькая подвижная тол-

стуха проворно орудовала пухлыми ручками, громко и беспрерывно тараторила. Если она, умолкнув на миг, загибала треугольником кончик передника, то это означало, что она долго будет в чем-то укорять хозяина или работника. Жакота, конечно, была счастливейшей кухаркой в королевстве. К довершению ее счастья, столь полного, насколько оно возможно в этом мире, тщеславие ее было вполне удовлетворено: все селение признавало в ее лице некую промежуточную власть, стоящую между мэром и полевым сторожем.

В кухне хозяин никого не застал.

— Куда они запропастились? — сказал он.— Простите, что я вас привел сюда,— обратился он к Женеста.— Парадный ход — из сада, но я так не привык принимать гостей, что... Жакота!

На этот оклик, прозвучавший почти повелительно, в доме отозвался женский голос. И сейчас же Жакота перешла в наступление, в свою очередь, позвав Бенаси, который и поспешил в столовую.

— Хороши вы, сударь! На вас это похоже! Наприглашали гостей к обеду, а меня не предупредили, воображаете, что стоит только крикнуть «Жакота», все и поспело! В кухне, что ли, вы намерены принимать этого господина? Как было не открыть залу, не развести огонь? Николь там, он все устроит. А теперь пойдите-ка прогуляйтесь с гостем по саду. Развлеките его; если он понимает толк в красивых садах, покажите ему грабовую аллею покойного господина кюре, а я тем временем все приготовлю: и обед, и стол, и залу.

— Отлично! Кстати, Жакота,— продолжал Бенаси,— этот господин поживет у нас. Не забудь наведаться в комнату господина Гравье. Постели свежее белье и вообще...

— Уж не думаете ли вы бельем заниматься, а? — подхватила Жакота.— Я-то знаю, что ему нужно для ночлега. А вы ведь за год ни разу и не зашли в комнату господина Гравье. Да и смотреть незачем: она чиста, как стеклышко. Так, значит, этот самый господин будет у нас жить? — прибавила она, смягчившись.

— Да.

— И долго?

— Вот уж не знаю. Но тебе-то что до этого?

— Как мне-то что до этого, сударь? Вот тебе и раз, «мне-то что до этого». Новое дело! А провизия, а...

Оборвав поток слов, который она в другое время обрушила бы на хозяина, укоряя его в недостатке доверия, Жакота пошла следом за ним на кухню. Она угадала, что дело идет о нахлебнике, и ей не терпелось увидеть Женеста, перед которым она подобострастно присела, оглядывая его с головы до ног. В ту минуту у офицера было грустное и задумчивое выражение лица, что придавало ему суровый вид. Разговор служанки и хозяина обнаружил, казалось ему, слабость характера у Бенаси, и это, к огорчению Женеста, умаляло то высокое мнение, какое он составил себе о докторе, дивясь настойчивости, с которой тот спасал маленький край от напастей кретинизма.

— Не нравится мне этот чудак! — пробормотала Жакота.

— Если вы не устали, сударь,— сказал доктор мнимому больному,— погуляем до обеда по саду.

— Охотно,— ответил офицер.

Они прошли столовую и попали в сад через переднюю, устроенную около лестницы и отделявшую столовую от залы. Отсюда большая застекленная дверь вела на каменное крыльцо, украшавшее фасад дома. За садом, который разделен был на четыре больших правильных квадрата дорожками, окаймленными буксом и пересекавшимися крест-накрест, зеленела густая грабовая роща — отрада прежнего хозяина. Офицер уселся на деревянную, источенную червями скамью, даже не взглянув на беседку, увитую виноградными лозами, на плодовые деревья, рассаженные шпалерами, на грядки, за которыми усердно ухаживала Жакота, верная традициям покойного кюре, ярого чревоугодника и садовода: Бенаси был к саду совсем равнодушен.

Офицер прекратил начавшийся было пустой разговор и обратился к доктору:

— Как вам удалось, сударь, за десять лет утроить численность населения долины? До вашего приезда тут было семьсот душ, а сейчас, вы сами говорите, перевалило за две тысячи.

— Еще никто не спрашивал меня об этом,— ответил доктор.— Хоть я и задался целью довести до полного процветания наш затерянный уголок, но дел у меня столь-

ко, что некогда было поразмыслить, каким же способом я, словно нищенствующий монах, так сказать, приготовил «похлебку из топора». Сам господин Гравье — один из наших благодетелей, которого мне удалось вылечить,— не думал о теории, когда разъезжал со мной по горам и видел плоды моих стараний.

Водворилось недолгое молчание, Бенаси углубился в размышления и не обращал внимания на гостя, который, не сводя с него испытующего взгляда, старался его разгадать.

— Вы спрашиваете, как это получилось, милостивый государь? — продолжал доктор.— Да само собой, и в силу социального закона притяжения между потребностями, которые мы себе создаем, и средствами их удовлетворения. Все дело в этом. Народы, у которых нет потребностей, бедны. Когда я перебрался сюда, в селении насчитывалось сто тридцать крестьянских семейств, а в долине — около двухсот хозяйств. Местные власти, под стать общему убожеству, состояли из безграмотного мэра, его помощника — арендатора, жившего вдали от общины, и мирового судьи — бедный малый перебивался на жалованье и свалил ведение актов гражданского состояния на письмоводителя, такого же горемыку, вряд ли способного разобраться в делах. Семидесятилетний кюре умер, и сменил его викарий, полный невежда. Вот эти-то «сливки» общества и управляли краем. И на лоне прекрасной природы жители прозябали в грязи, питались картошкой и молоком; только сыр, который они носили на продажу по соседству, или в Гренобль, давал кое-какой доход. Те, кто был побогаче и порасторопней, сеяли гречиху, целиком потреблявшуюся в селении, иной раз ячмень или овес; пшеницы и в помине не было. Единственным промышленником в наших краях был мэр, владелец лесопилки,— он за бесценок скупал лесосеки и торговал лесом в розницу. Дорог не было, и в летнюю пору с великим трудом по бревну перевозили срубленные деревья, волокли их на цепи, привязанной к упряжи лошадей,— железный крюк на конце цепи всаживался в ствол. Добираться до Гренобля, верхом или пешком, приходилось по широкой тропе, проложенной поверху, долиной же нельзя было ни пройти, ни проехать. На месте прекрасной дороги, которая идет отсюда до

границы нашего кантона и, без сомнения, привела вас к нам,— в те времена тянулась настоящая топь. Ни одно политическое событие, ни одна революция не доходили до глухого нашего края, живущего вне социального движения. Сюда донеслось лишь имя Наполеона, ставшее у нас святыней по милости двух-трех старых солдат, здешних уроженцев, вернувшихся домой; целыми вечерами рассказывают они нашим простакам сказки о деяниях императора и его армий. Кстати, их возвращение — событие небывалое. Пока я здесь не поселился, вся молодежь, уходившая в армию, там и оставалась. Одно это явление достаточно красноречиво говорит о нищете края, так что незачем ее и описывать. Вот, сударь, в каком виде застал я центр кантона, в который входят также общины, расположенные по ту сторону гор, хорошо возделывающие земли, живущие в достатке, чуть не в богатстве. Не стоит рассказывать вам, какие здесь были лачуги, попросту хлева, где и люди и скотина жили вместе. Я побывал здесь проездом на обратном пути из Гранд-Шартрез. Постоялого двора не было, пришлось остановиться у викария, он временно жил в этом доме, тогда продававшемся. Расспрашивая его о том о сем, я получил некоторое представление о плачевном состоянии края, восхитившего меня прекрасным климатом, великолепной почвой и естественными богатствами. В ту пору, сударь, я жаждал обрести новую жизнь, устав от горестей прежней. И вот мне пришла в голову одна из тех мыслей, которые ниспосылает бог, чтобы примирить нас с нашими бедами. Я решил преобразовать этот край,— так наставник решает заняться образованием ребенка. Не воздавайте похвал моим благодеяниям. Мне самому это было нужно. Я искал забвения и стремился посвятить остаток своих дней выполнению какой-нибудь трудной задачи.

В нашем кантоне, таком богатом по своей природе и таком бедном по нерадивости человека, столько надо было произвести перемен, что это поглотило бы целую жизнь; но именно трудность их осуществления и привлекала меня. Когда я удостоверился, что можно дешево приобрести дом кюре и много пустопорожней земли, то с благоговением посвятил себя обязанностям сельского лекаря, то есть делу, за которое у нас так неохотно бе-

рутся. Мне хотелось стать другом бедняков, и я не ждал от них никакой благодарности. Не было у меня иллюзий и насчет крестьянских нравов и насчет препятствий, которые встречаешь, пытаясь сделать лучше и человека и условия его жизни. Я не идеализировал окружающих, принимая их за то, чем они были,— за бедных крестьян, не очень-то добрых, но и не очень злых, которым вечный труд не позволяет предаваться чувствам, хотя они порою умеют чувствовать очень глубоко и сильно. А главное, я понимал, что воздействовать на них мне удастся только в том случае, если я им докажу, что перемена принесет им непосредственную выгоду и благосостояние. Все крестьяне — сыны апостола Фомы неверного: в подтверждение слов они всегда требуют фактов.

— Вы, пожалуй, посмеетесь над моими первыми шагами,— продолжал доктор после некоторого молчания.— Начал я свое трудное дело с корзиночной мастерской. Все здешние бедняки покупали в Гренобле плетенки для сыра и корзины, необходимые для их жалкой торговли. Я надоумил одного сметливого малого арендовать порядочный участок земли по берегу реки, ежегодно обогащаемый наносами,— там отлично должен был расти ивняк. Прикинув, сколько корзиночных изделий потребляется в селении, я отправился в Гренобль — подыскать какого-нибудь искусного молодого корзинщика, сидящего без гроша, нашел такого человека и уговорил его поселиться здесь, обещая оплачивать ему стоимость ивняка, нужного для производства, до той поры, пока его не станет снабжать прутьями предприимчивый хозяин ивовых насаждений. При этом я убедил его продавать корзины подешевле, чем в Гренобле, а выделывать получше. Он понял меня. Так выросла торговля ивняком и корзинами, и плоды ее были оценены лишь четыре года спустя,— вы, вероятно, знаете, что следует срезать только трехлетние лозы. Первый этап прошел благополучно, материала у моего корзинщика было в избытке. Вскоре он женился на крестьянке из Сен-Лоран-де-Пон, у нее водились кое-какие деньги. Он тут же выстроил себе хороший дом, позаботившись, чтобы в нем было много света и воздуха, по моим советам выбрал место и наметил внутреннее расположение.

Вот когда я восторжествовал, сударь! Ведь я положил

начало промышленности в селе, я привел хозяина производства, а с ним и мастеровых. Вы сочтете мою радость ребячеством? Признаюсь, сударь, что первые дни после того, как корзинщик обосновался на новом месте, я всякий раз, проходя мимо его мастерской, чувствовал, что сердце у меня бьется учащенно. Стоило только мне увидеть новенький дом с зелеными ставнями, у дверей— скамью, виноградные лозы и вязанки ивовых прутьев, а в доме — опрятную, хорошо одетую женщину, кормившую здоровенького, пухлого, розовощекого младенца, увидеть мастеровых, которые с шутками и песнями проворно плели корзины под надзором человека, еще недавно бедного, измученного, а сейчас словно излучавшего счастье, тогда, не скрою от вас, я не мог устоять, на мгновение сам словно превращался в корзиночного мастера, входил в мастерскую, справлялся, как идут дела, и это доставляло мне неописуемое удовольствие. Радовался я и чужой и своей радостью. Дом первого крепко уверовавшего в меня человека стал моим оплотом. Ведь это было будущим бедного края, помыслы о котором я лелеял, как жена корзинщика — своего первенца. Мне предстояло взяться сразу за множество дел, преодолеть много предрассудков. Я встретил жесточайшее сопротивление,— разжигал его безграмотный мэр, чье место я занял и чье влияние стушевалось перед моим. Я хотел превратить его в своего помощника и соучастника моей полезной деятельности. Да, сударь, этого тугодума, самого неподатливого из всех, я решил просветить в первую очередь. Мне тут помогло его честолюбие и понимание своей выгоды. Целых полгода мы вместе обедали, и я отчасти раскрыл ему свои планы улучшения жизни кантона. Многие увидели бы в этой вынужденной дружбе весьма докучную сторону моей задачи, но ведь этот человек был для меня ценнейшим орудием! Горе тому, кто с небрежением отнесется к своему долгу или беспечно отмахнется от него. Я был бы непоследователен, если бы, стремясь улучшить жизнь в этом крае, отступил перед мыслью сделать лучше и человека. Прежде всего надо было проложить проезжую дорогу. Это сразу же привело бы к благосостоянию. И если бы мы добились от муниципального совета разрешения на постройку хорошей дороги — отсюда до Гренобльского тракта,— то первым бы выиграл

мой помощник; ему больше не пришлось бы платить втридорога, чтобы переправлять бревна по непроходимым тропам, он без труда перевозил бы их по нашей удобной дороге, торговал бы лесом всех сортов и получал бы не каких-нибудь там шестьсот франков в год, а кругленькие суммы и со временем скопил бы порядочное состояние. В конце концов он сдался и стал моим приверженцем. Всю зиму бывший мэр ходил по кабачкам, выпивал с приятелями и умудрился втолковать нашим подопечным, что удобная проезжая дорога станет источником богатства для всего края и позволит каждому торговать с Гренобле́м. Когда муниципальный совет дал согласие на проведение дороги, я добился от префекта денег из департаментского фонда вспомоществования, чтобы оплатить перевозку материалов,— сама община не могла осилить это: телег недоставало. Ну и, наконец, чтобы поскорее завершить работы, чтобы плоды их сразу же были оценены невеждами, которые клеветали на меня, уверяя, будто я собираюсь возродить барщину, мне пришлось в первый год своего управления и силой и уговором заставлять в воскресные дни жителей поселка — женщин, и детей, и даже стариков—работать на горе: там, по отличному грунту, я вехами наметил дорогу, которая ведет ныне из нашей деревни к Гренобльскому тракту. По счастью, под рукой было вдоволь нужного материала. Долго шли работы, начинание это потребовало от меня немало терпения. Одни, не зная закона, уклонялись от натуральной повинности, а те, кому не хватало хлеба, в самом деле не могли терять и дня; приходилось наделять хлебом одних, дружеским словом увещевать других. Зато когда мы закончили две трети дороги протяженностью почти в два лье, жители воочию увидели ее преимущество и последнюю треть достроили с редкостным рвением. В заботах о будущем богатстве общины я насадил двойной ряд тополей вдоль придорожных канав. Даже теперь деревья эти — целое состояние, кроме того, они придают нашей дороге вид государственного тракта, на ней всегда сухо,— так она удобно расположена, сделана же так прочно, что содержание ее не стоит и двухсот франков в год. Я вам покажу ее, вряд ли вы ее видели: наверное, приехали сюда по другой — по красивой дороге, проложенной пониже, которую сами жители за-

думали провести три года назад, чтобы наладить сообщение с выселками, тогда еще строившимися в долине. Итак, сударь, три года назад здравый смысл помог жителям селения, до той поры совсем темным, усвоить такие понятия, которые на пять лет раньше какой-нибудь приезжий отчаялся бы вдолбить им в голову. Но слушайте дальше. Предприятие моего корзинщика подало благой пример всему бедному люду. Хотя дорога и была первоосновой будущего процветания поселка, но надлежало дать толчок и ряду самых насущных промыслов, чтобы развить эти два зачатка благоденствия. Продолжая поддерживать и хозяина ивовых насаждений и корзинщика, помогая строить дороги, я исподволь шел к своей цели. У меня было две лошади, а у торговца лесом, моего помощника,— три, подковать их он мог только в Гренобле, бывая там наездами; и вот я подговариваю кузнеца, понимающего кое-что в ветеринарном искусстве, переехать к нам, обещаю, что работы у него будет вдоволь. В тот же день встречаю отставного солдата, попавшего в затруднительное положение,— все его состояние заключалось в ста франках пенсии; он был грамотен, и я предоставил ему место секретаря мэрии; мне удалось найти ему жену, и его мечты о счастье сбылись. Для этих двух молодых семейств, для корзинщика и двадцати двух хозяйств, переселившихся из деревни, где жили кретины, надобны были дома. И у нас поселилось еще семейств двенадцать: семьи мастеровых, производителей и потребителей, каменщиков, плотников, кровельщиков, столяров, слесарей, стекольщиков; работы им хватило надолго,— построив дома другим, они решили обзавестись собственным жильем. К тому же они привели с собой рабочих. За второй год моей деятельности в общине выросло семьдесят домов. Одно производство требовало другого. Я заселял наш край, создавал новые потребности, неизвестные до той поры беднякам-жителям. Спрос порождал промышленность, промышленность — торговлю, торговля — прибыль, прибыль — благосостояние, а благосостояние— полезные замыслы. Мастеровым нужен был готовый хлеб, и у нас появился пекарь. Население, с которого мне удалось стряхнуть позорную лень, ставшее таким деятельным, не желало больше питаться одной гречихой; я ведь застал то время, когда жители ели хлеб

из гречи, а мне хотелось перевести их сначала на рожь или мешаное зерно — рожь с пшеницей, а затем, в один прекрасный день, увидеть каравай белого хлеба у самых неимущих. По-моему, умственное развитие целиком зависит от того, создаются ли здоровые условия жизни. Мясник, появившийся в селении,— предвестник и умственного расцвета и зажиточности. Кто работает, тот ест, а кто ест — мыслит. Предвидя день, когда сеять пшеницу станет у нас необходимостью, я тщательно изучил свойства почвы и убедился, что выведу селенье на путь сельскохозяйственного процветания и удвою число жителей, лишь только они примутся за работу. И эта пора настала. Гренобльцу — господину Гравье — принадлежали в нашей общине земли, не приносившие ему никакого дохода, а их можно было отвести под пшеницу. Он, как вам известно, начальник отделения в префектуре. Из любви к своему краю, а также уступая моей настойчивости, он и раньше любезно шел мне навстречу; теперь же я доказал ему, что его старания окупятся сторицею. Несколько дней прошло в хлопотах, совещаниях, рассмотрении смет; я обязался обеспечить своим состоянием предприятие, и как ни отговаривала господина Гравье его жена, особа косная, он согласился построить у нас четыре фермы — каждая по сто арпанов, пообещав выдать вперед деньги на распашку нови, на покупку семян, земледельческих орудий, скота и на проведение дорог. Я тоже выстроил две фермы, отчасти ради того, чтобы обработать свои пустопорожние земли, а отчасти, чтобы наглядно обучить население полезным методам современного сельского хозяйства. За полтора месяца число жителей у нас увеличилось на триста человек. Шесть ферм, где собиралось поселиться несколько семейств, распашка больших участков целины, возделывание полей — все это требовало рабочих рук. Со всех сторон стекались колесники, землекопы, подмастерья, поденщики. Гренобльскую дорогу запрудили телеги, сновавшие взад и вперед. Весь кантон пришел в движение. Приток денег вызвал у всех желание обогатиться, безразличия как не бывало, поселок пробуждался к жизни. В двух словах доскажу вам про господина Гравье, одного из здешних благодетелей. Несмотря на недоверчивость, свойственную провинциалу и чиновнику, он положился на мои обещания и выдал

вперед сорок тысяч франков, не зная, вернутся ли к нему эти деньги обратно. Теперь каждая ферма приносит ему тысячу франков арендной платы, а фермеры так хорошо наладили дело, что у каждого по крайней мере арпанов сто земли, голов триста овец, по двадцать коров, по десять волов да по пяти лошадей; на каждой ферме нанимают человек по двадцать батраков. Дальше. На четвертый год фермы были готовы. С наших земель собрали такой обильный урожай хлеба — иначе и не могло быть на девственной почве,— что он показался просто чудом местным жителям. Ну, а мне в тот год пришлось не раз дрожать за свое дело. Случись дожди или засуха, и пропали бы все мои труды, поколебалось бы то доверие, которое мне удалось завоевать. Когда мы стали собирать хлеб, нам понадобилась мельница, и, как видите, мы ее построили,— она приносит мне около пятисот франков прибыли в год. Поэтому-то крестьяне и говорят, что я *везучий*, и верят в меня как в святыню. Новые сооружения, фермы, мельница, насаждения, дороги — все это дало работу мастеровым, которых я уговорил к нам переехать. Правда, те шестьдесят тысяч, которые мы затратили, пошли на всякие постройки, но деньги свои мы с лихвой вернули благодаря доходам, созданным потреблением. Я прикладывал немало усилий, чтобы оживлять нарождавшиеся промыслы и торговлю. Так, я предложил садовнику — знатоку в разведении молодых деревьев — поселиться в нашем поселке и убедил крестьян-бедняков насадить плодовых деревьев, чтобы в один прекрасный день взять в свои руки всю торговлю фруктами в Гренобле. «Вот вы возите туда сыр,— говорил я им,— а почему бы не возить и домашнюю птицу, овощи, дичь, сено, солому и все прочее!» Советы мои являлись источником богатства для тех, кто им следовал. Таким образом, создалось множество мелких промысловых хозяйств, вначале они развивались медленно, но со дня на день преуспеяние их все возрастало. Теперь по понедельникам из селения в Гренобль выезжает телег шестьдесят, нагруженных всякой снедью, а на корм домашней птице собирается гречихи больше, нежели раньше засевалось ее для людей. Торговля лесом разрослась и распалась на разные отрасли. С четвертого года нашей промышленной эры к нам явились лесоторговцы — за дро-

вами, за строительным лесом, за досками, корьем, за углем. Построено было четыре новых лесопилки для теса и балок. Бывший мэр приобрел кое-какие торговые навыки и понял, что грамоте выучиться необходимо. Он занялся сравнением цен на лес в ряде местностей и, обнаружив разницу в свою пользу, расширил круг покупателей, и сейчас в его руках — треть лесных поставок всего департамента. Перевозочных средств у нас стало так много, что в селении работают три каретника и два шорника, а у каждого не меньше трех подмастерьев. И наконец, нам нужно столько инструментов, что к нам переехал кузнец и живется ему здесь превосходно. Стремление к прибыли дает толчок предприимчивости, она-то и побудила сельских промышленников распространить свое влияние на кантон, а из кантона на весь департамент и, расширив торговлю, увеличить барыши. Стоило мне только слово сказать о новых рынках, как здравый смысл довершил остальное. Прошло четыре года, и облик селения изменился. Раньше, бывало, проходишь по селу и не слышишь ни звука, а на пятом году все встрепенулось, все ожило. Веселые песни, шум мастерских, глухой или резкий рокот станков ласкали теперь мой слух. Жители сновали по улицам нового, чистенького, оздоровленного поселка, засаженного деревьями. Каждый видел эти благодетельные перемены, и на всех лицах было написано удовлетворение, которое дает нам жизнь, занятая полезным делом.

— Эти пять лет, по-моему, являются первым периодом зажиточной жизни нашего селения,— снова начал доктор, помолчав.— За эти годы я поднял всю целину, все ожило — и умы и поля. И с того времени благосостояние населения и развитие промышленности все возрастало. Подготовлялся второй период. Маленькому нашему мирку захотелось приодеться. У нас появился галантерейщик, а за ним — сапожник, портной, шляпочник. Начало изобилия дало нам мясника, бакалейщика; появилась акушерка, помощь которой стала мне необходима, потому что я терял немало времени, принимая новорожденных. Со вспаханной целины был снят великолепнейший урожай. Отменному качеству наших сельскохозяйственных продуктов способствовало удобрение и унавоживание, а этим мы обязаны увеличению стада, вследст-

вие прироста населения. Мое дело отныне могло широко развиваться. Я оздоровил жилища, постепенно приучил жителей лучше питаться, лучше одеваться, я приложил все усилия к тому, чтобы начатки цивилизации отразились и на скотоводстве. Породистость и качество скота, а значит, и качество продуктов зависят от ухода; я стал ратовать за оздоровление хлевов. Доказав путем сравнения, что чем лучше содержится скот, чем лучше его кормить, тем больше от него барыша, я исподволь заставил крестьян заботливо обращаться с животными, и скот в общине перестал болеть. Коров и быков теперь держали в чистоте, прямо как в Швейцарии и Оверни. Овчарни, конюшни, хлева, погреба, амбары были переделаны по образцу просторных, хорошо проветриваемых и, следовательно, удобных хозяйственных построек, какие были у меня и у господина Гравье. Арендаторы стали первыми проповедниками моих идей, они сразу обращали людей недоверчивых на путь истинный, наглядно доказывая, как благотворны мои советы и как быстро они дают плоды. Неимущих я ссужал деньгами, особенно покровительствовал нуждавшимся ремесленникам: они служили благим примером. По моему совету скот с изъянами, хилый или даже среднего качества был продан, и его заменили образцовым скотом. Поэтому-то наши продукты через определенное время взяли на рынках верх над продуктами других общин. У нас появились великолепные стада, а следовательно, и хорошая кожа. Все это имело очень большое значение. И вот почему: в сельском хозяйстве всякий пустяк важен. Прежде наше корье продавалось по дешевке, да и кожи ценились невысоко, но вот улучшились свойства коры и кожи, мы выстроили у реки дубильный завод, и к нам теперь стекались дубильщики, промысел их стремительно развивался. Само собой получалось, что вино, о котором прежде понятия не имели в селении, где пили какую-то кислую бурду, стало потребностью: появились кабачки. Ну, а потом кабачок, выстроенный прежде других, расширился, превратился в постоялый двор, и путешественники нанимают там мулов — по нашей дороге теперь ездят в Гранд-Шартрез. Вот уже два года, как у нас настолько оживилась торговля, что стало прибыльно содержать два постоялых двора. В начале второго периода нашего процветания умер

мировой судья. Его преемником, к большому нашему счастью, оказался бывший гренобльский нотариус, разорившийся на неудачной сделке, но сохранивший кое-какие деньжонки: достаточно, чтобы в деревне слыть богачом; господину Гравье удалось уговорить его перебраться сюда, он обзавелся у нас хорошим домом и в своей деятельности пошел по моему пути: построил ферму, вспахал земли, поросшие вереском, сейчас у него в горах три дачки. Семейство у него многочисленное. Он уволил старого письмоводителя и судебного исполнителя и заменил их людьми более образованными, а главное, более предприимчивыми. Семьи новоселов построили винокурню, где перегоняется спирт из картофеля, и шерстомойню — весьма доходные предприятия, которыми руководят главы двух этих семейств, продолжая выполнять свои служебные обязанности. Я способствовал притоку средств в общину, и никто не чинил мне препятствий, когда я затеял постройку мэрии,— там я устроил бесплатную школу и поселил школьного учителя. Выбрал я для выполнения этого важнейшего дела бедняка-священника, присягнувшего революции и за это отверженного всем департаментом, а у нас на старости лет он нашел пристанище. Учительница наша — почтенная, разорившаяся женщина, которая не знала, куда приклонить голову; мы помогли ей сколотить состояньице, и недавно она основала пансион для девиц — дочерей богатых окрестных фермеров. Ежели, сударь, до сих пор я имел право рассказывать вам о своей роли в истории этого уголка земли, то настало время сказать, что возрождение общины — наполовину дело рук господина Жанвье, нового кюре, истинного Фенелона в границах сельского прихода: он сумел смягчить местные нравы, внести тот дух братства, который сплачивает население как бы в одну семью. Господин Дюфо — мировой судья — тоже заслуживает благодарности жителей, хотя он и позже переехал сюда. Словом, чтобы вы по цифрам, более убедительным, нежели все мои разглагольствования, увидели, как обстоят у нас дела, скажу, что у общины сейчас двести арпанов леса и сто шестьдесят арпанов лугов. Она платит сто экю дополнительного жалованья кюре, двести франков сельскому сторожу, столько же школьному учителю и учительнице; пятьсот франков уходит у нее на починку дороги,

столько же на содержание мэрии, церковного дома и самой церкви и на всякие другие издержки, при этом не приходится взимать с жителей добавочный налог. Лет через пятнадцать у общины будет тысяч на сто франков леса под вырубку, и удастся вносить всю сумму налогов и не брать при этом у жителей ни единого денье; безусловно, она станет одной из богатейших общин Франции. Да не наскучил ли я вам, сударь? — спросил Бенаси, подметив на лице Женеста задумчивое выражение, которое можно было счесть за рассеянность.

— Нет, что вы! — отозвался офицер.

— Торговля, промышленность, сельское хозяйство и наше потребление имели, сударь, всего лишь местное значение,— продолжал доктор.— На определенной ступени процветание наше неизбежно приостановилось бы. Правда, мне удалось открыть у нас почту и торговлю табаком, порохом и картами; удалось прельстить приятностью здешней местности и жизни среди нашего нового общества сборщика податей, и он перебрался сюда из той общины, где до сих пор предпочитал жить; удалось вовремя создать у нас производство тех предметов, потребность в которых я пробуждал; удалось привлечь к нам целые семьи новоселов-ремесленников, внушить им стремление обзавестись собственностью; как только у людей появлялись деньги — вспахивалась целина, пашни мелких землевладельцев постепенно заполонили склоны горы, каждый клочок земли возделывался. В начале моей деятельности бедняки пешком ходили в Гренобль и носили туда головки сыра, теперь же они отправлялись туда на повозках — отвозили фрукты, яйца, цыплят, индюшек. Преуспеяние незаметным образом росло. Самым необеспеченным считался теперь тот, кто владел только садом и огородом, выращивал фрукты и ранние овощи. И вот еще признак процветания: у нас уже никто не выпекал хлеб дома, чтобы не терять времени, а стада пасли малые дети.

Однако, сударь, промышленный очаг приходилось раздувать, беспрерывно подбрасывая топливо. Промышленность в селении еще не так расцвела, чтобы завязалась обширная торговля товарами, заключались крупные сделки, появились склады, рынок. Недостаточно сохранять в стране тот денежный запас, каким она обладает

и который образует ее капитал; нельзя увеличить ее благосостояние, более или менее искусно пропуская эту сумму через возможно большее число рук путем взаимодействия производства и потребления. Задача не в этом. Если в стране доходы крупные, а производство находится в равновесии с потреблением, то, чтобы возникли новые частные капиталы и увеличилось общественное богатство, надобно заняться вывозом и ввозом и тем самым добиться постоянного актива в ее торговом балансе. Мысль эта вечно побуждала государства, не имевшие достаточной земельной базы, например Тир, Карфаген, Венецию, Голландию и Англию, овладевать внешними рынками. Я старался натолкнуть и наш маленький мирок на подобную же мысль, чтобы положить начало третьему торговому периоду. Благоденствие наше было едва приметно для взгляда путешественника, ибо центр нашего кантона похож на всякий другой, оно поражало меня одного. Население выросло постепенно и не могло судить о целом, ибо само участвовало в развитии края. Семь лет спустя я повстречал двух чужеземцев — истинных благодетелей нашего селения, которые, пожалуй, превратят его в город. Один из них — тиролец, у него все спорится в руках,— он шьет башмаки на крестьян и такую обувь на гренобльских франтов, какой не сделал бы ни один парижский сапожник. Этот бедный странствующий ремесленник — из тех трудолюбивых немцев, творцов и исполнителей, которые создают и произведения и инструменты,— остановился в нашем селении на обратном пути из Италии; он обошел ее вдоль и поперек, работая и распевая. Он спросил, не нужна ли кому-нибудь обувь, его послали ко мне, и я заказал ему две пары сапог, причем колодки сделал он сам. Я был изумлен сноровкой чужеземца, расспросил его, и мне понравились его четкие и краткие ответы, его обращение и наружность — словом, все в нем подтверждало то хорошее впечатление, которое он произвел с первого взгляда; я предложил ему остаться в селении, обещал всеми силами содействовать его работе и в самом деле предоставил в распоряжение тирольца довольно крупную денежную сумму. Он согласился. У меня были свои замыслы. Выделка кож у нас улучшилась, и спустя некоторое время можно было пустить их на изготовление недорогой обуви у себя

же в кантоне. А я собирался было расширять производство корзин. Случай столкнул меня с человеком на редкость ловким и искусным, я стал уговаривать его, чтобы он помог мне создать в селении доходную и устойчивую торговлю. Спрос на обувь никогда не прекратится, и потребитель сейчас же оценит всякое улучшение в ее выделке. На счастье, сударь, я не ошибся. Теперь у нас пять кожевенных заводиков, туда для выделки поступают кожи со всего департамента; наши промышленники, чтобы раздобыть кожу, иногда добираются вплоть до Прованса; на каждом заводе производится и дубильное вещество. И, знаете ли, сударь, дубильщики не успевают поставлять кожу тирольцу: у него занято чуть не сорок мастеровых! Другой пришелец — простой крестьянин, похождения которого не менее любопытны, но вам, пожалуй, наскучит их слушать; он придумал дешевый способ выделки широкополых шляп, излюбленных в здешних местах; сейчас он вывозит шляпы во все соседние департаменты, вплоть до Швейцарии и Савойи. Оба производства могут быть неиссякаемым источником процветания, если нам и в дальнейшем удастся сохранить высокое качество и низкую стоимость товара,— они-то и навели меня на мысль устраивать у нас три ярмарки в год; префект, пораженный преуспеянием промышленности в нашем кантоне, помог мне добиться королевского повеления, которым они и были учреждены. В прошлом году состоялись все три ярмарки; слух о них дошел до самой Савойи,— они известны там под названием обувных и шляпочных ярмарок. Узнав о переменах в нашем крае, старший клерк одного гренобльского нотариуса, бедный, но образованный и трудолюбивый молодой человек, нареченный мадемуазель Гравье, поехал в Париж ходатайствовать об открытии нотариальной конторы; его просьба была удовлетворена. Покупать патент на контору ему не пришлось, и это дало ему возможность построить в новом поселке дом на площади, против мирового судьи. Теперь у нас еженедельно бывает базар, там заключаются довольно крупные сделки на скот и хлеб. В будущем году у нас, без сомнения, поселится аптекарь, затем часовщик, торговец мебелью, книгопродавец и, наконец, торговцы предметами роскоши, без которых не обойтись. Пожалуй, мы заживем по-городскому, и у нас появятся

городские дома. Просвещение шагнуло так далеко, что никто не противился, когда я предложил общинному совету подновить и украсить церковь, выстроить дом для священника, разбить обширную ярмарочную площадь, насадить вокруг нее деревья и установить черту, за которую не должны выступать фасады новых домов,— чтобы у нас были светлые, широкие, отменно проложенные улицы. Вот, сударь, каким образом у нас появилось тысяча девятьсот домов вместо ста тридцати семи, три тысячи голов рогатого скота вместо восьмисот и две тысячи душ населения вместо семисот, а считая жителей долины — и все три тысячи. В общине насчитывается двенадцать богатых семейств, сто состоятельных и двести зажиточных. Остальные трудятся. Грамотны все. Кстати — у нас семнадцать подписчиков на различные газеты. Вы еще встретите немало бедняков у нас в кантоне, их, на мой взгляд, даже слишком много, но подаяния никто не просит — работа всем находится. Теперь я за день чуть не загоняю двух лошадей, навещая больных. В любой час разъезжаю я на пять лье в окружности — опасность мне не грозит: всякого, кто вздумал бы выстрелить в меня, мигом бы прикончили. Молчаливая привязанность жителей — вот все, что лично я получил от этих перемен, не говоря о том, как мне бывает приятно, когда, проходя мимо жителей, я слышу их радостные приветствия: «Здравствуйте, господин Бенаси!» Вы понимаете, что богатство, которое я помимо собственной воли нажил на своих образцовых фермах, для меня — средство, а не цель.

— Если бы, сударь, повсюду следовали вашему примеру, Франция стала бы великой страной и ей не было бы дела до Европы! — восторженно воскликнул Женеста.

— Да что это я целых полчаса держу вас здесь,— промолвил Бенаси,— совсем стемнело, пойдемте к столу.

Из каждого этажа докторского дома в сад выходит по пяти окон. Дом двухэтажный, под черепичной кровлей с выступающей вперед мансардой. Ставни, выкрашенные в зеленый цвет, резко выделяются на сероватом фоне стен, а вместо лепных украшений между этажами вьются виноградные лозы, они протянулись от угла до угла наподобие фриза. Внизу, прижавшись к стене, чахнут кусты бенгальской розы, в дождь их заливает с крыши,

так как нет водосточных труб. Если войти с парадного хода, то направо от лестничной площадки, служащей передней, будет гостиная в четыре окна, смотрят они и во двор и в сад. В гостиной этой, о которой, как видно, немало пекся покойный хозяин, потратив на нее немало своих сбережений,— паркетный пол, стены обшиты деревянными панелями, а вверху обиты тканными шпалерами позапрошлого века. Большие глубокие кресла, крытые китайским шелком в цветах, старинные вызолоченные подсвечники, украшающие камин, и занавеси с пышными кистями — все говорило о том, что священник жил в достатке. Бенаси дополнил убранство комнаты, не лишенное своеобразия, двумя деревянными консолями в резных гирляндах, поставленными в простенках между окнами, и часами в черепаховом футляре с медной инкрустацией, которые красовались на камине. Доктор редко заходил в эту комнату, воздух в ней был затхлый, как всегда в запертых помещениях. Там застоялся крепкий запах табака, напоминавший о покойном кюре, казалось, запах этот шел из уголка, возле камина, где любил сиживать кюре. Два больших кресла с подушками стояли друг против друга у камина, где огонь не разводился со дня отъезда Гравье, сейчас же там ярко пылали еловые дрова.

— По вечерам еще холодновато,— заметил Бенаси.— Приятно погреться у камелька.

Женеста задумался, стараясь объяснить себе, почему доктор так беспечно относится к обычным житейским мелочам.

— Сударь,— сказал он,— у вас душа истинного гражданина, и удивительно, что, совершив многое, вы не попытались просветить и правительство.

Бенаси тихонько засмеялся грустным смехом.

— Написать докладную записку о способах цивилизовать Францию, не так ли? Мне это предлагал и господин Гравье. К сожалению, правительство не просветишь, и меньше всех способно просветиться правительство, воображающее, что оно распространяет просвещение. То, что мы здесь сделали, разумеется, надлежало бы сделать всем мэрам для своих кантонов, всем городским магистратам для своих городов, помощникам префекта для своего округа, префекту — для департамента, министру — для

Франции,— каждому в пределах поля его деятельности. Я уговорил проложить дорогу длиною в два лье, а другие могли бы провести тракт, проложить канал; я поощряю производство крестьянских шляп, а министр мог бы избавить Францию от засилья иностранной промышленности, поощрив, скажем, производство часов, содействуя улучшению качества нашего чугуна, стали, доменных печей, изделий наших прокатных станов и разведению шелковичных червей, выращиванию синили. Поощрение в торговом деле — еще не покровительство. Тут правильная политика должна быть устремлена на то, чтобы страна не зависела от иностранных держав, но без постыдного барьера таможен и запретительных систем. Промышленность можно спасти только при ее же помощи: конкуренция — это жизнь ее. Покровительственные меры ее усыпляют; монополия и заградительные тарифы — для нее смерть. Та страна, которая объявит свободу торговли, превратит все другие страны в своих данников и почувствует в себе такую промышленную мощь, что ей удастся поддерживать более низкие цены на товары, чем у конкурентов. Франция достигла бы этой цели гораздо легче, нежели Англия, ибо наша страна владеет достаточно большой территорией, чтобы удержать стоимость сельскохозяйственных продуктов на том уровне, который соответствует понижению заработков, выплачиваемых в промышленности; вот к чему должно стремиться французское правительство, в этом заключается злободневность вопроса. Да, милостивый государь, исследование такого рода не было целью моей жизни; задача, которой я так поздно посвятил себя, встала передо мной случайно. Все это материя немудреная, из нее не создашь науки, нет в ней ничего поражающего, никаких теоретических глубин; на свою беду, она просто-напросто полезна. И быстро дело не делается, хочешь добиться успеха в этой области, каждое утро находи в себе запас редчайшего терпения,— хотя со стороны кажется, что оно тебе ничего не стоит,— терпения педагога, беспрестанно повторяющего одно и то же, терпения плохо вознаграждаемого. Мы с уважением относимся к человеку, который, как вы, пролил кровь на поле брани, но презираем тех, кто день за днем растрачивает силы жизни, повторяя одни и те же слова детям одного и

того же возраста. Творить добро негласно никого не соблазняет. По сути дела, у нас нет той гражданской добродетели, которая побуждала великих людей древности, когда им не надо было предводительствовать, становиться и в последние ряды, лишь бы оказать услуги родине. Болезнь нашего времени — самомнение. Святых больше, чем алтарей. И вот почему. Вместе с монархией мы потеряли *честь*, с религией наших отцов — *христианскую добродетель*, с бесплодными опытами управления государством — *патриотизм*. Устои эти частично существуют и поныне, ибо идеи не гибнут, но в наши дни они не воодушевляют людей. В наши дни есть только одна опора для поддержки общества — *эгоизм*. Каждый верует лишь в себя. Будущее — это человек, служащий обществу; выше этого мы ничего не видим. Великий человек, который спасет нас от падения в пропасть, куда мы скатываемся неудержимо, воспользуется, несомненно, даже индивидуализмом, чтобы обновить нацию; но, до этого обновления, мы живем в век материальных интересов и расчета. Слова эти у всех на языке. Нас расценивают не по нашим достоинствам, а по нашему положению. Деятельным человеком из народа пренебрегают. Взгляд этот проник в самое правительство. Министр посылает грошовую медаль моряку, который, рискуя своей жизнью, спас не одну душу, а депутата, продавшего свой голос, господин министр награждает орденом Почетного легиона. Горе стране, где царят такие порядки! Нации так же, как и люди в отдельности, черпают силу лишь в высоких чувствах. Чувства народа — это и есть его верования. А у нас вместо верований — жажда наживы. Когда каждый думает только о себе, верит только в себя, встретишь ли подлинное гражданское мужество? Ведь первое условие этой добродетели заключается в отречении от самого себя. Гражданское мужество и мужество военное проистекают из одного начала. Вы призваны сразу отдать свою жизнь, наша же уходит по капле. И тут и там одна и та же борьба, но в иных формах. Недостаточно иметь благие намерения; чтобы внести цивилизацию в самый заброшенный уголок земли, надобно быть образованным; но даже образование, честность и любовь к отечеству не помогут тебе, если нет твердой воли, которой ты обязан вооружиться, чтобы отречься от

корыстных интересов, посвящая себя выполнению задач, полезных обществу. Конечно, во Франции найдется не один образованный человек, не один патриот на каждую общину, но я уверен, что не во всяком кантоне встретишь человека, который бы соединял с этими ценными качествами целеустремленность и упорство кузнеца, кующего железо. Человек разрушающий и человек созидающий — вот два полюса воли: один подготовляет, другой заканчивает дело; первый проявляет себя как злой гений, второй кажется гением добрым, одному — слава, другому — забвение. У зла громовой голос, который пробуждает низменные души, наполняет их восторгом, добро же долгое время безгласно. Человеческое честолюбие избрало наиболее выигрышную роль. Поэтому дело мира, выполняемое без тайной мысли о собственной выгоде, будет у нас явлением случайным до той поры, пока образование не изменит французские нравы. Когда же нравы изменятся, когда все мы станем настоящими гражданами, не сделаемся ли мы, невзирая на все блага повседневной жизни, самым скучным, самым скучающим, самым бездарным, самым несчастным народом на земном шаре? Мне не дано разрешать столь важные вопросы, ибо я не стою во главе государства. Помимо всего прочего, правительству трудно иметь правильные взгляды вот по каким причинам: в деле цивилизации, сударь, все относительно. Идеи, пригодные в одной стране, гибельны для другой, и в умах не меньше разнообразия, чем в местностях. У нас такое множество неудачных правителей лишь оттого, что способность управлять — призвание, проистекающее из чувства, весьма возвышенного, весьма чистого. В данном случае гениальность порождается душевным складом, а не познаниями. Никому не оценить ни действий, ни мыслей правителя — истинные судьи находятся вдали от него, а плоды деяний еще дальше. И всякий без опасений может выдать себя за правителя. Мы, французы, легко подпадаем под обаяние человеческого ума и проникаемся великим почтением к людям, богатым идеями, но идеи мало значат там, где нужнее всего воля. Наконец, управление страной заключается не в том, чтобы навязывать людям более или менее правильные представления или методы действия, а чтобы во имя общего блага направлять и плохие и хо-

рошие их представления в нужную сторону. Если отсталость и косность выведут страну на плохую дорогу, то сам народ отречется от своих ошибок. Всякая ошибка в сельском хозяйстве, в политической или семейной жизни влечет за собой потери, поэтому ее исправляют в конце концов ради собственных же выгод. К великому счастью, здесь я нашел подлинную целину. Благодаря моим советам хорошо возделаны поля; но ведь в сельском хозяйстве не было вредных навыков, да и земли были хороши; поэтому я без труда ввел пятипольное хозяйство, искусственное орошение лугов, культуру картофеля. Моя сельскохозяйственная система не затронула ничьих предрассудков. Тут даже не пользовались обыкновенной сохой, как в иных частях Франции; полевых работ было мало, и обходились мотыгой. Тележному мастеру выгодно было восхвалять введенные мной колесные плуги, чтобы сбыть свои изделия, и он поневоле стал моим помощником. В этом деле, как и всегда, я старался сочетать интересы одних с интересами других. Затем от производства продуктов, которые приносили непосредственную пользу здешним беднякам, я перешел к производству того, что увеличило их благосостояние. Я ничего не внес сюда извне, а только способствовал вывозу, чтобы обогатить жителей и чтобы они сразу увидели, как это им выгодно. Все они, сами того не подозревая, стали благодаря плодам своих трудов проповедниками моих идей. Еще одно соображение. Гренобль от нас всего лишь в пяти лье, а вблизи большого города сбыт изделиям всегда найдется. Не все общины лежат неподалеку от больших городов. В каждом случае надо принимать во внимание дух края, его местоположение, его возможности, надобно изучить почву, людей и то, чем они живут, а не думать о разведении виноградников в Нормандии. Поэтому-то ничто так не видоизменяется, как принципы управления,— тут общих правил мало. Закон единообразен, а нравы, земельные угодья и умы — нет, и управление страной — это искусство применять законы, не нанося ущерба людским интересам и помня о местных условиях. По ту сторону горы, у подножия которой стоит покинутая нами деревня, земли нельзя обрабатывать колесным плугом: слой почвы недостаточно глубок; когда бы мэр той общины вздумал подражать

нашему способу земледелия, то разорил бы своих подчиненных; я посоветовал ему разводить виноградники; в прошлом году тамошние жители собрали великолепный урожай винограда и меняют вино на наш хлеб. Главное, что люди, которых я поучал, стали мне доверять, мы постоянно поддерживали связь. Я исцелял крестьян от болезней, которые так легко поддаются исцелению; в самом деле, все сводилось к тому, чтобы вернуть им силы, дав питательную пищу. Из бережливости или по бедности крестьяне питаются до того скудно, что недуги их проистекают от недоедания, вообще же здоровье у них неплохое. Когда я безоговорочно решил начать подвижническую и безвестную жизнь, то долго колебался, не зная, кем стать,— кюре, сельским врачом или мировым судьей. Недаром, сударь, народная мудрость объединяет трех этих людей в черном — священника, законника и лекаря; один врачует изъяны души, другой — кошелька, а третий — плоти; они представляют собою три основных жизненных устоя общества: совесть, имущество, здоровье. Некогда первый, а затем второй воплощали в себе все государство. Наши предшественники на земле думали — пожалуй, и справедливо,— что священник, владычествуя над помыслами, должен стать единой правящей властью; он и был тогда королем, первосвященником и судьей; но в те времена все зиждилось на вере и совести. Ныне все изменилось, и мы должны принять наше время таким, каково оно есть. Как хотите, но я верю, что рост просвещения и благосостояния страны зависит от этих трех лиц, они — три вида власти, благодаря коим народ непосредственно ощущает влияние действий, интересов, принципов, а те, в свою очередь, являются тремя важнейшими следствиями событий, собственности и идей. Время идет и приносит перемены; увеличивается или уменьшается собственность, в зависимости от этих разнообразных изменений надо все и налаживать — отсюда основы порядка. Чтобы цивилизовать край, положить начало промышленности, надо разъяснить населению, когда личные интересы совпадают с интересами национальными, которые выражаются в действиях, материальных интересах и принципах. И вот мне представлялось, что три профессии, неизбежно соприкасающиеся с этими сторонами общественной жизни, в наше время должны стать

величайшими рычагами цивилизации; только они всегда дают возможность честному человеку по-настоящему улучшать судьбу нуждающихся классов, с которыми представители этих профессий постоянно связаны. Но крестьянин охотнее внемлет человеку, прописывающему лекарство для спасения плоти, нежели священнику, толкующему о спасении души; один может говорить с крестьянином о земле, которую тот обрабатывает, другой принужден вести с ним беседы о небе, до которого тому теперь, к несчастью, весьма мало дела, я говорю — к несчастью, ибо вера в будущую жизнь не только утешение, но и орудие, помогающее управлять. Разве религия не единственная сила, которая освящает общественные законы? Недавно мы оправдали бога. Когда религии не стало, правительство было вынуждено, чтобы законы исполнялись, изобрести террор, но то был страх человеческий, а значит, преходящий. Видите ли, сударь, больной или выздоравливающий крестьянин, прикованный к своему одру, волей-неволей выслушивает разумные доводы и отлично их понимает, когда они изложены ясно. Эта мысль и сделала меня доктором. Я занимался подсчетами с крестьянами ради их пользы, давал им такие советы, выполнение которых неизменно подтверждало справедливость моих идей. В глазах народа надобно быть непогрешимым. Непогрешимость создала Наполеона, она создала бы из него бога, не узнай мир о его поражении при Ватерлоо. Магомет, завоевав предварительно треть земного шара, стал основателем религии лишь потому, что никто не видел, как он умирал. Для сельского мэра и для завоевателя — одни и те же законы: нация и община,— одна и та же паства. Люди повсюду одинаковы. И вот еще что — я был требователен к тем, кому давал взаймы. Если бы не моя твердость, все бы презирали меня. Крестьяне, как и люди светские, в конце концов перестают уважать людей, которых обманывают. Раз ты позволил одурачить себя, значит, выказал слабость. Управляет лишь сила. Никогда и ни у кого я не брал ни гроша за лечение, если не знал заведомо, что больной богат; однако я не скрывал, сколько стоят мои труды. Бесплатно лекарства я не даю, если больной не очень нуждается. Крестьяне хоть и не платят мне, но знают, что они — мои должники; иной раз они ради успокоения

совести приносят мне овес для лошадей, зерно, когда оно не дорого. Ну, а вот мельник в уплату за лечение принес рыбу, и я еще сказал, что он уж очень расщедрился из-за такой малости; дипломатия моя даст плоды: зимой я получу от него несколько мешков муки для бедняков. Поверьте, сударь, есть сердце у наших крестьян, только не надо их унижать. Теперь я скорее хорошего мнения о них, не то что прежде.

— Трудно вам, вероятно, пришлось? — спросил Женеста.

— Ничуть,— ответил Бенаси,— ведь сказать что-нибудь полезное не более утомительно, чем болтать вздор. Между делом я беседовал с крестьянами о них самих, пересыпая разговор шутками. Сначала они и слушать не желали; мне пришлось побороть немалое предубеждение: я ведь — горожанин, а горожанин для них враг. Борьба эта меня занимала. Разница между тем, кто делает добро, и тем, кто делает зло, лишь в одном — в спокойной или неспокойной совести, а труд одинаковый. Ежели бы мошенники вели себя хорошо, то, право, нажили бы миллионы, а не петлю на шею.

— Сударь,— крикнула, входя, Жакота,— обед остынет!

— Хочется мне сделать одно замечание по поводу того, что я сейчас слышал. Сударь,— сказал Женеста, взяв доктора под руку и удерживая его,— я не читал ни одной реляции о войнах Магомета, посему не могу судить о его военных способностях, но если б вам привелось наблюдать военную тактику императора во время французской кампании, вы бы просто сочли его богом. Да и разбили его при Ватерлоо лишь оттого, что он больше, чем человек,— тяжел он был для земли, и земля разверзлась под ним, вот и все. В остальном же я совершенно с вами согласен, и, разрази меня бог, женщина, родившая вас, даром времени не потеряла!

— Ну, пожалуйте к столу! — воскликнул Бенаси улыбаясь.

Столовая была сплошь обшита деревом и выкрашена в серый цвет. Несколько плетеных стульев, буфет, шкафы, печка, знаменитые стенные часы покойного кюре и белые занавески на окнах — вот и вся обстановка. На столе, накрытом белой скатертью, не было и следа рос-

коши. Посуда была фаянсовая. На первое подали, по обычаю, заведенному покойным кюре, такой крепкий бульон, какого ни одна стряпуха в мире не варила и не уваривала. Не успели доктор и его гость съесть первое, как в кухню стремительно вошел какой-то человек и, не обращая внимания на воркотню Жакоты, вторгся в столовую.

— Что случилось? — спросил доктор.

— Да вот хозяйка наша, госпожа Виньо, так побледнела, так побледнела, мы все даже перепугались.

— Ну что ж,— спокойно сказал Бенаси,— придется встать из-за стола.

Он поднялся. Женеста, как ни уговаривал его доктор, отложил салфетку и решительно, по-военному, заявив, что не останется за столом без хозяина, вернулся в залу погреться и поразмыслить о горестях, которые встречаются в земной нашей юдоли у людей всех состояний.

Бенаси скоро воротился, и будущие друзья снова уселись за стол.

— Заходил Табуро, хотел потолковать с вами,— сказала хозяину Жакота, внося кушанья, которые все время подогревала.

— Кто же у него заболел? — спросил он.

— Никто, сударь. Говорит — посоветоваться о своих делах пришел; он еще раз зайдет.

— Хорошо. Табуро для меня — ходячий философский трактат,— сказал Бенаси, обращаясь к Женеста,— приглядитесь к нему повнимательнее, когда он будет здесь, он вас, конечно, позабавит. Был он поденщиком, славным бережливым малым, мало ел, много работал. Но стоило плуту скопить несколько экю, как у него развилась смекалка, он потянулся за новшествами, которые я вводил в нашем бедном кантоне; Табуро старался извлечь из них пользу и разбогатеть. За восемь лет он сколотил изрядное состояние — изрядное для нашего кантона. Сейчас у него, пожалуй, наберется тысяч сорок франков. Готов биться об заклад, что вы не разгадаете, каким манером он нажился. Он ростовщик — ростовщик закоренелый, и стал ростовщиком потому, что играет на нуждах всех обитателей кантона с таким верным расчетом, что я потерял бы зря время, пробуя рассеять их заблуждение насчет преимуществ, которые они якобы из-

влекают, заключая с ним сделки. Пройдоха Табуро, увидев, что все стали обрабатывать землю, объехал окрестности, скупая зерно, чтобы снабдить бедняков семенами для посева. Здесь, как и повсюду, крестьянам и даже кое-кому из фермеров не хватало денег уплатить за семена. Одних дядя Табуро ссужал мешком ячменя, а ему после жатвы возвращали мешок ржи; другим давал сетье зерна в обмен на мешок муки. Теперь проныра ведет эту своеобразную торговлю во всем департаменте. Если ничто ему не помешает, то он, может статься, наживет миллион. Так-то вот, сударь, жил-был поденщик Табуро, честный, услужливый, славный малый и готов был подсобить всем, кто в нем нуждался, а выросли доходы, и появился господин Табуро — сутяга, крючкотвор, зазнайка. Он богатеет и делается все хуже. Стоит крестьянину перейти от жизни, полной трудов, к жизни в довольстве или превратиться в крупного землевладельца,— и он становится несносным. Существует класс — полудобродетельный, полупорочный, полуобразованный, полубезграмотный, который всегда будет приводить в отчаяние всякое правительство. Дух, присущий этому классу, есть и в Табуро — с виду он простак, даже невежда, но становится мудрецом, едва дело коснется его выгоды.

Шум тяжелых шагов оповестил о приходе ростовщика.

— Войдите, Табуро! — крикнул Бенаси.

Офицер, предупрежденный доктором, пристально поглядел на Табуро и увидел худого, сутулого крестьянина, с выпуклым морщинистым лбом. Его невзрачное лицо было словно пробуравлено крохотными серыми глазками в темных точках. Рот у него был сжат, заостренный подбородок имел поползновение соединиться с ехидно загнутым носом. На выдающихся скулах лучами расходились морщины, что указывало на кочевую жизнь и торгашескую хитрость. В волосах уже пробивалась седина. На нем была синяя, довольно опрятная куртка, четырехугольные карманы топорщились по бокам, а меж бортами виднелся белый жилет в цветочках. Он стоял, расставив ноги и опираясь на палку с увесистым набалдашником. Несмотря на возмущение Жакоты, маленькая испанская ищейка увязалась за торговцем зерном и улеглась возле него.

— Ну, какое там у тебя дело? — спросил его Бенаси.

Табуро подозрительно посмотрел на незнакомца, сидевшего у доктора за обеденным столом, и сказал:

— Дело не в болезни, господин мэр, да ведь вы худосочие кошелька лечите не хуже, чем худосочие тела, вот я и пришел посоветоваться с вами о затрудненьице, которое получилось у нас с одним сен-лоранцем.

— Что ж ты не идешь к мировому судье или его секретарю?

— Э! Да вы, сударь, посмекалистее их, и я буду куда увереннее в деле, ежели узнаю ваше суждение.

— Любезный Табуро, я охотно даю бесплатно врачебные советы беднякам, но не стану даром рассматривать тяжбы такого богача, как ты. Знания даются дорогой ценой.

Табуро начал теребить шапку.

— Если хочешь знать мое мнение, а на этом ты сбережешь немало монет,— ведь пришлось бы тебе их отсчитать судейским в Гренобле,— пошли мешок ржи вдове Мартен, той самой, что воспитывает приютских детей.

— Да я, сударь, пошлю с превеликим удовольствием, раз, по-вашему, так надобно. А не наскучу я приезжему гостю, рассказывая о своем дельце? — прибавил он, показывая на Женеста.— Значит, так, сударь,— продолжал он по знаку доктора,— тому месяца два приходит ко мне один сен-лоранец. «Табуро,— говорит он мне,— не продадите ли вы сто тридцать сетье ячменя?» «Почему не продать,— говорю я.— Это мое ремесло. Сейчас, что ли, нужно?»— «Нет,— говорит он,— к весне: для посева яровых».— «Идет». Ну, поспорили мы тут о цене, а потом ударили по рукам, уговорились, что заплатит он мне за весь ячмень по последней рыночной цене в Гренобле, и я сдам ему зерно в марте, считая усушку, ясное дело. А ячмень-то, сударь, все дорожает да дорожает — словом, цена на ячмень вздулась, будто закипевшее молоко. Деньги мне позарез нужны, я беру и продаю свой ячмень. Не подкопаешься, верно ведь, сударь?

— Нет, ячмень тебе уже не принадлежал,— сказал Бенаси.— Он был у тебя на хранении. Ну, а если бы яч-

мень подешевел, ты ведь заставил бы покупателя взять его по условленной цене?

— Тогда, может статься, молодчик ничего бы мне не уплатил. Кто же себе враг? Торговцу нечего упускать барыш, когда он сам в руки просится. К тому же товар— ваш, только когда вы за него уплатили. Верно ведь, господин офицер? Сразу видать, что изволили служить в армии.

— Табуро,— многозначительно сказал Бенаси,— не миновать тебе беды. Бог рано или поздно карает за дурные поступки. Ну, как можно, чтобы такой сметливый, грамотный человек, как ты, честно ведущий дела, стал в наших краях примером недобросовестности? Раз ты сам заводишь такие тяжбы, как же ты хочешь, чтобы несчастные бедняки были порядочными и тебя же не обворовывали? Батраки станут прогуливать, а не работать на тебя, и все у нас потеряют совесть. Ты не прав. Считалось, что товар уже отдан. Если бы сен-лоранский крестьянин увез ячмень, ты бы не взял его обратно; выходит, ты распорядился тем, что тебе не принадлежало, твой ячмень уже превратился в деньги, по вашему же уговору... Ну, продолжай.

Женеста бросил на доктора красноречивый взгляд, желая обратить его внимание на невозмутимый вид Табуро. Ни один мускул не дрогнул на лице ростовщика во время этой отповеди. Кровь не прилила ко лбу, маленькие глазки были безмятежны.

— Так вот, сударь, я обязался поставить ячмень по ценам нынешней зимы; ну, а мне думается, незачем его отдавать.

— Послушай, Табуро, отправляй ты поскорей ячмень или не рассчитывай больше ни на чье уважение. Даже если ты выиграешь тяжбу, про тебя пойдет слава, что ты — человек без стыда и совести, без чести, не держишь слово...

— Ну, не стесняйтесь, обзовите меня мошенником, подлецом, вором. Сгоряча и не то скажешь, господин мэр, чего тут обижаться. В делах, знаете ли, каждый за себя.

— Ты будто сам напрашиваешься, чтобы тебя так называли.

— Да ведь, сударь, ежели закон за меня...

— Не будет закон за тебя.

— Да уж верно ли вы это знаете, верно ли, а, сударь? Потому, видите ли, дело-то ведь нешуточное.

— Ну, разумеется, верно. Не сидел бы за столом — заставил бы тебя прочесть кодекс законов. Если дело дойдет до суда, ты проиграешь, и ноги твоей в моем доме больше не будет: я не принимаю людей, которых не уважаю. Ты тяжбу проиграешь. Понял?

— Вот и нет, сударь, не проиграю,— сказал Табуро.— Видите ли, господин мэр, ведь должен-то ячмень не я, а этот самый сен-лоранец, я купил у него, а он возьми и откажись товар мне поставить. Мне только хотелось удостовериться, что дело я выиграю, а потом уж идти к судебному исполнителю да тратиться.

Женеста и доктор переглянулись, скрывая удивление, вызванное хитроумным приемом, который придумал ростовщик, чтобы узнать истину об этом подсудном деле.

— Ну что ж, Табуро, значит, у твоего сен-лоранца совести нет, нечего заключать сделки с такими людьми.

— Эх, сударь, такие-то люди как раз и знают толк в делах.

— Прощай, Табуро.

— Слуга покорный, господин мэр и честная компания.

— Ну, как,— спросил Бенаси, когда ростовщик ушел,— не находите ли вы, что в Париже он быстро стал бы миллионером?

После обеда доктор и его гость вернулись в гостиную и весь вечер, до самого сна, проговорили о войне и политике. Во время беседы Женеста выказал острую неприязнь к англичанам.

— Сударь,— сказал доктор,— позвольте спросить, кого я имею честь принимать у себя?

— Зовут меня Пьер Блюто,— ответил Женеста,— я капитан, мой полк стоит в Гренобле.

— Хорошо, сударь. Угодно вам следовать образу жизни, который вел здесь Гравье? Утром, после завтрака, он с удовольствием сопровождал меня в поездках по окрестностям. Не уверен, что вам понравятся дела, которыми я занимаюсь, настолько они будничны. Да вы и не землевладелец, не деревенский мэр и не увидите в кантоне ничего такого, чего бы не видели в других ме-

стах: все хижины — на один образец; но зато вы подышите свежим воздухом, и у вас будет цель для прогулок.

— Ваше предложение доставляет мне несказанную радость, я не решался просить вас об этом, чтобы не показаться навязчивым.

Хозяин проводил Женеста, за которым мы оставим эту фамилию, несмотря на другую, вымышленную, в комнату, расположенную на втором этаже, над гостиной.

— Вот славно,— промолвил Бенаси,— Жакота у вас затопила. Если что-нибудь понадобится, у изголовья к вашим услугам сонетка.

— Что тут еще может понадобиться! — воскликнул Женеста.— Вот даже и скамеечка для разувания есть. Только старый вояка знает цену этой штуке. На войне, сударь, нередко случается, что все бы отдал, лишь бы раздобыть эту проклятую разувайку... После нескольких переходов, а после боя особенно, бывает, что нога распухнет — и никакими силами ее не вытащишь из промокшего сапога; частенько я спал не разуваясь. Когда ты спишь один, то это еще полбеды.

Офицер лукаво прищурился, чтобы придать последним словам особое значение, затем принялся, не без удивления, разглядывать комнату,— удобную, чистую, обставленную почти роскошно.

— Какое великолепие! — произнес он.— У вас тоже, должно быть, чудесная спальня?

— Если хотите, взгляните,— сказал доктор,— я ваш сосед, нас разделяет только лестница.

Женеста вошел к доктору и изумился, увидев полупустую комнату, голые стены которой были оклеены желтоватыми, местами выцветшими обоями с коричневым узором. Железная, неискусно покрытая лаком кровать, над ней перекладинка, с которой ниспадали две серые коленкоровые занавеси, плохонький, узкий коврик на полу, протертый до основы,— все напоминало больничную обстановку. У изголовья стоял ночной столик о четырех ножках, с дверцей, которая поднимается и опускается наподобие шторки, стуча, словно кастаньеты. Три стула, два соломенных кресла, комод орехового дерева, на нем таз и треснувший кувшин для воды с крышкой в свинцовой оправе дополняли обстановку. Камин был нетоплен, и бритвенные принадлежности стояли на крашеной

каминнои доске перед тусклым зеркалом, висевшим на веревочке. Чисто выметенный пол кое-где был попорчен, выбит, выщерблен. Серые коленкоровые занавески с зеленой бахромой украшали оба окна. Все, даже круглый стол, где стояла чернильница и валялись листы бумаги и перья, все в этой незатейливой картине, которой придавала благообразие безукоризненная чистота, соблюдаемая Жакотой, говорило о почти монашеской жизни, о том, что здесь живут чувствами и пренебрегают вещами. В открытую дверь офицер увидел кабинет, куда доктор заходил, очевидно, очень редко. И на этой комнате лежал такой же отпечаток, как и на спальне. Несколько запыленных книг было разбросано на запыленных полках, а шкаф, уставленный аптечными склянками с ярлыками, наводил на мысль, что приготовлению лекарств тут уделяют больше времени, нежели занятиям отвлеченной наукой.

— Вы спросите меня, отчего ваша комната так не похожа на мою? — спросил Бенаси.— Знаете ли, мне всегда стыдно за тех, кто дает знакомым, приехавшим погостить, зеркала, обезображивающие настолько, что смотришь на себя и думаешь: уж не растолстел ли я, или не похудел, не болен ли, не разбит ли апоплексическим ударом? Как же не стараться, чтобы временное пристанище друзей наших было поудобнее? Гостеприимство представляется мне добродетелью, счастьем и роскошью, но под каким бы углом зрения вы его ни рассматривали, даже если оно основано на корыстных соображениях, разве не должно окружать гостя и друга радушием и лаской? И вот к вашим услугам красивая обстановка, пушистый ковер, занавеси, часы, канделябры и ночник; к вашим услугам свечка, к вашим услугам хлопотунья Жакота, которая, конечно, принесла вам новые ночные туфли, стакан молока и грелку. Надеюсь, вам никогда не сиживалось удобнее, чем в мягком кресле, где-то раздобытом покойным кюре; да, уж поистине, если вы хотите найти вещь добротную, красивую, удобную, обращайтесь к церкви. Словом, надеюсь, ваша спальня вам понравится. Найдутся тут и отменные бритвы, и превосходное мыло, и все те мелочи, которые придают столько уюта домашней обстановке. Но, дорогой господин Блюто, если мое мнение о гостеприимстве еще недостаточно

объяснило вам причину различия между нашими комнатами, то вы, конечно, поймете, почему так неприглядна моя спальня, почему такой беспорядок в кабинете, когда завтра увидите, какая день-деньской у меня толчея. Да и сам я не домосед, всегда в разъездах. А ежели остаюсь дома, ко мне то и дело приходят крестьяне: я принадлежу им телом и душой, жилище мое в их распоряжении, и мне не пристало заботиться об этикете или огорчаться, что эти славные люди наносят ущерб моей обстановке. Роскошь уместна лишь в особняках, поместьях, будуарах и комнатах для друзей. Да и кроме того, я здесь только сплю, к чему же мне мишура богатства? Вообще вы не представляете себе, до чего мне все в этом мире опостылело.

Они по-приятельски пожелали друг другу спокойной ночи, обменялись сердечным рукопожатием и разошлись на покой. Прежде чем уснуть, офицер долго размышлял о человеке, который час от часу вырастал в его мнении.

ГЛАВА II

В ПОЛЯХ

Привязанность, которую каждый кавалерист питает к своему коню, заставила Женеста чуть свет поспешить в конюшню, и он остался доволен тем, как Николь почистил лошадь.

— Уже на ногах, капитан? — воскликнул Бенаси, идя навстречу гостю.— Что значит — военный, повсюду вам чудится утренняя зоря, даже в деревне.

— Хорошо ли вы себя чувствуете? — ответил ему вопросом Женеста, дружески протягивая руку.

— Никогда я не чувствую себя по-настоящему хорошо,— ответил Бенаси не то грустно, не то шутливо.

— Как вам спалось, сударь? — спросила Жакота у Женеста.

— Ей-богу, красавица, постель вы мне взбили прямо как новобрачной.

Жакота, просияв, пошла вслед за хозяином и офицером. Поглядев, как они садятся за стол, она сказала Николю:

— Право же, господин офицер — добрый малый!

— Еще бы! Уже сорок су мне дал!

— Сначала посетим двух усопших,— сказал Бенаси гостю, выходя из столовой.— Хоть докторам и не особенно приятно лицезреть свои мнимые жертвы, я свожу вас в два дома, и вы сделаете презанятные наблюдения над человеческой природой. Увидев эти сцены, вы убедитесь, насколько горцы отличаются от жителей равнин в изъявлении своих чувств. Часть нашего кантона расположена на горных кручах, там сохранились обычаи, от которых веет стариной, иной раз там наблюдаешь чисто библейские картины. Сама природа как бы провела границу, идущую вдоль цепи гор,— по обе стороны этой границы все несхоже между собой: вверху — сила, внизу — ловкость; вверху — большие чувства, внизу — корыстные помыслы. Если не считать Ажуйской долины, северная сторона которой заселена слабоумными, а южная — людьми здравомыслящими, и где жители, отделенные друг от друга всего лишь ручьем, отличаются во всех отношениях: ростом, походкой, лицом, обычаями, занятиями,— больше нигде не видел я такой ощутимой разницы, как здесь Это должно бы побудить местные власти к проведению обстоятельных исследований края и сообразно им применять законы... А вот и лошади готовы, едем!

Всадники вскоре очутились у здания, стоявшего в той части поселка, которая обращена к горной цепи Гранд-Шартрез В воротах дома, по виду довольно зажиточного, они увидели гроб, покрытый черным сукном и поставленный на два стула, четыре горящих свечи, а рядом габуретку, на ней — медную чашу со святой водой и веткой букса. Каждый, кто входил во двор, преклонял колени перед усопшим, произносил «Отче наш» и окроплял гроб святой водой. Над этим черным покровом зеленели кусты жасмина, посаженного у ворот, по верхней перекладине которых вилась виноградная лоза, уже покрывшаяся листвой. Перед домом девушка подметала землю, повинуясь невольно потребности придавать благолепие любым обрядам, даже самым печальным. Старший сын умершего, парень лет двадцати двух, стоял неподвижно, прислонясь к столбу ворот. Глаза его были полны слез, но не видно было, как они падали, вероятно, он утирал их украдкой. В тот миг, когда Бенаси и Женеста вошли во двор, привязав сначала лошадей к тополям,

растущим вдоль невысокой каменной ограды, из-за которой они и наблюдали эту сцену, отворилась дверь из погреба, и оттуда вышла вдова, а следом за ней какая-то женщина с кувшином молока.

— Крепитесь, бедняжка Пельтье,— говорила женщина.

— Ох, голубушка, ведь тяжело разлучаться с мужем, когда четверть века прожили вместе.

И глаза у вдовы увлажнились слезами.

— А два су вы уплатили? — прибавила она, помолчав, и протянула руку.

— Смотрите-ка, я и забыла,— промолвила ее спутница, отдавая ей монету.— Не горюйте же, соседушка. А вот и господин Бенаси.

— Ну, как, матушка, полегче вам? — спросил доктор.

— Ничего не поделаешь, дорогой господин Бенаси,— сказала вдова, заливаясь слезами,— надо перемогаться. Все твержу себе, что муженек отмучился. Ведь какой он мученик был! Проходите, господа. Жак, подай-ка господам стулья. Да поживей! Все равно не воскресишь отца, хоть целый век там торчи, право. Придется теперь тебе за двоих работать.

— Полно, хозяюшка, оставьте сына в покое, мы сидеть не будем. Сынок позаботится о вас, он способен заменить отца.

— Пойди оденься, Жак! — крикнула вдова.— За ним сейчас придут.

— Ну, прощайте, матушка,— сказал Бенаси.

— Ваша покорная слуга, господа хорошие.

— Видите,— сказал доктор,— здесь смерть воспринимается как событие, которое предвидели заранее, она не прерывает обычного хода жизни, даже траур не соблюдается. В деревне никто не станет на это тратиться,— кто по бедности, кто из бережливости. Да, сельские жители траура не носят. А ведь траур не обычай, не закон, а нечто высшее — это установление, исходящее из всех законов, которые имеют в основе нравственное начало. Так вот, как мы ни старались с господином Жанвье, не удалось нам внушить крестьянам, как важно придерживаться обрядности для сохранения общественного порядка. Люди они не плохие, но совсем недавно освободились от старых взглядов и еще не способны постичь новые

отношения, которые должны связать их с отвлеченными понятиями; пока они дошли только до представлений, ведущих к порядку и благосостоянию физическому, позже, если кто-нибудь продолжит мое дело, они возвысятся до принципов, поддерживающих общественные устои. В самом деле, недостаточно быть просто честным человеком, надо еще показать это, общество живет не только нравственными понятиями: чтобы существовать, оно должно действовать сообразно этим понятиям. В большинстве сельских общин на сотню семейств, у которых смерть отняла главу, всего лишь несколько человек, наделенных особой чувствительностью, сохранят надолго воспоминание об умершем, остальные же, не пройдет и года, совсем забудут о нем. Вы согласны, что такое забвение — моральная язва? Религия — душа народа, она выражает его чувства, делает их возвышенными, целеустремленными; но без бога, которому воздают почести, религия не существует, а следовательно, и человеческие законы не имеют ни малейшей силы. Совесть принадлежит только богу, но тело подвластно социальному закону; разве мы не делаем первый шаг к безбожию, когда уничтожаем обрядовые проявления скорби и не стараемся внушить неразумным детям и всем, нуждающимся в примере, что необходимо повиноваться законам, открыто и безропотно покоряясь воле провидения, которое карает и утешает, дает и отнимает блага земной жизни. Признаюсь, я пережил дни иронического неверия и только здесь понял все значение религиозных обрядов, семейных торжеств, традиций и праздников. Семья во веки веков будет основой человеческого общества. Именно в семье человеку преподаются начатки уважения к власти и закону; именно там он должен учиться послушанию. Семейный дух и родительская власть, в самом широком смысле, являются теми двумя началами, которым еще мало уделено внимания в нашей новой законодательной системе. Семья, община, департамент — в этом ведь вся наша страна. Таким образом, законы должны основываться на трех этих главных опорах. На мой взгляд, надо окружить особой пышностью обряды бракосочетания, рождения и смерти. Внешний блеск и создал силу католицизма, глубоко внедрил его в обиход, сопутствуя ему во всех важных случаях жизни и окружая их торжественностью, поистине трогатель-

ной и величавой, если священник поднимается на высоту своего призвания и придает обрядам возвышенность, достойную христианской морали. Прежде я считал, что католическая вера — это ловкая игра на всевозможных предрассудках и суевериях, с которыми должен покончить просвещенный век; здесь же я признал ее политическую необходимость и нравственную пользу; здесь я понял, как она могущественна, по самому смыслу слова, выражающего ее. Религия означает «узы», и, конечно, церковные обряды, или, иначе говоря, внешние проявления религии, составляют единственную силу, которая может на долгие века сплотить разные общественные слои. Наконец, здесь почувствовал я, что за целительный бальзам льет религия на душевные раны; перестав оспаривать ее, я увидел, что она превосходно сочетается с пылким нравом южных народностей.

— Свернем-ка на дорогу, которая идет вверх,— сказал, прерывая себя, доктор,— нам нужно добраться до плоскогорья, тогда по обе стороны от нас откроется прекрасная панорама. С высоты трех тысяч футов над Средиземным морем увидим мы Савойю и Дофине, горы Лионне и Рону. Мы попадем в другую общину — общину горную, и на ферме господина Гравье перед вами предстанет зрелище, о котором я говорил вам,— полное естественной торжественности, подтверждающей мои взгляды на главнейшие события нашей жизни. В этой общине траур соблюдают благоговейно. Бедняки собирают подаяние, чтобы купить себе траурную одежду, и ради этого никто не откажет им в помощи. Не проходит дня, чтобы вдова, рыдая, не говорила о своей утрате; и десять лет спустя чувства ее так же глубоки, как и на другой день после постигшего ее горя. Нравы там патриархальные, власть отца неограниченная, слово его — закон, ест он один, сидя за столом на почетном месте, а жена и дети прислуживают ему; окружающие разговаривают с ним в почтительных выражениях и стоят с непокрытой головой. У людей, воспитанных таким образом, очень развито чувство собственного достоинства. Обычаи эти, на мой взгляд, составляют сущность благородного воспитания. Недаром почти все жители общины справедливы, хозяйственны и трудолюбивы. Отец семейства, когда годы не позволяют ему больше работать, обычно делит имущество

поровну между детьми, и дети его кормят. В прошлом столетии некий девяностолетний старец, поделив имущество между четырьмя сыновьями, жил у каждого по три месяца. Когда он уехал от старшего, отправляясь на житье к младшему, кто-то из приятелей спросил его: «Ну, как, ты доволен?» «Еще бы,— ответствовал старик,— они заботятся обо мне, как о собственном сыне». Выражение это, сударь, показалось столь замечательным офицеру по фамилии Вовенарг, известному моралисту, в ту пору стоявшему с полком в Гренобле, что он не раз повторял его в парижских салонах, где прекрасные слова эти были подхвачены писателем по фамилии Шамфор. Да что там! У нас часто высказывают мысли еще более примечательные, только не найдешь бытописателей, достойных услышать их.

— Мне случалось видеть моравских братьев, лоллардов в Богемии и Венгрии,— сказал Женеста,— они напоминают ваших горцев. Народ покладистый, переносит бедствия войны с ангельским терпением.

— Сударь, простые нравы схожи во всех странах,— ответил доктор.— Истина повсюду выражена одинаково. По правде говоря, жизнь в деревне убивает умственные запросы, но зато ослабляет пороки и развивает добродетели. И впрямь, чем меньше людей скучено в одном месте, тем меньше преступлений, вредных помыслов, тем меньше нарушаются законы. Чистота воздуха во многом способствует непорочности нравов.

Тут оба всадника, поднимаясь шагом по каменистой дороге, достигли плоскогорья, о котором говорил Бенаси. Над ним вздымалась обнаженная скалистая гряда, на которой не растет ни былинки; бурая верхушка изрыта расселинами, обрывиста, неприступна; полоса плодородной земли, отгороженная утесами, лежит у подножия гряды и вьется в виде неровной каймы, шириною около ста арпанов. К югу, в огромном проеме меж гор, виднеются французская Морьена, Дофине, Савойские скалы, а вдали — горы Лионне. Женеста любовался ландшафтом, залитым лучами весеннего солнца, как вдруг раздались жалобные возгласы.

— Пойдемте,— сказал ему Бенаси,— начались причитания. Причитания составляют здесь часть похоронных обрядов.

Тут офицер заметил на западном склоне скалистого холма ферму внушительных размеров со службами, выстроенными правильным четырехугольником. Сводчатые ворота, сложенные из гранита, поражали своею величавостью, которую подчеркивали и древность их и вековые деревья, раскинувшие рядом с ними свои ветви, и травы, растущие на краю арки. Жилой дом высился в глубине двора, вокруг стояли риги, овчарни, конюшни, хлева, сараи, а посредине виднелась большая яма, где прел навоз. Двор, на котором в богатых и многолюдных фермах обычно кипит жизнь, словно вымер. Ворота скотного двора были затворены, скот оставался в загоне, оттуда чуть доносилось мычание. Хлева, конюшни — все было наглухо заперто, дорожка, ведущая к дому, чисто выметена. Мертвенный порядок там, где обычно царил живой беспорядок, бездеятельность и тишина в таком шумном месте, безмятежное спокойствие гор, тень, отбрасываемая скалою,— все вместе наводило тоску. Сам Женеста, привычный к сильным ощущениям, невольно вздрогнул, когда увидел человек двенадцать рыдающих мужчин и женщин, выстроившихся перед дверью в большую горницу, и услышал, как они в один голос протяжно возгласили: «Умер хозяин!»; дважды повторили они этот возглас, пока Женеста шел от ворот к дому. И не успело все затихнуть, как из отворенных окон дома послышались рыдания и раздался женский голос.

— Я не хочу быть непрошеным свидетелем чужого горя,— сказал Женеста, обращаясь к Бенаси.

— А я всегда посещаю семьи, удрученные смертью близких,— ответил доктор,— чтобы узнать, не заболел ли кто от горя, или удостоверить кончину. Без колебаний следуйте за мной; к тому же зрелище это столь внушительно и народа так много, что вас и не приметят.

Женеста пошел вслед за доктором и увидел, что первая комната и в самом деле полна родственниками. Оба пробрались сквозь толпу к дверям спальни, смежной с большою горницей, которая служила кухней и местом сбора всей семьи,— следовало сказать, целой колонии, ибо, судя по длине стола, обычно за него садилось человек сорок. Появление Бенаси прервало речь статной женщины в простом платье с разметавшимися волосами, не выпускавшей из своих рук руку умершего. Окоченев-

шее тело его, обряженное в лучшие одежды, лежало, вытянувшись на постели, полог которой был отдернут. Его лицо, дышавшее неземным покоем, обрамленное седыми кудрями, производило патетическое впечатление. У кровати стояли дети и ближайшие родственники супругов— представители каждого рода держались определенной стороны: слева — родственники вдовы, справа — родственники покойного. Женщины и мужчины молились, преклонив колени; почти все плакали. Вокруг горели свечи. Приходский священник и певчие разместились посреди комнаты около открытого гроба. Трагическую картину являли собою мертвый глава этой огромной семьи и рядом — гроб, готовый навеки поглотить его.

— Ах, дорогой господин мой, не спасли тебя знания лучшего из людей,— заговорила вдова, указывая на доктора,— значит, на то была божья воля, чтобы ты раньше меня сошел в могилу. Да, похолодела та рука, которая с любовью сжимала мою руку! Навеки утратила я любезного спутника жизни, а дом наш утратил своего бесценного хозяина, ведь ты поистине был нашим пастырем. Увы! Все, кто оплакивает тебя вместе со мною, хорошо знали мудрость твою и твои великие достоинства, но лишь одна я знала, как был ты незлобив и кроток! Ах, супруг мой, муж мой, вот и приходится навеки проститься с тобой, с тобой, опора наша, с тобой, великодушный господин мой. А мы, дети твои, ибо ты пекся о нас всех с одинаковою любовью, все мы потеряли отца!

И вдова сжала в объятиях безжизненное тело, орошая его слезами, согревая поцелуями, работники же возгласили среди наступившей тишины:

— Умер хозяин!

— Да,— снова начала вдова,— умер дорогой, возлюбленный отец наш, который добывал для нас хлеб насущный, сеял и собирал для нас жатву, заботился о нашем благополучии и, кротко повелевая нами, вел нас по жизненному пути. Как же мне не горевать о тебе, родной мой, ведь ты не причинил мне ни малейшего огорчения, ты был добрым, сильным, терпеливым, и когда мы мучили тебя, желая вернуть тебе драгоценное здоровье, ты, бедный агнец, твердил: «Полноте, дети мои, все напрасно!» — таким же голосом, как твердил за несколько

дней до того: «Все хорошо, друзья мои!» Великий боже, прошло всего лишь несколько дней, и радость покинула наш дом, омрачилась жизнь наша, ибо закрылись глаза лучшего, честнейшего, самого почитаемого из людей, того, с кем не мог сравниться ни один пахарь, того, кто днем и ночью бесстрашно объезжал горы, а вернувшись, всегда улыбался мне и детям. Как же все мы его любили! Стоило ему отлучиться, и унылым становился наш очаг, у нас пропадал вкус к еде. А что же будет теперь, когда нашего ангела-хранителя зароют в землю и мы больше не увидим его? Никогда, друзья мои! Никогда, любезные мои родственники! Никогда, дети мои! Да, доброго отца утратили дети мои, родственники утратили доброго родственника, друзья мои утратили доброго друга, а я — я утратила все, как дом наш, утративший хозяина!

Она взяла руку умершего, встала на колени, чтобы покрепче прижаться к ней лицом, и поцеловала ее. Работники трижды возгласили:

— Умер хозяин!

В эту минуту к матери подошел старший сын и сказал:

— Матушка, пришли из Сен-Лорана, надобно поднести им вина.

— Сынок,— ответила она тихо, но уже не тем торжественным и скорбным голосом, которым выражала свои чувства,— возьми ключи, отныне ты хозяин в доме, позаботься, чтобы они встретили здесь такой же прием, как раньше при твоем отце, пусть им кажется, будто ничего не изменилось... Еще раз вдоволь бы насмотреться на тебя, достойный муж мой,— продолжала она.— Но, увы! Ты уже не чувствуешь прикосновения моего, не согреть мне тебя! Ах, единственное мое желание — в последний раз утешить тебя: знай, пока я жива, ты будешь пребывать в сердце, которому дарил радости, я буду счастлива воспоминаниями о днях блаженства, дорогой твой образ будет жить в этой комнате. Да, ты будешь здесь, покуда меня не призовет господь. Дорогой супруг мой, услышь меня! Клянусь сохранить ложе твое таким, какое оно есть. Всегда разделяла я его с тобою, пусть же теперь будет оно одиноким и холодным. Теряя тебя, я поистине теряю все то, чем живет женщина,— хозяина до-

ма, супруга, отца, друга, спутника, возлюбленного, словом — все.

— Умер хозяин! — возгласили работники.

При этом возгласе, подхваченном всеми, вдова взяла ножницы, висевшие на ее поясе, срезала длинную прядь своих волос и вложила ее в руку умершего. Воцарилась глубокая тишина.

— Поступок этот означает, что она больше не выйдет замуж,— сказал Бенаси.— Родственники ждали ее решения.

— Возьми же, любезный повелитель мой! — сказала вдова с таким душевным волнением в голосе, что тронула все сердца.— Храни в могиле залог верности, в которой я поклялась тебе. Теперь мы соединены навеки, и я не покину детей твоих из любви к твоему потомству, близ которого ты молодел душою. Услышь меня, муж мой, единственное сокровище мое, узнай, что ты и мертвый повелеваешь мне жить и повиноваться твоей священной воле и прославлять память о тебе!

Доктор взял Женеста за руку, приглашая его следовать за собою, и они вышли. В первой комнате было полно людей, прибывших из соседней горной общины, все были молчаливы и сосредоточенны, точно печаль и скорбь, витавшие над домом, успели охватить и их. Едва Бенаси и офицер перешагнули порог, как услышали, что кто-то спросил сына умершего:

— Когда же он преставился?

— Да ведь я-то и не видел, как он отошел! — воскликнул молодой человек лет двадцати пяти — старший сын умершего.— Он звал меня, а я был далеко!

Рыдания прервали его слова, но он продолжал:

— Накануне он сказал мне: «Сынок, отправляйся-ка в село, надо уплатить налоги; пока будете справлять по мне похоронные обряды, время уйдет, а нам еще опаздывать не случалось». Ему словно бы стало получше, ну я и пошел. Он умер без меня, а ведь я никогда с ним не разлучался.

— Умер хозяин! — все возглашали работники.

— Увы! Он умер, и не ко мне были обращены его предсмертные взгляды, не я принял его последний вздох. И как можно было думать о налогах? Пусть бы все деньги пропали,— нельзя было уезжать из дома! Да разве

всем состоянием нашим возместишь его последнее прости? Нет! Господи, боже мой! Если отец твой болен, не отходи от него, Жан, иначе тебя замучает совесть.

— Послушайте, друг,— сказал ему офицер,— я видел, как на поле битвы умирали тысячи людей и смерть не ждала, пока их дети придут проститься с ними; утешьтесь же, вы не единственный!

— Но у меня, сударь, был такой отец,— возразил парень,— такой добрый отец!

— Причитания,— заметил Бенаси, идя с Женеста к службам фермы,— не прекратятся до тех пор, покуда тело не положат в гроб, и все горше, все образнее будут речи безутешной вдовы. Но только беспорочной жизнью может женщина завоевать себе право говорить перед столь внушительным сборищем. Если бы вдова была повинна хоть в одном проступке, то не осмелилась бы произнести ни слова, иначе ей пришлось бы стать и обвинителем своим и своим судьей. Разве не прекрасен этот обычай, когда перед судилищем предстают и мертвый и живой? Траурные одежды она наденет лишь неделю спустя, когда все снова соберутся. Эту неделю родственники проведут с детьми и вдовой, помогут им уладить дела, будут утешать их. И это благотворно действует на умы, сдерживает дурные страсти, потому что люди, находясь вместе, боятся навлечь на себя осуждение ближнего. Наконец, в тот день, когда надеваются траурные одежды, устраивают торжественную трапезу, после чего родственники разъезжаются. Всему этому придают большое значение, и никто бы не пришел на похороны человека, который не отдал последнего долга умершему главе семьи.

В эту минуту они подошли к службам, доктор открыл дверь в хлев, чтобы показать офицеру, как устроены стойла.

— Знаете, капитан, все наши хлева были переделаны по такому образцу. Превосходно, не правда ли?

Женеста изумился, увидев просторное помещение,— коровы и быки стояли в два ряда, хвостом к стенам, а головой к середине хлева, между рядами стойл оставался довольно широкий проход: сквозь деревянные решетки виднелись рогатые головы животных, их блестящие глаза. Хозяин одним взглядом мог окинуть весь свой скот. Корм простым способом и без потерь сбрасывали

по особому настилу из надстройки прямо в ясли. Вымощенный пол в проходе между стойлами был чисто выметен, хлев хорошо проветривался.

— Зимой,— рассказывал Бенаси, прохаживаясь с Женеста по хлеву,— здесь устраиваются посиделки и люди работают вместе. Расставляются столы, и все греются даром. Овчарни выстроены по такому же образцу. Вы не поверите, до чего быстро скотина привыкает к порядку; я частенько наблюдал, как стадо возвращается домой. Каждая корова знает свой черед и непременно пропустит ту, которой полагается пройти первой. Посмотрите! В стойлах достаточно места — можно и подоить и почистить корову; пол же идет наклонно, поэтому нечистоты быстро стекают прочь.

— По хлеву можно судить об остальном,— заметил Женеста.— Без лести скажу вам: вот превосходные плоды ваших трудов.

— Не легко было достичь этого,— ответил Бенаси,— зато какой скот!

— Отменный, и вы не зря его расхваливали,— подтвердил офицер.

— Ну, а теперь,— продолжал доктор, когда они сели на лошадей и выехали за ворота,— поедем проселком через поднятую новь и хлебные поля, по тому уголку нашей общины, который я назвал Босской долиною.

Около часа всадники ехали полями, возделанными отлично, с чем Женеста и поздравил доктора; то разговаривая, то умолкая, смотря по тому, позволял ли бег лошадей говорить или вынуждал замолчать, они обогнули гору и возвратились на земли, примыкавшие к селению.

— Вчера,— сказал Бенаси, обращаясь к Женеста, когда они проехали ущельице, которое вывело их в большую долину,— я обещал показать вам солдата, вернувшегося из армии после падения Наполеона. Сдается мне, мы должны встретить его в нескольких шагах отсюда, он выгребает наносную землю, накопившуюся в естественном водоеме, куда стекают ручьи с гор. Не мешает рассказать о жизни этого человека, чтобы привлечь к нему ваше любопытство. Фамилия его — Гондрен. Восемнадцати лет от роду, в тысяча семьсот девяносто втором году, во время всеобщего набора в войска, он был зачис-

лен в артиллерию. Он простой солдат, участник итальянских походов Наполеона, был и в Египте, вернулся с Востока после заключения Амьенского мира, затем в дни Империи его перевели в полк гвардейских понтонеров, и он долго находился в Германии. Под конец бедного малого послали воевать с Россией.

— Мы почти собратья,— сказал Женеста,— я ведь участник тех же походов. Надобно было иметь железное здоровье, чтобы вынести причуды столь различных климатов. Честное слово, господь бог выдал патент на жизнь тем, кто исходил Италию, Египет, Германию, Португалию и Россию и еще держится на ногах!

— Вот вы и увидите настоящего молодца,— продолжал Бенаси.— Вы-то знаете, что такое разгром, незачем вам о нем рассказывать. Старый наш солдат был в числе тех понтонеров, что возводили мост через Березину, по которому прошла армия; чтобы укрепить первые устои, он залез по пояс в воду. У генерала Эбле, командовавшего понтонерами, нашлось, по словам Гондрена, лишь сорок два смельчака, которые взялись за это дело. Сам генерал тоже вошел в воду и подбодрял, утешал их, суля каждому тысячефранковую пенсию и орден Почетного легиона. У того, кто первым вошел в Березину, льдиной оторвало ногу; вслед за ногой унесло и самого понтонера. Да вы сразу поймете, чего стоило все это предприятие, узнав, чем оно завершилось: из сорока двух понтонеров в живых остался лишь один Гондрен. Тридцать девять погибли при переходе через Березину, двое зачахли в польских лазаретах. А наш бедняга солдат выбрался из Вильны только в тысяча восемьсот четырнадцатом году, после возвращения Бурбонов. Генерал Эбле, о котором Гондрен не может говорить без слез, умер. Оглохшему, немощному, неграмотному понтонеру негде было искать поддержки и защиты. Он добрался до Парижа, питаясь подаянием, и стал обивать пороги канцелярий военного министерства, пытаясь выхлопотать не то что обещанную тысячефранковую пенсию или орден Почетного легиона, а просто увольнение в запас,— на это он имел полное право после двадцатидвухлетней службы и бог знает скольких походов; но он не добился ни жалованья, полагавшегося ему за эти годы, ни оплаты дорожных расходов, ни пенсии. Год прошел в бес-

плодных мытарствах, понтонер тщетно просил о помощи всех, кого когда-то спас,— и вот он вернулся сюда, отчаявшись и покорившись своей участи. Теперь этот безвестный герой копает канавы, получает десять су за туаз. Он привык работать в топях и, как выражается сам, *взял подряд на такое дельце,* за которое не возьмется ни один чернорабочий. Он осушает болота, проводит канавы в заливных лугах и зарабатывает франка три в день. Глухота придает его лицу несколько угрюмое выражение, он не болтлив от природы, но человек он душевный! Мы с ним закадычные приятели. Он обедает у меня в дни годовщины Аустерлицкой битвы, тезоименитства императора и разгрома при Ватерлоо; после обеда я вручаю ему наполеондор, этого хватает ему на три месяца — на вино. Чувство уважения, которое я питаю к старому солдату, разделяет вся община; все были бы рады кормить его. Работает он только из гордости. В любом доме по моему примеру ему оказывают почет и приглашают отобедать. Мне удалось всучить ему двадцатифранковую монету только под тем предлогом, что на ней портрет императора. Несправедливость по отношению к нему глубоко оскорбила его, но он гораздо больше горюет, что не получил ордена Почетного легиона, нежели пенсию. Есть у него одно утешение: когда генерал Эбле, после постройки мостов, представлял императору уцелевших понтонеров, Наполеон прижал к сердцу бедного нашего Гондрена; может статься, если бы не ласка императора, он бы давным-давно умер; он живет этим воспоминанием и надеждой на возвращение Наполеона, никто не убедит его в том, что император умер; он уверен, что Наполеон томится в плену по милости англичан, и, по-моему, не задумался бы по самому пустячному поводу убить почтеннейшего из олдерменов, путешествующих для собственного развлечения.

— Едем! Едем! — воскликнул Женеста, словно пробуждаясь, так сосредоточенно слушал он доктора.— Едем поскорее, мне хочется его увидеть.

И оба всадника пустили лошадей крупной рысью.

— Второй солдат,— снова заговорил Бенаси,— тоже один из тех железных людей, которые провели жизнь в походах. Жил он, как все французские солдаты, перестрелками, сражениями, победами; он много выстрадал и не

носил иных погон, кроме суконных. Нрав у него веселый, он боготворит Наполеона, вручившего ему орден Почетного легиона на поле битвы под Валутиной. Как и подобает уроженцу Дофине, он всегда и во всем соблюдал порядок, поэтому сейчас получает пенсию и прибавку за орден. Этот пехотинец, по фамилии Гогла, в тысяча восемьсот двенадцатом году вступил в наполеоновскую гвардию. Он в некотором роде — экономка Гондрена; живут они вместе у вдовы одного разносчика, которой и вручают все свои деньги; добрая старушка дает им приют, кормит их, одевает, заботится о них, как о близких родных. Гогла — деревенский почтарь. Должность у него такая, что он знает все новости в кантоне и так привык их пересказывать, что сделался присяжным говоруном на посиделках, прослыл краснобаем; Гондрен считает его великим остроумцем, тонкой бестией. Когда Гогла говорит о Наполеоне, понтонер как будто понимает его по движению губ. Если сегодня вечером, как обычно, устроят посиделки в одном из моих сараев и нам удастся пробраться незамеченными, то я вас развлеку любопытным зрелищем. Вот и канава, да что-то нет приятеля моего — понтонера.

Доктор и офицер внимательно огляделись, но лишь лопата, кирка, тачка да солдатская куртка Гондрена валялись рядом с кучей черной земли, а самого Гондрена не было видно на каменистых тропах, или, вернее, в извилистых рытвинах, почти сплошь поросших мелким кустарником, по которым стекали вешние воды.

— Он где-то поблизости. Эй, Гондрен! — крикнул Бенаси.

Тут Женеста заметил, что сквозь листву кустов, заслонивших осыпь, пробивается табачный дым, и указал на него доктору; тот крикнул еще раз. Немного погодя старик понтонер высунул голову, узнал мэра и спустился по узкой тропинке.

— Ну, старина,— закричал ему Бенаси, приложив ладонь к губам наподобие рупора,— вот твой собрат, египтянин, он хочет познакомиться с тобой.

Гондрен живо поднял голову и окинул Женеста испытующим, и пристальным взглядом, взглядом старого солдата, привыкшего взвешивать опасность. Увидев красную орденскую ленточку, он молча отдал офицеру честь.

— Был бы маленький капрал жив,— крикнул ему Женеста,— получил бы ты орден и порядочную пенсию, ведь ты спас жизнь тем, кто по сей час носит эполеты и кто успел переправиться на другой берег первого октября тысяча восемьсот двенадцатого года. Жаль, дружище,— добавил офицер; он спешился и в приливе сердечных чувств пожал Гондрену руку,— жаль, что я не военный министр.

Старик понтонер, услышав эти слова, встрепенулся, но тут же понурил голову, не спеша выбил пепел из трубки, спрятал ее и только тогда сказал:

— Я-то выполнил свой долг, господин офицер, а вот другие не выполнили, не уважили меня. Бумаг потребовали! «Какие еще там бумаги? — говорю я им.— Двадцать девятый бюллетень — вот мои бумаги!»

— Требуй снова, приятель. Теперь, заручившись покровительством, ты наверняка добьешься справедливости.

— Справедливости! — крикнул старый понтонер с таким выражением, что врач и офицер вздрогнули.

Водворилось молчание, оба всадника смотрели на этот обломок железного легиона солдат, отобранных Наполеоном из трех поколений. Гондрен был поистине образцовым представителем неколебимой громады, которая была сломлена, но не сдалась. Ростом старик был всего пяти футов, но очень широк в груди и плечах, а его обветренное, морщинистое, худое лицо с выдающимися мускулами еще хранило следы воинственности. Вид у него был суровый, лоб будто высечен из камня, редкие седые пряди волос свисали как-то беспомощно, словно истомленной голове его уже не хватало жизненной силы; руки, волосатые, как и грудь, видневшаяся из расстегнутого ворота холщовой рубахи, свидетельствовали о редкостной силе. При этом он крепко, как на несокрушимом постаменте, стоял на своих кривых ногах.

— Справедливости? — повторил он.— Не для нашего она брата! У нас нет судебных приставов, некому взыскать то, что нам полагается. Ну, а барабан-то набивать нужно,— добавил он, хлопнув себя по животу,— так ждать-то нам некогда. Посулами чинуш, которые в канцелярии пригрелись, сыт ведь не будешь, вот я и вернул-

ся сюда жалованье из общего капитала получать,— сказал он, ударяя лопатой по грязи.

— Этого нельзя потерпеть, старый товарищ,— сказал Женеста.— Я жизнью тебе обязан и был бы неблагодарной тварью, если б не протянул тебе руку помощи. Я-то помню, как переходил по мостам через Березину, и знаю славных ребят, которые тоже об этом не забыли. Они посодействуют мне, и отечество вознаградит тебя, как ты того заслуживаешь.

— Прослывете бонапартистом! Лучше и не вмешивайтесь, господин офицер. Да уж все равно, я притопал в тыл и зарылся в землю, как неразорвавшееся ядро. Только не рассчитывал я, проехав на верблюде пустыню да пригубив вина возле огня московских пожаров, кончить дни под деревьями, посаженными моим родителем,— сказал он, вновь приступая к работе.

— Бедный старик,— промолвил Женеста,— на его месте я поступил бы так же; нет у нас больше нашего отца. Сударь,— сказал он врачу,— покорность этого человека наводит на меня мрачное уныние; он не знает, какое участие возбудил во мне, и, верно, принимает меня за одного из тех негодяев в раззолоченных мундирах, которым дела нет до солдатских нужд.

Он круто повернул назад, схватил понтонера за руку и крикнул ему прямо в ухо:

— Клянусь орденом, который я ношу и который в другие времена был знаком чести, сделаю все, что под силу человеку, и добьюсь тебе пенсии, хотя бы мне пришлось проглотить целую кучу отказов от министра, хлопотать перед королем, дофином и всей их братией!

Старик Гондрен вздрогнул, услышав эти слова, глянул на Женеста и сказал:

— Выходит, и вы были простым солдатом?

Офицер кивнул. Тогда Гондрен отер ладонь, взял руку Женеста и, горячо пожав ее, сказал:

— Господин генерал, я влез тогда в воду, чтобы жизнь отдать ради армии; мне, выходит, повезло, раз я все еще держусь. Послушайте, сударь, как на духу вам скажу: с той поры, как *его* оттерли, все мне осточертело. Ну что ж, зачислили они меня вот сюда,— с усмешкой добавил он, указывая на землю,— тут я и получаю двадцать тысяч франков долгу, как говорится, в рассрочку.

— Полно, дружище,— сказал Женеста, потрясенный великодушием и всепрощением Гондрена,— но уж этот дар ты не откажешься принять от меня.

С этими словами офицер показал себе на грудь, посмотрел на понтонера, вскочил на лошадь и вновь поскакал рядом с Бенаси.

— Жестокость властей разжигает войну бедных против богатых,— сказал доктор.— Люди, которым на какое-то время доверена власть, никогда серьезно не задумывались о неизбежных последствиях несправедливости, учиненной по отношению к народу. Правда, бедняк, принужденный зарабатывать себе на хлеб насущный, борется недолго, но он говорит, он находит отклик во всех страждущих сердцах. Беззаконие, от которого пострадал кто-нибудь один, помножается на число тех, кто негодует против этого беззакония, и закваска начинает бродить. Это еще пустяки, но отсюда вытекает большее зло. Несправедливые поступки поддерживают в народе глухую ненависть к верхам общества. Поэтому-то буржуа— враг бедняка, и тот ставит его вне закона, обманывает и обворовывает. Воровство для бедняка уже не преступление, не злодеяние, а месть. Если правитель, вместо того чтобы поступать справедливо, обращается с маленькими людьми дурно, попирая права, приобретенные ими, как же требовать, чтобы голодные, обездоленные люди проявляли покорность своей доле и уважали чужую собственность? Я содрогаюсь при мысли, что тысячефранковая пенсия, обещанная Гондрену, перепала канцелярской крысе, все дело которой — сметать пыль с бумаг. И после этого иные люди, даже не представляющие себе, как непомерно бывает горе, обвиняют народ в непомерной мстительности! Если ж правительство принесло людям больше личного горя, нежели благосостояния, свержение его становится лишь делом случая; свергая его, народ по-своему сводит счеты. Государственный деятель всегда должен рисовать себе бедняков под покровом правосудия: оно создано только для них!

Когда они ехали уже по самому селению, Бенаси приметил на дороге двух путников и сказал офицеру, погруженному в раздумье:

— Вы видели, как безропотно сносит нужду служака наполеоновской армии, сейчас увидите безропотного

старика земледельца. Всю жизнь человек этот копал, обрабатывал, сеял и собирал для других.

Тут и Женеста заметил, что по дороге бредет дряхлый старик, а рядом с ним — старуха. У старика, видимо, свело суставы, он плелся, с трудом волоча ноги, обутые в сношенные сабо. С плеча свисала котомка, из нее торчали инструменты, тихонько постукивали их рукоятки, почерневшие от пота и долгого употребления; в другом отделении котомки лежал хлеб, несколько луковиц, орехи. Ноги старика были искривлены. Он сгорбился от вечной работы и шел, согнувшись в три погибели, а чтобы удержать равновесие, опирался на длинную палку. Белые, как снег, волосы выбивались из-под широкополой шляпы, заштопанной суровыми нитками и порыжевшей от превратностей погоды. Одежда из грубого холста пестрела всеми цветами радуги от бесчисленных заплат. То была, если можно так сказать, человеческая развалина, со всеми особенностями, которые вообще присущи развалинам и так трогают нас. Жена, в каком-то нелепом чепце и тоже в лохмотьях, держалась попрямее и тащила на спине плоский глиняный кувшин овальной формы, висевший на ремне, продетом сквозь ручки. Заслышав конский топот, пешеходы подняли головы, узнали Бенаси и остановились. Горько было смотреть на них — на старика, изувеченного работой, и его неразлучную спутницу, тоже калеку, на их лица, почерневшие от солнца, загрубевшие от непогоды и до того морщинистые,что все черты их были словно стерты. Если история жизни этих стариков не была бы запечатлена на их лицах, вы угадали бы ее по всему их виду. Оба весь свой век непрерывно работали вместе и весь свой век непрерывно страдали; делили друг с другом много горестей, но мало радостей; они, видно, свыклись со своей злою долей, как узник свыкается с темницей; все в них было само чистосердечие. Их лица светились добротой и искренностью. Стоило с ними познакомиться поближе, и однообразная жизнь их — удел бедняков — казалась чуть ли не завидной. Все черты их говорили о пережитых страданиях, но не выражали уныния.

— Ну, как, папаша Моро, все еще непременно хотите работать?

— Да, господин Бенаси. Пока не протянул ноги, рас-

пашу вам еще две-три вересковых пустоши,— шутливо отозвался старик, и черные глазки его сверкнули.

— Уж не вино ли несет ваша жена? Хоть вино попивайте, если на покой не собираетесь.

— На покой! Вот скучища-то! Когда расчищаешь новь на солнце, от солнца да воздуха сил набираешься. А это и впрямь вино, сударь, я ведь знаю, вашими стараниями мы его почти задаром получаем у господина куртейльского мэра! Э! Да как ни хитрите, а нас не проведете.

— Ну, прощайте. Наверное, на участок Шанферлю идете, матушка?

— Да, сударь, вчера под вечер начали.

— Желаю удачи,— сказал Бенаси.— А ведь вам, должно быть, приятно поглядеть на гору: сами вспахали ее почти целиком.

— Еще бы, сударь,— ответила старуха.— Наш труд. Мы-то заработали право на кусок хлеба!

— Видите,— сказал Бенаси, обращаясь к офицеру,— труд, обработка земли — вот какова государственная рента бедняков. Богадельню или нищенство старик счел бы позором для себя; ему хочется умереть с мотыгой в руках, в открытом поле, под солнцем. Право же, мужественный старик! Он всегда работал, и работа постепенно стала его жизнью, но и смерть ему не страшна,— у него, хоть сам он того и не подозревает, глубоко философские взгляды. Именно он, старик Моро, навел меня на мысль основать в кантоне убежище для земледельцев, для батраков — словом, для всех тех честных крестьян, которые, проработав всю жизнь, на старости лет нищи и наги. Сударь, я не рассчитывал приобрести здесь состояние, мне оно совсем не нужно. Много ли требуется человеку, который утратил все надежды? Дорого обходится только жизнь бездельников, и, пожалуй, потреблять, ничего не производя,— это просто социальное воровство. Наполеон, узнав после своего падения о спорах, возникших по поводу расходов на его содержание, говорил, что нужен ему только конь да одно экю в день. Я отказался от денег, когда поселился здесь, но с тех пор я узнал, как могущественны деньги, узнал, как они необходимы, если хочешь делать добро. Итак, я завещал свой дом под убежище, где несчастные безумные старики, не такие гордецы, как Моро, будут проводить остаток дней своих. Затем кое-

что из девяти тысяч франков дохода, который мне приносят моя земля и мельница, пойдет на то, чтобы поддержать суровой зимой самые неимущие семьи в кантоне. Учреждение это будет находиться под надзором муниципального совета, но во главе его в качестве попечителя я хочу поставить кюре. Таким образом, состояние, случайно приобретенное мною здесь, в кантоне, не уйдет отсюда. Устав убежища дан в моем завещании. Подробный рассказ об этом, конечно, вам наскучит; но мне хочется подчеркнуть, что предусмотрел я все, даже создал запасный денежный фонд, чтобы община имела возможность платить за обучение детей, подающих надежды в ремеслах или науках. Итак, дело цивилизации, начатое мною, будет продолжаться и после моей смерти. Видите ли, капитан Блюто, когда затеешь что-нибудь хорошее, душа не позволяет оставить его незавершенным. Стремление к порядку и совершенствованию — самый верный залог лучшего будущего. Поспешим, пора закончить объезд, а мне надо еще посетить пять-шесть больных.

Некоторое время они ехали молча, потом Бенаси со смехом обратился к своему спутнику:

— Хорош же я, капитан Блюто, поддался вашим расспросам, трещу, как сорока, а вы и словечком не обмолвились о своей жизни, меж тем она, должно быть, прелюбопытна. Солдат, достигший ваших лет, столько всего перевидал на своем веку, что ему есть о чем порассказать.

— Да что же рассказывать,— отвечал Женеста,— моя жизнь — это жизнь армии. Все военные на один лад. Я не имел больших чинов, а был из тех вояк, чье дело — наносить или получать удары саблей, и поступал так, как поступают другие. Шел туда, куда вел нас Наполеон, был на передовой во всех битвах, где отличалась императорская гвардия. Дела всем известные. Ходить за лошадьми, иной раз мучиться от голода и жажды, а когда нужно— драться, в этом вся жизнь солдата. Проще простого. Бывает, что для нашего брата исход сражения зависит от того, хорошо ли подкован конь,— иначе недолго попасть в беду! А в общем, перевидал я столько стран, что они в конце концов примелькались, видел столько смертей, что и свою жизнь ни во что не ставлю.

— Однако доводилось же и вам попадать в затруднительное положение, и об опасностях, угрожавших вам лично, было бы любопытно послушать.

— Пожалуй,— ответил офицер.

— Расскажите мне о случае, который вам особенно запомнился. Да не бойтесь! Я не подумаю, что вам недостает скромности, даже если вы расскажете о каком-нибудь своем героическом поступке. Когда человек уверен, что его поймут те, кому он доверяется, ему приятно сказать: «Да, это совершил я!»

— Ну, так и быть. Расскажу вам об одном престранном случае,— иной раз меня совесть из-за него грызет. За все пятнадцать лет, пока мы сражались, я убивал людей только в порядке законной защиты. Мы на передовой, мы нападаем; перед нами неприятель, и если мы его не опрокинем, он не станет просить у нас позволения и пустит нам кровь: значит, убивай, чтобы тебя не уничтожили, и совесть спокойна. Но, сударь мой, мне довелось наповал уложить одного молодчика при весьма необычных обстоятельствах. Больно сжалось у меня сердце, когда я поразмыслил о своем поступке, а искаженное лицо убитого и теперь частенько всплывает передо мною. Судите сами... Дело было во время отступления из Москвы. Какая уж там великая армия! Мы скорее смахивали на стадо заморенных быков. Прощай, дисциплина и знамена! Каждый был себе господином, а император, можно сказать, тут-то и узнал, что власти его положен предел. Ввалились мы в Студянку, деревушку за Березиной, набрели на овины, на покосившиеся лачуги, на картошку и свеклу, зарытые в землю. Давненько нам не попадалось ни жилья, ни еды, а тут прямо раздолье. Первые, сами понимаете, съели все. Я пришел одним из последних. К счастью, так клонило ко сну, что было не до еды. Попадается мне на глаза овин, вхожу — смотрю, человек двадцать генералов, офицеров, высших чинов, все люди, что и говорить, заслуженные; тут Жюно, Нарбонн, адъютант императора — словом, вся верхушка армии. Были тут и простые солдаты, да они не уступили бы своей подстилки самому маршалу Франции. Местечка не было свободного, кто спал стоя, прислонившись к стене, кто прикорнул на земле; а чтобы потеплее было, все так тесно прижались друг к другу, что я тщетно искал, где бы и

мне примоститься. Пришлось шагать прямо по настилу из человеческих тел; одни ругались, другие молчали, но не подвинулся никто. Тут никто бы не шевельнулся, даже чтоб увернуться от пушечного ядра, тем более было не до правил пустой светской учтивости. Замечаю под крышей овина какие-то полати, ни у кого не хватило смекалки, а может быть, и сил, забраться туда; влезаю, укладываюсь и, растянувшись во весь рост, смотрю на людей — лежат все вповалку. Печальное было зрелище, но я чуть не расхохотался. Кое-кто с жадностью глодал мерзлую морковь, а генералы укутались в дырявые платки и храпели вовсю. Горела еловая лучина, освещая овин; случись пожар — никто бы не встал тушить. Ложусь на спину, но, прежде чем заснуть, невзначай поднимаю глаза и вижу, что балка, которая подпирает крышу и поддерживает слеги, тихонько раскачивается с востока на запад. Так и пляшет проклятая балка. «Господа, говорю, какой-то молодчик на дворе хочет за наш счет обогреться». Балка вот-вот упадет. «Господа, господа, мы сейчас погибнем, взгляните на балку!» — крикнул я во весь голос, чтобы разбудить товарищей по ночлегу. Сударь, на балку они поглядели, но тот, кто спал, снова заснул, а кто ел, даже не отозвался. Ну-с, пришлось вскочить с нагретого местечка, хоть его и могли занять у меня на глазах, но дело ведь шло о спасении целой кучи знаменитостей. Выхожу, огибаю овин и вижу: рослый парень — вюртембержец старательно вытаскивает балку. «Эй, эй!»—кричу я и знаками даю ему понять — бросай, значит, работу. А он орет: «Geh mir aus dem Gesicht, oder ich schlag dich todt» [1] — «Ах, так! Ке мир аус дем гезит [2],— отвечаю я.— Как бы не так!» Хватаю его ружье,— оно валялось на земле,— наповал укладываю немца, возвращаюсь и засыпаю. Вот и все.

— Но это случай законной защиты от одного для блага многих; значит, вам не в чем себя упрекать,— заметил Бенаси.

— А все эти господа вообразили,— продолжал Женеста,— что на меня напала блажь; но блажь ли, нет ли, а многие из них теперь живут в свое удовольствие в рас-

---

[1] Ступай прочь, не то я тебя убью *(нем.)*.
[2] Ступай прочь *(неправильный нем.)*.

чудесных особняках и не обременяют свои сердца благодарностью.

— Уж не сделали ли вы добро в расчете на те непомерные барыши, которые именуются благодарностью, а? — посмеиваясь, сказал Бенаси.— Это ведь то же, что ростовщичество.

— Да я прекрасно знаю,— ответил Женеста,— что вся ценность доброго поступка теряется, как только извлечешь из него выгоду, и рассказывать о нем — значит взимать проценты в пользу самолюбия, а это почище всякой благодарности. Однако если честный человек будет помалкивать, то должник его и подавно не заикнется об оказанном благодеянии. При вашей системе управления народ нуждается в примерах; спрашивается, где бы он нашел их при всеобщем молчании? Между прочим, бедному нашему понтонеру, спасшему французскую армию, и в голову не приходило, что, разболтав об этом, он извлек бы выгоду для себя. Ну, а если бы он стал калекой, разве совестливостью он добыл бы себе кусок хлеба?.. Ответьте-ка, философ!

— Да, пожалуй, в области морали все относительно,— сказал Бенаси.— Но мысль эта опасна, она позволяет тем, кто склонен к эгоизму, толковать вопросы совести в интересах личной выгоды. Послушайте, капитан, разве человек, неукоснительно повинующийся принципам морали, не выше того, кто отклоняется от них, даже по необходимости? И если бы наш понтонер был немощным и умирал с голоду, разве он не уподобился бы величием Гомеру? Жизнь человеческая, несомненно, является окончательным испытанием и добродетели и гениальности, одинаково нужных для лучшего мира. Добродетель, гениальность представляются мне прекраснейшим олицетворением того полного и постоянного самопожертвования, пример которого показал людям Иисус Христос. Гений пребывает в бедности, просвещая мир, человек добродетельный хранит молчание, жертвуя собою для общего блага.

— Согласен, сударь,— заметил Женеста,— но земля населена людьми, а не ангелами; мы далеки от совершенства.

— Конечно,— ответил Бенаси,— о себе скажу, что я жестоко злоупотреблял правом ошибаться. Но мы дол-

жны стремиться к личному совершенствованию. Добродетель — высокий идеал для души, и его надлежит постоянно созерцать как божественный образец.

— Аминь,— сказал офицер.— Пусть так, человек добродетельный — великая ценность, но согласитесь, что добродетель — это божество, которое может разрешить себе чуточку поболтать, попросту, без задней мысли.

— Ах, сударь,— сказал доктор, горько и печально улыбаясь,— вы снисходительны, как те, кто живет в мире с собою, я же суров, как человек, который знает, что ему немало пятен надобно стереть со своего прошлого.

Всадники подъехали к хижине, стоящей у ручья. Доктор вошел в лачугу. Женеста с порога то любовался весенним ландшафтом, то заглядывал в хижину, где лежал в постели какой-то человек. Осмотрев больного, Бенаси вдруг закричал:

— Незачем мне и приходить сюда, матушка, все равно вы не исполняете моих предписаний. Накормили мужа хлебом. Уморить вы его задумали, что ли? Возмутительно! Если вы дадите ему еще что-нибудь, кроме отвара пырея, ноги моей здесь больше не будет, ищите тогда доктора, где хотите!

— Да как же, сударь! Ведь бедный мой старик криком кричал от голода, а если в утробе ни крошки нет вот уже вторую неделю...

— Будете вы меня слушать или нет? Вы уморите мужа, если позволите ему съесть хоть кусочек хлеба, пока я не разрешу, поняли?

— Больше ни крошки не дам, сударь... Ну, как, на поправку идет дело?..— спросила она, провожая доктора.

— Да нет, он поел, ему и стало хуже. Как вам втолковать, упрямая вы голова, что нельзя так кормить больного, когда ему нужна диета? Крестьяне неисправимы,— прибавил Бенаси, обращаясь к офицеру.— Стоит больному несколько дней не поесть, как они считают, что он уже не жилец на белом свете, и пичкают его похлебкой, поят вином. Вот и эта умница чуть было не уморила мужа.

— Будто так муженек и умрет от ломтика хлеба, смоченного в вине!

— Вот именно, матушка. Удивительно, что я застал его в живых после этого самого ломтика хлеба. Не забудьте: надо исполнять все точно, как я сказал.

— Умереть мне на месте, ежели что не так сделаю.

— Ну, посмотрим. Приду завтра вечером, пущу ему кровь... Пойдем пешком вдоль ручья,— сказал Бенаси офицеру,— отсюда до того дома, куда мне надо, нет проезжей дороги. Сынишка больного покараулит тут лошадей. Полюбуйтесь-ка на нашу прелестную долину,— продолжал он,— не правда ли, точь-в-точь английский сад? Сейчас зайдем к одному работнику,— он безутешен после смерти старшего сына. В прошлом году его сын, подросток, вздумал во время жатвы поработать за взрослого, надорвался, бедняга, и к концу осени зачах и умер. Впервые я встречаю здесь такое сильное отцовское чувство. Обычно крестьяне горюют о смерти детей, как об утрате части своего имущества, и сожаления соразмерны возрасту ребенка. Возмужав, сын становится капиталом для отца. Но этот бедняк по-настоящему любил сына. «Нет мне утешения в моей потере»,— сказал он однажды, когда я встретил его на лугу,— он стоял неподвижно, забыв о работе, опершись на косу и держа в руке оселок,— собрался точить и задумался. Больше он ни разу не говорил со мной о своем горе и страдал молча. А теперь расхворалась одна из его дочурок.

Продолжая разговаривать, Бенаси и его гость подошли к хижине, приютившейся у плотины дубильного заводика. Под ивой стоял человек лет сорока и ел хлеб, натирая его чесноком.

— Ну, как, Ганье, девочке получше?

— Не знаю, сударь,— сказал он хмуро,— сами увидите, жена не отходит от нее. Хоть и очень вы стараетесь, а я боюсь, что смерть как вошла ко мне в дом, так все у меня и отнимет.

— Смерть ни у кого не засиживается, Ганье, у нее нет времени. Не падайте духом.

И Бенаси последовал за ним в дом. Полчаса спустя он вышел с матерью девочки, говоря:

— Не тревожьтесь, делайте, что я посоветовал, она спасена... Ежели все это вам наскучило,— обратился он затем к офицеру, вскакивая на коня,— я выведу вас на дорогу к нашему селению, и вы вернетесь домой.

— Нет, честное слово, мне не скучно.

— Но повсюду будут одни и те же хижины; с виду нет ничего однообразнее деревни.

— В путь! — сказал офицер.

Несколько часов ездили они по кантону, объехали его вдоль и поперек, а к вечеру повернули в сторону селения.

— Теперь мне нужно побывать вон там,— сказал доктор, показывая офицеру на высокие вязы.— Деревьям этим, вероятно, лет двести,— прибавил он.— Там живет женщина, к которой меня вчера, когда мы обедали, звал паренек, сказав, что она побледнела.

— Что-нибудь опасное?

— Да нет,— сказал Бенаси,— явление обычное при беременности. Она на последнем месяце. В это время у некоторых женщин бывают судороги. Но все-таки из осторожности надо посмотреть, нет ли чего, внушающего опасения; я сам буду принимать у нее ребенка. Кстати, вы сейчас увидите самое новое у нас промышленное предприятие — черепичный завод. Дорога великолепная, хотите, пустим лошадей галопом?

— Да вряд ли ваша лошадь угонится за моей,— заметил Женеста, крикнув коню: «Вскачь, Нептун!»

В мгновение ока Женеста опередил доктора шагов на сто и исчез в вихре пыли; но, хотя его лошадь и мчалась во всю прыть, он все время слышал, что доктор скачет тут же рядом. Вот Бенаси что-то сказал своему коню и тотчас же перегнал офицера, который настиг его лишь у черепичного завода, где Бенаси как ни в чем не бывало привязывал лошадь к плетню.

— Черт подери! — воскликнул Женеста, разглядывая лошадь и не замечая, чтобы она тяжело дышала или взмылилась.— Вот это конь! Какой он породы?

— То-то же! — ответил доктор, рассмеявшись.— А вы думали — кляча?.. История моего чудесного скакуна сейчас отняла бы у нас слишком много времени; хватит с вас и того, что Рустан — чистокровный берберийский конь, вывезен с Атласа. Берберийские кони не хуже арабских. Рустан взлетает на горы, и никогда на нем не увидишь испарины, а над самым обрывом он идет уверенным шагом. Я получил его в подарок, и надо сказать, заслужил его. Так вздумал меня отблагодарить некий папаша за спасение дочери, одной из богатейших наследниц в Европе: я застал ее при смерти, когда она путешествовала по Савойе. Расскажи я вам, как мне удалось

вылечить девицу, вы приняли бы меня за враля... Эге, слышите, бубенцы звенят и колеса грохочут по дороге? Посмотрим, не сам ли Виньо катит, приглядитесь к нему хорошенько.

Немного погодя показалась четверка могучих лошадей, в такой же сбруе, какая украшает коней у богатых фермеров в Бри. Шерстяные помпоны, бубенцы, кожаная сбруя — все было добротно, все свидетельствовало о достатке. В поместительной повозке, выкрашенной в синий цвет, сидел видный круглолицый, загорелый парень и что-то насвистывал, держа кнут, как держит ружье часовой.

— Нет, это только его кучер,— сказал Бенаси.— Посмотрите, процветание хозяина отражается на всем, даже на упряжке! Все это указывает на коммерческую сметку, а ее довольно редко встретишь в деревенской глуши.

— Да, да, разукрашено на славу,— отозвался офицер.

— Так вот, у Виньо две таких упряжки. Кроме того, есть у него иноходец, на котором он разъезжает по делам, ведь торговля очень расширилась; а еще четыре года назад ничего-то у Виньо не было. Впрочем, ошибаюсь, были долги... Ну, пойдем.— И Бенаси окликнул кучера: — Послушай, паренек, госпожа Виньо, наверное, дома?

— В саду, сударь, только что видел за изгородью. Пойду предупрежу, что вы пожаловали.

Женеста отправился за Бенаси, который провел его по большому участку, обнесенному изгородью. В одном углу возвышались кучи разноцветной глины — для производства черепицы и кафельных плиток; в стороне горой навалены были вязанки вереска и дрова для топки; а подальше, на площадке, за плетнем, рабочие дробили известняк и замешивали глину для кирпичей; против входа, под огромными вязами, стоял заводик, выделывающий круглую и четырехугольную черепицу,— за лужайкой, обсаженной деревьями, виднелись кровли сушильни, печь с глубоким жерлом, лопаты с длинными рукоятками, черная пустая топка. Сбоку стояло неказистое здание — хозяйское жилье, к нему пристроены были сараи, конюшни, коровник и амбар. Домашней птице и свиньям было привольно на просторе. Во всех помеще-

ниях царила чистота, все было прочно пригнано и свидетельствовало о рачительности хозяина.

— Предшественник Виньо,— продолжал Бенаси,— был человек никчемный, лентяй, любил выпить. Прежде он сам батрачил, а как стал арендатором, только и знал, что топить печь да платить аренду: ни предприимчивости, ни коммерческой жилки у него не было. Если, скажем, никто за его изделиями не явится, они так и залежатся, придут в негодность, пропадут. Поэтому-то он и умирал с голоду. А с женой он обращался так скверно, что она просто отупела, нищета у них была вопиющая. Его лень и непроходимая глупость до того тяготили меня, и так мне неприятно было смотреть на завод, что я избегал даже и проходить мимо. Но муж и жена были стары; однажды старика разбил паралич, и я тотчас же поместил его в гренобльскую богадельню. Хозяин завода без разговоров согласился взять предприятие обратно, в каком бы оно виде ни было, а я стал искать новых арендаторов, которые помогли бы мне развить промышленность кантона. Муж одной из горничных господина Гравье, бедный мастеровой, который работал у горшечника и получал такую скудную плату, что не мог прокормить семью, отозвался на мое предложение. Хотя у него не было ни гроша, он отважился взять в аренду завод, поселился здесь и научил жену, мать и старуху тещу изготовлять черепицу — превратил их в своих рабочих. Клянусь честью, я не знаю, как они изворачивались. Вероятно, Виньо брал в долг топливо для печи, должно быть, по ночам ходил с корзинами за материалом, а днем его обрабатывал — словом, он втайне развил кипучую деятельность, а обе старухи матери, одетые в рубища, работали как негры. Таким образом Виньо удалось обжечь несколько печей черепицы; весь первый год он ел один хлеб, оплаченный трудами и лишениями всей семьи, но тем не менее выдержал. Многие, узнав о мужестве, терпении, о достоинствах Виньо, прониклись к нему участием, он приобрел известность. Он был неутомим: утром спешил в Гренобль, продавал там кирпич и черепицу, в полдень возвращался домой, а ночью снова ехал в город; просто был каким-то вездесущим. На исходе первого года он взял себе в помощь двух мальчуганов. Тогда я ссудил его деньгами. И вот, сударь, что ни год, то лучше

шли дела семьи. На второй год обе старухи уже не формовали кирпичей, не дробили камни, а ухаживали за садом, чинили одежду и готовили похлебку, по вечерам пряли, а днем ходили в лес по дрова. Жена Виньо грамотная, она вела счета. Виньо купил лошадку и стал объезжать окрестности в поисках заказов, затем изучил искусство выделки изразцов, нашел способ изготовлять превосходные кафельные плитки и продавал их ниже рыночной цены. На третий год он приобрел повозку и двух лошадей. Когда он завел первую упряжку, его жена стала настоящей модницей. Доходы росли, укреплялось хозяйство. Виньо во всем поддерживал порядок, чистоту, бережливость — первоисточники его маленького состояния. Вот он нанял шестерых рабочих и хорошо оплачивает их, завел кучера, все поставил на широкую ногу; словом, изворачиваясь и мало-помалу расширяя производство и торговлю, он зажил в довольстве. В прошлом году он купил черепичный завод, в будущем — перестроит дом. Вся его достойная семья здорова, хорошо одета. Жена Виньо, делившая все заботы и тревоги мужа, прежде худенькая и бледная, теперь пополнела, расцвела и похорошела. Обе старухи матери очень счастливы, хлопочут по хозяйству и на досуге помогают в торговле. Работа принесла деньги, а деньги дали спокойствие и с ним здоровье, радость. Для меня это хозяйство — поистине живая история и моей общины и молодых торговых государств. Завод, прежде грязный, заброшенный, запущенный и почти ничего не производивший, теперь работает вовсю, полон людей, оживления, богат и хорошо оборудован. Вот вам запас дров и материалов на изрядную сумму — то, что необходимо для сезонной работы: вы ведь знаете, что черепицу изготовляют лишь в известное время года — с июня по сентябрь. Приятно видеть такую кипучую деятельность. Наш черепичных дел мастер внес свою лепту во все сельские постройки. Он всегда бодр, всегда в движении, всегда деятелен, в народе его зовут *Неугомонный*.

Не успел Бенаси договорить, как молодая, хорошо одетая женщина, в изящном чепце, белых чулках, шелковом переднике, розовом платье, в наряде, чуточку напоминавшем о том, что она раньше служила горничной, открыла калитку, ведущую из сада, и проворно, насколько позво-

ляло ее положение, направилась к гостям; но доктор и офицер пошли ей навстречу. Г-жа Виньо и в самом деле была миловидной толстушкой, она загорела, однако кожа ее от природы, вероятно, была белоснежной. На лбу у нее виднелись морщинки — следы былой нищеты, но приветливое лицо дышало довольством.

— Господин Бенаси,— ласково промолвила она, видя, что доктор остановился,— окажите мне честь, отдохните у нас.

— Охотно,— ответил он.— Проходите, капитан.

— Наверно, вам жарко, не угодно ли молока или вина? Муж позаботился запасти вина к моим родам. Отведайте, господин Бенаси, и скажите, годится ли оно.

— Ваш муж — достойнейший человек.

— Да, сударь,— спокойно ответила она, оборачиваясь,— мне выпала счастливая доля.

— Мы ничего не хотим, госпожа Виньо, я зашел посмотреть, не стало ли вам худо.

— Нет, нет,— сказала она.— Видите, я разрыхляла грядки в саду, чтобы не сидеть сложа руки.

В эту минуту пришли обе матери — поздороваться с Бенаси, а кучер так и остался стоять посреди двора, откуда ему хорошо был виден доктор.

— Посмотрим, дайте-ка руку,— сказал Бенаси г-же Виньо.

Он замолчал и, углубившись в себя, стал внимательно и сосредоточенно считать пульс. А женщины тем временем рассматривали офицера с тем простодушным любопытством, которое, не стесняясь, выказывают сельские жители.

— Все идет хорошо,— весело объявил доктор.

— Да скоро ли она родит? — спросили обе матери.

— На этой неделе непременно.— И, помолчав, добавил: — А что, Виньо в разъездах?

— Да, сударь,— ответила молодая женщина,— муженек мой торопится устроить все дела, чтобы быть дома во время родов.

— Ну что ж, друзья мои, процветайте, богатейте, деток наживайте.

Офицера изумила чистота, царившая в полуразвалившемся доме. Бенаси, заметив его удивление, сказал:

— Так вести хозяйство умеет лишь одна госпожа Виньо! Хотелось бы мне, чтобы кое-кто из соседок поучился у нее.

Молодая женщина вспыхнула и потупилась; а обе старухи просияли от похвал доктора. Все трое проводили его до места, где были привязаны лошади.

— Ну вот,— обратился Бенаси к старушкам,— теперь вы вполне счастливы. Ведь вам хотелось стать бабушками.

— Ах, и не говорите! — вмешалась молодая женщина.— Терпенья моего нет! Обе мамаши хотят внука, а муж ждет дочурку. Трудновато будет всем угодить.

— Ну, а вы-то сами кого хотите? — спросил, смеясь, Бенаси.

— Я-то, сударь, просто хочу ребенка.

— Видите, в ней уже проснулась мать,— сказал доктор офицеру, взяв лошадь под уздцы.

— Прощайте, господин Бенаси,— сказала молодая женщина,— муж будет жалеть, что вы его не застали.

— А он не забыл отправить тысячу черепиц в Гранж-о-Бель?

— Понятно, отправил. Да ведь вы знаете,— он махнет рукой на заказы всего кантона, лишь бы вам услужить. Только очень ему не по душе с вас брать деньги,— ну, а я говорю, что ваши деньги приносят счастье, и это правда.

— До свидания,— сказал Бенаси.

Три женщины, кучер и два работника собрались у плетня близ входа на черепичный завод, чтобы не расставаться с Бенаси до последней минуты, как это водится, когда человек дорог. Сердечные побуждения всюду одинаковы. Поэтому-то трогательные обычаи дружбы так схожи во всех странах.

Бенаси взглянул на солнце и сказал спутнику:

— Смеркаться начнет часа через два, и ежели вы не очень проголодались, мы с вами навестим одну милую девушку, которой я почти всегда уделяю время, остающееся до обеда, после объезда больных. В кантоне ее называют моей *подружкой*, но не подумайте, что этим прозвищем, которое в наших краях принято давать невестам, ее наградили по злым наветам. Хотя мое попечение о бедной девочке вызывает ревнивое чувство, что отча-

сти и понятно, но сложившееся у всех мнение о моем характере, исключает всяческие кривотолки. Люди, правда, не понимают, почему я предоставил девушке ренту, чтобы она жила, не работая, и считают это просто причудой, но все уверены в ее добродетели и знают, что, если бы привязанность моя перешла границы дружеской заботы, я без колебаний женился бы на ней. Но не только в нашем кантоне,— присовокупил доктор, пытаясь улыбнуться,— нигде в мире женщины для меня не существуют. Человек чувствующий, милейший Блюто, испытывает непреодолимую потребность прилепиться душой к какому-нибудь делу или существу, особенно, когда жизнь для него — пустыня. Поэтому, послушайте меня, снисходительнее судите о человеке, питающем привязанность к собаке или лошади! Среди страждущей паствы, доверенной мне волею случая, бедная болезненная девочка для меня то же, что на солнечной моей родине, в Лангедоке, любимая овечка для пастушек: они украшают ее выцветшими лентами, разговаривают с ней, позволяют пастись у самой нивы, и собака никогда не подгоняет ленивицу.

Бенаси говорил стоя, положив руку на шею коня,— он собирался вскочить в седло, но все медлил, будто чувства, волновавшие его, не сочетались с резкими движениями.

— Ну что ж,— воскликнул он,— поедем к ней! Я сам везу вас туда, и это ли не доказательство, что смотрю я на нее, как на сестру, не правда ли?

Когда оба уже сели на коней, Женеста сказал доктору:

— Может быть, с моей стороны нескромно расспрашивать об этой девушке? Но жизнь ее, вероятно, не менее любопытна, чем жизнь всех тех людей, о которых вы мне рассказывали.

— Сударь,— ответил, приостановив лошадь, Бенаси,— мое отношение к ней будет вам, пожалуй, непонятно. Ее участь подобна моей, мы были предназначены для иного; чувство мое к ней и то волнение, которое я испытываю, видя ее, исходят из сходства наших судеб. Вы вступили на военное поприще, следуя своей склонности или вошли во вкус этого дела, иначе вы не стали бы в ваши годы ходить закованным в броню военной

дисциплины; значит, вам не понять, как терзают душу вечные надежды и вечные разочарования, не понять тоски, гнетущей человека, вынужденного жить в чуждой ему среде. Об этих тайных муках знают лишь сами страдальцы и бог, ниспосылающий им скорбь, ибо только им ведомо, какой глубокий след могут оставить в душе самые незначительные события. У вас, свидетеля стольких бед, порожденных долгой войной, чувствительность притупилась, но разве не наполнялось и ваше сердце тоской, когда вам на глаза в разгар весны попадалось деревце с пожелтевшей листвою, деревце, чахнущее и гибнущее оттого, что его не высадили на почву, где бы вдоволь было соков, необходимых для полного его расцвета? Скорбная покорность хилого растеньица вызывала на мои глаза слезы, когда мне было всего двадцать лет, я отворачиваюсь и теперь, завидев такую картину. Юношеская печаль моя была предвестником печалей зрелых лет, нечто вроде сочувствия настоящего к тому будущему, которое я бессознательно предугадывал при виде деревца, безвременно приближающегося к роковому пределу, назначенному и людям и деревьям.

— Глядя на доброту вашу, я так и думал, что вы много выстрадали!

— Понимаете ли, сударь,— продолжал доктор, не отвечая на слова Женеста,— говорить об этой девушке, значит говорить обо мне. Она — растеньице, пересаженное на чужую почву, но она томится не как растение, она — человек, и ее непрестанно снедают глубокие, безрадостные думы, сменяющие друг друга. Бедная девушка страждет. Душа в ней убивает тело. Мог ли я хладнокровно видеть немощное существо, ставшее добычей тех тяжких терзаний, которым очень мало сочувствуют люди в нашем себялюбивом мире, когда сам я, мужчина, привыкший стойко переносить любые муки, каждый вечер испытываю искушение отказаться от бремени подобных же терзаний? Пожалуй, я бы и отказался, но вера смягчает остроту моей печали и наполняет сердце сладостными надеждами. Даже если бы все мы не были детьми единого бога, девушка эта все равно была бы мне сестрою во страдании.

Бенаси пришпорил коня, словно боясь продолжать беседу в том же тоне, Женеста поскакал вслед за ним.

— Сударь,— продолжал доктор, когда лошади рысцой пошли рядом,— можно сказать, что природа сотворила бедняжку для скорби, как других женщин для радостей. Как не уверовать, что есть иная жизнь, при виде таких обреченных созданий? На нее влияет все: в ненастную, пасмурную погоду она тоскует и *плачет вместе с небом,*— это ее выражение. Вместе с пташками она поет; успокаивается и проясняется с небесами; в хороший день хорошеет; тонкий запах дарит ей неиссякаемые наслаждения: как-то она целый день упивалась ароматом резеды, благоухающей после одного из тех утренних дождей, когда раскрываются чашечки цветов, когда все блестит, когда все словно умыто; она будто оживает вместе с природой, со всеми растениями. Если душно, если воздух наэлектризован перед грозой, у нее появляются недомогания, которые ничем не успокоишь; она ложится, она жалуется, что у нее все болит, а что с нею происходит, сама не знает. Я пытаюсь ее расспросить, и она отвечает, что у нее размягчаются кости, что она будто тает. В такие часы ей все безразлично и только по боли чувствует она, что жива; сердце у нее, говоря ее словами, *готово выскочить из груди.* Не раз я заставал бедную девушку в слезах — она любовалась картиной гор на закате, когда причудливые облака теснятся над позолоченными вершинами. «О чем вы плачете, детка?» — спрашивал я ее. «Право, не знаю, сударь,— отвечала она,— сижу тут, словно дурочка, гляжу вверх, не могу наглядеться и под конец сама не знаю, где я».— «Что же вы там видите?» — «Вот этого не скажу». И хоть целый вечер допытывайтесь, ни слова у нее не добьетесь; то она будет бросать на вас взгляды, исполненные скорбной мысли, то на глаза ее набегут слезы, и она почти перестанет разговаривать, сосредоточенно размышляя о своем. Сосредоточенность ее так глубока, что передается и другим; по крайней мере на меня она в такие часы влияет как туча, насыщенная электричеством. Однажды я засыпал ее вопросами, мне очень хотелось вызвать ее на откровенность. Я даже вспылил при этом. Что же вы думаете? Она разрыдалась. Вообще же она весела, приветлива, смешлива, деятельна, остроумна; она любит поболтать, высказывает неожиданные самобытные суждения, но она не умеет прилежно заниматься одним делом; когда она хо-

дила на полевые работы, то подолгу, бывало, смотрела на какой-нибудь цветок, наблюдала, как течет вода, разглядывала чудесные узоры на дне прозрачных и безмятежных ручьев— прелестную мозаику из гальки, земли, песка, водорослей, мха, ила,— мозаику, краски которой так нежны, а в оттенках столько удивительных сочетаний. Когда я переехал сюда, бедная девушка голодала, ей казалось унизительным просить подаяния, и только если не было иного выхода, обращалась она за помощью к жителям кантона. Случалось, что стыд подстегивал ее волю, несколько дней она, бывало, проработает на пашне, но быстро выбьется из сил, заболеет, и ей приходится оставить работу. Только окрепнет, идет на соседнюю ферму, нанимается ухаживать за скотиной, и хоть работа у нее спорится, она вдруг все бросает, а почему — не говорит. Поденщина была ей, без сомнения, слишком тягостна, потому что девушка эта — воплощение независимости и непостоянства. Она принялась собирать трюфели и грибы и относила их на продажу в Гренобль. В городе ее соблазняли всякие безделушки: выручив несколько грошей, она считала себя богачкой, забывала про нищету, накупала лент, побрякушек и не задумывалась о завтрашнем дне. Ну а если какой-нибудь девице-односельчанке нравился ее медный крестик, позолоченное сердечко или бархотка, она отдавала их и была счастлива, что доставляет людям удовольствие,— ведь живет она сердцем. Поэтому бедную девушку то любили, то жалели, то презирали. Все было для нее источником терзаний: и леность ее, и доброта, и кокетство, потому что она кокетка, лакомка и притом любопытна, словом, настоящая женщина; она отдается своим впечатлениям и склонностям с детскою непосредственностью; расскажешь ей о каком-нибудь хорошем поступке, она трепещет, краснеет, плачет от восторга, грудь ее бурно вздымается; расскажешь ей о разбойниках, она побледнеет от ужаса. На всем свете не найти второй такой правдивой натуры и такого открытого сердца; она честна до щепетильности, доверьте ей сотню золотых монет, она запрячет их в укромный уголок, а сама по-прежнему будет жить подаянием.

При этих словах голос Бенаси дрогнул.

— Я хотел испытать ее, сударь,— продолжал он,— и раскаялся. Ведь когда испытываешь человека, то как буд-

то шпионишь за ним и во всяком случае выказываешь недоверие к нему.

Тут доктор умолк, как бы предавшись своим сокровенным думам, и не заметил, в какое замешательство его слова повергли офицера, который, желая скрыть смущение, принялся распутывать поводья. Вскоре Бенаси заговорил снова:

— Хочется мне подыскать ей мужа, я дал бы ей в приданое одну из своих ферм, пусть бы только какой-нибудь славный малый сделал ее счастливой; она создана для счастья. Бедная девушка до потери сознания любила бы своих детей, и все чувства, переполняющие ее, нашли бы выход в чувстве, которое у женщин объемлет все остальные,— в материнстве; но пока ни один мужчина ей не нравился. Однако она наделена опасной чувствительностью, сама знает об этом и призналась мне в своей нервической восприимчивости, когда увидела, что я это заметил. Она принадлежит к тем немногим женщинам, которые вздрагивают от самого легкого прикосновения,— опасное свойство. Тем большего уважения заслуживает ее рассудительность, женская гордость. Она пуглива, как ласточка. Какая же это одаренная натура, сударь! Она родилась для богатства, для любви, и какой бы она была чудесной спутницей жизни, какой постоянной!.. Ей двадцать два года, а она уже сгибается под бременем пережитого и угасает, она жертва своей неуравновешенной и впечатлительной натуры, своей слишком страстной, а быть может, слишком робкой, души. Пылкая, обманутая любовь свела бы ее с ума. Я изучил ее нравственный склад, сам наблюдал, какие сильные нервные припадки случаются с ней, как на нее воздействуют электрические заряды. Обнаружил я и неоспоримую связь между расположением ее духа и колебаниями погоды, сменою фаз луны и, тщательно проверив все это, окружил ее особой заботой, ибо только мне дано было понять болезненную сущность этой странной девушки и направить ее по верному пути. Она, как я уже говорил вам,— для меня овечка, украшенная лентами. Но сейчас вы увидите ее, вот и домик, где она живет.

Всадники проехали почти треть горного склона, поднимаясь шагом по крутым тропам, обрамленным кустарником. За поворотом дорожки Женеста увидел домик де-

вушки. Он стоял на одном из самых широких уступов горы. Прелестная покатая лужайка, раскинувшаяся арпанах на трех, поросшая деревьями и омытая горными ручейками, обнесена была стеною, не высокой и не низкой, служившей оградой, но не заслонявшей ландшафт. Кирпичный домик с плоской кровлей, выступавшей над стеной навесом, придавал пейзажу своеобразное очарование. Двери и ставни этого двухэтажного строения выкрашены были в зеленый цвет. Передний фасад выходил на юг, и весь домик был до того мал, что окна шли только по фасаду, а сельское щегольство заключалось лишь в том, что весь он блестел чистотою. По немецкой моде навес был подбит досками, выкрашенными белой краской. Вокруг домика виднелись акации в цвету, еще какие-то благовонные деревья, розовый шиповник, вьющиеся растения, исполинское ореховое дерево,— его пощадили при вырубке, а подальше, у ручейков, росли плакучие ивы. Позади же встали буковые и еловые леса — темный фон, на котором четко выделялся уютный домик. Воздух в ту пору дня напоен был ароматами, веявшими с гор и из сада. У горизонта на ясное и безмятежное небо набежали облака. Дальние вершины уже окрашивались в ярко-розовый цвет — отблеск заката. С высоты долина была видна как на ладони, от Гренобля до той дугообразной скалистой гряды, у подножия которой озерком разливается речка,— ее накануне пересек Женеста. Вдали, повыше дома, полосой тянулись тополя — вехи большой дороги, ведущей из селения в Гренобль. А само селение, пронизанное косыми лучами солнца, сверкало точно алмаз и было залито багряным сиянием, отражавшимся во всех окнах. Женеста, увидев эту картину, осадил лошадь и указал на постройки, разбросанные по долине, на новый поселок и домик девушки.

— После победы при Ваграме и возвращения Наполеона в Тюильри в тысяча восемьсот пятнадцатом году,— сказал он, вздохнув,— ничто не вызывало у меня такого волнения. Сударь, вам обязан я этой радостью, ибо вы научили меня видеть красоту сельского ландшафта.

— Да,— ответил, усмехаясь, доктор,— строить города гораздо лучше, чем их брать!

— Да что вы, сударь! А взятие Москвы и падение Мантуи! Неужели вы не знаете, что это такое! Или наша

воинская слава — не достояние всех французов? Вы — человек хороший, да и Наполеон тоже был неплохим человеком, и вы бы столковались; кабы не Англия, не пал бы наш император; теперь-то можно признаться, что я его почитатель, ведь он умер. Тут нет соглядатаев,— заметил офицер, осматриваясь.— Какой же это был монарх! Как он угадывал людей! Вас бы он назначил в государственный совет, потому что он был настоящий правитель и большой правитель, ему было даже известно, сколько оставалось зарядов в патронташах после боя. Бедный, бедный! Пока вы мне толковали о больной девушке, я думал о том, что он-то уже умер на острове святой Елены. Э, да разве годился такой климат и такое жилище человеку, привыкшему скакать на коне и восседать на троне? Говорят, он там садовничал. Черт возьми! Не для того он был создан, чтобы капусту сажать. А нам теперь приходится служить Бурбонам, и служить честно, сударь, ибо, как вы вчера верно сказали, в конце концов Франция остается Францией.

С этими словами Женеста спешился и машинально последовал примеру Бенаси, который привязывал за поводья коня к дереву.

— Неужели ее нет дома? — сказал доктор, не видя девушки на пороге.

Они вошли, но и в комнате на первом этаже никого не застали.

— Вероятно, услышала, что скачут две лошади,— заметил с улыбкой Бенаси,— и пошла наверх надеть чепчик, поясок — словом, принарядиться.

Он оставил Женеста, а сам отправился за хозяйкой. Офицер принялся рассматривать горницу. Стены были оклеены серыми обоями в розах, а на полу вместо ковра лежала циновка. Стулья, кресло, стол были сделаны из некрашеного дерева. Комнату украшали жардиньерки, сплетенные из ивовых обручей и прутьев, убранные цветами и мхом, на окнах белели кисейные занавески с красной бахромой. На камине — зеркало, меж двумя лампами — ваза из гладкого фарфора; рядом с креслом — еловая табуретка, на столе — куски скроенного полотна, несколько заготовленных ластовиц, недошитых рубашек, а также принадлежности, без которых не обходится белошвейка,— рабочая корзинка, ножницы, иголки, нитки.

Все было словно только что вымыто, как раковина, выкинутая морем на песчаный берег. Напротив, по другую сторону коридора, который упирался в лестницу, Женеста заметил кухню. На втором этаже, как и на первом, вероятно, тоже было две комнаты.

— Да полно, не бойтесь,— говорил Бенаси девушке.— Ну пойдемте же!

Услышав эти слова, Женеста проворно вернулся в комнату. И вот появилась тоненькая, стройная девушка, разрумянившаяся от смущения и робости, одетая в розовое кисейное платье со множеством складочек и шемизеткой. Лицо ее было примечательно лишь некоторой расплывчатостью черт, что придавало ему сходство с иными лицами русских казаков, которые стали знакомы французам с печальных времен разгрома 1814 года. И в самом деле, у девушки был вздернутый нос, как у многих северян, большой рот, короткий подбородок, а руки красные, ноги — крупные, широкие, как у крестьянки. Хоть ей и случалось бывать на ветру, на солнце, лицо ее ничуть не загорело, было бескровным — ну прямо поблекшая былинка; но эта бледность с первого же взгляда и привлекала к себе внимание, а в ее голубых глазах было столько кротости, в движениях столько женственности, в голосе столько задушевности, что, несмотря на явное несоответствие ее облика с теми качествами, о которых так восторженно говорил Бенаси, офицер все же тотчас угадал в ней своенравную и болезненную натуру, измученную непосильными тяготами жизни. Девушка ловко развела огонь из торфа и сухих веток, уселась в кресло, взяла начатую рубашку и, оробев под взглядом гостя, не смела поднять глаза, хоть с виду и была спокойна; только, выдавая ее смятение, учащенно вздымалась юная грудь, поразившая Женеста своей красотой.

— Ну, моя милая девочка, дело подвигается? — спросил ее Бенаси, перебирая куски полотна, предназначенного для рубашек.

Девушка ответила, застенчиво и умоляюще посмотрев на доктора:

— Не браните меня, сударь, нынче я не сшила ни одной рубашки, хоть вы и заказали их для людей, которым они очень нужны; но выдался такой чудесный день, я гуляла, набрала шампиньонов, белых трюфелей и отнесла

Жакоте; она обрадовалась, ведь у вас к обеду гости. Как же я счастлива, что угадала это! Словно какой-то голос твердил мне, что надобно пойти по грибы.

И она снова принялась за шитье.

— У вас, мадемуазель, прехорошенький домик,— сказал ей Женеста.

— И совсем он не мой, сударь,— ответила она, вскинув на незнакомца глаза; казалось, и они покраснели от смущения.— Он принадлежит господину Бенаси.

И она несмело перевела взгляд на доктора.

— Вы прекрасно знаете, детка,— сказал доктор, беря ее за руку,— что вас отсюда никогда не выгонят.

Девушка вдруг вскочила и выбежала из комнаты.

— Ну-с,— спросил доктор офицера,— как она вам нравится?

— Знаете ли,— ответил Женеста,— она какая-то трогательная. Вы устроили ей премилое гнездышко.

— Да что там! Обои по пятнадцати — двадцати су, только удачно подобраны, вот и все. Мебель в счет не идет, ее в знак признательности сделал для меня мастер-корзинщик. Наша хозяюшка сама сшила занавески из нескольких локтей коленкора. Жилище ее и простая обстановка приглянулись вам лишь оттого, что увидели вы их в горах, в захолустье, где и не думали найти что-нибудь достойное внимания, а ведь вся тайна их прелести заключается в гармоническом сочетании дома с природой, которая проложила здесь ручьи и картинно рассадила деревья, посеяла на лужайке очаровательнейшие травы, разбросала кустики душистой земляники и нежные фиалки.— Ну, что с вами? — спросил Бенаси у девушки, когда она вернулась.

— Ничего, ничего,— ответила она,— мне просто показалось, что в курятнике не хватает одной курицы.

Она говорила неправду, но заметил это только доктор; он сказал ей на ухо:

— Вы плакали?

— Зачем вы заводите такие разговоры при постороннем человеке? — ответила она.

— Мадемуазель,— сказал Женеста,— напрасно вы живете затворницей; в таком очаровательном домике вам не хватает только мужа.

— Вы правы,— промолвила она,— да как мне быть,

сударь? Я бедна, но требовательна. Нет у меня охоты носить мужу похлебку в поле да быть за возницу, чувствовать непрестанно, как бедность гнетет тех, кого любишь, и не находить выхода, день-деньской нянчить детей и чинить отрепья мужа. Господин кюре сказал, что такие мысли не очень-то подобают христианке, я сама это хорошо знаю, но что поделаешь? В иные дни я готова съесть кусок черствого хлеба, только бы не возиться с обедом, неужто вы хотите, чтобы мои недостатки свели мужа в могилу? Чего доброго, он надорвался бы в работе ради моих прихотей, а это было бы несправедливо. Нет, на меня, видно, напустили порчу, приходится страдать в одиночестве.

— К тому же бедная моя девочка — лентяйка от природы,— сказал Бенаси,— надо с этим мириться. А все эти разговоры означают, что она еще не любила,— добавил он, посмеиваясь.

Немного погодя он встал и вышел на лужайку.

— Вы, должно быть, очень любите господина Бенаси? — спросил Женеста девушку.

— О, конечно, сударь. Все тут, как и я, готовы за него в огонь и в воду. Да вот только других-то он вылечивает, а у самого какой-то недуг, которого не вылечить. Вы его друг? Не знаете ли вы, что с ним? Кто же причинил горе такому человеку? Ведь он — истинное подобие господа бога на земле. Многие у нас верят, что хлеба всходят лучше, если он поутру проедет мимо поля.

— А вы верите?

— Сударь, стоит мне его увидеть...

Она смутилась, но, помедлив, прибавила:

— И я весь день счастлива.

Она склонила голову и с какою-то странною торопливостью принялась шить.

— Ну, как? Рассказал вам капитан про Наполеона? — спросил, возвратившись, доктор.

— Вы видели Наполеона? — воскликнула девушка, всматриваясь в лицо офицера с восторженным любопытством.

— Еще бы! — сказал Женеста.— Тысячу раз, если не больше!

— Ах, как бы мне хотелось услышать что-нибудь из военной жизни!

— Завтра, вероятно, мы приедем сюда пить кофе. И тебе расскажут *что-нибудь из военной жизни*, детка.— Говоря это, Бенаси обнял девушку за плечи и поцеловал в лоб.— Видите ли, ведь она моя дочка,— прибавил он, оборачиваясь к офицеру,— если я не поцелую ее в лоб, мне чего-то не достает весь день.

Девушка сжала руку Бенаси и чуть слышно сказала:

— Какой вы хороший!

Гости попрощались, но девушка пошла провожать их, посмотреть, как они уедут. Когда Женеста был уже в седле, она шепнула Бенаси на ухо:

— А кто же этот господин?

— Вот оно что,— засмеялся доктор и добавил, уже занося ногу в стремя,— да, может быть, твой суженый...

Девушка все стояла, глядя, как они спускаются по крутой тропе, и когда они обогнули сад, то увидели, что она взобралась на груду камней: ей хотелось еще раз взглянуть на своих гостей и кивнуть им на прощание.

— Сударь, в этой девушке есть что-то необычное,— сказал Женеста доктору, когда они отъехали на порядочное расстояние от дома.

— Не правда ли? — ответил он.— Двадцать раз я твердил себе, что лучше жены не найти, но я не могу полюбить ее иначе, чем дочь или сестру, сердце мое мертво.

— Есть у нее родственники? — спросил Женеста.— Чем занимались ее отец и мать?

— О, это целая история,— ответил Бенаси.— У нее нет ни отца, ни матери, никого из родни. Ее прозвище сразу же возбудило мое любопытство. Она родилась у нас в селении. Отца ее, поденщика из Сен-Лоран-де-Пона, прозывали Могильщиком, конечно, потому, что с незапамятных времен в их семье из поколения в поколение передавалось ремесло могильщика. Смертной тоской веет от этого прозвища. В силу римского обычая, до наших дней принятого здесь, как и в ряде других областей Франции, жену называют именем мужа, прибавляя женское окончание, ну, а эту девушку стали звать по прозвищу отца — Могильщицей.

Этот поденщик женился по любви на горничной некой графини, поместье которой находится в нескольких лье отсюда. У нас, как и вообще в деревне, любовь не имеет ровно никакого значения для брака. Обычно кре-

стьяне обзаводятся женами, чтобы иметь детей, чтобы иметь хозяйку,— будет кому готовить вкусную похлебку, носить им в поле еду, ткать холст на рубахи да чинить одежду! Издавна ничего подобного не приключалось в здешних краях, где нередко парень бросает *нареченную* ради другой, за которой дают на три-четыре арпана земли больше. Печальная участь досталась Могильщику и его жене, так что пример их не мог отучить наших крестьян от расчетливости, присущей уроженцам Дофине. Красавица — жена Могильщика скончалась во время родов, муж впал в такое отчаяние, что умер в том же году, не оставив дочке ничего, кроме жизни, еле теплившейся в ней и, разумеется, необеспеченной. Девочку из милости взяла соседка, воспитывавшая ее лет до девяти. Но вот доброй женщине стало не под силу кормить приемную дочку и пришлось посылать ее за подаянием в то время года, когда на дорогах бывает много путешественников. Однажды сиротка пошла просить милостыню в графский замок, и ее там оставили — в память матери. Бедную девочку муштровали, проча в горничные наследнице, пять лет спустя вышедшей замуж; все эти годы она страдала от причуд богатых попечителей, господ, как водится, взбалмошных, которые обычно благотворительствуют порывами, прихоти ради, и, выказывая себя то опекунами, то друзьями, то хозяевами, делают еще более ложным и без того ложное положение облагодетельствованных ими бедных детей, беспечно играют их сердцем, жизнью и будущим и почти не считают их за людей. На первых порах Могильщица стала чуть ли не товаркой наследницы; ее обучали грамоте, а иногда будущая ее госпожа, чтобы поразвлечься, давала ей уроки музыки. Девочка была то компаньонкой, то горничной и превратилась в какое-то незавершенное существо. Она пристрастилась к роскоши, к нарядам и усвоила манеры, не подходившие к ее истинному положению. С той поры невзгоды без пощады искоренили все это из ее души, но не уничтожили смутного сознания, что ей предопределен более высокий удел. И вот как-то, в роковой для бедной девушки день, молодая графиня, уже бывшая замужем, невзначай увидела, что Могильщица — уже просто-напросто горничная,— надев бальное платье своей госпожи, танцует перед зеркалом. Сироту, которой в ту пору было шестна-

дцать лет, безжалостно выгнали, ей все опостылело, и она дошла до нищеты, бродила по дорогам и просила милостыню, работала, но так, как я вам уже рассказывал. Нередко она подумывала о том, не броситься ли ей в реку, не продаться ли первому встречному; чуть ли не целыми днями лежала она в угрюмом раздумье где-нибудь у изгороди на солнцепеке, зарывшись головой в траву; и проезжие кидали ей несколько су, именно потому, что она не просила. Год она пробыла в больнице в Анеси, после того как надорвалась во время жатвы,— она работала в надежде, что умрет. Нужно послушать, как она сама рассказывает о своих чувствах и мыслях в ту пору своей жизни, ее простодушные признания часто бывают весьма любопытны. В конце концов она вернулась в наше селение, как раз когда я решил там обосноваться. Мне хотелось познакомиться с духовным миром здешних жителей, я принялся изучать характер девушки и был изумлен; затем, убедившись в ее болезненном складе, я решил взять ее под свою опеку. Пройдет время, и, может быть, она свыкнется с работой белошвейки, во всяком случае, я обеспечил ей существование.

— Ей там очень одиноко,— сказал Женеста.

— Нет, у нее ночует пастушка,— ответил доктор.— Вы не заметили, что повыше дома находятся службы моей фермы, их заслоняют ели. Там, у себя, она в полной безопасности. Впрочем, в нашей долине не встретишь злых озорников; если они случайно и попадаются, я посылаю их на военную службу, и они становятся отличными солдатами.

— Бедная девушка! — заметил Женеста.

— А вот местный люд ничуть ее не жалеет,— продолжал Бенаси,— напротив, все находят, что она счастливица; здесь не понимают, что между нею и другими крестьянами существует важное различие: им бог даровал силу, ей же — слабость.

В ту минуту, когда всадники выехали на гренобльскую дорогу, Бенаси, заранее зная, как поразит офицера пейзаж, открывшийся перед ними, с довольным видом остановил коня, чтобы насладиться изумлением своего спутника. Два зеленых вала высотою футов шестьдесят тянулись, пропадая вдали, по обеим сторонам широкой дороги, чуть горбатой, как садовая аллея,—все

вместе составляло живой зеленеющий памятник, которым по праву мог гордиться человек, создавший его. Никто не подстригал деревьев, и они возвышались громадным шатром,— недаром итальянские тополя считаются великолепнейшими представителями растительного мира. Уже мрак окутал одну сторону дороги, и потемневшие деревья стояли необъятной стеной, а другую ярко освещало заходящее солнце, покрывая позолотой молодые побеги, и блики света то вспыхивали, то меркли на колыхавшейся завесе листвы, когда по ней пробегал солнечный луч или легкий ветерок.

— Как вы, должно быть, счастливы здесь! — воскликнул Женеста.— Все тут дает вам радость.

— Сударь,— сказал доктор,— только любовь к природе не обманывает человеческих надежд. Она не приносит разочарования. Вот этим тополям — десять лет. Случалось ли вам видеть, чтобы деревья так хорошо принимались?

— Господь бог всемогущ! — воскликнул офицер, останавливаясь посреди дороги, ни начала, ни конца которой не было видно.

— Ваши слова — для меня истинная отрада,— сказал Бенаси.— Мне так приятно услышать от вас то, что я сам часто повторяю, когда еду этой дорогой. Здесь человека охватывает какое-то религиозное чувство. Мы с вами словно две песчинки, а ощущение ничтожества нашего всегда приближает нас к богу.

Они умолкли и медленно тронулись в путь, слушая, как гулко, будто под сводами храма, отдается топот копыт в зеленой галерее.

— Сколько радостных волнений, о которых и не подозревают горожане! — промолвил доктор.— Чувствуете, как пахнет клейкий сок тополя и смола лиственницы? Какое упоение!

— Слушайте, что это? — воскликнул Женеста.— Давайте остановимся.

Издалека донеслось пение.

— Кто это поет — мужчина или женщина? Или птица? — негромко спросил офицер.— Или это голос самой великой природы?

— Все вместе,— ответил доктор, соскакивая с лошади и привязывая ее к ветви тополя.

Он знаком предложил офицеру сделать то же и последовать за ним. Они не спеша пошли по дорожке, окаймленной живой изгородью из терновника, осыпанного белым цветом и разливавшего благоухание в сыром вечернем воздухе. Солнечные лучи, падавшие на тропу, были как-то необычайно ярки, очевидно по контрасту с длинной темной завесой из листвы тополей; эти мощные потоки света бросали багряные отблески на хижину, приютившуюся в конце песчаной дорожки. Казалось, золотая пыль осыпала соломенную кровлю, обычно цветом напоминавшую скорлупу каштана; на развалившемся коньке зеленели заячья капуста и мох. Сквозь ослепительную дымку хижина едва была видна; но ветхие стены и дверь, словом, все сверкало мимолетным блеском, все поражало неожиданною красотою, как это бывает порой с человеческим лицом под воздействием страсти, которая оживляет и красит его. На лоне природы иногда видишь такие безыскусно пленительные и быстро сменяющиеся картины, которые вызывают у нас тот же душевный порыв, что и у апостола, сказавшего Иисусу Христу на горе: *Построим кущу и пребудем здесь*. В этот миг природа будто обрела чистый и нежный голос, такой же чистый и нежный, как она сама, но голос грустный, подобно сиянию, меркнувшему на западе; смутный прообраз смерти, напоминание, воплощенное на небе в заходящем солнце, а на земле — в цветах и в мотыльках-однодневках. В эту пору дня солнечный свет проникнут печалью, печальна была и звеневшая в воздухе песня — народная песня, песня любви и скорби; было время, когда она выражала национальную ненависть Франции к Англии, но Бомарше вернул ей истинную поэтичность, и она зазвучала на французской сцене в устах пажа, признающегося в любви своей крестной матери. Кто-то напевал ее без слов, и она отзывалась в душе, задевая самые чувствительные струны.

— Лебединая песня,— сказал Бенаси,— за целый век, пожалуй, такого голоса не услышишь и двух раз. Поспешим: надобно немедля прекратить пение. Мальчуган убивает себя, бесчеловечно слушать его дальше... Замолчи, Жак! Эй, замолчи же! — крикнул доктор.

Пение оборвалось. Женеста не двигался, словно за-

вороженный. Тучка прикрыла солнце, и сразу замерли и природа и голос.

Мягкое сияние, теплый ветерок и пение мальчика сменились сумерками, прохладой и тишиной.

— Почему ты не слушаешься? — говорил Бенаси.— Больше не получишь ни рисовых пирожков, ни супа с улитками, ни свежих фиников, ни белого хлеба! Видно, тебе умереть хочется и причинить горе матери?

Женеста вошел в опрятный дворик и увидел женственного, хрупкого подростка лет пятнадцати; у него были жиденькие белокурые волосы и такой цвет лица, словно он нарумянился. Он медленно поднялся со скамейки, стоявшей под большим кустом жасмина, под пышными ветвями сирени в цвету, заслонившими его фигурку своею листвой.

— Ведь я велел тебе,— продолжал доктор,—ложиться с заходом солнца, не выходить вечером на холод и не разговаривать. Как же тебе в голову пришло запеть?

— Право же, господин Бенаси, было совсем тепло, а ведь так приятно, когда тепло! А то меня всегда знобит. До того хорошо мне стало, что я нечаянно стал напевать «Мальбрук в поход собрался», и сам себя заслушался: голос у меня звучал прямо как свирель вашего пастуха.

— Смотри, чтобы это больше не повторялось, слышишь?.. Дай-ка руку, бедный мой мальчик.

Доктор принялся считать пульс. Голубые глаза подростка, обычно полные смирения, сейчас лихорадочно блестели,— мальчик был явно возбужден.

—Так я и знал, ты в испарине,— сказал Бенаси.— Мать, верно, ушла?

— Да, сударь.

— Ну, ступай домой и ложись.

Больной, в сопровождении Бенаси и офицера, вернулся в хижину.

— Зажгите-ка свечку, капитан Блюто,— сказал доктор, помогая Жаку снять бедную его одежду.

Когда в комнате стало светло, Женеста поразился невероятной худобе Жака, мальчик был кожа да кости. Бенаси уложил его и стал выстукивать, прислушиваясь к шуму, отдававшемуся у него в груди; уловив зловещие хрипы, он прикрыл Жака одеялом, отошел шага на четыре и, скрестив руки на груди, стал наблюдать за ним.

— Ну, как себя чувствуешь, милый?

— Хорошо, сударь.

Бенаси придвинул к кровати стол на четырех шатких ножках, отыскал на камине стакан и пузырек и приготовил питье: налил в воду темную жидкость из пузырька, тщательно отсчитав капли при свете зажженной свечи, которую держал Женеста.

— Что-то твоя мать запаздывает.

— Да вот она идет, сударь,— сказал Жак.— Слышите — шагает по тропке.

Доктор и офицер в ожидании оглядывали комнату. На полу в ногах кровати валялся набитый мхом матрац без простынь и одеяла; тут, очевидно, не раздеваясь, спала мать. Женеста молча указал на эту постель доктору, который тихонько кивнул головой, как бы говоря, что и его умилила материнская самоотверженность. Во дворе раздалось постукивание сабо, и доктор вышел.

— Придется вам эту ночь присмотреть за Жаком, матушка Колà. Если пожалуется на удушье, дайте ему питье, оно приготовлено в стакане на столе. Только пусть больше двух-трех глотков сразу не отпивает. Стакана должно хватить на всю ночь. Главное, не подливайте из пузырька, и первым делом смените сыну белье, он весь в поту.

— Не успела я нынче постирать ему рубашки, сударь мой, пришлось в Гренобль пеньку снести, чтобы выручить немного денег.

— Ну, рубашки я вам пришлю.

— Значит, бедному моему сыночку хуже стало? — спросила женщина.

— Хорошего ждать нечего, матушка Кола; он не поберегся и запел; но не корите, не браните его, и сами бодритесь. Если Жак будет очень жаловаться, пошлите за мной соседку. Прощайте.

Доктор окликнул спутника, и они пошли обратно по тропинке.

— У паренька чахотка? — спросил Женеста.

— Ну конечно, боже ты мой! — ответил Бенаси.— Его спасти могло бы только чудо, наука тут бессильна. Профессора Парижского медицинского факультета говорили нам о явлении, свидетелем которого вы только что были. При некоторых формах чахотки иногда происхо-

дят такие изменения голосовых связок, что у больного появляется замечательный голос,— самому искусному певцу не превзойти его. А невеселый денек провели вы из-за меня, сударь,— добавил доктор, вскочив на коня.— Повсюду страдание, повсюду смерть, и покорность судьбе тоже повсюду. Крестьяне умирают философски — отстрадали молча и свалились наподобие животных. Ну довольно говорить о смерти, пришпорим-ка лошадей. Надобно засветло вернуться домой, мне хочется, чтобы вы взглянули на новый поселок.

— Эге! Да не пожар ли там,— сказал Женеста, указывая на склон горы, откуда столбом поднималось пламя.

— Ну, это огонь не страшный. Должно быть, известь обжигают. Промысел этот у нас возник недавно — топливом служит вереск.

Прогремел ружейный выстрел, и Бенаси, невольно вскрикнув, раздраженно сказал:

— Неужто опять Бютифе? Ну, посмотрим, кто кого пересилит!

— Стреляли вон там,— заметил Женеста, указывая на буковый лесок, выросший на горе, как раз над ними.— Да, там, наверху, поверьте слуху старого солдата.

— Скорей туда! — крикнул Бенаси, пустив коня во весь опор, словно на скачках с препятствиями, без дороги, напрямик к леску, так не терпелось ему захватить стрелка на месте преступления.

— Вы за ним, а он от вас! — крикнул Женеста, с трудом поспевая за доктором.

Бенаси вмиг повернул лошадь, поскакал обратно, и немного погодя человек, которого он догонял, появился на скале, футах в ста над головою всадников.

— Бютифе,— крикнул Бенаси, увидев у него длинное ружье,— спускайся!

Бютифе узнал доктора и ответил почтительным и дружеским поклоном, выражавшим полное послушание.

— Допускаю,— заметил Женеста,— что человек, движимый страхом или другим сильным чувством, ухитрился вскарабкаться на самую верхушку утеса, но вот как он оттуда слезет?

— За него-то я не боюсь,— ответил Бенаси,— этому молодцу козы могут позавидовать. Сами сейчас увидите.

Война приучила офицера ценить человеческую отвагу,

и он с восхищением следил за быстрыми, уверенными, красивыми движениями Бютифе, спускавшегося по крутым уступам скалы, на верхушку которой он взобрался с таким дерзким бесстрашием. Он был силен, гибок и с удивительной ловкостью держался на самых крутых склонах; по краю утеса он ступал спокойнее, чем на паркетном полу, так он был, очевидно, уверен, что не сорвется. Длинное ружье служило ему вместо палки. Бютифе был худощавый, подвижный, мускулистый парень среднего роста, чья мужественная красота поразила Женеста, когда он разглядел его вблизи. Вероятно, Бютифе принадлежал к числу тех контрабандистов, которые, не прибегая к насилию, только с помощью терпения и изворотливости обманывают казну. У него было смелое, опаленное солнцем лицо. Светлые, изжелта-карие глаза сверкали, как глаза орла, а тонкий, чуть загнутый книзу нос напоминал орлиный клюв. Пушок покрывал его щеки. Меж полураскрытыми алыми губами виднелись ослепительно белые зубы. Борода, и усы, и баки, рыжеватые, вьющиеся от природы и не знавшие ножниц, придавали его лицу еще больше мужества и суровости. Он казался воплощением силы. Мускулы рук благодаря постоянному упражнению были крепки и развиты на редкость. Грудь у него была широкая, а очертания лба говорили о прирожденном уме. Вся его внешность свидетельствовала об отваге, решительности, спокойствии, свойственных человеку, который привык рисковать жизнью и так часто испытывать свою телесную и умственную силу во всяческих переделках, что он больше не сомневается в себе. На нем была рубаха, изодранная колючками, на ногах сандалии, подвязанные ремешками из кожи угря. Из-под синих холщовых штанов, испещренных заплатами и дырками, виднелись загорелые, сильные ноги, сухощавые и стройные, как у оленя.

— Перед вами человек, когда-то стрелявший в меня,— тихо сказал Бенаси офицеру.— А теперь если бы я захотел от кого-нибудь избавиться, Бютифе любого убил бы без колебаний. Бютифе,— продолжал он, обращаясь к браконьеру,— я-то ведь считал, что ты умеешь держать слово, поэтому ручался за тебя. Мое обещание гренобльскому королевскому прокурору основано было на том, что ты поклялся бросить охоту, остепениться, образумиться,

приняться за дело. Ведь это ты сейчас выстрелил, да еще на земле графа Лабраншуара. Ну а если бы, бедовая ты голова, услыхал лесничий? На твое счастье, протокола я не составлю, иначе тебя судили бы за повторное преступление, тем более что ты не имеешь права носить оружие. Я оставил тебе ружье из снисхождения, зная, как ты дорожишь им.

— Вещь отменная,— заметил офицер, определив, что это длинноствольное охотничье ружье — работа сентэтьенских оружейников.

Контрабандист поднял голову и так посмотрел на Женеста, будто благодарил за одобрительный отзыв.

— Бютифе,— продолжал Бенаси,— разве совесть тебя не мучит? Стоит тебе приняться за старое ремесло, как ты снова очутишься за решеткой; и уж тогда никакое заступничество не избавит тебя от каторжных работ, ты будешь заклеймен, опозорен. Сегодня же вечером принеси мне ружье, я его сберегу для тебя.

Бютифе судорожным движением сжал ружейный ствол.

— Вы правы, господин мэр,— сказал он.— Я виноват, я нарушаю закон, я — подлец. Ладно, отбирайте у меня ружье, но оно уже навсегда останется у вас. Так и знайте: последним выстрелом я покончу с собой. Что поделаешь! Я во всем вас слушался, зиму просидел тихонько, ну а вот весной закипела кровь. Пахать я не умею, не по нутру мне всю жизнь откармливать птицу, не могу я гнуть спину — грядки перекапывать, или шагать, помахивая кнутом, за телегой, или торчать в конюшне, лошадей чистить. Что ж, выходит, с голоду подыхать? Хорошо мне живется только там, наверху,— заметил он, помолчав, и показал на горы.—Уже с неделю я брожу там; выследил серну, вон она где теперь, к вашим услугам,— продолжал он, указывая на вершину скалы.— Господин Бенаси, вы ведь такой добрый, не отнимайте у меня ружье. Послушайте: даю вам честное слово, что я уйду из общины, отправлюсь в Альпы; там охотники на серн в штыки меня не встретят, наоборот, примут радушно, и я подохну где-нибудь среди ледников. Да чего кривить душой: я предпочту всего лишь годика два пожить в горах, не сталкиваясь с властями, таможенниками, сельскими стражниками, с королевским прокурором, чем век

гнить в вашем болоте. Только вас и буду жалеть, а все остальные вконец мне осточертели. Вы хоть и стоите на своем, но по крайней мере не сживаете людей со света...

— А Луиза? — спросил Бенаси.

Бютифе задумался.

— Эх, приятель! — сказал Женеста.— Научись-ка грамоте, приходи ко мне в полк, садись на коня и будь карабинером. Ну, а если затрубят седлать лошадей в поход на врага, увидишь, что господь бог судил тебе жить среди пушек, пуль, сражений, и станешь ты генералом.

— Да вот если бы Наполеон вернулся,— ответил Бютифе.

— Помнишь наш уговор? — сказал ему доктор.— Ты обещал, что, если провинишься во второй раз, пойдешь в солдаты. Даю тебе полгода,— выучишься грамоте, ну, а там подыщу наследничка из богатого дома, отправишься вместо него на военную службу.

Бютифе взглянул на горы.

— Нет, в Альпах тебе не бывать! — воскликнул Бенаси.— Такой человек, как ты, человек слова, человек, в котором заложено столько хорошего, должен служить своей стране, командовать отрядом, а не ломать себе шею в погоне за серной. Ты ведешь такую жизнь, что тебе не миновать каторги. Тратишь столько сил, что тебе подолгу нужно отдыхать, и в конце концов ты обленишься, станешь беспутным, начнешь насильничать, самовольничать, а моя цель — наперекор тебе самому вывести тебя на хорошую дорогу.

— Что ж, придется, значит, околевать с тоски и печали. В городе мне дышать нечем. В Гренобле, когда случается возить туда Луизу, дня вытерпеть не могу.

— У всякого свои наклонности, и мы сами должны их знать, чтобы побороть их или обратить на пользу окружающим. Но час уже поздний, мне некогда. Завтра принесешь ружье, тогда мы обо всем потолкуем, сынок. Прощай. А серну продай в Гренобле.

Всадники поехали дальше.

— Вот это действительно человек! — воскликнул Женеста.

— Человек на дурном пути,— ответил Бенаси.— Но как быть? Вы сами слышали, что он говорит. Прискорбно видеть, как гибнет такая даровитая натура. Если бы

во Францию вторгся неприятель, Бютифе во главе сотни смельчаков на месяц задержал бы в горах Морьены целую дивизию, но в мирное время он находит выход своей силе в одних только противозаконных поступках. У него потребность — преодолевать препятствия; если он не подвергает опасности свою жизнь, то борется с обществом, помогает контрабандистам. Такой ведь удалец— один в утлой лодчонке переплывает Рону, отвозит в Савойю обувь; с тяжелой ношей взбирается на неприступный утес, отсиживается там суток по двое, питаясь коркой хлеба. Словом, он любит опасность, как некоторые любят сон. Он привык к сильным ощущениям, и ему уже тесно в рамках обыденной жизни. А я не хочу, чтобы такой человек, незаметно катясь под гору, превратился в грабителя и умер на эшафоте. Ну, как вам нравится наше селение, а?

Женеста издали увидел большую полукруглую площадь, зеленевшие вокруг деревья, а посреди нее, под сенью тополей,— водоем. Площадь была окружена тремя рядами насаждений, расположенных на пологих склонах: ряд акаций, за ним — японское лаковое дерево, а повыше — небольшие вязы.

— Здесь у нас устраиваются ярмарки,— сказал Бенаси.— А главная улица начинается подальше, вон у тех двух красивых домов, о которых я вам говорил: один принадлежит мировому судье, другой — нотариусу.

Они въехали на широкую, тщательно вымощенную крупным булыжником улицу, застроенную сотнею новых домов, меж которыми почти повсюду виднелись сады. Вдали живописно вырисовывался портал церкви, в которую упиралась улица, на полпути пересеченная еще двумя новыми улицами, с немалым числом домов. Мэрия находилась на церковной площади напротив дома кюре. Увидев Бенаси, женщины, дети и мужчины, закончившие трудовой день, высыпали на порог своих домов, и кто скидывал перед ним шапку, кто говорил слова приветствия, а детвора прыгала вокруг лошади, словно зная ее добродушие не хуже, чем доброту ее хозяина. То было сдержанное ликование, в котором, как во всех глубоких чувствах, было что-то робкое и задушевное. Женеста, видя, как люди встречают Бенаси, подумал, что доктор поскромничал и, рассказывая накануне о привязан-

ности, какую питают к нему жители кантона, умалил ее. И в самом деле, то была отраднейшая из всех существующих властей — власть, права̀ которой записаны в сердцах подданных, говоря иначе — истинная власть. Пусть человек ослеплен блеском своей славы, своего могущества, однако в душе он скоро по достоинству оценит те чувства, которые пробудил своими деяниями, и сразу поймет, как он ничтожен в действительности, и ничего преобразующего, ничего нового и ничего великого больше не узрит во внешних проявлениях своей воли. Короли — даже если им подвластна вселенная,— как все смертные, обречены на жизнь в ограниченном кругу, его законам они обязаны подчиняться, и личное их счастье зависит от чувств тех людей, какими они окружены. А Бенаси во всем кантоне встречал лишь повиновение и дружеское расположение.

ГЛАВА III

НАПОЛЕОН НАРОДА

— Входите же, сударь! — говорила Жакота.— Совсем заждались вас гости. Всегда вы так. Из-за вас обед, как ни старайся, не получится. Все перепарилось.

— Да вот и мы,— отвечал с улыбкой Бенаси.

Всадники сошли с лошадей и направились в комнату, где сидели гости, которых пригласил доктор.

— Господа,— сказал он, беря Женеста за руку,— имею честь представить вам господина Блюто, капитана кавалерийского полка, стоящего в Гренобле, старого солдата, который обещает пожить у нас.

И, указывая на высокого, сухопарого и седовласого человека в черном, он обратился к Женеста:

— Познакомьтесь с господином Дюфо, мировым судьей. Я уже о нем рассказывал вам, он немало посодействовал процветанию общины. Познакомьтесь,— продолжал он, подводя Женеста к невысокому молодому человеку в очках, худощавому, бледному и тоже одетому в черное,— это господин Тонеле, зять господина Гравье, первый нотариус, обосновавшийся у нас.

Он обернулся к толстяку, на вид полукрестьянину-

полугорожанину, с грубоватым, покрытым угрями, но добродушным лицом, и сказал:

— Познакомьтесь с господином Камбоном, моим достойным помощником — лесоторговцем, ему я обязан тем, что население оказывает мне благосклонное доверие. Он один из создателей дороги, которой вы восхищались. Нет нужды говорить, чем занимается этот господин,— прибавил Бенаси, указывая на священника.— Перед вами человек, которого нельзя не любить.

Офицер не мог отвести глаз от лица священника — такой оно светилось духовной красотой, придававшей ему неотразимое обаяние. На первый взгляд лицо г-на Жанвье, пожалуй, казалось некрасивым, так суровы и нескладны были все его черты. Невысокий рост, тщедушность, самая поза — все говорило о телесной слабости, но кроткое лицо свидетельствовало об истинно христианском внутреннем умиротворении, о силе и стойкости, порождаемых душевной чистотою. Глаза его, в которых словно отражались небеса, сияли неугасимым огнем милосердия, горевшим в его сердце. Держался он скромно и естественно, без суетливости, и во всех движениях его было что-то застенчивое и простодушное, как в движениях юной девушки. Весь облик его внушал уважение и невольное желание познакомиться с ним поближе.

— Что вы, господин мэр,— произнес он и потупился, точно хотел избежать похвал Бенаси.

Голос его глубоко взволновал Женеста; услышав несколько незначительных слов, произнесенных этим безвестным священником, офицер проникся к нему чуть ли не благоговением.

— Господа,— сказала Жакота, входя, и подбоченилась, остановившись посреди гостиной,— суп подан.

По приглашению Бенаси, который обратился ко всем по очереди, не соблюдая старшинства, пятеро гостей прошли в столовую и уселись за стол, выслушав предобеденную молитву, которую кюре произнес вполголоса безо всякой напыщенности. Стол был накрыт скатертью из камчатного полотна, изобретенного при Генрихе IV искусными ремесленниками братьями Грендорж, по имени которых названа эта прочная ткань, хорошо известная хозяйкам. Скатерть сверкала белизной и пахла чебрецом — его употребляла Жакота, когда бучила белье. Ни

малейшего изъяна не было на белой фаянсовой посуде с синей каймой. А такие графины старинной восьмиугольной формы в наши дни уцелели только в провинциальной глуши. Черенки ножей из резного рога изображали причудливые фигурки. И каждый, рассматривая все эти старинные, но отлично сохранившиеся предметы роскоши, находил, что они под стать благодушию и чистосердечию хозяина дома. Женеста залюбовался крышкой суповой миски, украшенной выпуклою гирляндою из овощей прекрасной расцветки в духе Бернара Палисси, знаменитого керамиста XVI века. Общество было своеобразное. Мужественные лица Бенаси и Женеста резко отличались от иконописного лика г-на Жанвье; а лицо нотариуса казалось еще моложе рядом с поблекшими физиономиями мирового судьи и помощника мэра. Как будто все человеческое общество было представлено этими различными лицами, равно выражавшими довольство своей жизнью, уверенность в настоящем и будущем. Лишь г-н Тонеле и г-н Жанвье, еще мало видавшие на своем веку, любили гадать о том, какие события ждут их впереди, ибо чувствовали, что будущее принадлежит им, остальные же гости, должно быть, предпочитали вести беседу о прошедшем; все они с одинаковой серьезностью говорили о жизни, и два оттенка было в печали, окрашивавшей их суждения: один напоминал бледный свет вечерних сумерек — то были полустершиеся воспоминания о радостях, которым не суждено повториться, другой же напоминал зарю, вселяющую надежду на погожий день.

— Вы, вероятно, порядком устали сегодня, господин кюре? — спросил Камбон.

— Устал, сударь,—ответил Жанвье,— беднягу кретина и дядюшку Пельтье хоронили в разное время.

— Теперь можно снести лачуги в старой деревне,— сказал Бенаси своему помощнику.— Целина из-под снесенных домов даст нам по крайней мере арпан луга; к тому же община сбережет сто франков, которые шли на содержание кретина Шотара.

— Надо года три отчислять эту сотню на постройку дорожного моста в низине, там, где разливается ручей,— заметил Камбон.— У жителей селения и долины вошло в привычку проходить по участку Жана-Франсуа-Пасту-

ро: вконец потравят и истопчут участок, нанесут изрядный ущерб бедняге.

— Верно,— сказал мировой судья,— лучшего применения этим деньгам не найти. По-моему, вопрос о тропинках, проложенных на чужих землях,— один из самых больных в деревне. Десятую долю тяжб у мирового судьи составляют притязания на чужие владения. Не сосчитать кантонов, где безнаказанно посягают на права собственности. Уважение к чужой собственности и уважение к закону — чувства, которыми частенько пренебрегают во Франции, а их-то и надобно поощрять. Многие считают бесчестным содействовать закону, и слова «бог тебе судья», вошедшие в пословицу и будто бы подсказанные похвальным чувством великодушия, на самом деле — ханжеская отговорка и только прикрывают наше себялюбие. Надо признаться, нет в нас патриотизма! Истинный патриот—это гражданин, настолько проникнутый сознанием того, как важен закон, что готов исполнять его даже на свой страх. Ведь отпуская преступника с миром, становишься виновником его будущих злодеяний.

— Одно вытекает из другого,— сказал Бенаси.— Прокладывали бы мэры дороги получше — не было бы тропинок. А если бы муниципальные советники были пообразованней, то поддерживали бы владельца и мэра, когда те противятся притязаниям на чужое имение; и все бы внушали невеждам, что замок, поле, хижина, дерево одинаково священны и что нельзя говорить о большем или меньшем праве в зависимости от ценности владений. Но сразу не добьешься такого поворота к лучшему, прежде всего это зависит от нравственности населения, а ее мы не можем изменить вполне без действенного вмешательства священников. К вам это, господин Жанвье, конечно, не относится.

— Я и не принимаю на свой счет,—ответил с усмешкой кюре.— Ведь я стараюсь сочетать устои католицизма с вашими взглядами на управление. Нередко пытался я, читая проповеди о том, как пагубно воровство, внушить прихожанам те же взгляды на право, какие вы сейчас высказали. В самом деле, бог ведь осуждает воровство не по стоимости украденной вещи: он судит вора. Вот смысл притч, которые я пытался приноровить к пониманию моих прихожан.

— И вы добились успеха, господин кюре,— сказал Камбон.— Я-то могу судить о переменах, которые благодаря вам произошли в умах, когда сравню, чем была и чем стала община. Уж, конечно, мало найдется кантонов, где бы люди так добросовестно работали, как у нас, не жалея времени. Скот стерегут отлично, и потравы бывают только случайно. Лес щадят. К тому же вам удалось втолковать нашим крестьянам, что наградой за бережливость и труды являются зажиточность и отдых.

— Значит, вы вполне довольны своими подначальными, господин кюре? — спросил Женеста.

— Господин капитан,— ответил священник,— не следует уповать, что встретишь на земле ангелов. Повсюду — где нищета, там и страдание. Страдание и нищета— две живые силы, которые можно употребить во зло, как и власть. Когда крестьяне, отмахав два лье до пашни, под вечер, измучившись от работы, плетутся домой и видят, как охотники шагают напрямик по полям и лугам, спеша к обеду, думаете, они не последуют такому заманчивому примеру? Кто же из двух сокращающих себе таким способом дорогу преступает закон, как тут сейчас сетовали? Тот ли, кто работает, или тот, кто развлекается? Ныне богачи и бедняки огорчают нас одинаково. Вера, как и власть, должна всегда спускаться с высот небесных или с высот общества, а в наши дни у высших классов, безусловно, веры меньше, чем у народа, которому бог обещал царство небесное в воздаяние за терпеливо переносимые тяготы жизни. Хотя я всецело подчиняюсь правилам церкви и указаниям вышестоящих духовных лиц, но все же думаю, что нам давно бы следовало относиться менее требовательно к вопросам обрядности и стараться оживить религиозное чувство в душе людей среднего сословия, которые спорят о христианском вероучении, вместо того чтобы следовать ему. Философские домыслы богача послужили роковым примером для бедняка и вызвали чересчур длительные смуты у престола веры. Только личное наше влияние позволяет нам добиться чего-нибудь от нашей паствы, а разве мыслимо, чтобы сила веры в целой общине зависела от уважения, которым пользуется тот или иной человек? Когда христианство вновь одухотворит общественный порядок и его охранительные принципы проникнут во все классы, тогда будут соблю-

даться и обряды. Обряды религии—это ее внешняя форма, а общество существует лишь благодаря форме. Вам—знамена, а нам — крест...

— Господин кюре, хотелось бы мне знать,— сказал Женеста, перебивая Жанвье,— почему вы не позволяете здешним беднякам поразвлечься, потанцевать в воскресные дни.

— Господин капитан,— ответил кюре,— танцы сами по себе мы не порицаем, мы возбраняем их как причину безнравственности, которая смущает покой и портит деревенские нравы. Блюсти чистоту семейного духа, хранить святость семейных уз, не значит ли это в корне пресекать зло?

— Известно,— заметил Тонеле,— что не найдешь кантона, где бы не творили бесчинств, у нас же они случаются все реже и реже. Иные здешние крестьяне, когда пашут, не постесняются и прихватить у соседа борозду земли или срежут, если понадобится, чужой ивняк, да ведь все это пустяки по сравнению с тем, как грешат горожане. Я нахожу, что обитатели нашей долины — народ на редкость благочестивый.

— Благочестивый? — отозвался, усмехаясь, кюре.— Бояться религиозного фанатизма здесь нечего.

— Да ведь если бы сельские жители,— возразил Камбон,— что ни утро ходили к обедне да исповедовались у вас каждую неделю, некому было бы обрабатывать поля, к тому же тут не управились бы даже три священника.

— Сударь,— подхватил кюре,— работать — значит молиться. Слишком усердное посещение церковных служб мешает пониманию самой сущности религии и ее устоев, а именно они и дают жизнь обществу.

— А как вы смотрите на патриотизм? — спросил Женеста.

— Патриотизм,— внушительно ответил кюре,— вселяет лишь преходящие чувства, религия же делает их долговечными. Патриотизм — это временное забвение личной выгоды, христианство же — целая система, противоборствующая порочным склонностям человека.

— Однако, сударь, в пору революционных войн патриотизм...

— Да, в пору революции мы творили чудеса,— пре-

рвал Бенаси офицера,— но прошло двадцать лет, и в тысяча восемьсот четырнадцатом году нашего патриотизма как не бывало. А ведь когда Францию и Европу двигали идеи религиозные, за сто лет чуть ли не двенадцать раз совершались походы в Азию.

— Быть может,— вставил мировой судья,— нетрудно устранить материальные причины, из-за которых народы идут войной друг на друга, но войнам, предпринятым во имя религиозных догматов и не имеющим строго определенной цели, право же, нет конца.

— Что же, сударь, так вы и не попотчевали рыбой? — сказала Жакота, убиравшая с помощью Николя грязные тарелки со стола.

Стряпуха, верная своим привычкам, вносила кушанье за кушаньем — обычай, неудобство которого заключается в том, что любителям покушать приходится много есть, а люди воздержанные, насытившиеся после первых же блюд, вынуждены отказываться от самого вкусного.

— Вы только послушайте, господа! — воскликнул священник и обратился к мировому судье.— Как это вы можете утверждать, что религиозные войны не преследовали определенной цели? Некогда религия являлась такой могучей силой в обществе, что интересы материальные были просто неотделимы от религиозных вопросов. Поэтому-то каждый солдат отлично знал, ради чего он сражается...

— Если люди столько сражались из-за религии,— заметил Женеста,— значит, господь бог построил ее на весьма несовершенных основах. Ведь всякое божественное установление должно поражать людей своей непреложностью.

Все посмотрели на кюре.

— Господа,— сказал Жанвье,— религию чувствуют, а не определяют. Не нам судить о путях всемогущего.

— Выходит — верь в ваше шаманство,— сказал Женеста с непосредственностью солдата, которому не случалось задумываться о боге.

— Сударь,— строго ответил священник,— ни одна религия так не умиротворяет нас, не рассеивает наши тревоги, как религия католическая, да и, кроме того, что вы теряете, веруя в ее истины?

— Да, пожалуй, немногое,— сказал Женеста.

— Так-то, а вот неверие ваше может стоить вам дорого. Лучше поговорим, сударь, о земном, это вас касается ближе. Смотрите, как перст божий отпечатался на делах житейских, коих господь касается рукою своего наместника. Люди утратили многое, свернув с путей, проторенных христианством. Прочесть о церкви редко кто удосужится, и судят о ней на основании ошибочных представлений, умышленно распространяемых в народе, а между тем церковь явила безукоризненный образец того государственного строя, какой теперь стараются учредить. Выборный принцип сделал ее надолго большой политической силой. Некогда все религиозные установления были основаны на свободе, на равенстве. Все пути содействовали общему делу. Настоятель, аббат, епископ, генерал духовного ордена, папа — все они добросовестно выбирались сообразно нуждам церкви, были выразителями ее духа, слепое повиновение им считалось обязательным. Умолчу о том, как благодетелен был для человеческого общества этот дух, объединивший людей в нации, вдохновивший человека на создание поэм, соборов, статуй, картин и музыкальных произведений, которым нет числа, и обращу ваше внимание лишь на то, что наши народные выборы, суд присяжных, обе палаты корнями уходят в поместные и вселенские соборы, соборы епископов и коллегии кардиналов, с тем лишь различием, что современные философские представления о цивилизации бледнеют, по-моему, перед возвышенной и божественной идеей католического единения—прообразом всечеловеческого единения, завершенного словом и делом христовым, вылившимся в религиозный догмат. Новому политическому строю, каким бы совершенным он ни представлялся, нелегко будет творить чудеса, которые возможны были в те времена, когда церковь являлась опорою человеческого разума.

— Почему? — спросил Женеста.

— Во-первых, потому, что выборность можно возвести в политический принцип только при полнейшем равенстве избирателей, которые должны быть *равными величинами,*— прибегаю к геометрическому выражению,— а современным политикам этого не добиться вовеки. Кроме того, великие общественные деяния совершаются лишь благодаря силе чувств, и лишь эта сила может объеди-

нить людеи, а нынешние лжемудрецы основали законы на принципе личной выгоды, которая разобщает людей. Некогда чаще, чем теперь, в мире встречались люди, одушевленные бескорыстным, самоотверженным сочувствием к тем, чьи права попраны, к страданиям народным. Поэтому священник, этот представитель среднего сословия, противостоял материальной силе и защищал народ от его врагов. В свое время у церкви были земельные владения, но привело это к тому, что земные блага, которые, казалось бы, должны укрепить ее, подорвали ее жизнедеятельность. В самом деле, раз священник пользуется особыми правами на собственность, значит, он угнетатель; раз государство оплачивает его, значит, он чиновник и за это он обязан отдавать время, душу, жизнь; сограждане вменяют добродетель ему в обязанность и его стремления к добру, оскудев вместе с принципом свободной воли, глохнут в его сердце. Но когда священник беден, когда он — священник по призванию и вся его опора в боге, а все богатство — в сердцах паствы, он вновь превращается в миссионера, проповедовавшего в Америке, он — апостол, он — князь добра. Словом, бедность делает его всевластным, богатство же его губит.

Жанвье завладел всеобщим вниманием. Гости молчали, размышляя над словами, которых никто не ждал от простого кюре.

— Господин Жанвье, в истины, высказанные вами, вкралась немаловажная ошибка,— сказал Бенаси.— Вы знаете, я не люблю спорить о том, что такое общее благо— нынче его любят обсуждать и писатели и власть имущие. По-моему, если человек постиг сущность какой-либо политической системы и если он чувствует в себе силу осуществить ее, он должен умолкнуть, захватить власть и действовать; но если он пребывает в блаженном неведении, как простой обыватель, то его стремление переубедить народ разглагольствованиями будет безумием. И все же, милейший наш проповедник, с вами я поспорю потому, что сейчас обращаюсь к людям честным, привыкшим совместно отдавать свои знания поискам истины. Мысли мои, пожалуй, покажутся вам странными, но они являются плодами размышлений и внушены мне бедственными событиями последних сорока лет. Всеобщая подача голосов, которой ныне требуют лица, принад-

лежащие к так называемой конституционной оппозиции, была великолепным принципом в применении к церкви, ибо, как вы отметили, дорогой проповедник, все священнослужители были образованны, религиозное чувство приучило их к повиновению, образ мыслей был у них один, все они хорошо знали, чего хотят и куда идут. Но если бы восторжествовали идеи, при помощи которых современный либерализм безрассудно ведет борьбу с процветающим правительством Бурбонов, погибли бы и Франция и сами либералы. Вожди левых это хорошо знают. Для них борьба—просто-напросто вопрос власти. Ежели, упаси боже, буржуазия под знаменем оппозиции ниспровергнет социальные преимущества, непереносимые для ее тщеславия, тотчас же вслед за этим торжеством она начнет борьбу против народа, который впоследствии будет видеть в ней своего рода знать, правда, измельчавшую, но ее богатства и привилегии будут особенно ненавистны ему, потому что он еще сильнее ощутит их на своей спине. В этой борьбе общество, я не говорю народ, погибло бы вновь, ибо временному торжеству обездоленного народа сопутствуют величайшие неурядицы. Борьба была бы ожесточенной, непримиримой, ибо питали бы ее бесчисленные разногласия между избирателями, менее образованная и наиболее многочисленная часть которых одержала бы верх над высшими кругами общества при такой системе, когда важно число голосов, а не их ценность. Из этого следует, что государственный строй тем налаженнее и устойчивее, а значит, и тем совершеннее, чем теснее круг, чьи привилегии он должен защищать. То, что я называю *привилегией*, не имеет ничего общего с правами, когда-то противозаконно пожалованными избранным в ущерб остальным, нет, она относится к тому кругу общества, в котором сосредоточились функции власти. Власть в некотором роде — сердце государства. Природа же в любое свое творение вкладывает сгусток жизненных сил, чтобы придать им большую действенность: это относится и к политическому организму. Поясню свою мысль примерами. Предположим, что во Франции сто пэров, они будут причиною сотни столкновений. Упраздните пэрство, и все богачи станут людьми привилегированными; вместо ста привилегированных у вас их будет десять тысяч, и вы расширите язву общественного нера-

венства. В самом деле, народ считает, что право жить, не работая, само по себе — привилегия. В его глазах тот, кто потребляет, не производя,—хищник. Ему нужно воочию видеть, как трудится человек, он ни во что не ставит плоды труда умственного, которые его же и обогащают. Итак, умножая количество причин для столкновения, вы распространяете борьбу на все слои общества, вместо того чтобы ограничить ее узким кругом. Когда нападение и сопротивление делаются всеобщими, катастрофа неминуема. Богачей будет всегда меньше, нежели бедняков; значит, как только борьба станет физической, победа окажется на стороне бедняков. История подтверждает мои положения. Римская республика покорила мир, установив сенаторские привилегии. Сенат олицетворял власть. Но когда всадники и пришлые люди приняли участие в управлении государством, то есть когда сословие патрициев расширилось, Республика погибла. После Суллы и даже после Цезаря Тиберий превратил ее в Римскую империю — систему, где власть, сосредоточенная в руках одного человека, продлила на несколько столетий существование этой великой державы. Когда вечный город пал при нашествии варваров, в Риме не было больше императора. Когда наша земля была завоевана, франки, поделив ее между собой, придумали феодальные привилегии, чтобы сохранить неприкосновенность своих владений. Сотни, даже тысячи вождей, завладевшие страной, создали собственные установления, чтобы оградить свои права, приобретенные завоеванием. Феодализм держался до той поры, покуда привилегии были ограничены. Но, когда вместо пятисот *человек особой породы* — истинный перевод слова дворянин—их стало пятьдесят тысяч. произошел государственный переворот. Власть дворян была слишком распылена, а потому лишена энергии и силы, к тому же дворяне оказались беззащитны перед непредвиденным для них раскрепощением денег и мысли. Итак, если буржуазия, восторжествовав над монархическим строем, преследует цель увеличить в глазах народа число привилегированных, то неизбежным следствием такой перемены будет то, что народ восторжествует над буржуазией. Если же переворот свершится, толчком к нему послужит распространение избирательного права на все слои общества без ограничений. Тот, кто голосует,—

спорит, а спорной власти быть не может. Представляете ли вы себе общество без власти? Нет. Так вот, власть означает силу. Сила же должна опираться на *неоспоримые решения*. Все это привело меня к мысли, что выборный принцип — один из гибельнейших для современных правительств. Мне кажется, я доказал на деле свою преданность классу обездоленных и бедняков, и надеюсь, что меня не обвинят в том, будто бы я желаю ему зла; тем не менее, восхищаясь его трудовым путем, преклоняясь перед его терпением и покорностью, я все же утверждаю, что принять участие в управлении страной он не способен. Мне представляется, что пролетарии — это несовершеннолетние дети народа и что они должны оставаться под опекой. Итак, по-моему, господа, слово *принцип выборности* причинит почти столько же ущерба, сколько его наделали слова *совесть* и *свобода*, понятые неправильно, неправильно истолкованные и брошенные народом как клич восстания и призыв к разрушению. Опека над народом кажется мне, таким образом, справедливой и необходимой для поддержания общества.

— Такая система настолько противоречит всем нашим современным взглядам, что мы считаем себя вправе попросить у вас разъяснений,— сказал Женеста, прерывая доктора.

— Извольте, капитан.

— Да что ж это говорит хозяин! — воскликнула Жакота, воротясь на кухню.— Хорош наш голубчик, никак советует им прижать народ, и ведь они его слушают.

— Вот уж чего не ожидал от господина Бенаси,— подхватил Николь.

— Я требую жестких законов для обуздания невежественной толпы с одной целью,— продолжал, немного помолчав, доктор,— для того чтобы все звенья общественной системы стали гибкими и податливыми и позволяли пробиться тому, у кого есть воля и способность подняться до уровня высших классов. Всякая власть заботится о самосохранении. Ныне, как и прежде, правители, чтобы существовать, должны вводить в свою среду людей сильных, выискивая их повсюду, и тем самым создавать себе защитников, а у народа отнимать деятельных людей, которые побуждают его к восстанию. Если государство открывает для общественного честолюбия

эти одновременно тяжелые и легкие пути,— тяжелые для людей слабовольных и легкие для людей с твердой волей,— то оно предупреждает революции, которые являются следствием помех, встающих перед личностями, поистине выдающимися в их стремлении подняться вверх до подобающего им уровня. Сорок лет потрясений, пережитых нашей страной, должны были доказать здравомыслящему человеку, что выдающиеся личности порождаются социальным строем. Их превосходство бывает троякого рода, и оно неоспоримо. Это—превосходство в области мысли, превосходство в области политики и превосходство в имущественном положении. Разве это не соответствует таланту, власти и богатству, или, иначе говоря, основе, средству и результату? Предположим, что перед нами, так сказать, целина, что на ней полное равенство общественных слоев, равномерная рождаемость, одинаковый земельный надел для каждой семьи, и все же пройдет время, и вы снова увидите неравенство состояний, существующее ныне. Из этой очевидной истины вытекает, что превосходство в богатстве, уме и власти — факт, с которым приходится мириться, но народ всегда будет рассматривать его как злоупотребление, видя привилегии в правах, приобретенных самым справедливым образом. Отсюда явствует, что общественный договор неизменно будет союзом имущих против неимущих. А значит, и законы будут создаваться теми, кому они идут на пользу и кому необходимо обладать инстинктом самосохранения и предвидеть опасности. Спокойствие народа им важнее, нежели самому народу. Народам надобно получать готовое счастье. Ежели вы будете рассматривать все общество в целом именно с такой точки зрения, то не замедлите признать вместе со мною, что избирательным правом должны пользоваться только люди, обладающие богатством, властью или умом, а также, что поле деятельности депутатов должно быть чрезвычайно ограниченным. Законодателю, господа, подобает быть выше своего века. Он улавливает общее направление ошибок и определяет, куда клонится мысль народа; значит, трудится он скорее для будущего, нежели для настоящего, скорее для поколения подрастающего, нежели отживающего. Итак, вы призываете весь простой люд к созданию законов, но способен ли он подняться

выше своего уровня? Нет. Чем точнее собрание депутатов отразит мнение толпы, тем хуже будет оно управлять государством, тем менее возвышенны будут его взгляды, тем неопределенней и неустойчивей будет его законодательство, ибо толпа есть толпа и всегда ею будет. Закон требует подчинения установленным правилам, а всякое правило противоречит укоренившимся нравам и личным интересам; станет ли толпа направлять законы против себя же? Нет. Часто законы должны идти наперекор нравам. Подгонять законы под общий уровень нравов, не значит ли это создавать в Испании поощрительные премии за религиозную нетерпимость и праздность, в Англии — за торгашеский дух, в Италии —за любовь к искусствам, предназначенным выражать дух общества, но не способным быть выразителем всего общества; в Германии — за дворянские иерархии, во Франции — за легкомыслие, моду на идеи, за стремление разделиться на политические партии, что всегда нас губило.

Что произошло в нашей Франции за сорок с лишним лет, то есть с той поры как избирательные коллегии наложили руку на законы? У нас сорок тысяч законов. У народа, имеющего сорок тысяч законов, нет закона. Могут ли пятьсот заурядных умов возвыситься до задач такой важности? Нет. Ведь за целое столетие не найти и сотню людей большого ума. Людям, стекающимся из пятисот различных местностей, никогда не понять одинаково суть закона, а закон должен быть един. Далее. Рано или поздно законодательное собрание подпадает под власть одного человека, и вместо королевских династий у вас будут сменяющие друг друга и дорого стоящие династии премьер-министров. После всяческих свар появляются разные Мирабо, Дантоны, Робеспьеры или Наполеон: проконсулы или император. В самом деле, чтобы поднять определенную тяжесть, надобно располагать определенной силой; сила эта может быть распределена на большее или меньшее число рычагов, но в конечном счете сила должна быть соразмерна тяжести: в данном случае тяжесть — это темный, бедствующий простолюдин, первый пласт всякого общества. Власти — а по своей природе она притеснительница — нужна большая сплоченность, чтобы сопротивление ее равно было народному движению. Это применение принципа, который я перед вами раз-

вил, говоря о том, что привилегия управления должна быть ограничена узким кругом. Допустите к власти людей талантливых, и они подчинятся этому естественному закону и подчинят ему страну; а вот если вы соберете людей заурядных, то рано или поздно их победит человек более одаренный: депутат, наделенный большим умом, входит в государственные соображения, заурядный идет на сделку с силой. В итоге законодательное собрание уступает какой-нибудь идее, как Конвент во время террора, или силе, как Законодательный корпус при Наполеоне, наконец, определенной системе управления или деньгам, как это происходит в наши дни. Республиканское собрание, о котором мечтают некоторые умники, невозможно; те, кто стремится к нему,—простофили или будущие тираны. Неужели собрание, где только разглагольствуют об опасностях, грозящих народу, в то время когда надобно заставить его действовать, не кажется вам нелепицей? Пусть у народа будут депутаты, обязанность которых ограничится утверждением или отклонением налогов,— вот что справедливо и что существовало испокон веков и при самом жестоком тиране и при мягкосердечном государе. Казне всегда нужны деньги; однако ж налоги имеют естественные пределы, при превышении которых народ или восстает, отказываясь платить, или склоняет голову и умирает. Если выборная корпорация, такая же изменчивая, как те нужды, как те идеи, которые она представляет, не хочет повиноваться несправедливому закону,— все хорошо. Но предполагать, что пятьсот человек, явившихся из всех уголков империи, создадут хороший закон,— просто скверная шутка, и за нее рано или поздно придется расплачиваться народам. Тогда они сменят тиранов, вот и все. Власть, закон должны быть в руках одного человека, который силою обстоятельств вынужден постоянно представлять свои действия на всеобщее одобрение. Однако только религиозные учреждения могут обуздывать власть одного, или нескольких человек, или всей массы народа. Религия — единственный по-настоящему действительный противовес злоупотреблениям верховной власти. Если у народа гибнет религиозное чувство, то он становится бунтовщиком по убеждению, а государь — тираном по необходимости. Палаты, эти посредники меж-

ду государями и подданными, являются лишь некоей примирительной инстанцией. И, следовательно, законодательные собрания становятся соучастниками мятежа или тирании. Тем не менее хоть единовластие, к которому я склоняюсь, и хорошо, но хорошо не безусловно, ибо в итоге политика будет неизбежно зависеть от нравов и верований. Если народ одряхлел, если мудрствования и дух противоречия в корне испортили его, то народ этот идет к деспотизму, несмотря на всяческую видимость свободы; истинно мудрые народы почти всегда завоевывают свободу при соблюдении внешних форм деспотизма. Из всего этого вытекает, что необходимо резко ограничить избирательные права, необходима сильная власть, необходимо могучее религиозное чувство, которое превращает богача в друга бедняка и предписывает бедняку полнейшую покорность. Одним словом, поистине неотложное дело — свести права собраний депутатов к тому, чтобы они разрешали лишь вопросы о налогах и только утверждали законы, а не были их творцами. Знаю, многие думают по-иному. Ныне, как и прежде, встречаются люди, с жаром ищущие *лучшего*, им непременно хочется устроить общество поразумнее. Однако новшества, цель которых — произвести коренные социальные сдвиги, нуждаются во всеобщем одобрении. Да будут терпеливы те, кто вводит новое. Когда я подсчитываю, сколько времени понадобилось, чтобы утвердить христианство — переворот духовный, которому надлежало совершаться мирно, то содрогаюсь, размышляя о бедах, какие повлечет за собою переворот, связанный с земными благами, и решительно поддерживаю существующий порядок вещей. Пусть каждый мыслит по-своему — провозгласило христианство; пусть каждый обрабатывает свое поле — провозглашает закон современности. Закон современности согласуется с христианством. Пусть каждый мыслит по-своему — это освящение духовных прав; пусть каждый владеет своим полем — это освящение права на собственность, приобретенную благодаря старанию и трудолюбию. Так создалось наше общество. Природа сделала чувство самосохранения основой жизни человека, а жизнь всего общества построена на личной выгоде. Таковы, по-моему, подлинные политические устои. Религия, подавляя оба эти эгоистические чувства верою в буду-

щую жизнь, сглаживает острые углы общественных взаимоотношений. Таким образом, внушая нам религиозное чувство, почитающее добродетелью забвение самого себя, господь смягчает страдания, порождаемые столкновением человеческих интересов, как он неведомыми законами умеряет трение в механизме мироздания. Христианство учит бедняков терпеть существование богачей, а богачей — облегчать горькую долю бедняков; по-моему, это и есть, в двух словах, сущность всех божественных и человеческих законов.

— Я не государственный деятель,— вставил нотариус,— и мне самодержец представляется в образе лица, уполномоченного улаживать расчеты по долгам в каком-нибудь торговом обществе, которое постоянно находится в состоянии ликвидации, и преемнику своему он передает ту же наличность, какую получил сам.

— Не государственный деятель и я,— с живостью возразил Бенаси, прерывая нотариуса.— Чтобы улучшить жизнь общины, кантона или округа, нужно всего лишь обладать здравым смыслом; тому, кто управляет департаментом, уже необходим талант, однако пределы четырех этих административных сфер деятельности ограничены, и, чтобы их охватить, не нужен широкий кругозор; их интересы связаны совершенно явными узами с жизнью всего могучего государственного организма. В высших сферах все принимает больший размах, и государственный деятель должен обозревать все то, над чем он поставлен. Много хорошего создашь в департаменте, округе, кантоне или общине, если предвидишь, какие это даст плоды лет на десять вперед; когда же дело идет о целом народе, должно предугадывать его судьбы, делая расчет на столетие. Гениальность всех Кольберов и Сюлли — ничто, ежели она не опирается на волю, создающую Наполеонов и Кромвелей. Большой государственный деятель, господа,— это большая мысль, запечатлевшаяся в каждой године столетия, расцвет и благоденствие которого им приуготовлены. Твердость — добродетель, необходимая ему превыше всего. Да и во всех делах человеческих твердость — это наивысшее выражение силы. С некоторых пор развелось чересчур уж много людей с казенными мыслишками, а не идеями национального размаха; потому-то мы и видим в настоящем государствен-

ном деятеле воплощение самого высокого человеческого идеала. Всегда все предвидеть и опережать события, быть выше упоения властью и оставаться у власти лишь потому, что сознаешь, как ты полезен, не обольщаясь относительно своих сил, отрешиться от личных страстей и даже обычного честолюбия, чтобы всегда владеть всеми своими способностями, чтобы неустанно предвидеть, хотеть и действовать; быть справедливым и непоколебимым, поддерживать всеобщий порядок, не слушать голоса сердца и внимать только рассудку; не быть ни подозрительным, ни доверчивым, ни сомневающимся, ни легковерным, ни признательным, ни неблагодарным; не отставать от современности, не быть застигнутым врасплох какой-либо идеей; наконец, жить чувствами народа и всегда держать его в своей власти, воздействуя на него окрыленной мыслью, проницательным взглядом, мощью голоса, видеть не мелочи, а следствия всякого начинания,— разве не значит это быть более, нежели человеком? Поэтому-то народы должны вечно чтить имена этих своих великих и благородных отцов.

Наступило недолгое молчание, гости переглянулись.

— Господа, об армии-то вы ничего не сказали! — воскликнул Женеста.— По-моему, военное устройство — это истинный образец для всякого гражданского общества: шпага — покровительница народа.

— Капитан,— смеясь, ответил мировой судья,— некий престарелый адвокат изрек, что империи начинали со шпаги, а кончали чернильницей, вот мы и дошли до чернильницы.

— Господа, судьбы мира мы разрешили, поговорим о чем-нибудь другом. А ну-ка стаканчик монастырского вина, капитан! — воскликнул со смехом доктор.

— Не откажусь и от двух,— сказал Женеста, протягивая стакан.— Мне хочется осушить их за ваше здоровье, за здоровье того, кто делает честь всему роду человеческому.

— И кого все мы горячо любим,— сказал кюре голосом, исполненным кротости.

— Уж не хотите ли вы, господин Жанвье, чтобы я согрешил, впав в гордыню?

— Господин кюре сказал тихо то, о чем целый кантон говорит во весь голос,— возразил Камбон.

— Давайте, друзья, проводим господина Жанвье домой и прогуляемся при лунном свете.

— Согласны,— откликнулись гости, которые сочли своим долгом оказать внимание кюре.

— Зайдем на посиделки,— сказал доктор, попрощавшись с кюре и гостями и взяв Женеста под руку.— Там, капитан Блюто, вы услышите о Наполеоне. Кое-кто из моих приятелей-крестьян постарается, чтобы почтарь Гогла рассказал об этом кумире нашего народа. Николь, мой конюх, приставил к сараю лестницу, и мы взберемся через слуховое окно на самый верх — на сеновал, в такое местечко, откуда все увидим. Послушайтесь меня, пойдемте: стоит посмотреть на наши посиделки. Не впервые зарываюсь я в сено и слушаю солдатский рассказ или сказку из уст крестьянина. Только вот спрятаться надо хорошенько,— ведь они, такие чудаки, едва заприметят чужого, сразу начинают разводить церемонии и смущаются.

— Э, любезный мой хозяин,— сказал Женеста,— и я частенько прикидывался спящим, чтобы послушать разговоры своих кавалеристов где-нибудь на привале, ночью. Знаете ли, никогда я так не хохотал даже в парижских театрах, как однажды, когда старый унтер-офицер с шутками и прибаутками рассказывал новобранцам, боявшимся войны, об отступлении из Москвы. По его словам, французская армия заболела медвежьей болезнью, питьем ее потчевали прямо со льда, покойники делали привал в сугробах, французы воочию видели Белую Россию, коней скребли зубами, охотники кататься на коньках вдоволь наскользились, любители мясного студня наелись до отвала, женщины были в общем-то холодны, но, по сути дела, одно лишь всем и досаждало — горячей воды для бритья не было. Словом, он отмачивал такие шутки, что хохотал даже сам старик фурьер с отмороженным носом, прозванный «Носатым».

— Тише! — сказал Бенаси.— Мы пришли, я полезу первым, а вы — за мной.

Они неслышно взобрались по лестнице и зарылись в сено, устроившись так, что им хорошо были видны крестьяне, собравшиеся внизу на посиделки. Женщины сбились кучками вокруг трех-четырех свечей; кто шил, кто прял, а иные сидели, сложа руки, вытянув шеи, и

не сводили глаз с рассказчика — старого крестьянина. Мужчины либо стояли, либо лежали на охапках сена. Группы людей, хранивших глубокое молчание, были едва озарены неверным отблеском свечей, окруженных стеклянными шарами с водою, преломлявшими лучи света, к которому и подсели рукодельницы. И без того слабый свет терялся в огромном сарае, мрачном и темном вверху; мерцающие блики ложились на лица и создавали живописнейшую игру теней. Тут освещен был смуглый лоб и ясные глаза любопытной крестьяночки, там яркая полоса пересекла суровый лоб старика и причудливым узором разрисовала его поношенную и выцветшую одежду. По застывшим лицам людей, сидевших в различных позах и сосредоточенно слушавших, было видно, что все их мысли поглощены рассказом. Картина была прелюбопытная, она наглядно свидетельствовала о том, какое волшебное воздействие оказывает на умы поэзия. Крестьянин требует от рассказчика незатейливых чудес или почти правдоподобной небылицы. Не он ли — друг чистой поэзии?

— Хоть дом и с виду был подозрительным,— рассказывал крестьянин, пока оба новых слушателя усаживались,— но бедная наша горбунья до того притомилась, дотащив коноплю на рынок, что вошла в него, да к тому же и стемнело. Она только переночевать и попросилась, вытащила из котомки корочку и поужинала. А хозяйка, полюбовница разбойников, знать не знала, что̀ они ночью уговорились сделать; она, значит, приютила горбунью и уложила наверху, а огня не вздула. Горбунья улеглась на жесткую кроватку, прочитала молитвы, раздумалась о конопле и совсем уж собралась уснуть. Но и задремать не успела, как вдруг слышит шум и видит — входят двое с фонарем; у каждого — по ножу; разобрал ее страх, потому как, знаете ли, в те времена господа любили лакомиться пирогом с человечиной, не наготовятся на них, бывало. Но у старухи от души отлегло, как она подумала, что кожа-то у нее заскорузлая, не годится для господской пищи. Прошли эти двое мимо горбуньи и прямо к кровати, которая рядом стояла в большой горнице,— туда-то ведь уложили господина с полным баулом, того самого, что за чернокнижника-то прослыл. Тут парень, который был повыше, фонарь поднял и хвать гос-

подина за ноги, а тот, что поменьше, еще пьяным-то прикидывался,—берет господина за голову — и раз! — одним махом начисто ее отрубил. Подхватили они баул, вниз идут, а тело да голова так тут и остались, в крови плавают. Ну, скажу я вам, попалась горбунья! Стала думать, как бы убежать тайком, невдомек ей было, что промысел божий привел ее сюда, чтобы покарать злодеев во славу господню. Страх ее обуял, ну, а ежели страшно человеку, ни до чего ему дела нету. Тем временем хозяйка возьми да спроси у душегубов, как там горбунья; напугались они, снова полезли наверх, по деревянной лесенке. Старушку трясет от страха, и слышит она, как они шепотком спорят меж собой:

— Убить ее надо, говорю!

— Незачем ее убивать.

— Убей ее!

— Не убью!

Входят. Бабенка наша не дура, закрыла глаза, будто спит. Спит, ну, чисто как дитя, руку на грудь положила и дышит, будто херувим. Парень с фонарем ей свет поднес к глазам, а бабенка-то и не моргнет — до того боится за свою голову.

— Сам видишь — дрыхнет как колода,— говорит большой.

— Хитрющий народ эти старушонки,— отвечает меньший.— Убью-ка я ее, вернее дело будет. Кстати, засолим ее да и скормим свиньям.

Старушка лежит, не шелохнется, слушая такие речи.

— И впрямь ведь дрыхнет,— говорит тот лиходей, что поменьше ростом: видит, старуха не шелохнется.

Так-то вот и спаслась горбунья. Ничего не скажешь — шустрая была старушонка. Вряд ли здешние девицы дышали бы на манер херувимов, если б услышали такие слова. Схватили мертвеца душегубы, завернули в простыни, выбросили на скотный двор,— старуха слышит, свиньи сбежались, захрюкали—хрю, хрю! Вот-вот его слопают. Наутро,— продолжал рассказчик, помолчав,—собралась наша бабенка уходить, за ночлег два су отдала. Взяла свою котомку как ни в чем не бывало, расспросила про деревенские новости, вышла так степенно, а потом бежать припустилась. Да куда там! С перепугу ноги у нее подкашиваются, ей же на счастье. Вот

почему. Проплелась она так с четверть лье, вдруг видит— откуда ни возьмись один из разбойников: следом за ней шел, из хитрости, удостовериться, что она ничего не приметила. Смекнула она это, присела на камень.

— Что с вами, тетушка? — говорит ей разбойник, который поменьше и позлее был, он-то ее и подстерегал.

— Ах, милый человек,— говорит она в ответ,— котомка-то у меня тяжелехонька и до того я притомилась, что, ежели не поможет мне честный человек (видали, какая бестия?), не доберусь я до своей лачуги.

Тут разбойник вызвался в проводники. Согласилась горбунья. Берет разбойник ее руку, хочет дознаться, не страшно ли ей. Да не на таковскую напал — она и бровью не повела, идет себе как ни в чем не бывало. Потолковали они меж собой о сельском хозяйстве, как коноплю растить, поговорили по-хорошему до самого пригорода, где горбунья жила, там-то с нею и распрощался разбойник— побоялся, как бы с судейскими не столкнуться. Горбунья воротилась к полудню, стала поджидать муженька, а из головы у ней не идет, как она на базар ходила да что ночью было. Вернулся ее хозяин под вечер. Голоден был, пришлось ей за стряпню приняться. Вот смазывает она сковородку, а сама по женскому обычаю тараторит без передышки о том, как коноплю продавала, но ни словечком не обмолвилась ни о свиньях, ни о господине, которого убили, обворовали и сожрали. Ставит она на огонь сковородку, чтоб ее почистить. Снимает с огня, протереть собирается, глядь — а в ней полно крови!

— Что ты сюда положил? — спрашивает она мужа.

А он в ответ:

— Ничего.

Подумала она, что померещилось ей — на баб ведь находит такая блажь,— и снова ставит сковородку на огонь.

Шлеп! Из трубы голова падает.

— Смотри-ка! Да это голова мертвеца,— говорит старуха.— И как он на меня уставился! Чего же ему от меня надобно?

— *Чтобы ты отомстила за него,*— говорит тут ей чей-то голос.

— Вот дуреха! — сказал торговец коноплей.— Опять

несешь околесицу.— Схватил он голову, а она как куснет его за палец, он и вышвырнул ее во двор и говорит: — Готовь-ка яичницу да перестань чудить, это кошка.

— Кошка? — говорит горбунья.— Да ведь она, как шар, круглая.

И опять поставила сковородку на огонь... Шлеп! Нога падает. Начинай сначала. Муж и тут ничуть не удивился, схватил ногу и вышвырнул за дверь. Тут упала другая нога, за ней руки, туловище — словом, весь убитый путешественник, по кусочкам. Вот тебе и яичница! А торговцу коноплей до смерти есть хочется.

— Клянусь вечным спасением,— сказал он,— вот изжарится яичница, а там посмотрим, как ублаготворить этого человека.

— Теперь-то ты сам видишь, что это человек? — говорит горбунья.— Чего ж ты толковал, будто не голова это? Спорщик ты несносный.

Разбила старуха яйца, жарит яичницу и ставит ее мужу под нос. И даже ворчать раздумала, очень уж тошно ей стало от всей этой чертовщины. Принимается муж за еду. А горбунья со страху говорит, что сытехонька.

В дверь стучится чужой. Тук, тук!

— Кто там?

— Человек, которого вчера убили.

— Войдите,— отвечает хозяин.

Вот входит путешественник, присаживается на скамейку и говорит:

— Вспомните о боге, ниспосылающем вечное блаженство тем, кто исповедует имя его. Женщина, ты видела, как меня убивали, что ж ты молчишь? Свиньи сожрали меня! А свиньям в рай пути заказаны, и вот я, христианин, попаду в ад по милости трусливой бабы. Да виданное ли это дело? Спасти меня надо.

Ну, и все в таком роде. Тут горбунью лютый страх разобрал, почистила она сковородку, надела воскресное платье и пошла в суд рассказать о злодеянии; сразу же все раскрылось, и разбойников знатно колесовали на рыночной площади. После такого доброго дела лучшей конопли, чем у горбуньи с ее хозяином, нигде не бывало. А еще того лучше, народился у них долгожданный сынок, и стал он со временем королевским

бароном. Вот вам и сказ про Храбрую горбунью, и все в нем истинная правда.

— Не нравятся мне такие рассказы,— отозвалась Могильщица.— После них всегда что-нибудь привидится. Мне больше нравится слушать про Наполеона.

— Вот это верно,— подхватил полевой сторож.— Ну-ка, господин Гогла, расскажите нам про императора.

— Посиделки и так затянулись,— ответил почтарь,— а я не люблю наспех о победах рассказывать.

— Ничего, рассказывайте! Мы-то хоть о них знаем, слыхивали уж не раз, а все слушали бы да слушали.

— Расскажите про императора! — в один голос крикнули несколько человек.

— Так и быть,— ответил Гогла.— Но сами увидите, не то выходит, когда впопыхах рассказываешь. Уж лучше расскажу-ка я вам о каком-нибудь сражении. Хотите о битве под Шан-Обером, когда зарядов не осталось и мы пошли в штыки?

— Нет! Про императора! Про императора!

Ветеран поднялся с охапки сена, обвел собравшихся скорбным взглядом, говорившим о невзгодах, мытарствах и страданиях, по которому отличаешь старых солдат. Он передернул плечами, будто вскидывая на спину походную сумку, где прежде хранилась его одежонка, сапоги, все его богатство; затем оперся всем телом на левую ногу, а правую выставил вперед и собрался рассказывать, уступая настоянию собравшихся. Отбросив седую прядь волос, падавшую ему на лоб, он вскинул голову к небу, будто хотел подняться до высот той эпопеи, о которой собирался поведать.

— Видите ли, други, Наполеон родился на Корсике — остров-то это французский, да припекает его солнце Италии, все там кипит, как в пекле, и жители, будь то отец, будь то сын, прямо так и убивают друг друга из-за любой пустяковины: уж такое у них понятие. Для начала, хотите верьте, хотите нет, скажу, что его мамаша, первая тогдашняя раскрасавица, да к тому же тонкого ума женщина, задумала посвятить его богу, чтобы уберечь ото всех опасностей в детстве и в дальнейшей жизни, а все потому, что в день родов ей приснилось, будто весь мир огнем полыхает. Вещий был сон! Просит, значит, она у бога защиты, зарок дает, что Наполеон

восстановит святую господню веру, попранную в те времена. Так по уговору их все и вышло.

Слушайте же теперь хорошенько да скажите, спроста ли так получилось!

Вернее верного, что без тайного договора не мог человек скакать сквозь вражеские ряды, сквозь пули и картечь, ведь нас-то валили они, как мошкару, а его головы не трогали. Я самолично был тому свидетелем под Эйлау. Как сейчас вижу, взбирается он на холм, берет подзорную трубу, смотрит на сражение и говорит:

— Хорошо идет дело!

Один из тех проныр с султаном, которые порядком ему досаждали, таскались за ним всюду и даже, как нам говорили, поесть толком ему не давали, тут очень уж заумничал, и не успел император уйти, как тот пролаза встал на его место. И сразу — султана как не бывало! Начисто срезало! Сами понимаете, Наполеон зарок дал ни с кем тайну не делить. Потому-то все, кто его сопровождал, даже друзья его закадычные, валились, как подкошенные: Дюрок, Бесьер, Ланн — не люди, а стальные брусья, сам ведь он их выковал. Словом, в доказательство тому, что он чадо божье и солдату был в отцы дан, скажу, что никогда его не видывали ни лейтенантом, ни капитаном. Ну да, сразу главным стал. На вид ему и двадцати трех лет не дашь, а он уже давно генерал, с самого взятия Тулона, где он сразу же всем прочим показал, что они ничего не смыслят в наводке орудий. И вот, значит, щупленький такой главнокомандующий является к нам в Итальянскую армию, а у ней ни хлеба, ни снаряжения, ни обуви, ни одежи, нищая армия, прямо сказать — голытьба!

— Други,— говорит он нам,— вот мы и вместе! Попомните мое слово, недели через две победителями будете, оденетесь с иголочки, обзаведетесь шинелями, новенькими гетрами, крепкими башмаками, только, ребята, придется пойти за ними в Милан, там все это есть.

Ну, и пошли! Встряхнулся француз, а ведь в чем душа держалась! Было нас тридцать тысяч голодранцев против восьмидесяти тысяч немецких забияк — а они все молодцы статные, отменно снаряженные, как сейчас их вижу. Однако же Наполеон, в ту пору всего-навсего Бонапарт, уж сам не знаю, какую силу в нас вдохнул.

Идем мы ночь, идем мы день, поколотили их при Монтенотте, одним махом разделались с ними под Риволи, Лоди, Арколе, Миллэсимо, нигде спуску не дали. Солдат пристрастился одерживать победы. И вот Наполеон как накроет немецких генералов, те и не знают, куда им податься, где укрыться, а он-то их тузит на совесть,— случалось, разом отхватит у них тысяч десять человек, а окружит-то всего полутора тысячей французов, да у него один за сотню сойдет; и тут же забирает у неприятеля пушки, припасы, деньги, снаряжение — все, что брать стоило, а самих в воду загоняет, в горах бьет, в воздухе жалит, на суше истребляет, хлещет повсюду. И вот войска оперяются, потому как, видите ли, император, ко всему прочему, был человек умный и умел задобрить жителя, говорил, что пришел освободить его. Ну, значит, штафирка тебя и на квартиру к себе поставит и обласкает; бабы жалеют, бабье рассуждало по-справедливому. Ну, одним словом, в вантозе девяносто шестого года,— в те времена теперешний март месяц так называли,— загнали нас в страну сурков, в Савойю; однако поход кончен, и мы — хозяева Италии, как и предсказал Наполеон. А в будущем марте месяце, всего лишь год спустя, да после двух походов, подвел он нас к самой Вене. Все было сметено: разнесли мы подряд три армии, на тот свет отправили четырех генералов — австрияков, один из них, седой старикашка, спекся под Мантуей, как крыса в горящей соломе. Короли на коленях просили пощады! Им были предложены условия мира. Под силу ли это было простому смертному? Нет. Бог ему помогал, не иначе. Он множился, как пять евангельских хлебов, днем командовал сражением, подготовлял его ночью, так что часовые только и видели, как он ходит взад и вперед, не спит и не ест. Вот солдат как уразумел эти самые чудеса, так с тех пор и стал его отцом почитать. И — пошли вперед! А парижская шатия говорит: откуда такой проходимец взялся, с неба он, что ли, пароли получает? Похоже, он Францию к рукам приберет, надобно его на Азию или на Америку напустить, может, там утихомирится. Так уж на роду ему было написано, как Иисусу Христу. Ну, и действительно, отдают ему приказ — службу нести в Египте. Вот где он уподобился сыну божию. Да это еще не все. Созывает он своих

отборных удальцов, которых особливо раззадорил, и так им говорит:

— Дают нам, други, в настоящее время Египет на съедение. Да мы его проглотим в один присест не хуже, чем Италию. Простые солдаты князьями станут, собственные владения получат! Вперед!

— Вперед, ребята! — кричат сержанты.

И вот приходим в Тулон, отсюда дорога на Египет. В ту пору англичане держали все свои суда в море. Когда мы, значит, отчалили, Наполеон и говорит:

— Не приметят они нас, потому что, надобно вам знать, есть у вашего генерала своя звезда в небе, которая ведет нас и охраняет.

Сказано — сделано. Плывем морем, берем Мальту, будто апельсин, чтобы утолить жажду победы, потому человек он такой был, не мог без дела сидеть. Вот мы и в Египте. Так-то. Тут приказ другой. Видите ли, у египтян испокон веков положено вместо государей исполинов держать, и войска у них видимо-невидимо, все равно что муравьев; это, видите ли, страна духов и крокодилов, понастроили там пирамид большущих, с наши горы, и придумали класть туда своих царей, чтобы сохранять их нетленными,— так, значит, у них повелось. Только вылезаем на сушу, а маленький капрал и говорит нам:

— Ребята, в странах, которые вы идете завоевывать, поклоняются куче всяческих богов, и богов этих уважать надо, потому француз должен быть всем другом, побеждать народы, но не притеснять. Зарубите себе на носу: ничего не трогать для начала, после-то мы все получим! Шагом марш!

Все шло хорошо. Но тамошний народ знал Наполеона по предсказанию, прозывал его Кебир-Бонаберды, что на их наречии означает «Султан, несущий огонь», и боялся его до чертиков. В те поры Турция, Азия, Африка пустились на колдовство и наслали на нас дьявола по прозванию Моди; толковали, будто он спустился с неба на белом коне, и будто коня, как и хозяина, не брало пушечное ядро, и будто оба одним воздухом сыты были. Кое-кто видал его, только я на этот счет ничего наверняка сказать не могу. Арабское начальство и мамелюки толковали своим солдатам, что сила у Моди большая и он не допустит их до погибели в сражении, он,

дескать, ангел, посланный победить Наполеона и отнять у него соломонову печать,— была у них такая штуковина в арсенале, и ее будто украл у них наш генерал. Сами понимаете, здорово мы им всыпали.

Только вот откуда они узнали про договор Наполеона, а? Опять-таки скажу — неспроста это.

И понятие у них было о нем такое, будто он командует духами и в миг птицей перелетает с места на место. Да он и в самом деле был вездесущий. И еще будто похитил он у них царицу, красавицу писаную, хотел отдать за нее все свои богатства и алмазы с голубиное яйцо, да мамелюк, у которого она в полюбовницах состояла, хоть он и еще полюбовниц держал, наотрез от сделки отказался. Такая тут вышла распря, что без сражений уладить ее никак нельзя было. За этим остановки не было, пороху у нас на всех хватало. Так-то, значит, заняли мы позиции перед Александрией и перед Гизехом и подступили к пирамидам. Шагать пришлось по солнцепеку, в песках, и у некоторых случилось помрачение в уме, видели они воду, которой не напьешься, видели тень, а сами по́том обливались. А мамелюка мы взяли и раскошматили; Наполеон всех усмирил, и захватил он верхний и нижний Египет, Аравию, а также столицы тех царств, которых и в помине уже не было, а осталось только великое множество истуканов, тьма-тьмущая бесов и, чудное дело, уйма ящериц, а земли там столько, что, коли душе угодно, загребай целыми арпанами. Покуда он хлопотал внутри страны, где намеревался устроить все наилучшим образом, англичане сожгли его флот в сражении под Абукиром, потому как они уж не знали, что и придумать, лишь бы нам досадить. А Наполеона и на востоке и на западе уважали, папа сыном называл, а двоюродный брат Магомета—любезным батюшкой, вот он и пожелал в отместку за потерю флота отобрать у Англии Индию. Собрался он было нас Красным морем везти в края, где одни тебе алмазы да золото вместо жалованья солдатам, а для постоя — дворцы, но тут Моди столковался с чумой и наслал ее на нас, чтобы нашим победам конец положить. Значит, стой! Или отправляйся на тот самый парад, с которого уж на своих двоих не воротишься. В солдате душа еле держится, куда ему Сен-Жан-д'Акр брать, а все же три раза вторгались

туда храбрецы, с упорством и отвагой. Но чума одолела; с нею шутки плохи! Все расхворались. Один Наполеон был свеж, как розан, и вся армия видела, что хоть кругом зараза, а его она не берет. Как думаете, други, это спроста?

Мамелюки знали, что мы валяемся по лазаретным фургонам, и задумали преградить нам дорогу, да Наполеона не проведешь. Говорит он, значит, своим удальцам, у которых шкуры были покрепче, чем у остальных:

— А ну-ка, расчистите мне путь!

Жюно, первостатейный рубака и вернейший его друг, взял всего лишь с тысячу человек и разделал армию какого-то паши, который вздумал наперерез ему пойти. Значит, вернулись мы в Каир на главные квартиры. Опять новое дело. Без Наполеона Франция осталась на растерзание парижанам, которые придерживали жалованье, белье, одежду солдатам: пусть, мол, подыхают с голоду; а ведь сами хотели, чтобы армия весь мир покорила, но ни о чем не заботились. Болтовней тешились, дураки, вместо того чтобы делом заниматься. Вот армии наши и были разбиты, границы Франции нарушены — ведь *человека* там не было. Видите ли, я говорю *человек* оттого, что его так называли, но это чепуха, потому что у него была звезда и все такое прочее, а людьми-то были мы. Узнал он про дела во Франции после знаменитой битвы под Абукиром, когда, не потеряв и трехсот человек, с одной лишь дивизией победил целое турецкое войско силой в двадцать пять тысяч человек, да побольше половины опрокинул в море, бабах! Отгремел его гром в Египте. Видит он, что за морем все потеряно, и говорит себе:

— Я спаситель Франции, про то мне известно, и надобно мне туда податься.

Понятное дело, армия знать не знала, что он уехал, иначе бы силой его оставили, чтобы сделать императором Востока.

А мы приуныли, как не стало его с нами, ведь был он нашей отрадой. Передает, значит, он командование Клеберу,— тот вояка хоть куда, да только приказал долго жить — убил его один египтянин, и за то был посажен на штык: такая уж казнь заведена в тех краях заместо гильотины; и так он мучился, что один солдатик сжалился над грешником, подал ему флягу; испил воды егип-

тянин и сразу же испустил дух с полным своим удовольствием. Но нам некогда заниматься всякими пустяками. Наполеон сел на скорлупку, на кораблик под названием «Фортуна», и мигом, под самым носом Англии, хоть та и окружила его линейными судами, фрегатами и всем, что под парусом ходило, высадился во Франции; такая уж у него способность всегда была,— прямо тебе шагал через море. Тоже, понятно, неспроста. Так вот! Очутился он во Фрежюсе и, можно сказать, одной ногой уже был в Париже. Там все ему поклоняются, а он созывает правительство:

— Что вы с моими детьми-солдатами сделали?! — Вот что сказал он тамошним пустомелям.— Вы — свора тунеядцев, вы на людей плюете и жиреете за счет Франции! Несправедливо это, и я говорю за всех недовольных!

Тут они понесли всякий вздор и задумали прикончить его; но погодите! Он запер их в той самой казарме, где они болтовней занимались, заставил прыгать в окна и зачислил в свою свиту; они сразу притихли, стали сговорчивы, как уличные девки. После этой потасовки он сделался консулом; и уж кто-кто, а он не мог сомневаться в верховном существе, поэтому он выполняет обет перед господом богом, поскольку тот без шуток сдержал свое слово: возвращает ему церкви, восстанавливает веру; колокола звонят и во славу божию и в его славу. Ну, и все довольны: перво-наперво — попы, которыми он больше не дает помыкать, а потом — торговцы, которые ведут свои дела, не боясь преследования закона, ставшего, было, несправедливым, а в-третьих— благородные, которых он защищает от смертной казни, по несчастью ставшей самым обычным делом. Теперь надо приняться за врагов, а он мешкать не любил, к тому же, видите ли, он одним взглядом весь земной шар оглядывал, ну, как глядишь на своего соседа. И вот, явился он в Италию, словно в окошко голову просунул: взглянул, и достаточно. Проглотил австрияков под Маренго, как кит пескарей! Ам! Французы задали им такого жара, что о нашей победе весь мир услышал, и этого было достаточно.

— Больше не играем! — сказали немцы.

— Хватит с нас! — сказали все прочие.

Итог: Европа струхнула, Англия пошла на попятный. Всеобщий мир, короли и народы будто уж готовы заключить друг друга в объятия. Тогда-то император и выдумал орден Почетного легиона — превосходнейшая штука, что и толковать. В Булони перед целой армией он сказал так: «Во Франции все храбрецы! Пусть же гражданское население, ежели оно свершит великие деяния, станет братом солдату, и как братья они соединятся под знаменем почета». А ведь мы только что вернулись из Египта. Ну и перемены! Расставались мы с ним— генералом он был, а прошло немного времени, и встретили его императором. Ей-богу, Франция влюбилась в него, как красотка в улана. И вот лишь только это случилось, ко всеобщему, можно сказать, удовольствию, устроено было пышное коронование, какого еще не видали под небесным сводом. Папа и кардиналы в золотых и алых одеждах спешат напрямик через Альпы венчать его на царство, а войско и народ глядят и рукоплещут. Неправильно было бы, кабы не рассказал я вам об одной штуке. В Египте, посреди пустыни, близ Сирии, явился ему на горе Моисея Красный человек и сказал:

— Хорошо идет дело!

Затем под Маренго в самый вечер победы второй раз предстал перед ним Красный человек и сказал:

— Увидишь мир у ног своих и станешь императором французов, королем Италии, господином Голландии, повелителем Испании, Португалии и Иллирийских провинций, охранителем Германии, спасителем Польши, первым кавалером Почетного легиона — словом, всем!

Видите ли, Красный человек был вроде как бы его мысль, а многие говорят, будто он служил ему гонцом, чтобы сообщаться с его звездой. Я этому никогда не верил; а вот что Красный человек являлся — это уж истинная правда, потому как сам Наполеон рассказывал о нем и говаривал, что Красный человек приходил к нему в трудные минуты и прятался в Тюильрийском дворце, на чердаке. Наполеон увидел его вечером, после коронации. В третий раз они обсудили кучу всяких дел. После того император прямехонько отправился в Милан и венчался королем Италии. Привольная началась жизнь у солдата. Всякий, кто грамотен, производится в офицеры. Дождем сыплются пенсии и герцогства; генерали-

тет задарен сокровищами, которые ничего не стоили Франции, простые солдаты, кавалеры Почетного легиона, оделены рентами,— я и сейчас получаю добавку к пенсии. Словом, армия содержалась так, как никогда и в помине не было. Но император-то знал, что должен стать императором всего мира, вот он призвал богачей и заставил их раскошелиться, возводить всякие чудесные сооружения там, где прежде решительно ничего не было; предположим, возвращаешься ты из Испании по дороге в Берлин, и что ж ты видишь? Триумфальные арки, а на них изваяния простых солдат, и так-то красиво вылеплены — все равно как генералы. В два-три года, не облагая лишним налогом вашего брата, император наполнил золотом казну, построил мосты, дворцы, дороги; появились ученые, законы, корабли, порты; он устраивал празднества, и тратил он несметные миллионы, столько тратил, что, как мне говорили, мог бы замостить всю Францию монетами по сто су, кабы взбрело ему это в голову. И вот когда он расположился на троне и стал господином над всеми, а Европа без его разрешения пикнуть не смела, то он, как было у него четыре брата и три сестры, и говорит нам, будто на беседе по суточному приказу:

— Ребята, справедливо ли, что родственники вашего императора побираются? Нет. Желательно мне, чтобы и они жили в пышности, как я! Так вот, крайне необходимо завоевать им по королевству на каждого, чтобы француз властвовал над всеми, чтоб солдаты моей гвардии на весь мир страх нагнали и чтобы Франция поплевывала куда ей вздумается, а ей бы говорили, как на моей монете выбито: *Да хранит вас бог.*

— Идет,— отвечает армия,— добудем тебе королевства штыками!

Э, да что говорить, как видите, отступать не приходилось. Взбрело бы ему на ум луну завоевать, стали бы готовиться, собирать походные сумки и полезли бы; по счастью, не было у него такого желания. Короли привыкли нежиться на тронах и, разумеется, заартачились; ну, а наше дело — вперед! Маршируем, шагаем, и опять началась повсюду преосновательная заваруха. Сколько же за те деньки башмаков и людей извели! И тут как пошел неприятель отбиваться, да так попер на нас,

что любой бы уморился на месте французов. Но вам-то небезызвестно — француз от рождения мудрец и знает, что рано или поздно, а умирать придется. И мы умирали, не прекословя,— потому одно удовольствие было видеть, как император вот что вытворяет со всеми географиями. (Тут Гогла ловко очертил ногой круг по земляному полу.) Да еще приговаривает: «Тут будет королевство»— и королевство тут как тут. Хорошие были времена! Не успеешь оглянуться, как полковники становятся генералами, генералы — маршалами, маршалы — королями. Один-то остался в живых и может порассказать об этом Европе, хоть он гасконец и предал Францию, чтобы сохранить корону, даже не покраснел от стыда,— понятное дело, короны-то ведь золотые! Словом, саперы, знавшие грамоту, и те в дворяне выходили. Я-то самолично видел в Париже вокруг Наполеона одиннадцать королей и толпу принцев, прямо лучи вокруг солнца. Сами понимаете, раз каждый солдат, коли ему такая удача выпадала, коли он того заслужил, мог на трон сесть, то уж гвардейскому капралу цены не было; каждый из нас свою лепту в победу внес, и вам это было прекрасно известно по императорским бюллетеням. Ну и сражения бывали! При Аустерлице, когда армия маневрировала словно на параде; при Эйлау, когда Наполеон, будто дунул, и русских потопили в озере; при Ваграме, когда дрались трое суток и не роптали... Словом, столько их было, сколько святых в святцах. Тут и оказалось, что у Наполеона в ножнах воистину божий меч. А солдата он уважал, будто о родном сыне пекся, заботился: есть ли у тебя обувь, белье, шинель, хлеб, порох; а держал себя величаво, потому как его дело-то ведь и было царствовать. Но все одно! Любой сержант и даже солдат говорил ему «государь», как вы иной раз говорите мне «дружище». И он слушал, когда ему что советовали, спал, как и мы, на снегу, словом, с виду был обыкновенный человек. Я-то собственными глазами видел его под картечью: стоит и не поморщится, как вы сейчас, без дела ни минуты не побудет, на месте не сидит, все смотрит в подзорную трубу, ну и, как поглядишь на него, на душе становится спокойно. Не знаю, право, как это получалось, но, бывало, поговорит с нами и будто жаром обдаст, и хочется нам показать ему, что мы его

послушные дети, и страх нас не берет, и мы шли как ни в чем ни бывало навстречу пушкам — охальницам, которые ревели и без всякого предупреждения осыпали нас градом картечи. Даже умирающие — откуда только у них силенки брались — вставали, чтобы отдать ему честь и крикнуть: «Да здравствует император!»

Разве это спроста? Сделали бы вы все это ради простого смертного?

И вот он управился со всеми делами, а императрица Жозефина, баба, однако, славная, все не родит ему детей; пришлось ему бросить ее, хоть и сильно любил он ее. Что поделаешь, сынки ему нужны были для дел государственных. Узнали, что у него такое затруднение правители Европы, и передрались из-за того, кто ему невесту посватает. И он взял себе в супруги, как нам сказали, австриячку, из рода Цезаря,— такой был человек в старину, о котором повсюду толкуют и не только в наших краях, где одно и слышно, что от него все пошло, но и в Европе; хотите верьте, хотите нет, но я-то самолично проходил над Дунаем и видел остатки моста, построенного этим самым Цезарем,— он, говорят, в Риме правил и был Наполеону родственником, почему император и счел, что он в своем праве передать этот город в наследство сыну. И вот, значит, сыграли свадьбу, отпраздновали ее знатно, и он по такому по случаю освободил весь народ на десять лет от налогов, которые, впрочем, сборщики не перестали взыскивать сполна. Ну, стало быть, поженились, и принесла ему жена мальчишку—«римского короля»; дело неслыханное, кто же это рождается королем при живом отце. В тот день из Парижа в Рим полетел с вестью воздушный шар, и весь путь тот шар проделал за сутки. Вот так-то! Ну, станет ли кто теперь говорить, что все это спроста? Нет, это было предначертано свыше! И пусть язык отнимется у того, кто скажет, что Наполеон не был послан самим богом, дабы возвеличить Францию! И вот, значит, русский император, который был ему приятелем, рассердился, что он не взял в жены русскую, и стал поддерживать англичан — врагов наших. Наполеону-то все было недосуг пойти приструнить Англию. Пора было кончать с этой самой заморской птицей. Наполеон разгневался и говорит нам:

— Солдаты, вы похозяйничали во всех европейских столицах, остается одна Москва, которая заключила союз с Англией. Так вот, чтобы завоевать Лондон с Индией в придачу, решил я пойти на Москву.

Собирается, значит, такая большая армия, какая еще по земле сапогом не ступала, всем на удивление выстроилась, да так, что в один прекрасный день на смотру прошел миллион человек.

— Ура! — кричат русские.

Да вот что — вся Россия и бестии-казаки от нас ускользают. Страна схватилась со страной, все вверх дном перевернулось, надо бы Наполеону вовремя поостеречься.

Ведь Красный человек предупреждал: «Азия схватилась с Европой!» А он ему в ответ: «Полно тебе, приму меры предосторожности». И впрямь короли набежали, лижут руки Наполеону — Австрия, Пруссия, Бавария, Саксония, Польша, Италия,— все с нами, подлащиваются, красота, да и только! Никогда так не реяли наполеоновские знамена, как на этих парадах, и гордо так взвивались над европейскими флагами. Поляки земли под собой не чуяли от радости, потому как император посулил поправить их дела; с давних пор Польша и Франция побратались. Словом, армия кричит: «Россия наша!» Выступаем, снаряжены хорошо; шагаем, шагаем — нет русских. Словом, только на реке Москве натыкаемся на этих хитрецов — стоят они там бивуаком. Тут-то я и получил орден и уж могу сказать, что битва была лютая. Император сам не свой, он виделся с Красным человеком, и тот сказал ему:

— Сынок, смотри, зарвался ты, людей тебе не хватит, друзья предадут тебя.

Тут, значит, стал Наполеон мир предлагать. Ну, а прежде чем подписывать, говорит нам:

— Покажем русским!

— Ладно! — кричит армия.

— Вперед! — говорят сержанты.

Сапоги мои истрепались, одежда расползлась, столько нам уж пришлось исходить дорог, да не очень-то гладеньких! Что поделаешь! «Раз конец заварухе, надо вовсю постараться»,— говорю, значит, себе. Стоим мы перед большущим оврагом,— тут передовая. Сигнал — и

семьсот пушек заводят такую беседу, что кровь из ушей у тебя вот-вот брызнет. Надобно к противнику быть справедливым — русские не отступали, на смерть шли, как французы, и мы не продвигались ни на шаг.

— Вперед! — говорят нам.— Вот и сам император!

Так и есть, скачет во весь опор, подает нам знаки— очень, мол, важно взять редут. Воодушевляет нас, мы— бегом! Первым я добежал до оврага. Боже ты мой! Пошло тут косить лейтенантов, полковников, солдат! Ничего! Зато разутым достаются сапоги, а грамотеям-пролазам — эполеты. По всей передовой как прокатится крик: «Победа!» Да вот оказия — виданное ли это дело, двадцать пять тысяч французов вокруг полегло. Шутка сказать! Ты только подумай: сжатое поле, но вместо колосьев — люди! Мы сразу поостыли. Является император, обступаем его. Он, значит, нас приголубил, ведь он, когда хотел, до того бывал приветлив, что мы, даже замерзшие, голодные, как стая волков, все терпели. Тут голубчик наш сам награждает орденами, отдает честь убитым, а потом, значит, и говорит нам:

— На Москву!

— На Москву так на Москву! — говорит армия.

Берем Москву. Ну, а русские, не долго думая, подожгли свою столицу. Ярким огнем полыхал город целых два дня, все сгорело на два лье в окружности. Большие здания рассыпались в прах. Расплавленное железо и свинец лились дождем. Страшное было дело! И уж вам-то я могу сказать — такой грозы над нами еще не собиралось. Император говорит:

— Ну, хватит, а то все мои солдаты здесь полягут.

Мы-то рады передохнуть да силенок поднабрать, потому что в самом деле совсем замучились. Сняли мы золотой крест, который на Кремле был, и каждому солдату досталась малая толика. Да на возвратном пути зима пришла на месяц раньше, а почему — болваны ученые так и не могли объяснить толком, вот нас и прихватил мороз. Нет больше армии, понятно? Нет больше генералов, нет даже сержантов! И началось, значит, царствие нищеты и голода, царствие, в котором все мы. что верно, то верно, были равны. У всех одна дума — поскорее бы увидеть Францию, никто не наклонялся подобрать ружье или деньги; каждый шел куда

глаза глядят, ружье нес как придется, не до славы было. Да и погода стояла прескверная, императору не видать было своей звезды. Разладилось у него что-то с небом. Тошно бедняге было смотреть, как его орлы летят прочь от победы. Суров стал, да как же не стать суровым! Вот и Березина. Да, други мои, честью заверить могу: с самого сотворения мира во веки веков не бывало, чтоб до того все смешалось — войска, повозки, артиллерия, и чтоб сыпал такой снег и небо было такое хмурое. Схватишься, к примеру, за дуло ружья — обожжет, такое оно холодное. И тут-то армию вызволили понтонеры, твердо держались они на своем посту; и в лучшем виде показал себя наш Гондрен, один он в живых и остался из тех упрямцев, которые лезли в воду и наводили мосты; армия прошла по этим мостам и спаслась от русских, потому как они еще не потеряли решпекта перед великой армией по случаю ее прошлых побед.

И он добавил, указывая на Гондрена, смотревшего на него с вниманием, свойственным глухим:

— Гондрен — отменный солдат, можно сказать, почетный солдат и заслуживает от вас превеликого уважения.

Видел я,— продолжал он,— императора, когда он, не шевелясь, стоял возле моста, его и мороз не брал. Ну разве и это спроста? Смотрел он, как гибнут его сокровища, друзья его, старые его египетские солдаты. А по мосту двигались маркитантки, повозки, артиллерия,— все такое истасканное, замызганное, разбитое. Кто посмелее, сохранил знамена, потому, видите ли, знамена — это сама Франция, это — ваш брат, это — честь гражданина и солдата, и надобно было, чтобы она осталась неприкосновенной, чтоб не сломилась от холода. Обогревались мы, обмороженные, только возле императора; когда ему-то грозила опасность, все мы сбегались к нему, а ведь не останавливались мы, чтобы выручить друзей. Говорят еще, ночами он плакал по горемычной своей солдатской семье. А все же лишь он да наш брат, французы. могли выбраться из такой беды, ну и выбрались, с потерями, правда, и большими потерями, что там толковать Союзники сожрали наши припасы. Все стали императора предавать, как сказал ему Красный человек. Брехуны-парижане помалкивали с той поры, как введена была

императорская гвардия, а тут решили, что он конченый человек, и замыслили они заговор, втянули и префекта полиции, чтобы свергнуть императора. Проведал он об этих самых кознях, досадно ему стало, и говорит он нам, уезжая:

— Прощайте, ребята, охраняйте посты, вернусь скоро!

Ну и пошло — генералы порют чушь, без него-то ведь все не то. Маршалы переругались и совсем заврались, оно и понятно: Наполеон был добряк, раскормил их, набаловал золотом, и они до того разжирели, что и ходить разучились. Вот откуда все беды и пошли: многие торчали с полками в тылу у неприятеля и не думали его тревожить, а нас неприятельские войска гнали во Францию. Но тут к нам воротился император с новобранцами, лихими ребятами, которых он перекроил на свой лад,— такие головорезы, что искромсают любого,— с почетным караулом из буржуа,— отличное войско, да растаяло оно, будто масло на жаровне. Держимся твердо, а только все против нас, хотя армия чудеса творит. И значит, тут, в сражениях под Дрезденом, Лютценом, Бауценом, народ идет стеной на народ. Вы-то наверняка помните, ведь в ту пору француз показал себя таким героем, что хорошему гренадеру не доводилось и полгода протянуть. Мы побеждаем, а у нас за спиной англичане мутят другие народы, наговаривают им всякий вздор. Ну, наконец прорываемся сквозь эти скопища. Только появится император, и мы расчищаем себе путь, потому что стоило ему сказать на море ли, на суше ли: «Надо пройти!»,— и мы проходили. В конце концов очутились мы во Франции, и самого захудалого пехотинца, несмотря на все передряги, взбодрил воздух отчизны. Я, например, про себя скажу,— прямо на свет сызнова родился. Так-то вот. Но в ту пору дело шло о защите Франции, отечества, словом, прекрасной Франции, ото всей Европы, которая злобилась на нас за то, что попробовали мы покорить русских, отогнать за их же пределы, чтобы они нас не съели, уж такая привычка у Севера, лакомого до Юга, об этом я сам кое от кого из генералов слышал. Тут император видит: собственный его тесть, друзья, которых он посадил королями, и сброд, которому он престолы вернул,— все против него. Словом, даже французы и

союзники по приказу свыше взяли и повернули из наших же рядов против нас, пример вам — сражение под Лейпцигом. На такие подлости простой солдат посовестился бы пойти, верно говорю? Те-то по три раза на день от своего слова отступались, а туда же, звались князьями! Тут началось вторжение. Только император покажет свой львиный лик, и неприятель отступает; в те поры, защищая Францию, он сотворил больше чудес, чем когда ходил завоевывать Италию, Восток, Испанию, Европу и Россию. Вздумал, значит, он истребить всех чужеземцев: пусть знают, как уважать Францию; подпустил их к самому Парижу, чтобы разом прикончить и подняться на верхнюю ступень славы, выиграв битву поважнее всех других, словом, всем битвам битву! Но парижане испугались за свои грошовые шкуренки и лавчонки и открыли ворота; тут-то и пошло, значит, предательство, и настал конец счастью; императрицу начали притеснять и в окнах белые флаги повывешивали, а генералы-то, которых он к себе приблизил, покинули его ради Бурбонов, о которых прежде и не слыхали. Прощается он тут с нами в Фонтенебло:

— Солдаты!..

Как сейчас слышу его, мы плакали, точно малые дети; знамена с орлами были приспущены, будто на погребении, потому что, скажу вам прямо, мы хоронили Империю, от всех наших армий одна тень осталась. Тут, значит, он и говорит нам с крыльца своего замка:

— Ребята, победили нас по милости предателей, но свидимся на небе — родине храбрецов. Защищайте моего сынка, доверяю его вам: да здравствует Наполеон Второй!..

Решил он умереть и, чтобы не видел никто побежденного Наполеона, выпил такую отраву, какая извела бы целый полк, да отрава его не берет; он тоже подумал, как Иисус Христос до того, как страсти принять, что покинул его бог, изменила удача. Зато теперь сам узнал, что бессмертен он и что дело его верное, что вечно императором будет, и уединился он на остров поразмыслить над делами тех людишек, что горазды глупости делать. Пока он там думы думал, китайцы да дикари с африканского берега, берберийцы и прочие, народ непокладистый, и то считали, что он не такой человек, как все лю-

ди, и не трогали его знамя, говорили, что прикоснуться к нему — значит, рассориться с богом. Те-то людишки его из Франции прогнали, а он владычествовал над всем миром. Садится он, значит, опять в свою египетскую скорлупку, проскочил под носом английских кораблей, вступил на французскую землю, а Франция признала его, весть птицей с колокольни на колокольню перелетает, вся страна кричит: «Да здравствует император!» И в здешних краях все с превеликим восторгом встретили это чудо из чудес; в Дофине не подкачали; я в особенности был доволен, узнав, что тут все плакали от радости, когда снова увидали его серый сюртук. Первого марта Наполеон высадился с двумя сотнями солдат, чтобы завоевать королевство французское и наваррское, а двадцатого марта оно опять превратилось во французскую империю. В тот день Наполеон уже был в Париже; все смел по пути, взял обратно свою милую Францию, собрал старых воинов и сказал им всего лишь три словечка: «Вот и я!» Это было самое большое из божьих чудес,— ну, кто бы еще мог захватить целую империю, только шляпой помахав? Все думали, что Франция повержена. Черта с два! Появился орел, возродилась национальная армия, и мы зашагали в Ватерлоо. Тут-то гвардии сразу пришел конец. А Наполеон во главе с уцелевшими три раза очертя голову бросался на вражеские пушки, но нет ему смерти! Наш-то брат это видел! Так вот, битва проиграна. Вечером император созывает своих старых солдат в поле, залитом нашей кровью, сжигает знамена и древки с орлами; наши победоносные орлы прежде в битвах звали нас вперед, прежде летали над всей Европой, а ныне были избавлены от позора, не попали в руки врагу. Да ни за какие сокровища Англия не получила бы даже орлиного хвоста. Не стало орлов! Все прочее хорошо известно. Красный человек перешел на сторону Бурбонов, как есть он мерзавец! Франция сокрушена; солдат больше ни во что не ставят, лишили всего, что им причитается, домой погнали, а на их место набрали дворян, которые и маршировать-то не умели,— смотреть на них было противно. Наполеона взяли изменой, англичане приковали его на пустынном острове, посреди океана, к утесу, а утес тот возвышается на десять тысяч футов над всем миром. И придется быть там Наполеону до тех пор, пока

Красный человек не возвратит ему власть на благо Франции. Те-то говорят, что он умер! Да, как же, умер! Сразу видать, не знают они его. Врут, чтобы народ надуть, чтоб не взбунтовался народ в их поганом государстве. Слушайте же. На самом деле друзья оставили его одного в пустыне, чтоб сбылось пророчество о нем, я-то забыл вам объяснить, что Наполеон — означает *Лев пустыни.* Это уж верно, как святое писание. А если услышите что другое про императора, не верьте, все это одни враки. Разве простому смертному бог дал бы право начертать красными буквами свое имя, как он написал свое на всей земле, которая всегда это помнить будет! Да здравствует Наполеон, отец народа и солдата!

— Да здравствует генерал Эбле! — крикнул понтонер.

— А как же вы-то уцелели в овраге у Москвы-реки? — спросила какая-то крестьянка.

— Почем я знаю! Вошли мы туда целым полком, а в живых осталось человек сто пехотинцев, потому что только пехотинцам и было по плечу его взять. Видите ли, пехота — первое дело в армии...

— А кавалерия-то! — закричал Женеста и, спрыгнув с сеновала, появился в сарае так неожиданно, что даже самые храбрые ахнули от страха.— Эх, старина, что ж ты забыл о красных уланах Понятовского, о кирасирах, драгунах и прочих! Когда Наполеону не терпелось, чтобы сражение скорее завершилось победой, он говорил Мюрату: «Ваше величество, разруби-ка мне их пополам!» И мы шли рысью, а потом — вскачь. *Раз, два.* И неприятельская армия рассечена, будто яблоко ножом. Кавалерийская атака, старик, почище залпов картечи.

— А понтонеры-то! — закричал глухой.

— Так-то, ребята,— продолжал Женеста, заметивший, что люди онемели от изумления, и вконец смущенный своей вылазкой,— тут, верно, нет шпионов! Вот возьмите, выпейте за маленького капрала!

— Да здравствует император! — в один голос крикнули все, кто был на посиделках.

— Тише, ребята! — сказал офицер, силясь скрыть свою глубокую скорбь.— Тише! *Он умер* со словами: «Слава, Франция, сражение!» Ребята, он-то умер, но память о нем не умрет!

Гогла недоверчиво пожал плечами и тихо сказал соседям:

— Офицер-то все еще на действительной службе, а таким приказ дан говорить всему свету, что император умер. Нечего на него пенять, ведь ежели солдату приказано, значит, надо повиноваться.

Выходя из сарая, Женеста услышал, как Могильщица сказала:

— Офицер этот — друг императору и господину Бенаси.

Все бросились к дверям, чтобы еще раз взглянуть на Женеста, и при свете луны увидели, как он берет доктора под руку.

— И натворил же я глупостей,— сказал Женеста,— пойдемте скорей домой! Я голову потерял от всех этих орлов, пушек, битв!..

— Ну, что вы скажете о моем Гогла? — спросил его Бенаси.

— Сударь, такие вот рассказы помогут Франции всегда хранить в недрах своих четырнадцать армий Республики и вести с Европой внушительный разговор пушечными залпами. Вот мое мнение.

Немного погодя они добрались до дома Бенаси, и вскоре оба, задумавшись, сидели в гостиной у камина, в котором, догорая, тлели угли. Женеста по всему видел, что врач относится к нему с полным доверием, но как-то не решался спросить о том, что занимало его, боясь показаться нескромным; однако, бросив не один испытующий взгляд на Бенаси, офицер приметил на его губах обаятельную улыбку, свойственную людям поистине сильным духом, которой врач как будто поощрял гостя и давал согласие ответить. И Женеста сказал:

— Сударь, ваша жизнь так не похожа на жизнь людей заурядных, что нет ничего удивительного, если я спрошу о причинах, по которым вы удалились от мира. Быть может, вы сочтете мое любопытство неуместным, однако согласитесь, что оно вполне естественно. Послушайте, были у меня приятели, с которыми я никогда не был на ты, даже побывав вместе в походах, но были и другие, которым я говорил: «Ступай за нашим жалованьем к казначею!»— дня через три после того, как мы вместе напивались, что иной раз случается и с самым

порядочным человеком во время пирушки. Ну так вот — вы из тех людей, которого я избрал себе другом, не дожидаясь позволения и не зная толком, почему именно.

— Капитан Блюто...

Офицер невольно морщился, стоило врачу произнести его вымышленную фамилию. Увидев, как передернулось лицо гостя, Бенаси удивился и пристально посмотрел на него, стараясь объяснить себе, в чем тут дело, но ему трудно было отгадать истинную причину, и, приписав эту гримасу телесному недугу гостя, он продолжал:

— Капитан, мне мучительно говорить о себе. Уже не раз со вчерашнего дня я делал над собой усилие, рассказывая об улучшениях, которые мне удалось произвести здесь; но тогда речь шла о нашей общине и о ее жителях, интересы которых поневоле связаны с моими. Говорить же вам о себе — значило бы занимать вас разговорами только о своей персоне, а в жизни моей нет ничего примечательного.

— Даже если б она была проще, чем жизнь Могильщицы,— ответил Женеста,— все-таки мне хотелось бы услышать о ней, узнать, какие же превратности судьбы закинули сюда человека вашего склада.

— Капитан, я молчал двенадцать лет. Ныне, когда я у края могилы, жду удара, которому суждено меня туда повергнуть, откровенно признаюсь вам, что молчание тяготит меня. Уже двенадцать лет я стражду, и нет у меня того утешения, какое обретают в дружбе сердца́, истомленные горем. Несчастные мои пациенты — крестьяне подают мне пример полнейшей покорности своей доле, но они видят мое сочувствие; а моих тайных слез никто не осушит, никто чистосердечно, по-дружески не пожмет мне руку, а это лучшая из наград,— ею не обойден даже старик Гондрен.

Женеста порывисто протянул руку врачу, которого это глубоко растрогало.

— Быть может, Могильщица поняла бы меня своей ангельской душою,— продолжал врач взволнованным голосом,— но, быть может, она полюбила бы меня, а это было бы несчастьем. Послушайте, капитан, лишь такой человек, как вы, закаленный в боях и снисходительный воин, или же восторженный юноша могут слушать мою исповедь, ибо понять ее способен лишь зрелый муж, ко-

торый знает жизнь, или дитя, которому жизнь совсем еще неведома. В старину полководцы, умиравшие на поле битвы, исповедовались, когда не было священника, перед крестом на рукояти своего меча, избирая его верным посредником между собою и богом. И вы, стойкий наполеоновский рубака, несгибаемый и крепкий, как стальной клинок, пожалуй, поймете меня. Рассказ мой будет для вас занимателен, если вы вникните в сложный мир самых заветных чувств человека и с вниманием отнесетесь к тому, во что верят простые сердца, но что показалось бы смешным всем тем рассудительным особам, которые привыкли применять к своим личным обстоятельствам правила, предназначенные для государственных дел. Я расскажу вам все откровенно, ибо не намерен обходить ни то хорошее, ни то дурное, что было в моей жизни, и ничего не утаю от вас, потому что далек ныне от света, равнодушен к людскому суду и уповаю лишь на бога.

Врач умолк, затем встал со словами:

— Прежде чем начать, я велю приготовить чай. За двенадцать лет Жакота ни разу не забывала прийти с вопросом, буду ли я пить чай; она может нам помешать. А вы выпьете чаю, капитан?

— Благодарю вас, не хочется.

Бенаси быстро вернулся.

ГЛАВА IV

ИСПОВЕДЬ СЕЛЬСКОГО ВРАЧА

—Родился я,— начал врач,— в небольшом городке Лангедока, где мой отец жил издавна; там протекало мое раннее детство. Восьми лет меня отдали в Сорезский коллеж, а закончив его, я отправился в Париж завершить свое образование. Отец мой в молодости был прожигателем жизни, он промотал родовое имение, но восстановил дела удачною женитьбой и мелочной бережливостью, как водится в провинции, где люди кичатся богатством, а не тратами, где тщеславие, свойственное человеку, угасает, не находя себе достойной жизни. Разбогатев, отец решил передать единственному сыну холодную мудрость, полученную им взамен утраченных надежд,— последнее и благородное заблуждение стариков, ибо все

они тщетно пытаются свой добродетельный житейский опыт и свою благоразумную расчетливость оставить в наследство детям, которые упоены жизнью и спешат ею насладиться. Из предусмотрительности отец начертал особый план воспитания, жертвой которого я стал. Он старательно скрывал от меня, как велико его состояние, и во имя моего блага обрек меня в расцвете лет на лишения и тревоги, нестерпимые для молодого человека, горящего желанием добиться независимости; он стремился внушить мне добродетели, необходимые в бедности: терпение, жажду образования и трудолюбие; он надеялся, что, познав цену богатства, я научусь бережливости, а как только я дорос до того, чтобы уразуметь его советы, он начал уговаривать меня поскорее избрать себе жизненное поприще. Склонности влекли меня к изучению медицины. Из Сореза, где я десять лет жил в уединении провинциального коллежа под гнетом полумонастырской дисциплины ораторианцев, я сразу попал в столицу. Отец сопровождал меня и поручил одному своему другу. Старики без моего ведома приняли самые тщательные меры предосторожности на случай, если меня, тогда еще совсем неопытного юнца, захватит вихрь бурных страстей. Деньги на мое содержание были строго рассчитаны, сообразно насущным житейским нуждам, получать их мне полагалось раз в три месяца, и то, если я представлял квитанции о том, что внес плату в Медицинскую школу. Это поистине оскорбительное недоверие прикрывалось соображениями порядка и отчетности. Впрочем, отец не жалел денег на мое образование и на развлечения. Его старинный друг, очень довольный, что ему поручено руководить молодым человеком в лабиринте, куда я вступил, принадлежал к особой породе людей, у которых чувства с такою же аккуратностью разложены по полочкам, как и деловые бумаги. Стоило ему справиться в записной книжке, и он мог с точностью сказать, что делал в прошлом году в тот же месяц, день и час. Жизнь для него была предприятием, счета которого он вел по-коммерчески. А вообще-то этот достойный человек, хотя и не лишенный лукавства, осторожный и несколько недоверчивый, всяческими способами старался замаскировать свой строгий надзор за мной, покупал мне книги, оплачивал уроки; вздумается мне, например,

научиться верховой езде, и добряк сам разузнает, где манеж получше, водит меня туда и, предугадывая мои желания, нанимает для меня лошадь на праздничные дни. Этот превосходный человек, невзирая на все его стариковские хитрости, которые я научился обходить, как только мне понадобилось, стал мне вторым отцом. «Друг мой,— сказал он мне в ту минуту, когда догадался, что я порву поводок, если он немного не отпустит его,— молодые люди часто совершают безумства, на которые толкает их юношеская пылкость, и если вам понадобятся деньги, приходите ко мне. В свое время ваш отец охотно выручал меня, и к вашим услугам у меня всегда найдется несколько экю, но не лгите мне, признавайтесь, не стыдясь, в своих ошибках, ведь я тоже был молод, и мы всегда поймем друг друга как добрые приятели». Отец поместил меня в семейном пансионе Латинского квартала, содержащемся почтенными людьми; мне отвели прилично обставленную комнату. Однако первые шаги к самостоятельности, великодушие от а, жертва, которую, казалось, он принес мне, мало меня трогали. Быть может, надо насладиться свободой, чтобы понять, какая это ценность. Но воспоминания о привольном детстве почти изгладились под бременем уныния, царившего в колледже и все еще угнетавшего мой ум; затем наставления отца указали мне на новые обязанности; и наконец, сам Париж представлялся мне своего рода загадкой; не изучив его, не знаешь, где развлечься. Итак, ничто,— думал я,— не изменилось в моей жизни, не считая того, что теперешнее мое училище чуть побольше и называется Медицинской школой. И все же на первых порах я ретиво взялся за учение, прилежно посещал лекции, с головой ушел в занятия и не помышлял об удовольствиях,— до того сокровища науки, которыми богат Париж, пленили мое воображение. Но вскоре случайные знакомства, особенно опасные оттого, что они прикрываются приятельскими отношениями, прельщающими безрассудно доверчивую молодежь, незаметно вовлекли меня в круговорот рассеянной парижской жизни. Прежде всего на меня оказали развращающее влияние театры и актеры: я был от них без ума. Столичные спектакли пагубны для молодежи, она не в силах бороться с тем глубоким душевным смятением, какое театр вызывает у нее, поэтому-то

общество и законы представляются мне соучастниками распутства юношей. Наше законодательство, так сказать, закрыло глаза на страсти, обуревающие молодого человека в двадцать — двадцать пять лет; в Париже его все ошеломляет, все беспрестанно искушает; религия проповедует ему добродетель, законы ее предписывают, а столичные соблазны и нравы влекут его ко злу; да разве в Париже самый порядочный мужчина и даже самая благочестивая женщина не насмехаются над целомудрием? Словом, огромный город как будто поставил перед собой задачу поощрять одни лишь пороки, ибо препятствия, стоящие перед молодым человеком на пути к тому общественному положению, заняв которое он мог бы честным образом добиться благосостояния, еще более многочисленны, нежели всякие разорительные приманки. Долгое время я каждый вечер ходил в театры и мало-помалу пристрастился к праздности. Я стал пренебрегать своими обязанностями, частенько откладывая на завтра самые спешные занятия; я больше не стремился к образованию, а выполнял только работы, совершенно необходимые, чтобы добиться степеней, без которых нельзя получить диплом доктора. На лекциях я уже не слушал профессоров; мне казалось, что все они твердят одно и то же. Я низвергал своих богов и уже превращался в парижанина. Словом, я вел сомнительный образ жизни, обычный для молодого провинциала, который, попав в столицу, еще хранит кое-какие искренние чувства, еще верит в кое-какие правила нравственности, но поддается дурным примерам, хоть и желает защититься от соблазнов. Я защищался плохо. Искусители были во мне самом. Да, сударь, мое лицо не обманывает: многообразные страсти наложили на него отпечаток. И все же в глубине души у меня сохранилось стремление к нравственной чистоте, которое, несмотря на легкомысленный образ жизни, должно было в конце концов породить угрызения совести, отвращение к распутству и обратить к богу человека, в юности пившего из чистых родников религии. Разве тот, кто наслаждается земными утехами, рано или поздно не захочет вкусить от плодов небесных? Сколько раз я предавался восторгам, сколько раз предавался унынию, как это бывает в юности со всеми, только в разной степени; то я принимал ощущение молодой силы за твердую волю

и заблуждался, преувеличивая свои способности; то я пугался малейшего препятствия, которое мне мерещилось, и падал гораздо ниже, чем свойственно было моей натуре; я строил широчайшие планы, мечтал о славе, намерен был трудиться, но первая же пирушка сметала все благие намерения. Как из тумана, вставали перед моим умственным взором неосуществленные высокие замыслы, и этот проблеск порождал во мне уверенность в себе, но не давал мне силы для созидания. Лень и самодовольство сделали меня глупцом, ибо глупец тот, кто не оправдывает высокого мнения, составленного им о самом себе. В моей деятельности не было цели; я жаждал цветов жизни, но чуждался трудов, от которых они расцветают. Я не сталкивался с препятствиями, я считал, что все дается легко, и приписывал счастливой случайности успехи в науке и успехи в карьере. Гениальность мне представлялась шарлатанством. Я уже почитал себя ученым оттого, что мог им стать; я не помышлял ни о терпении, первоисточнике великих *дел*, ни о работе, в ходе которой и обнаруживается, как труден к ним путь, и лишь предвкушал будущую славу. Удовольствия были исчерпаны быстро: театром развлекаешься недолго. И вскоре Париж стал постылым и пустым для неимущего студента; круг знакомых моих состоял из старика, уже чуждавшегося светской жизни, и одного-единственного семейства, посещаемого прескучными людьми. Поэтому, как всякий юнец, которому опротивела избранная карьера и у которого нет определенной цели, установившегося направления в мыслях, я день-деньской слонялся по улицам, по набережным, по музеям и общественным садам. Безделье в этом возрасте еще более тягостно, нежели во всяком ином, ибо в эту пору зря пропадает пыл юности, бесцельно расходуется энергия. Я не понимал, какие возможности раскрывает крепкая воля перед юношей, когда он умеет хотеть и для осуществления желания располагает всеми жизненными силами, утроенными бесстрашною уверенностью молодости. В детстве мы просты душою, нам неведомы опасности жизни; в юности мы начинаем постигать ее трудности и всю ее необъятность; при этом зрелище иной раз теряешь мужество; когда мы — новички на поприще общественной жизни, у

нас ум заходит за разум, нами овладевает растерянность, словно мы очутились без помощи в чужой стране. В любом возрасте неизвестное невольно пугает. Юноша подобен тому солдату, который идет навстречу пушечным выстрелам и отступает перед призраками. И этот юноша не знает, каким правилам следовать; не умеет ни отдавать, ни принимать, ни защищаться, ни наступать; его влекут к себе женщины, но он чтит их и робеет перед ними; его достоинства оборачиваются против него, он полон благородных чувств, он целомудрен, ему чужды корыстные расчеты, чужда скупость; если он лжет, то лишь ради красного словца, а не ради выгоды; совесть, с которою он еще не вступил в сделку, указывает ему верную дорогу среди путей сомнительных, но он медлит и не идет по ней. Люди, которым суждено жить, повинуясь велению сердца, а не доводам разума, долго бывают в таком состоянии. То же случилось и со мною. Я стал игрушкой двух противоречивых побуждений. Меня терзали желания, обуревающие нас в молодости, и сдерживала юношеская сентиментальность. Лихорадочная жизнь Парижа убийственна для душ, наделенных живою впечатлительностью; блага, которыми там пользуются люди выдающиеся или люди богатые, разжигают страсти. В этом мире величия и низости зависть часто убивает, а не подхлестывает; в беспрерывной борьбе, которую ведут честолюбие, страсть и ненависть, неизбежно становишься или жертвою, или соучастником. Молодой человек постоянно видит, что порок благоденствует, а добродетель поругана, и это незаметно колеблет его нравственные устои; парижская жизнь, так сказать, быстро сдувает *пушок детской невинности* с его совести; тут-то начинается и довершается дьявольское дело его нравственного разложения. Чтобы получить от жизни те наслаждения, которые поначалу соблазнительнее всех остальных, надо преодолеть ряд опасностей, приходится обдумывать каждый шаг, взвешивать последствия. Все эти рассуждения ведут к себялюбию. Стоит бедному студенту страстно влюбиться и забыть весь мир, как окружающие поспешат вселить в него своими советами такую недоверчивость, что он, помимо воли, насторожится и станет остерегаться своих великодушных намерений. В этой борьбе черствеет и мельчает душа, всем начинает вер-

ходить рассудок, и это приводит к чисто парижской бесчувственности, к тем нравам, при которых под изящнейшим легкомыслием и наигранной восторженностью скрыты честолюбие и корысть. В Париже самая бесхитростная женщина даже в упоении счастьем не теряет голову. Все это, конечно, повлияло на мое поведение и на мои чувства. Ошибки, отравившие мне жизнь, у многих других не легли бы на сердце тяжелым бременем, но южане религиозны, верят в католические догматы и в загробный мир. От этих верований страсти делаются глубже, а угрызения совести надолго уносят покой.

В те времена, когда я изучал медицину, повсюду главенствовали военные; нужно было носить по крайней мере полковничьи эполеты, чтобы нравиться женщинам. Чем был для света бедный студент? Ничем. Живя в чаду пылких страстей, не находя им исхода, встречая денежные затруднения на каждом шагу, при каждой попытке осуществить свои желания; считая, что дорогой науки и славы не скоро придешь к вожделенным радостям; не зная, следовать ли внутреннему голосу целомудрия или дурным примерам, видя, как легко предаваться беспутству в злачных местах и как трудно попасть в порядочное общество, я влачил печальные дни, во власти темных страстей, томясь праздностью, которая мертвит душу, и унынием, то и дело сменявшимся порывистой восторженностью. Наконец, эта смутная пора привела к развязке, такой обычной в жизни молодых людей. Мне всегда казалось, что подло нарушать чужое семейное счастье, к тому же я так непосредственно выражаю свои чувства, что совсем не умею лукавить; поэтому-то я просто физически не мог бы жить в постоянной лжи. Мимолетные радости меня не соблазняют, я хочу наслаждаться счастьем не спеша! Я не способен был предаваться пороку, но я устал от одиночества, после стольких бесплодных попыток проникнуть в высший свет, где, быть может, встретил бы женщину, которая заботливо предостерегала бы меня от всяческих ловушек, учила бы изысканным манерам, давала бы советы, не уязвляя моего самолюбия, и ввела бы меня в те круги, где я завязал бы знакомства, полезные для моего будущего. Я совсем отчаялся, и меня, пожалуй, соблазнило бы в ту пору самое

опасное любовное приключение, но мне не везло даже тут. Я по неопытности не мог найти исход своим кипучим страстям. Наконец, сударь, я завел связь, сначала тайную, с девушкой, благосклонности которой я упорно домогался, пока она не соединила свою судьбу с моей. Эта юная девушка из порядочной, но не богатой семьи бросила ради меня свой скромный дом и бесстрашно доверила мне свое будущее, чистосердечно веря, что оно будет прекрасным. Лучшим залогом казалось ей то, что я не богат. С этой минуты буря, волновавшая мое сердце, сумасбродства, честолюбие — все потонуло в счастье, в том счастье, которое захватывает молодого человека, не ведающего ни нравов света, ни принятых там правил приличия, ни силы предрассудков; в безоблачном счастье, какое бывает в детстве, ибо первая любовь — это второе детство, озаряющее наше существование, полное забот и труда. Есть люди, которые сразу постигают, что такое жизнь, выносят о ней правильное суждение, присматриваются к людским ошибкам, чтобы извлечь из них выгоду, к законам общества, чтобы обернуть их себе на пользу, и которые знают всему цену. Принято считать, что эти холодные люди мудры. Но другие, бедные поэты, люди нервические, чувствуют слишком живо и зачастую оступаются; к их числу принадлежал и я. Впрочем, моя первая привязанность вначале не была настоящей любовью, я повиновался инстинкту, а не сердцу. Я принес бедную девушку себе в жертву, но находил немало доводов в свое оправдание, убеждая себя, что ничего дурного я не делаю. Она же была олицетворением преданности — ангельское сердце, светлый ум, прекрасная душа. Она всегда давала мне разумные советы. Сначала ее любовь укрепила во мне мужество, затем моя подруга ласково принудила меня вновь взяться за учение, веря в меня, предсказывая мне успех, славу, богатство. В наши дни медицина соприкасается со всеми науками, хотя врачу нелегко добиться славы, зато вознагражден он будет с лихвой. Слава в Париже всегда приносит богатство. Добрая моя подруга самоотверженно делила со мной все превратности жизни, и при ее бережливости, несмотря на скромные наши средства, мы могли себе позволить кое-какое баловство. У нас оказалось больше денег для удовлетворения моих прихотей,

когда мы зажили вдвоем, нежели в те дни, когда я жил один. Это была, сударь, самая чудесная пора моей жизни. Занимался я с жаром, у меня была цель, меня поощряли, я рассказывал о своих мыслях и делах женщине, которая внушила мне чувство любви и, главное, глубокого уважения своим благоразумием, проявляя его в тех условиях, когда, казалось бы, благоразумие невозможно. Все это так, сударь, но дни мои проходили однообразной чередой. Нет в мире ничего восхитительнее тихого, спокойного счастья, но, лишь испытав сердечные бури, научишься его ценить. Как сладостно не чувствовать жизненных тягот, обмениваться сокровенными мыслями и всегда быть понятым! Мне, человеку страстному, лелеявшему честолюбивые планы, человеку, которому надоело плестись за славой, ибо она идет слишком медленной поступью, такое счастье вскоре приелось. Мной снова овладели прежние мечтания. Я жаждал насладиться всем, что дает богатство, и молил о нем во имя любви. Когда, бывало, по вечерам, я впадал в угрюмую задумчивость, рисуя себе несбыточные картины роскошной жизни, ласковый голос окликал меня, и я откровенно признавался в своих грезах. Конечно, я терзал кроткую подругу, посвятившую себя моему счастью. Ведь больше всего ее удручало, что она не в силах выполнить мои прихоти. О сударь, как велика женская самоотверженность!

В этом восклицании чувствовалась затаенная горечь. Бенаси на мгновение задумался, офицер же не нарушал его молчания.

— Так вот, сударь,— продолжал доктор,— событие, которое должно было, казалось, упрочить наш союз, разрушило его и явилось первопричиною всех моих бед. Скончался мой отец, оставив мне крупное состояние; чтобы уладить дела по наследству, мне пришлось на несколько месяцев уехать в Лангедок; я отправился туда один. Я вновь обрел свободу. Любое обязательство, даже самое приятное, тягостно в молодости. Надобно накопить жизненный опыт, чтобы признать необходимость долга и труда. Меня, пылкого уроженца Лангедока, радовало, что я могу уйти из дома и возвратиться, когда мне вздумается, что даже добровольно я не отдаю никому отчета в своих поступках. Хотя я и не совсем за-

был о тех узах, которыми связал себя, но все отвлекало меня от прошлого, и воспоминания незаметно рассеялись. Не без раздражения думал я о том, что придется связать себя снова, затем стал задаваться вопросом, нужно ли это. А тем временем я все получал и получал письма, проникнутые искренней любовью, но ведь в двадцать два года человек воображает, что все женщины — существа любящие; он еще не умеет отличать сердечную привязанность от страсти; он принимает за любовь все, что дает ему плотские радости, и в начале жизни ему кажется, что они-то есть главное; лишь позже, лучше узнав жизнь и людей, я понял, сколько истинного благородства было в ее письмах, в которых она говорила о своей любви, но не о себе, радовалась за меня, что я разбогател, ничего не желала для себя и не помышляла даже, что я могу измениться, ибо чувствовала, что она сама измениться не в состоянии. Но я весь ушел в честолюбивые расчеты и собирался зажить по-богатому, занять положение в свете, вступить в блестящий брак. Я не прочь был холодно, по-фатовски сказать: «Однако и любит же она меня!» А сам уже ломал себе голову над тем, как бы отделаться от нее. Так вот ломаешь себе голову, стыдишься самого себя, доходишь до жестокости, наносишь своей жертве раны и, чтобы не краснеть перед ней, убиваешь ее. Когда я размышляю о тех днях печальных заблуждений, передо мною раскрываются многие бездны нашего сердца. Да, поверьте мне, сударь, лучше всех познают пороки и добродетели человеческой природы те люди, которые хорошо изучили их на себе. Наша совесть — отправная точка. Мы всегда подходим к людям со своей меркой, не думая о том, с какой меркой люди подходят к нам. Я вернулся в Париж и поселился в особняке, который был снят для меня; я не предупредил ни о перемене в своих чувствах, ни о своем возвращении единственного человека, которого это близко касалось. Мне хотелось занять не последнее место среди блестящей светской молодежи. Первые дни прошли в упоении роскошью, и, когда я настолько пристрастился к беспечной жизни, что уже не боялся поддаться состраданию, я отправился навестить возлюбленную, намереваясь порвать с нею. С чуткостью, свойственной женщинам, она догадалась о моих затаенных

намерениях, но сдержала слезы. Она должна была презирать меня, однако по своей кротости и доброте ни разу не выказала презрения. Снисходительность эта жестоко мучила меня. Мы, великосветские убийцы, как и убийцы с большой дороги, любим, чтобы наши жертвы защищались,—борьба, видите ли, служит оправданием нам, повинным в их смерти. Из жалости я возобновил было свои посещения; нежным я быть не мог, но прикидывался ласковым, затем постепенно стал просто любезным; и, наконец, по какому-то молчаливому соглашению, она позволила мне обращаться с нею, как с чужой, и я еще воображал, что поступаю порядочно. С настоящим неистовством закружился я в вихре светской жизни, чтобы заглушить слабые угрызения совести, которые еще давали о себе знать. Тот, кто не уважает себя, не может жить в одиночестве, и вот я стал вести рассеянный образ жизни, какой ведет в Париже золотая молодежь. Я получил недурное образование, обладал хорошей памятью, а потому казался умнее, нежели был на самом деле, и воображал, что я гораздо лучше остальных; льстецам, которым выгодно было уверять меня в моем превосходстве над другими, не стоило труда убедить меня в этом. Все так быстро признали мое превосходство, что я и не видел надобности оправдать это мнение. Лесть — самая вероломная уловка света, в особенности в Париже, где интриганы всех мастей умудряются задушить талант с самого рождения, забросав венками его колыбель. Итак, я не воспользовался ни благоприятным о себе мнением, ни успехом, чтобы «выйти в люди», не завязал я и полезных знакомств. Я без устали предавался легкомысленным развлечениям. У меня были мимолетные интрижки — позор парижских салонов. Каждый входит туда в поисках истинной любви, но в погоне за ней пресыщается, становится великосветским распутником и кончает тем, что удивляется подлинной страсти так же, как свет удивляется великодушному поступку. Подражая другим, я часто наносил еще не тронутым, чистым душам такие же удары, от которых втайне страдал сам. Хотя своим поведением я создал себе дурную репутацию, все же во мне уцелела порядочность, голосу которой я неизменно повиновался. Сколько раз меня обманывали при таких обстоятельствах, когда мне было стыдно даже за-

подозрить обман; я навлекал на себя презрение доверчивостью, которой в душе гордился. Свет склоняется лишь перед теми, кто достигает успеха, а каким образом — ему неважно. По его мнению, конец венчает дело. И вот свет приписывал мне пороки, достоинства, победы и неудачи, о которых мне и не снилось; награждал меня любовными связями, о которых я и не ведал; порицал меня за поступки, к которым я был непричастен; из гордости я не считал нужным опровергать клеветнические слухи, а из тщеславия мирился с лестным для меня злословием. С виду я жил счастливо, а на самом деле прескверно. Если бы не беды, вскоре обрушившиеся на меня, я бы постепенно растерял свои достоинства и зло восторжествовало бы во мне, ибо оно питалось непрерывною игрою страстей, излишествами, которые расслабляют тело и потворствуют пагубному себялюбию, подтачивающему силы души. Я разорился, и вот как это случилось. Как бы ни был богат человек, а в Париже он непременно встретит богача покрупнее, за которым хочет угнаться, а потом и перещеголять его. По примеру других вертопрахов я стал жертвой подобной борьбы, и спустя четыре года мне пришлось продать часть своей земли, а остальную заложить. Затем меня сразил ужасный удар. Около двух лет я не видел женщины, которую бросил, но я вел такой образ жизни, что беды мне было не миновать, и тогда я, конечно, вернулся бы к ней. Однажды вечером, в разгаре веселой пирушки, я получил записку, написанную неровным почерком; в ней говорилось приблизительно вот что: «Я скоро умру, друг мой, мне хотелось бы повидать вас, узнать, что ждет моего ребенка; спросить, признаете ли вы его своим сыном, и смягчить сожаления о моей смерти, которые, быть может, вами овладеют». Кровь заледенела у меня в жилах, когда я прочел это письмо, оно разбудило мои былые терзания, и в то же время в нем была скрыта тайна будущего. Я отправился пешком, не дожидаясь кареты, пересек весь Париж, гонимый угрызениями совести, во власти первого порыва горя, которое углубилось, как только я увидел свою жертву. Опрятностью в доме бедняжка тщетно силилась скрыть нищету и тяготы жизни, в которых был повинен я; но она пощадила меня, с благородной сдержанностью говоря о своих лишениях, когда я торжест-

венно обещал ей усыновить нашего ребенка. Она умерла, сударь, невзирая на все заботы, которыми я окружил ее, невзирая на все средства науки, тщетно призванной на помощь. Слишком поздно пришли эти мои заботы и ласка, они лишь смягчили ее предсмертные муки. Все эти годы она трудилась не покладая рук, чтобы воспитать, чтобы прокормить ребенка. Материнское чувство было ей поддержкой в житейских бедах, но ее подтачивало страшное горе — сознание, что она покинута. Много раз она готова была сделать первый шаг, но женская гордость останавливала ее; она плакала, однако не проклинала меня за то, что ни единой крупицы золота, лившегося потоками для удовлетворения моих прихотей, не подумал я уделить ей, чтобы облегчить ее жизнь и жизнь нашего ребенка. Тяжкие испытания представлялись ей возмездием за грех. Ее поддерживал добрый священник из собора Сен-Сульпис, кроткий голос которого вернул ей душевный мир, она осушала слезы у подножия алтаря и там искала надежду. Горечь, по моей милости переполнявшая ее сердце, незаметно исчезла. Однажды она услышала, как сын произнес слово *папа* — слово, которому она не учила его, и бедняжка простила мне все то зло, какое я причинил ей. Но слезы, тоска и непосильная работа подточили ее здоровье. Религия слишком поздно даровала ей утешение и мужество в борьбе с невзгодами. Она заболела, ибо ее сердце не вынесло постоянной муки вечно воскресавших и вечно обманутых надежд на мое возвращение. И когда ей стало совсем худо, она, не думая упрекать меня, написала мне со смертного ложа записку. подсказанную религиозным чувством, а также верой в мою доброту. Она была убеждена и не раз говорила мне об этом,— что я ослеплен, а не испорчен; она даже обвиняла себя, что напрасно поддалась своей женской гордости. «Ежели бы я написала раньше,— сказала она мне,— быть может, мы успели бы вступить в брак и узаконить нашего ребенка».

Только ради сына стремилась она к этим узам и не помышляла бы о них, если бы не чувствовала, что смерть вскоре развяжет их. Но она опоздала, ибо жить ей осталось немного. Там-то, сударь, возле смертного одра этой женщины, я навсегда переменился, узнал, какое сокровище — преданное сердце. Я был в том возрасте, когда

мужчина еще способен проливать слезы. Все недолгие дни, пока теплилась жизнь любимой, слова мои, поступки и слезы свидетельствовали об искреннем раскаянии, о глубоком горе. Слишком поздно оценил я эту избранную душу, которую боялся теперь утратить, поняв, как суетна жизнь света, как пусты и себялюбивы светские модницы. Я устал смотреть на маски, устал выслушивать лживые слова и тщетно призывал истинную любовь, о которой мечтал, живя в мире искусственных чувств; и вот теперь она была рядом, эта любовь, убитая мною, и я не мог сохранить ее, хотя она и принадлежала только мне. За четыре года я по-настоящему узнал самого себя. Моя натура, особенности моего душевного склада, религиозные чувства, не исчезнувшие, а скорее, усыпленные, разум мой, мое непонятое сердце — словом, все с некоторых пор твердило мне, что пришла пора разрешить главный вопрос жизни, найти исход страстям в любви, в радости семейного очага, ибо только она является подлинной радостью. Слишком долго метался я, не видя цели, ради пустой суеты, в погоне за наслаждениями, без любви, которая их возвышает, и поэтому картины жизни в семейном кругу живо трогали мою душу.

Итак, в моих взглядах произошел внезапный и все же коренной перелом. Я, беспечный южанин, испорченный жизнью в Париже, наверное, не подумал бы пожалеть об участи бедной, обманутой девушки и посмеялся бы над ее муками, если б о них рассказал какой-нибудь шутник в веселом обществе; у нас, французов, вовремя сказанное словцо может превратить преступление в фарс. Но перед этим небесным созданием, которое мне не в чем было упрекнуть, оказывались бессильными все ухищрения ума; здесь царила смерть, а сын улыбался мне, не ведая, что я убийца его матери. Женщина эта умерла, умерла счастливой, ибо увидела, что я люблю ее и что не жалостью и даже не кровными узами, соединившими нас, питается эта возродившаяся любовь. Мне не забыть ее предсмертных часов, когда вновь завоеванная любовь и удовлетворенное материнское чувство успокоили ее страдания. Изобилие, даже роскошь, которыми я окружил ее, смех ребенка, такого прелестного в нарядных костюмчиках, были залогом счастливого будущего для этого крохотного существа,

а в нем она видела продолжение своей жизни. Викарий из собора Сен-Сульпис, свидетель моего отчаяния, углубил его, ибо не сказал мне ни одного пошлого слова утешения, но дал понять, как важны мои обязательства, правда, меня и не надо было понуждать — совесть говорила во мне достаточно громко. Женщина, полная благородства, доверилась мне, я же лгал ей, клялся в любви, а сам ей изменил, я был виновником всех несчастий, постигших бедняжку, которая должна была бы стать для меня святыней, ибо из-за меня она навлекла на себя презрение света; она умирала, все простив мне, забыв все свои горести и полагаясь на слово того, кто уже раз нарушил свое слово. Агата доверчиво отдала мне свою девичью душу, а теперь поверила в меня сердцем матери. А ребенок, сударь, ее ребенок! Одному богу известно, чем он для меня стал. Все в нем, как у его матери, было восхитительно: движения, разговоры, чувства, но для меня он был не просто сыном. Я в нем видел свое искупление, свою восстановленную честь; сын был мне дорог, как всякому отцу, но я хотел заменить ему мать, и угрызения совести обратились бы в истинное блаженство, если бы мне удалось сделать так, чтобы он не чувствовал отсутствия материнской ласки; меня связывали с ним все лучшие чувства, все упования религиозного человека. Сердце мое переполнялось такой нежностью, какую господь бог внушает матери. Я ликовал, заслышав голосок сына, я не мог наглядеться и нарадоваться на него, когда он спал, и часто слезы мои падали на его лоб. Я завел такой обычай: как только он, бывало, проснется, так сразу перебегает ко мне на кровать, прочесть у меня молитву. Как трогала мою душу простая и чистая молитва «Отче наш» в свежих и чистых устах моего сына и как терзала ее! Однажды утром он произнес: «Отец наш, сущий на небесах...», умолк и вдруг спросил: «А почему не наша мать?» Эти слова сразили меня. Я обожал своего сына, но по моей милости жизнь с первых же шагов сулила ему множество невзгод. Правда, законы принимают в расчет ошибки молодости и чуть ли не оказывают им покровительство, легализируя, хоть и неохотно, положение внебрачных детей; зато свет давними закоренелыми предрассудками поддерживает несговорчивость закона. К этой поре и относятся

первые мои серьезные размышления об основе общества, о его движущих силах, о человеческом долге, о тех нравственных понятиях, какими должны руководиться граждане. Гений сразу схватывает эту зависимость между человеческими чувствами и судьбами общества; религия внушает рассудительным людям принципы, необходимые для счастья, но лишь раскаяние внушает их пылкому человеку; я прозрел благодаря раскаянию. Я стал жить только сыном и ради сына, и это навело меня на размышления о важнейших общественных проблемах. Я решил заранее вооружить сына всем тем, что надобно для успеха в свете и что даст ему возможность достичь высокого положения. Так, например, чтобы научить его английскому, немецкому, итальянскому и испанскому языкам, я последовательно нанимал уроженцев этих стран, чтобы мальчик с ранних лет усвоил произношение. Я с радостью обнаружил в нем отличные способности, которые и позволили ему шутя обучаться всему. Я старался, чтобы ни одно ложное представление не проникло в его мысли, и, главное, стремился приохотить его с самого детства к умственному труду, привить ему способность быстро и правильно делать обобщения и терпеливо вникать в малейшие подробности, изучая тот или иной предмет; наконец, я приучил его молча переносить страдания. Я не позволял, чтобы при нем произносились не только непристойные, а даже неблагозвучные слова. Я постарался, чтобы моего сына окружали люди, способные облагородить, возвысить его душу, внушить ему любовь к правде, отвращение ко лжи, воспитать в нем простоту и естественность речей, поступков и манер. Живость воображения позволяла ему сразу усваивать эти наглядные уроки, а умственная одаренность облегчала занятие науками. Как отрадно взращивать такое деревце! Сколько радости испытывают матери! Тогда-то я и понял, откуда черпала силы его мать, чтобы сносить все тяготы, все свое горе. Я поведал вам, сударь, о самом большом событии в моей жизни, а сейчас я подхожу к крушению всех моих надежд, забросившему меня в этот кантон. Я расскажу вам историю, ничем не примечательную, избитую, но оказавшуюся для меня роковой. Несколько лет я отдавал всю свою душу сыну, стремясь вырастить из него хорошего человека, и вдруг испугался

одиночества; сын подрастал и, как водится, должен был меня покинуть. Любовь была для меня жизненной потребностью. Я искал любви и вечно обманывался в своем стремлении, но оно возрождалось с новою силой и крепло с годами. Душа моя была готова отдаться истинной привязанности. После тяжкого испытания я постиг всю прелесть постоянства и блаженную радость, которую ощущаешь, принося себя в жертву, и во всем — в делах и помыслах — я бы отдал первое место своей избраннице. Мне доставляло удовольствие помечтать о том, что бывает на свете такая нерушимо верная любовь, когда счастье четы, связанной взаимным чувством, согревает жизнь обоих, сквозит в их взорах, в их речах и не допускает никаких недоразумений. Такая любовь для всей нашей жизни то же, что религиозное чувство для нашей души: она одухотворяет ее, направляет и озаряет. Теперь я понимал супружескую любовь иначе, чем понимает ее большинство мужчин, и находил, что вся ее возвышенная красота зиждется именно на том, что губит любовь во множестве браков. Я всей душой чувствовал нравственное величие жизни вдвоем, настолько слитой воедино, что даже самые низменные ее стороны не могут быть преградою для вечной любви. Но где встретишь такие сердца, которые бились бы с полною синхронностью — простите мне научное выражение — и достигли бы столь дивного единения. Если они и существуют, то природа или случай отбрасывают их на такое далекое расстояние друг от друга, что им вовек не соединиться, они слишком поздно узнают друг друга или их слишком рано разлучает смерть. В этом роковом предопределении есть какой-то смысл, но я до него не доискивался. Слишком велико мое горе, чтобы вникать в него. Должно быть, полное счастье — такая редкость, что продолжение рода человеческого не может держаться на нем. Я мечтал о таком браке и по иным причинам. Друзей у меня не было. Пустым казался мне свет. Есть во мне что-то, мешающее сладостному душевному единению. Иные хотели познакомиться со мной, но, познакомившись, уже не искали сближения, как я ни стремился к этому. Сколько было людей, ради которых я подавлял в себе то, что в свете называется чувством собственного превосходства, шел с ними в ногу, соглашался с их взгля-

дами, смеялся, когда им было смешно, прощал изъяны их характера; если бы я добился славы, то променял бы ее на каплю дружеской привязанности. Эти люди отвернулись от меня без сожаления. Того, кто ищет в Париже настоящих чувств, ожидают одни ловушки и огорчения. Куда бы ни ступала моя нога, вокруг меня всюду была выжженная пустыня. Одни мою снисходительность почитали за слабость, но если бы я повел себя как хищник, чувствующий, что он в силах захватить власть, я прослыл бы злым; и я просто забавлял других, тех, кто издевается над простодушным смехом; кстати, он исчезает к двадцати годам, а в зрелые годы мы его чуть ли не стыдимся. В наши дни свет скучает, но тем не менее требует серьезности даже в самых пустых разговорах. Ужасные времена, когда все склоняются перед воспитанным, холодным, заурядным человеком,— все его презирают, но все ему повинуются! Позже я открыл причину этой вопиющей непоследовательности. Заурядность, сударь, удовлетворяет требованиям повседневной жизни, она — будничное одеяние общества; все, что не по плечу заурядным людям, представляется уже из ряда вон выходящим; дарование, самобытность — все это драгоценности, которые люди берегут и прячут, лишь иногда украшая себя ими. В Париже мне жилось одиноко, я не находил отрады в свете: он не дал мне ровно ничего, хотя я всем пожертвовал ему, сын не заполнял всецело мое сердце, ибо я был мужчиной; и вот в тот день, когда я почувствовал, что жизнь опостылела мне и что я сгибаюсь под бременем никому не ведомых мук, я встретил девушку, которая внушила мне любовь страстную, любовь, достойную уважения и открытого признания, любовь, сулившую столько счастья,— словом, истинную любовь! Я снова завязал знакомство со старинным другом отца, который так обо мне заботился прежде; у него-то я и встретился с этой девушкой и полюбил ее на всю жизнь. Сударь, чем старше делается человек, тем он яснее понимает, как велико влияние идей на события. Предрассудки, всеми уважаемые, порожденные высокими религиозными принципами, были причиной моего несчастья. Девушка принадлежала к семье до крайности набожных католиков, разделявших дух и воззрения секты, неправильно именуемой янсенист-

ской, которая когда-то вызвала смуты во Франции, знаете ли вы, почему?

— Нет, не знаю,— отвечал Женеста.

— Янсений, епископ города Ипра, написал книгу, в положениях которой были усмотрены противоречия с догматами папского престола. Позже стали считать, что в этой книге нет ничего еретического, а кое-кто отрицал даже существование самого учения. Незначительные разногласия раскололи галликанскую церковь надвое: на янсенистов и иезуитов. И к той и к другой стороне примкнули люди выдающегося ума. Между этими сильными сектами завязалась борьба. Янсенисты обвиняли иезуитов в том, что все они потакают распущенности, и старались соблюдать безупречную чистоту нравов и религиозных устоев; таким образом, янсенисты во Франции были, так сказать, пуританами от католицизма, насколько сочетание этих слов возможно. Во времена французской революции, после конкордата, в церкви произошел небольшой раскол и возникло братство истинных католиков, которые не признавали епископов, утвержденных революционной властью с согласия папы. Эта паства образовала так называемую «Малую церковь», и ее приверженцы стали проповедовать, как и янсенисты, строжайшую нравственность, что является как бы непреложным законом существования всех запрещенных или гонимых сект. Многие янсенистские семьи принадлежали к «Малой церкви». Родители девушки стали последователями двух этих учений, которые ратуют за высокую нравственность и налагают и на характер и на внешность человека отпечаток особого достоинства, ибо свойство этих суровых учений — возвеличивать самые простые поступки, связывая их с будущей жизнью; отсюда проистекает прекрасная и пленительная чистота души, уважение к другим и к самому себе, доходящее до щепетильности отношение к правде и неправде, беспредельное милосердие, а также суровая и, надо сказать, неумолимая справедливость и, наконец, глубокое отвращение к порокам, особенно ко лжи, первопричине всякого зла. Право, не помню, знавал ли я более восхитительные минуты, чем те, когда я, в гостях у своего старого друга, впервые любовался девушкой, поистине целомудренной, скромной, воспи-

танной в послушании, которую украшали все добродетели, свойственные этой секте, при этом в ней не было ни малейшего высокомерия. Несмотря на строгие ее манеры, каждое движение ее гибкой, легкой фигурки пленяло женственностью. У нее был благородный овал лица, тонкие черты, по которым легко распознать девушку знатного происхождения; взгляд был гордый, но в то же время кроткий, выражение лица очень спокойное; она сама не знала, как украшали ее пышные волосы, скромно заплетенные в косы. Словом, капитан, она казалась мне совершенством, как это всегда бывает, когда мы влюбляемся; чтобы полюбить, мы должны найти в женщине образец той красоты, который создан нами в мечтах и отвечает нашим вкусам. Когда я заговорил с ней, она ответила мне просто, без торопливости и без ложной стыдливости, не сознавая, как приятно слушать ее мелодичный голос, видеть ее личико. Чистых девушек роднят одни и те же приметы, по которым сразу распознаешь их ангельскую природу: нежный голос, кроткий взгляд, белоснежная кожа, что-то пленительное в движениях. Все в них чарует, все гармонически слито, но уловить, в чем же заключается очарование, немыслимо. Каждое их движение одухотворено. Я полюбил страстно. Любовь моя отвечала всем волновавшим меня стремлениям к славе, к богатству, всем моим мечтам. Красивая, богатая и хорошо воспитанная аристократка обладала теми преимуществами, каких свет требует от женщины, занимающей высокое положение в обществе, которого я жаждал добиться; она получила хорошее образование, была блестящей и остроумной собеседницей, а у нас, во Франции, женщины хоть и сыплют красивыми фразами, но они обычно пусты; ее же речи были полны мысли; во всем ею руководило чувство собственного достоинства, внушавшее почтение,— словом, о лучшей супруге нельзя было и мечтать. Я умолкаю! Трудно дать портрет любимой женщины; между нею и нами с первого же мгновения возникают тайны, ускользающие от анализа. Вскоре я признался в своем чувстве старому другу, и он ввел меня в ее семью; меня приняли из уважения к нему. Правда, сначала ко мне отнеслись с холодной вежливостью, свойственной цельным натурам, которые не сразу дарят свою дружбу, но зато умеют хранить ее до конца

дней; позже меня стали принимать радушно. Правда, я и заслужил такое отношение. Хотя я был пламенно влюблен, я старался держаться с ее родителями так, чтобы не уронить себя в собственных глазах, я не низкопоклонничал, не льстил тем, от кого зависела моя участь, был самим собою и прежде всего был человеком. Когда в семье меня узнали поближе, мой старый друг, мечтавший не меньше, чем я, чтобы скорее пришел конец моей унылой холостяцкой жизни, спросил родителей девушки, могу ли я надеяться, и получил благосклонный ответ; но разговор велся с теми недомолвками, от которых почти никогда не отрешаются светские люди, а старику хотелось, чтобы я *сделал выгодную партию* — выражение, превращающее это торжественное событие в торговую сделку, когда один из супругов старается обмануть другого. Мой друг промолчал о том, что он называл ошибкой молодости. Он считал, что существование незаконного ребенка покажется почтенному семейству настолько безнравственным, что все остальное, даже вопрос о моем состоянии, отступит на второй план и что это неизбежно вызовет разрыв. Он был прав. «Это недоразумение,— говорил он,— вы сами превосходно уладите со своей женой, она охотно даст вам отпущение грехов». Каких только доводов, внушенных житейской мудростью, он не приводил, чтобы заглушить мои сомнения! Признаюсь вам, сударь, что, невзирая на данное ему обещание, первым моим побуждением было чистосердечно рассказать все главе семейства, но строгая нравственность его заставила меня призадуматься, и я убоялся последствий; я трусливо вошел в сделку с совестью, я решил подождать, убедиться, что моя нареченная отвечает мне полной взаимностью, чтобы ужасное признание не погубило моего счастья. Итак, я намеревался открыть ей душу в подходящую минуту — и это решение послужило оправданием обычной светской уловки, к которой прибегнул предусмотрительный старик. Я был принят родителями девушки, без ведома друзей дома, как ее жених. Крайняя сдержанность — вот отличительная черта таких благочестивых семей; там обходят молчанием все, даже самые невинные вещи. Вы не поверите, сударь, какую глубину придает чувствам эта сдержанность, степенность в самых незначительных поступках.

Все там делалось с пользою: женщины на досуге шили белье для бедных, там нельзя было услышать легкомысленной болтовни, но смех отнюдь не был изгнан, шутки же отличались простосердечием и никого не уязвляли. Разговоры этих убежденных янсенистов сначала казались мне какими-то странными: не было в них той остроты, которую придают светской болтовне злословие и скабрезные историйки; газеты читались отцом и дядей моей невесты, она же и не заглядывала в газетные листки, ибо любые из них, пусть даже самые безобидные, повествуют о преступлениях и общественных пороках; но позже, привыкнув к атмосфере, исполненной чистоты, я всей душой наслаждался тем, что чарует нас в гамме мягких тонов: тихой и столь успокоительной умиротворенностью.

Жизнь этой семьи с виду казалась однообразной до ужаса. В убранстве комнат было что-то леденящее: ни разу не видел я, чтобы даже стул сдвигали с места, и нигде не было ни пылинки. И все же в такую жизнь втягиваешься. Я, человек, привыкший к смене удовольствий, к роскоши, к оживлению светских гостиных, мало-помалу преодолел скуку и познал преимущества такого существования: оно дает возможность мыслить последовательно, создает почву для созерцательности; при такой жизни владычествуют побуждения сердца, ничто не отвлекает его, и в конце концов видишь, что духовный мир становится необъятным, как море. В этой однообразной обстановке мысль, как в уединенной обители, отрешается от мирской суеты и уносится в бесконечный мир чувств. Для человека, искренне увлеченного, каким был тогда я, тишина, простой, почти монастырский уклад жизни с повторением одних и тех же занятий в одни и те же часы способствуют силе любви. Среди такого глубокого, невозмутимого покоя особенное значение приобретает каждое движение, слово, жест. Улыбкой, взглядом, бесхитростно выражающими чувства, сердце подает родному сердцу весть о своих радостях, о своих горестях. И я понял в те дни, что человеческому языку со всем его словесным великолепием не дано ни того богатства, ни той выразительности, какими обладают улыбка и взгляд. Сколько раз пытался я говорить глазами, движением губ, когда нельзя было признаться в своей великой люб-

ви кроткой девушке, которая сидела рядом со мною и еще не ведала, отчего я стал постоянным гостем в доме, ибо родители решили предоставить ей свободу выбора в важнейшем событии ее жизни. Но когда мы любим по-настоящему, одно присутствие избранницы умиротворяет самые бурные желания, а когда нам разрешено быть с нею, мы испытываем блаженство, подобно верующему, представшему перед всевышним. Видеть — значит тогда поклоняться. Если для меня было особенно мучительно, что мне нельзя открыть свою душу, если я и вынужден был таить пылкое признание, которым тщетно пытаешься выразить глубокие чувства, то благодаря этой сдержанности, наложившей оковы на мою страсть, любовь еще ярче проявлялась в мелочах и порою бесценными становились самые незначительные происшествия. Часами любуясь, смотреть на нее, ждать ответа и подолгу наслаждаться переливами ее голоса, стараясь проникнуть в ее самые сокровенные помыслы; следить, не дрожат ли ее пальцы, когда подаешь ей вещь, которую она искала; придумывать предлоги, чтобы прикоснуться к ее платью, к ее волосам, чтобы взять ее за руку, чтобы заставить ее выразить больше, нежели она хочет,— все эти пустяки стали для меня значительными событиями. Когда бываешь в таком восторженном состоянии, милый взгляд, движение, голос дарят душе непостижимые свидетельства любви. Только на таком языке изъяснялась любовь моя, только такой язык допускала холодная и целомудренная сдержанность девушки, ибо ее поведение не менялось: ко мне она относилась, как сестра; но чем сильнее разгоралась моя страсть, тем отчетливее я видел, как отличны мои речи от ее речей, мои взгляды от ее взглядов, и в конце концов я понял, что только робким молчанием такая девушка и может выразить свои чувства. Ведь, приходя к ним, я всегда заставал ее в гостиной. Ведь она сидела там все время, пока я был у них, она ждала моего посещения, предчувствовала его. Это молчаливое постоянство выдавало тайну ее невинной души. И, наконец, она внимала моим словам с радостью и не могла ее утаить. Наше застенчивое, робкое чувство, вероятно, было замечено родителями, они увидели, что я почти так же робок, как их дочь, и стали теперь относиться ко мне благосклонно, сочтя

меня человеком, достойным уважения. Они доверились моему старому другу, сказали обо мне много лестного и принимали меня, как родного сына; особенно их подкупала моя душевная чистота. И в самом деле, в те дни я будто вновь стал юным. В этой благочестивой и нравственной среде тридцатидвухлетний мужчина снова превратился в восторженного юношу. Лето миновало, дела задержали моих друзей долее обыкновенного в Париже; но вот в сентябре они собрались ехать в свое поместье, в Овернь, и глава семейства пригласил меня погостить месяца два у них в старинном замке, затерявшемся среди Кантальских гор. Я не сразу ответил на это радушное приглашение. И я был вознагражден: пока я колебался, на лице моей нареченной появилось самое пленительное, самое чарующее выражение, какое только может появиться помимо воли на лице скромной девушки, выдавая ее сердечные тайны. Эвелина... Боже! — воскликнул Бенаси и, задумавшись, умолк.

— Простите, капитан Блюто,— продолжал он после долгого молчания.— Впервые за двенадцать лет я произношу ее имя, хотя оно вечно витает в моих мыслях и его часто шепчет мне чей-то голос во сне. И вот Эвелина, раз я уж назвал ее имя, вскинула голову порывистым и быстрым движением, не похожим на ее обычные плавные жесты, посмотрела на меня не высокомерно, а с горестной тревогою, вспыхнула и потупилась. Потом она медленно подняла голову, и это доставило мне неизъяснимую, не изведанную еще радость. Я ответил запинаясь, прерывающимся голосом. Мое душевное волнение нашло в ней живой отклик, и ее глаза, полные слез, нежно поблагодарили меня. Этим было все сказано. Я поехал со всей семьей в поместье. С того дня, когда мы сердцем поняли друг друга, все вокруг нас словно обновилось: мы уже не были равнодушными зрителями. Истинная любовь всегда одинакова, но наша личность налагает на нее свой отпечаток, поэтому-то она и похожа и не похожа в каждом человеке, ищущем исход своим чувствам во всеобъемлющей страсти. Только философ и поэт могут до конца постичь это глубокое, но опошленное определение любви: эгоизм вдвоем. Мы любим себя в другом. Но если любовь и выражается так различно, что чете влюбленных не найти второй подобной с самого

сотворения мира, зато в излиянии чувств все следуют одному образцу. Девушки, даже самые благочестивые и чистые, твердят одни и те же слова и отличаются друг от друга лишь своеобразной прелестью духовного мира. Но если другим девушкам представлялось, что вполне естественно сделать невинное признание, то для Эвелины это было невольной уступкой смятенным чувствам, взявшим верх над привычным спокойствием ее юной набожной души; и каждый взгляд, брошенный украдкою, казалось ей, был насильственно вырван у нее любовью. Постоянная борьба между влечением сердца и внушенными ей правилами придавала ее жизни, бедной событиями и такой безмятежной с виду, но полной сильных чувств, глубину, недосягаемую для сумасбродных девиц, испорченных великосветскими нравами. В пути Эвелина восхваляла красоты природы. Когда нам нельзя говорить о том, какое блаженство мы испытываем вблизи любимого существа, то мы изливаем восторг, переполняющий наше сердце, на окружающие предметы, и наше затаенное чувство наделяет их несказанным очарованием. Поэтичные ландшафты, проплывавшие перед нашими глазами, служили Эвелине и мне посредниками: в свои слова мы вкладывали тайный смысл. Мать Эвелины с чисто женским лукавством то и дело приводила дочку в замешательство. «Двадцать раз ты проезжала по этой долине, милая моя девочка, и никогда не восхищалась ею!» — обронила она после какой-то чересчур восторженной фразы Эвелины.— «Очевидно, матушка, я была слишком мала и не понимала, как все это красиво». Простите, капитан, что я рассказываю о таких пустяках, для вас они не имеют никакого значения, мне же этот простодушный ответ принес непередаваемую радость, а еще бóльшую радость доставил ее взгляд, обращенный ко мне. То мы любовались деревушкой, озаренной восходящим солнцем, то развалинами, увитыми плющом, и вместе с картинами природы еще крепче запечатлевались в наших душах сладостные чувства, от которых зависело для нас все будущее. Мы приехали в их родовой замок, и я прогостил там месяц с лишним. Это была единственная пора моей жизни, сударь, когда небо ниспослало мне полное счастье. Я насладился радостями, неведомыми горожанам. Для четы влюбленных такое

блаженство жить под одной кровлей, как бы предвосхищая супружество, вместе бродить по полям, улучить минутку, чтобы посидеть вдвоем под деревом в тихом уголке уютной лощины, смотреть на ветхую мельницу, ловить слова признания; должно быть, и вам знакомы эти ласковые речи, которые с каждым днем все более сближают любящие сердца. Да, сударь, жизнь на приволье, красота природы так хорошо сочетаются с возвышенными восторгами души. Улыбаться друг другу, любуясь небесами, сливать безыскусные речи с пением птиц, сидя под деревьями, окропленными росою, возвращаться не спеша, прислушиваясь к звону колокола, чересчур рано зовущего домой, восхищаться прелестным видом, следить за прихотливыми движениями какого-нибудь жучка, рассматривать крошечную золотистую мушку на ладони любящей непорочной девушки — это значит с каждым днем все выше возноситься к небесам. Столько воспоминаний связано у меня с этими счастливыми днями, что они могли бы скрасить всю мою жизнь, воспоминаний разнообразных, особенно дорогих мне, потому что позднее меня уже никто не понимал. Сегодня несколько картин, казалось бы, таких обыденных, но для разбитого сердца полных горького смысла, напомнили мне ушедшую и незабвенную любовь. Не знаю, приметили ли вы, как ярко заходящее солнце осветило хижину маленького Жака? Последние лучи на миг озарили весь пейзаж, и сразу же он померк и потемнел. В двух этих картинах, столь не похожих друг на друга, как бы отразилась та пора моей жизни. Сударь, моя избранница подарила мне то первое и единственное, чудесное признание в любви, которое дозволено невинной девушке, и чем оно пугливее и мимолетнее, тем к большему обязывает: сладостный залог любви, воспоминание о райском блаженстве. Уверившись в ее любви, я дал себе клятву, что во всем признаюсь ей, ничего не утаю; мне было стыдно, что я медлил и до сих пор не рассказал ей о своих горестях, виновником которых был я сам. К несчастью, наутро после того дивного дня пришло письмо от наставника сына и наполнило меня тревогой за жизнь моего мальчика. Я уехал, так и не открыв своей тайны Эвелине, а прощаясь с ее родителями, сослался на неотложное дело. Без меня они заби-

ли тревогу. У них явилось опасение, нет ли у меня любовной связи, и они написали в Париж, чтобы навести справки. Тут они изменили своим религиозным устоям: заподозрив меня, даже не дали мне возможности рассеять их сомнения; некий друг сообщил им, потихоньку от меня, о том, как я провел молодость, во зло мне истолковал все мои поступки, заявил, что у меня есть сын, о существовании которого я умолчал намеренно. Я написал своим будущим родственникам, но ответа не получил; они вернулись в Париж, я отправился к ним, но меня не приняли. Меня охватил страх, я попросил старого своего друга выведать у них, отчего они так изменились ко мне, ибо никак не мог понять, что же случилось. Узнав о причине, старик поступил благородно и самоотверженно: он взял на себя вину за мое преступное молчание, попытался оправдать меня, но ничего не добился. Все в семье Эвелины зиждилось на материальном расчете и правилах нравственности, ее родители так закоснели в предрассудках, что ни за какие блага не изменили бы своего решения. Мое отчаяние было безгранично. Я попытался было отвратить грозу, но письма возвращались ко мне нераспечатанными. Когда я сделал все возможное, когда отец и мать Эвелины сказали старику, навлекшему на меня такое горе, что они никогда не выдадут дочь замуж за человека, виновного в смерти своей возлюбленной, за отца незаконнорожденного ребенка, даже если бы Эвелина умоляла их на коленях, у меня осталась последняя надежда, за которую я ухватился, как утопающий за соломинку. Я вообразил, что любовь Эвелины будет сильнее родительского запрета и победит непреклонную волю родителей; может быть, отец умолчал о причине, которая вызвала его отказ и убила нашу любовь; я хотел, чтобы Эвелина узнала обо всем и сама решила мою участь. Я написал ей. В слезах и тоске, терзаясь мучительными сомнениями, писал я это единственное любовное послание в своей жизни. Все было напрасно. Смутно помню сейчас слова, подсказанные мне отчаянием; разумеется, я говорил Эвелине, что ежели она была искренна и правдива, то не может, не должна любить никого, кроме меня: жизнь ее неизбежно будет неудачной, ибо ей придется лгать и своему будущему супругу и мне. Я говорил, что она поступится женскими

добродетелями, отказав возлюбленному, отвергнутому ее семьей, в той беззаветной преданности, которую питала бы к нему, если бы союз, уже заключенный в наших сердцах, был освящен законом. Ведь для женщины обеты сердца всегда важней цепей закона. Оправдываясь в своей вине, я взывал к ее непорочной чистоте, не упустив ничего, чем можно было тронуть ее благородное и великодушное сердце. И раз уж я во всем открылся вам, то сейчас я принесу ее ответ и мое последнее письмо,— сказал Бенаси и вышел, направляясь в свою комнату.

Он вернулся очень быстро с потертым бумажником, из которого, волнуясь, дрожащей рукой вынул беспорядочно связанную пачку писем.

— Вот роковое письмо,— промолвил он.— Девушка, набросавшая эти строки, не знала, чем станут для меня листки, на которых запечатлены ее мысли... А вот последний стон моей исстрадавшейся души,— продолжал он, указывая на другое письмо,— о нем вы будете судить сами. Старый друг отнес мое письмо, полное мольбы, тайком передал его, униженно, невзирая на свои седины, просил Эвелину прочесть, ответить, и вот что она написала мне: «Сударь...» Прежде она называла меня своим *милым,* выражая этим целомудренным словом свою целомудренную любовь, теперь же она именовала меня *сударь*. Значит, все было кончено. Но слушайте:

«Горько узнать девушке, что человек, которому она надеялась вверить свою жизнь, двуличен; и все же мой долг — простить вас, ведь мы так слабы духом! Ваше письмо меня тронуло, но больше не пишите: даже почерк ваш вызывает во мне невыносимое душевное смятение. Мы разлучены навеки. Объяснения, которые вы мне дали, смягчили меня, заглушили нехорошее чувство, поднявшееся в моей душе против вас, мне так хотелось поверить в вашу чистоту! Но ни вам, ни мне не переубедить моего отца! Да, сударь, я осмелилась встать на вашу защиту. Я молила родителей, превозмогая страх, подобного которому мне еще не доводилось испытывать, я отступила от всех своих жизненных правил. Сейчас я снова сдаюсь на ваши просьбы и совершаю преступление, отвечая вам без ведома отца; но матушка знает об этом; снисходительность ее, позволившая мне еще раз поговорить с

вами, доказала мне, как она любит меня, и укрепила во мне покорность родительской воле, от которой я чуть было не отрешилась. Итак, сударь, я пишу вам в первый и последний раз. От чистого сердца прощаю вам все то горе, которое вы мне причинили. Да, вы правы — первая любовь не умирает. Я уже не прежняя, безгрешная девушка, не могу я быть и добродетельной супругой. Не знаю, какая участь ждет меня. Как видите, сударь, год, наполненный мыслями о вас, набросит тень на мое будущее; но я не обвиняю вас... Вы говорите, что всегда будете любить меня! К чему эти слова? Разве они принесут умиротворение взволнованной душе бедной, одинокой девушки? Ведь вы омрачили всю мою жизнь хотя бы тем, что я всегда буду вспоминать вас. Если мне суждено стать Христовой невестой, не знаю, примет ли господь мое истерзанное сердце. Но ведь он не напрасно ниспослал мне печаль, у него свои предначертания, он, конечно, хотел призвать меня к себе,— ныне он мое единственное прибежище. Сударь, этот мир пуст для меня. Вы можете забыться в честолюбивых стремлениях, свойственных мужчинам. Я не упрекаю вас, вам это будет утешением; женщины обычно находят его в вере. Мы оба несем сейчас мучительное бремя, но моя ноша тяжелее. Тот, на кого я уповаю и к кому, разумеется, нельзя меня ревновать, связал наши жизни, он и развяжет их по своему усмотрению. Я замечала, что ваши религиозные убеждения не зиждутся на той живой и чистой вере, которая помогает нам переносить невзгоды в земной юдоли. Сударь, ежели господь услышит мою горячую молитву, он выведет вас на стезю истины. Я посылаю последнее прости человеку, который должен был вести меня по жизненному пути, кого я называла своим *милым*, не совершая этим греха, и за кого и сейчас еще я могу молиться без стыда. Господь волен в жизни и смерти, быть может, он призовет вас к себе раньше меня, так вот, если я останусь в этом мире без вас, то поручите мне вашего мальчика».

Эти строки, полные великодушных чувств, убили во мне все надежды,— продолжал Бенаси.— Сначала я прислушивался лишь к своему горю; только позже я понял, что милая девушка, забывая о себе, еще пыталась пролить целительный бальзам на раны моей души; но

тут в порыве отчаяния я написал ей довольно резкое письмо:

«Сударыня, прочтя это слово, вы поймете, что я готов отказаться от вас, покориться вашей воле. Мучительную усладу доставляет мужчине покорность любимой женщине, даже если она велит ему оставить ее. Вы правы — я сам выношу себе приговор. Некогда я отверг любовь бедной девушки, теперь да будет отвергнута моя страстная любовь. Но не думал я, что моя избранница, которую я полюбил всей душой, возьмет на себя роль мстительницы. Никогда не подозревал я, что столько жестокости, или, если угодно, суровой добродетели, таится в вашем сердце,— оно казалось мне таким нежным и любящим. Сейчас я увидел, как необъятна моя любовь, ибо она не погибла от самого страшного испытания — от вашего презрения, которое побудило вас без жалости разорвать узы, соединявшие нас. Прощайте навеки. В смиренной гордости раскаяния я буду искать пути, чтобы искупить грех, к которому вы, моя заступница перед небом, оказались безжалостны. Быть может, бог будет не так жесток. Я страдаю, страдаю, думаю о вас, и да будет это карою для моего израненного сердца, оно никогда не перестанет кровоточить в одиночестве, ибо сердцам разбитым — мрак и тишина. Я больше никого не полюблю, ничей образ не запечатлеется в моей душе. Я не женщина, но, как и вы, понял, что, сказав — люблю тебя! — я взял на себя обязательство на всю жизнь. Да, слова эти, которые я шепнул на ухо моей избраннице, не были ложью; если бы я изменился, вы были бы вправе презирать меня; итак, вы навеки будете кумиром моей одинокой жизни. Раскаяние и любовь — вот две добродетели, которые должны быть источниками всех остальных; и, невзирая на пропасть, разделяющую нас, вы всегда будете вдохновительницей всех моих добрых поступков. Вы наполнили сердце мое горечью, но в моих помыслах о вас горечи никогда не будет. Нельзя вступать на новый путь, не очистив душу от дурного осадка, правда ведь? Я шлю последнее прости единственному в этом мире сердцу, которое мне дорого и откуда я изгнан. Никогда еще в последнем прости не заключалось столько чувства, столько любви, оно уносит с собою мою душу, мою жизнь, и никому больше не воскресить их... Прощай-

те! Вам в удел — умиротворение, а мне — одни страдания».

Когда оба письма были прочитаны, Женеста и Бенаси молча посмотрели друг на друга, полные грустных размышлений, которыми они не стали делиться друг с другом.

— Я отправил письмо, сохранив черновик, и ныне он олицетворяет для меня все мое утраченное счастье. Меня охватила смертная тоска,— продолжал Бенаси,— все то, что в нашем мире привязывает человека к жизни, воплотилось в чистой надежде на счастье, и она была утеряна мною навеки. Пришлось проститься с радостями супружеской любви, обречь на умирание благородные мечты, расцветавшие в моем сердце. Обеты раскаявшейся души, которая так стремилась к красоте, добру и чистой жизни, были отвергнуты людьми глубоко религиозными. Сударь, мне на ум приходили самые невероятные решения, но, по счастью, любовь к сыну поборола все. Я почувствовал, как растет моя привязанность к нему, окрепнув во всех бедах, невольной причиной которых он был, но винить в них мне надобно было лишь самого себя. И вот сын стал моим единственным утешением. Мне было тридцать четыре года, я еще мог надеяться, что принесу пользу своей стране, я решил прославиться, чтобы почести, оказываемые мне, или влияние, завоеванное мною, загладили ошибку, наложившую пятно на жизнь моего сына. Какими прекрасными побуждениями я обязан ему: ведь я жил только в те дни, когда думал о его будущем. Как мне тяжело! — воскликнул Бенаси.— Прошло одиннадцать лет, а я не могу вспомнить о том злосчастном годе... Сударь, я потерял сына.

Бенаси умолк, закрыл лицо руками и, только немного успокоившись, опустил их. Женеста с волнением увидел, что в глазах врача стоят слезы.

— Горе сразило меня,— продолжал Бенаси.— Я начал мыслить разумно и здраво лишь после того, как ушел от мирской суеты совсем в иную жизнь. Только тогда я увидел, что все беды ниспосланы мне всевышним, и научился смиряться, внимая его голосу. Смирению я научился не сразу, мой пылкий нрав дал себя знать; последние вспышки внутреннего огня померкли в последней грозе, я принимал много неверных решений, прежде

чем остановился на единственном, подобающем католику. Я хотел покончить с собой. Я впал в такое безысходное уныние, что хладнокровно решился на этот страшный шаг, вообразив, будто бы нам дозволено покинуть жизнь, если жизнь покидает нас. Мне представлялось, что сама природа допускает самоубийство. Горе так же разрушает душу, как разрушает тело нестерпимая боль: следовательно, думал я, ежели человека измучила душевная боль, то он вправе будет покончить с собою на том же основании, на каком овца больная *вертячкой*, разбивает себе голову, налетев на дерево. Разве утолить боль душевную легче, нежели боль телесную? Я и сейчас сомневаюсь в этом. Не знаю, кто слабее духом: тот ли, кто вечно надеется, или тот, кто не надеется более? Я считал, что самоубийство — это последняя стадия духовного недуга, как естественная смерть — это завершение недуга телесного; но жизнь духовная подчиняется особым законам человеческой воли, и чтобы пресечь свою жизнь, нужно согласие разума: значит, убивает мысль, а не пистолет. Кроме того, не является ли сам случай, по милости которого нас постигло горе в тот миг, когда мы вкушали полное счастье, оправданием человеку, отказывающемуся влачить жалкое существование? Я много размышлял, сударь, в те скорбные дни и в конце концов дошел до более высоких умозаключений. Некоторое время я разделял учения языческой древности; я искал в них новых прав для человека, но, следуя нынешним светочам знания, проникнул глубже, чем мужи древности, в вопросы, некогда сведенные в целые системы. Эпикур считал самоубийство дозволенным. Это — естественное завершение его философии. Он считал, что жить без чувственных наслаждений невозможно, а если путь к ним закрыт, лучше всего да и вполне позволительно одушевленному существу вновь слиться с неодушевленной природой и обрести покой,— ведь единственная цель человека — счастье и упование на счастье, поэтому для того, кто страдает, и страдает безнадежно, смерть становится благом; добровольно кончить дни свои —вот что только и остается сделать здравомыслящему человеку. Эпикур не восхвалял, но и не порицал этого действия; он ограничивался тем, что говорил, совершая возлияние Бахусу: «Все умрем, и нечего тут смеяться, нечего

и слезы лить». Зенон и его последователи, проповедовавшие более высокую мораль, более строгое отношение к долгу, чем эпикурейцы, в иных случаях предписывали стоику самоубийство. Зенон рассуждал так: человек отличается от животного тем, что по собственному усмотрению распоряжается собой; отнимите у него право располагать своею жизнью и смертью, и вы сделаете его рабом людей и событий. Право располагать своею жизнью и смертью позволяет нам противостоять всем бедам, на которые мы обречены и природою и обществом; но право располагать жизнью и смертью других людей порождает тиранию. Человек могуществен, лишь когда он обладает неограниченной свободой действий. Как избежать последствий непоправимой ошибки? Заурядный человек до дна выпьет чашу позора и будет жить, а мудрец выпьет цикуту и умрет; нужно ли отвоевывать считанные дни жизни у подагры, гложущей кости, и у волчанки, разъедающей лицо? Мудрец, улучив удобную минуту, прогонит обманщиков-лекарей и скажет последнее прости друзьям, на которых наводил тоску своими страданиями. А что предпринять, ежели попадешь во власть тирана, против которого сражался с оружием в руках? Или распишись в своем повиновении, или клади голову на плаху: глупец кладет голову на плаху, трус расписывается, а мудрец и напоследок утверждает свою свободу — он кончает с собою. «Свободные люди,— возглашал некогда стоик,— умейте быть свободными: свободными от страстей, жертвуя ими ради долга; свободными от людей, становясь недосягаемыми для них с помощью кинжала или яда; свободными от власти судьбы, ставя вехи за которыми ей уже не догнать вас; свободными от предрассудков, не смешивая их с обязательствами; свободными от животного страха, превозмогая грубый инстинкт, который приковывает к жизни стольких неудачников». Когда я извлек эти доводы из философского хлама древности, то вознамерился перенести их на другую почву — христианскую, подкрепив догматом свободы воли, которую даровал нам господь, дабы судить нас когда-нибудь своим судом. И я твердил: «Тогда-то я и буду защищаться». Но, сударь, эти рассуждения навели меня на мысль о том, что ждет нас после смерти, и я столкнулся со своими прежними, пошатнув-

шимися верованиями. Все приобретает важность в человеческой жизни, когда мысль о вечности тяготеет над самыми нашими незначительными решениями. Эта мысль властно воздействует на душу человека, и когда он под ее влиянием начинает чувствовать в себе нечто необъятное, связующее его с бесконечностью, все кругом меняется необыкновенно. Если смотришь на жизнь с такой точки зрения, то видишь ее во всем величии и во всем ничтожестве. Я хоть и сознавал свои прегрешения, но не помышлял о небесах, покуда у меня были надежды на земле, покуда я рассеивал в житейских делах свое горе. Любить, посвятить себя счастью женщины, стать главою семьи, разве все это не было бы искуплением проступка, не дававшего мне покоя? Попытка не удалась, но разве не было бы также искуплением посвятить всю свою жизнь ребенку? Дважды я тщетно старался утолить эту потребность души, и теперь, когда презрение человеческое и смерть обрекли мою душу на вечную скорбь, когда все мои чувства были попраны и когда я уже ничего не ждал от жизни, тогда-то я обратился к небу и вновь обрел бога. Однако я попытался сделать религию соучастницей моей смерти. И вот я перечел Евангелие и не нашел ни одного текста, запрещавшего самоубийство; но, читая, я вник в божественное слово спасителя. Правда, он не говорит о бессмертии души, зато повествует о прекрасном царстве своего отца; он ведь не запрещает нам и отцеубийство, но клеймит всякое зло. Слава его апостолов и доказательство того, что они посланы свыше, не столько в создании законов, сколько в распространении на земле духа новых законов. И тут мне представилось, что мужество, которое якобы проявляет человек, кончая с собою, является самоосуждением; ибо раз у него хватит силы воли умереть, значит, у него должно хватить силы воли, чтобы жить и бороться; когда бежишь от страдания — выказываешь не силу, а слабость; к тому же расстаться с жизнью из малодушия — значит отречься от христианской веры, в основу которой Христос положил возвышенные слова: «Блаженны страждущие». Итак, я уже не оправдывал самоубийство даже при полном крушении всего, даже если человек, из ложного представления о величии души, кончает с собою в тот миг, когда палач заносит над ним топор. Иисус Христос по-

шел на крестную муку и тем самым учил нас повиноваться законам, хотя бы люди и применяли их несправедливо. Слово *самоотречение*, высеченное на кресте и доступное пониманию тех, кто вникает в священные письмена, предстало передо мною во всем своем божественном значении. У меня еще сохранилось восемьдесят тысяч франков, и я решил было удалиться от людей и остаток дней своих провести в сельской глуши; но презрение к обществу себе подобных и своего рода тщеславие под оболочкой суровой нелюдимости не принадлежат к добродетелям, которые проповедует католическая религия. Сердце человеконенавистника не страждет, а черствеет, мое же сердце обливалось кровью. Размышляя о церкви, о ее помощи всем скорбящим, я понял, как прекрасна молитва в одиночестве, и твердо задумал тогда *послужить господу богу*, как говорили в старину наши предки. Мое решение было бесповоротно, но я оставил за собою право сперва изучить средства, какими мне надлежит достичь цели. Я распродал все, что у меня осталось, и уехал, почти успокоившись душою. «Мир во господе» стал единственною моею надеждой, которая не могла обмануть. Душу мою пленил устав ордена святого Бруно, я пешком отправился в Гранд-Шартрез, полный глубокого раздумья. То был памятный день. Я даже не ожидал, что такое сильное и глубокое впечатление произведет на меня этот путь, где на каждом шагу видишь природу в ее непостижимом могуществе. Вокруг — нависающие скалы, пропасти, потоки, наполняющие тишину глухим рокотом, безлюдная земля, пределом которой служат высокие горы и которой все же нет предела, убежище, куда человека приводит последнее оставшееся чувство бесплодного любопытства; хаос первозданния, сглаженный чарующими пейзажами, вековые ели и цветы-однодневки — все это склоняет к сосредоточенности. Нельзя с веселым смехом пройти по пустыне святого Бруно, ибо там царит тоска. Я посетил монастырь Гранд-Шартрез, бродил под безмолвными древними сводами, слушал, как под аркадами, сбегая капля за каплей, звенит источник. Я вошел в келью, чтобы постичь все свое ничтожество; на меня повеяло суровым покоем, и я с умилением прочел надпись, начертанную на двери по обычаю, заведенному в обители; тремя латинскими

словами были изложены в ней заповеди той жизни, к которой я так стремился: «Fuge, late, tace...» [1].

Женеста кивнул с понимающим видом.

— И я решился,— продолжал Бенаси.— Стены кельи, обшитые еловыми досками, жесткое ложе, уединение— все отвечало моему душевному состоянию. Монахи были в часовне, я пошел помолиться вместе с ними. И тут я сразу изменил решение... Сударь, я не собираюсь осуждать католическую церковь, я строго придерживаюсь ее обрядов, верую в ее заповеди, но, слушая, как неведомые миру и умершие для мира старцы поют молитвы, я понял, что в основе монастырского уединения заложен своего рода возвышенный эгоизм. Такое уединение идет на благо лишь тому, кто удалился от мира, это не что иное, как медленное самоубийство, и я не порицаю его, сударь. Раз церковь учредила эти склепы, значит, они необходимы каким-то христианам, бесполезным для общества. Я же предпочел жить так, чтобы раскаяние мое принесло обществу пользу. На обратном пути я долго думал, как же мне осуществить мои планы полного самоотречения. Мысленно я уже вел жизнь простого матроса, обрекал себя служению отечеству на самых нижних ступенях, отрекался от всяких умственных запросов, но затем мне стало казаться, что такая жизнь, хоть и полная труда и самопожертвования, все же недостаточно полезна. На этом поприще я бы никак не оправдал господних предначертаний. Ведь если бог наделил меня неплохими умственными способностями, значит, мой долг — употребить их на благо человечества. И откровенно говоря, я чувствовал такую потребность духовного общения с людьми, что меня тяготили бы обязанности, которые выполняешь не размышляя. А кроме того, если бы я стал матросом, мне негде было бы проявлять милосердие, которое свойственно моему духовному складу,— так всякому цветку присущ свой неповторимый аромат. Я уже рассказывал вам, что мне пришлось здесь переночевать. И в ту ночь я воспринял, как божие веление, глубокую жалость, внушенную мне бедственным положением этого края. Вкусив однажды мучительную радость отцовства, я теперь готов был предаться ей всецело, утолить

---

[1] Беги, скрывайся, молчи *(лат.)*.

это чувство в заботах, куда более обширных, нежели отцовские, стать братом милосердия всему краю и неустанно врачевать язвы бедняков. Я подумал, что перст божий указал мне верный путь еще тогда, в юности, когда первым моим серьезным побуждением было стать врачом, и я решил именно здесь применить свои познания. Да и к тому же я ведь написал в своем послании: *Сердцам разбитым — мрак и тишина;* надо было воплотить в жизнь то, на что я обрек себя сам. Я вступил на путь молчания и самоотречения. «Fuge, late, tace» картезианцев стало моим девизом, труд мой — действенной молитвой, нравственное мое самоубийство — жизнью этого кантона, простирая руку над которым, я сею счастье и радость, даю то, чего лишен сам. Я привык жить с крестьянами, вдали от света, и действительно переродился. Лицо мое изменило выражение, оно огрубело от солнца, покрылось морщинами. И ходить я стал, как крестьяне, и говорить, как они, и одеваться небрежно и не по моде, отбросил всякие ухищрения. Светские щеголихи, угодником которых я был, и мои парижские приятели не узнали бы во мне человека, одно время блиставшего в свете, сибарита, привыкшего к утонченной роскоши, к изысканности парижских гостиных. Ныне все внешнее мне безразлично, как всякому, у кого в жизни лишь одна цель. Ведь я думаю только об одном — о том, чтобы расстаться с жизнью; я не стремлюсь ни предотвратить, ни ускорить конец, но без малейшего сожаления уйду из жизни в тот день, когда мною овладеет смертельный недуг. Я чистосердечно рассказал вам обо всем, что довелось мне испытать до того, как я поселился здесь. Я не утаил своих грехов — больших грехов, однако они присущи и другим. Страдал я много, страдаю ежечасно, но в своих страданиях я вижу залог счастливого будущего. Я покорился судьбе, но есть у меня горе, против которого я бессилен. Сегодня я на ваших глазах чуть было не дал воли затаенному страданию, только вы этого не заметили.

Женеста подскочил.

— Да, капитан Блюто, это было при вас. Вы же сами указали мне на постель тетушки Кола, когда мы уложили Жака. Стоит мне увидеть детей, и мне всегда вспоминается ангел, которого я утратил; судите же сами,

как мне было тяжело укладывать в кровать ребенка, приговоренного к смерти. Я не могу равнодушно смотреть на детей.

Женеста побледнел.

— Да, милые белокурые головки, невинные детские личики всегда напоминают мне о моих несчастьях и пробуждают мое горе. Я с ужасом думаю, что столько людей благодарят меня за крохи добра, сделанного мною здесь, а ведь добро это — плод угрызений совести. Лишь вы один, капитан, знаете тайну моей жизни. Если б я черпал мужество в чувстве менее горьком, нежели сознание своих прегрешений, то был бы вполне счастлив! Но тогда мне не о чем было бы вам рассказывать.

ГЛАВА V

ЭЛЕГИЯ

Бенаси закончил свое повествование и поразился, заметив, каким скорбным стало лицо офицера. Он был тронут отзывчивостью гостя, даже попенял на себя, что огорчил его, и сказал:

— Право же, мое горе, капитан Блюто...

— Не называйте меня капитаном Блюто! — прервал его Женеста, вскакивая и этим порывистым движением явно выказывая недовольство собою.— Никакого капитана Блюто нет, а я просто негодяй!

Бенаси с живейшим удивлением взглянул на Женеста, который метался по гостиной, как мечется шмель, когда старается выбраться из комнаты, куда залетел нечаянно.

— Так кто же вы, сударь? — спросил Бенаси.

— В том-то и дело! — отвечал офицер, снова усевшись против врача, но не решаясь посмотреть на него.— Я вас обманул,— продолжал он взволнованным голосом.— Солгал первый раз в жизни и жестоко наказан, потому что теперь язык у меня не повернется объяснить вам, зачем я приехал, зачем занялся гнусным шпионством. После того как я, можно сказать, заглянул вам в душу, мне легче получить пощечину, нежели слышать, что вы называете меня капитаном Блюто. Вы-то, конечно, простите мне эту ложь, но я себе никогда ее не

прощу, ибо я, Пьер-Жозеф Женеста, ради спасения собственной жизни не сказал бы неправды и перед военным судом.

— Вы — майор Женеста? — воскликнул Бенаси, вставая. Он взял руку офицера и, от всего сердца пожав ее, продолжал:— Сударь, вы сейчас сами сказали, что мы были друзьями, еще не познакомившись. Мне очень хотелось встретиться с вами, ведь мне про вас много рассказывал господин Гравье. Он вас называл героем Плутарха.

— Куда мне до Плутарха! — отвечал Женеста.— Я вас не достоин и готов поколотить себя. Я должен был напрямик выложить вам свою тайну. Впрочем, я хорошо сделал, что надел личину и приехал сам собрать сведения о вас. Теперь-то я хоть знаю, что должен молчать. Вам было бы тяжело, когда б я действовал открыто. Боже меня избави хоть чем-нибудь огорчить вас!

— Помилуйте, майор, я ничего не понимаю!

— Продолжать не стоит. Я ничем не болен, я превосходно провел день и завтра уеду. В Гренобле у вас теперь будет одним другом больше, и другом надежным. Кошелек, сабля, кровь Пьера-Жозефа Женеста к вашим услугам. Вообще же слова ваши упали на хорошую почву. Вот выйду на пенсию, отправлюсь куда-нибудь в захолустье, стану мэром и постараюсь подражать вам. У меня нет ваших знаний, но я буду учиться.

— Вы правы, сударь, землевладелец, взявшийся за исправление какого-нибудь изъяна в хозяйстве общины, пусть самого незначительного, приносит краю не меньше добра, чем наилучший врач; один исцеляет недуги людей, другой врачует раны отечества. Однако ваши слова живо затронули мое любопытство. Скажите, не могу ли я быть вам полезен?

— Полезен? — взволнованно повторил офицер.— Боже мой, дорогой господин Бенаси, я не смею и заикнуться о той услуге, о которой приехал просить вас. Послушайте, немало я на своем веку поубивал христиан; но можно убивать людей в сражении, а сердце иметь доброе; хоть с виду я и грубоват, но кое-что еще способен понять.

— Да говорите же.

— Не скажу, не хочу заведомо огорчать вас.

— Я умею переносить страдания, майор.

— Дело идет о жизни ребенка,— сказал офицер дрогнувшим голосом.

Бенаси нахмурился, но движением руки попросил Женеста продолжать.

— О жизни ребенка,— повторил Женеста,— которого, надеюсь, еще мог бы спасти тщательный и постоянный уход. Где же найти врача, готового безраздельно посвятить себя одному-единственному больному? В городе наверняка не найдешь. Мне все говорили, какой вы замечательный человек, но я очень боялся, что это обман, незаслуженная репутация. И вот прежде чем доверить мальчугана этому самому господину Бенаси, о котором мне рассказывали столько хорошего, я решил его узнать. Теперь...

— Довольно,— сказал доктор,— это ваш сын?

— Нет, нет, дорогой господин Бенаси. Придется рассказать вам одну историйку, где я играю не очень-то привлекательную роль, тогда вы все поймете. Вы ведь доверили мне свои тайны, значит, я могу вам выложить свои.

— Погодите, майор,— сказал доктор и позвал Жакоту; она явилась тотчас же, и Бенаси попросил ее принести чаю.— Видите ли, по ночам все люди спят, а у меня бессонница... Горе гнетет меня, и я, чтобы забыться, пью чай. Этот напиток дурманит, притупляет нервы и навевает сон, который дает мне силы жить. А вы не хотите чаю?

— Предпочитаю ваше монастырское вино,— ответил Женеста.

— Вино так вино. Жакота,— сказал Бенаси служанке,—принесите вина и бисквитов. Подкрепимся на ночь,— заметил доктор, обращаясь к гостю.

— Чай, должно быть, вам вреден,— заметил Женеста.

— Он вызывает у меня мучительные приступы подагры, но я не хочу отказываться от этой привычки. Как бывает приятно, когда по вечерам жизнь хоть на мгновение перестает быть мне в тягость. Итак, я слушаю вас. Быть может, ваш рассказ успокоит душевную боль, которую вызвали у меня воспоминания.

— Так вот, дорогой мой доктор,— сказал Женеста, ставя на камин пустой стакан,— после отступления от

Москвы мой полк остановился на отдых в одном польском городке. На вес золота закупили мы лошадей и расположились, ожидая возвращения императора. Все шло хорошо. Надо вам сказать, что в ту пору был у меня друг. Когда мы отступали, меня не раз спасал от смерти унтер-офицер по фамилии Ренар, сделавший для меня столько, что мы побратались, конечно, не нарушая воинской дисциплины. Мы поселились под одной крышей, в бревенчатой избе, в настоящей крысиной норе, где ютилось целое семейство; вы бы туда свою лошадь не поставили. Халупа принадлежала еврейской семье, торговавшей всякой всячиной, и старик отец, несмотря на стужу, хорошо нагрел руки, поживившись при нашем отступлении. Есть такие люди — живут в грязи, а умирают в золоте. Под домом, в подвале, они понаделали деревянных клетушек, куда затолкали своих детей, в том числе красавицу дочь,— такие красавицы только и бывают среди евреек, когда они опрятные и не рыжеволосые. Ей было лет семнадцать, кожа у нее была матовой белизны, глаза бархатные, ресницы черные, длинные, а по густым блестящим волосам так и хотелось провести рукой. Словом, красавица, да и только! Я первый обнаружил эти запрятанные сокровища как-то вечером, когда преспокойно разгуливал по улице, покуривая трубку, а все думали, что я уже сплю. Картинка была презабавная: ребятишки возились, как щенята. Родители ужинали вместе с детьми. Я вгляделся и сквозь табачный дым, который клубами выпускал из трубки отец семейства, рассмотрел молоденькую еврейку, блиставшую красотою, как новенькая золотая монета в груде медяков. Дорогой господин Бенаси, всю жизнь мне было некогда думать о любви... А тут стоило мне увидеть эту девушку, и я понял, что до сих пор я лишь подчинялся зову природы. На этот раз я полюбил — умом, сердцем, всем существом своим. По уши влюбился, и как влюбился! Долго стоял я, курил трубку и все смотрел на еврейку, покуда она не задула свечу и не легла спать. А я не мог сомкнуть глаз. Всю ночь напролет я набивал трубку, курил, слонялся по улице. Ничего подобного со мной еще не случалось. Впервые за всю жизнь я подумал о женитьбе. Утром я оседлал лошадь и битых два часа скакал по полям, чтобы прийти в себя; чуть не загнал коня.

Женеста умолк, тревожно взглянул на своего нового друга, потом сказал:

— Простите меня, Бенаси, я не мастер рассказывать, что на ум придет, то и говорю; в гостиной я бы постеснялся, но с вами, да еще в деревне...

— Продолжайте,— сказал врач.

— Когда я вернулся, то застал Ренара в смятении. Он думал, что меня убили на поединке, и чистил пистолеты, решив затеять ссору с тем, кто меня отправил в царство теней... Видали вы плута! Я поведал ему о своей любви и показал закуток с хозяйскими детьми. Ренар понимал их тарабарщину, я попросил его помочь мне, передать о моих намерениях отцу и матери и постараться устроить мне встречу с Юдифью. Звали ее Юдифь. Сударь, две недели не было на свете человека счастливее меня: всякий вечер старик еврей с женою приглашали меня отужинать в обществе Юдифи. Вам знакомы все эти штуки; чтобы не наскучить вам, не стану о них рассказывать; однако ежели вы не знаете вкуса в табаке, то и не поймете, как приятно порядочному человек сидеть, не сводя глаз со своей красавицы, и не спеша покуривать трубку, вместе со своим закадычным другом и ее папашей. Одно удовольствие! Надо вам сказать, что Ренар был парижанин, балованный малый. Его отец, оптовый торговец бакалейными товарами, дал ему образование, готовя в нотариусы. Кое-чему он успел научиться, да его взяли по рекрутскому набору, и ему пришлось расстаться с конторой. Его фигура была создана для мундира, он был хорош собою и умел обольщать. Его-то и любила Юдифь, а я был ей нужен, как прошлогодний снег. Пока я млел от восторга и витал в облаках, глядя на Юдифь, мой Ренар, который недаром так звался [1], шел к цели окольными путями: изменщик сговорился с девушкой, и они обвенчались по местному закону, потому что разрешения пришлось бы ждать слишком долго. Он обещал, что женится на ней потом и по французским законам, если бы брак вдруг не признали. На самом же деле во Франции госпожа Ренар снова превратилась бы в мадемуазель Юдифь. Узнай я в ту пору об этом, так бы и убил Ренара наповал, но

---

[1] Ренар — по-французски лисица.

девушка, ее родители и мой приятель отлично столковались между собою. Пока я покуривал трубку да боготворил Юдифь, как святая святых, Ренар сговаривался о свиданиях и наилучшим образом обделывал свои делишки. Никому, кроме вас, я не рассказывал об этой истории, уж очень много в ней подлого; не могу взять в толк, как это мужчина, который умер бы со стыда, если б стащил золотую монету, без зазрения совести крадет у друга любимую женщину, все его счастье, жизнь. Словом, обманщики поженились и блаженствовали, а я все проводил с ними вечера, ужинал, словно болван, восхищался Юдифью и, как тенор, отвечал сладкими улыбками на ее заигрывания, когда она старалась отвести мне глаза. Дорогой ценой заплатили они за свой обман! Клянусь честью, господь бог разбирается в мирских делах гораздо лучше, чем мы думаем. Вот русские охватили наши фланги. Началась кампания тысяча восемьсот тринадцатого года. Нас окружили. В одно прекрасное утро получаем приказ — быть в назначенное время на поле боя у Лютцена. Император отлично знал, что делает, приказывая нам выступать немедленно. Русские обошли нас. Командир полка замешкался, прощаясь с какой-то полькой, жившей неподалеку от городка, и передовой казачий отряд тут-то и захватил нашего полковника вместе с его пикетом. Мы еле-еле успели вскочить на коней, построиться за городом, открыть огонь и потеснить русских, чтобы самим улизнуть ночью. Дрались мы целых три часа и в самом деле показывали чудеса храбрости. Покуда мы сражались, весь наш полковой обоз ушел вперед. У нас был артиллерийский парк и запасы пороха, позарез нужные императору; делай, что хочешь, а доставь ему все это. Наш отпор озадачил русских, решивших, что нас поддерживает целый корпус. Однако лазутчики скоро оповестили их, что это ошибка, что они ведут бой всего лишь с кавалерийским полком и запасной пехотной частью. И вот, сударь, под вечер они пошли, все сметая, в наступление, да так пошли, что много наших полегло на поле боя. Нас оцепили. Я и Ренар сражались на передовой линии. Он на моих глазах дрался и стрелял так, будто в него вселился дьявол,— ведь он думал о своей жене. Благодаря ему мы пробились к городку, который обороняли наши больные

солдаты; на них смотреть было жалко. Ренар и я возвращались последними, глядим, а дорога занята казачьим отрядом; врезаемся в него. Какой-то казак вот-вот проткнет меня пикой, Ренар видит это, загораживает меня своим конем, удар приходится по бедному коню, а конь был, право, знатный,— он падает, подминает Ренара и казака. Наповал убиваю казака, хватаю Ренара под руки, укладываю поперек лошади перед собою, как мешок с зерном.

— Прощайте, капитан, все кончено,— говорит мне Ренар.

— Ну нет,— отвечаю я,— еще посмотрим!

Въезжаем в город. Я соскочил с коня, подстелил соломы у какой-то стены, усадил Ренара. У него голова была рассечена, волосы забрызганы мозгами, а он все еще говорил! Да, твердый был человек!

— Мы квиты,— сказал он.— Я за вас отдал жизнь, зато взял у вас Юдифь. Позаботьтесь о ней и о ее ребенке, если ребенок родится. А лучше всего женитесь на ней.

Сгоряча я бросил его, как пса, но, когда ярость поутихла, вернулся. Он был мертв. Казаки подожгли городок; тут я вспомнил о Юдифи, пошел за ней, посадил ее вместе с собой на коня, и он домчал нас до полка, который все отступал. Отец Юдифи и все семейство словно в воду канули,—сгинули, как крысы. Одна Юдифь ждала Ренара. Сами понимаете, поначалу я ей ни слова не сказал. Мне пришлось, сударь, заботиться о ней в разгаре злосчастной кампании тысяча восемьсот тринадцатого года, отыскивать ей помещение, да поудобнее, нянчиться с ней; она, кажется, и не замечала, что творится вокруг. Я был так предусмотрителен, что всегда устраивал ее лье на десять впереди нас — поближе к Франции; она родила мальчишку, пока мы бились под Ганау. В этом сражении я был ранен и догнал Юдифь в Страсбурге, затем мы поехали в Париж,— мне так не повезло, что я провалялся в постели, пока длилась вся кампания. Если б не этот несчастный случай, быть бы мне тогда же гренадером императорской гвардии, потому что император собирался перевести меня туда с повышением. Словом, сударь, мне пришлось опекать женщину и чужого ребенка, а ведь у меня было перебито три ребра. Сами понимаете, жалованье я получал небольшое.

Папаша Ренара, старая беззубая акула, от невестки отрекся; папаша Юдифи словно сквозь землю провалился. Бедняжка таяла от печали. Однажды утром, перевязывая мне рану, она заплакала.

— Юдифь, над будущим вашего сына надо поставить крест,— сказал я.

— И на мне надо поставить крест,— промолвила Юдифь.

— Полно,— ответил я.— Раздобудем нужные бумаги, я женюсь на вас и узаконю сына...— Я не договорил— чьего сына. Что угодно сделаешь, дорогой доктор, ради горестного взгляда, которым поблагодарила меня Юдифь. Я понял, что не переставал любить ее, а ее сын с того дня занял прочное место в моем сердце. Пока бумаги и родители Юдифи были в пути, она все слабела. Накануне смерти она собрала последние силы, принарядилась, проделала все церемонии, какие полагается, подписала ворох бумажонок, а когда ее сын получил имя и отца, она снова слегла; я поцеловал ее руки, лоб, и она отошла. Вот какая у меня была свадьба! День спустя я купил несколько футов земли для ее могилки и оказался отцом круглого сироты, которого отдал на попечение кормилицы, пока шла кампания тысяча восемьсот пятнадцатого года. С той поры — надо вам сказать, что никто не знал об этом событии моей жизни, потому что гордиться мне тут нечем,— я стал заботиться о мальчишке, как о родном сыне. Его дед разорился, скитается со всем семейством где-то у черта на куличках, между Персией и Россией. Может быть, он и разбогатеет,—говорили, что он большой знаток в торговле драгоценными камнями. Мальчика я поместил в коллеж, а вот недавно засадил его за математику, чтобы он поступил в Политехническое училище и окончил его с отличием; но бедный мальчишка заболел от утомления. Он слабогрудый. Парижские врачи говорят, будто он еще может окрепнуть, если побродит по горам и поживет под неусыпным надзором человека, который вложит душу в заботу о нем. Вот я и подумал о вас, приехал познакомиться с вашими взглядами, с образом вашей жизни. Но услышав ваш рассказ, я понял, что не могу навязать вам такое мучение, хоть мы с вами и стали добрыми друзьями.

— Майор, привозите сына Юдифи,— сказал Бенаси

после недолгого молчания.— Видно, богу угодно, чтобы я прошел через это последнее испытание, и я претерплю его. Муки свои я принесу в дар господу, чей сын умер на кресте. К тому же ваш рассказ глубоко тронул меня, не причинив боли, а это — хорошее предзнаменование.

Женеста схватил врача за обе руки, пожал их, не удерживая слез, набежавших на глаза, и они покатились по его загорелым щекам; потом он сказал:

— Пусть это будет нашей общей тайной.

— Конечно, майор. Отчего вы не пьете?

— Не хочется,— ответил Женеста.— Я сам не свой.

— Ну что ж, когда вы привезете мальчика?

— Да хоть завтра, ежели вам угодно. Уже два дня как он в Гренобле.

— Ну что ж, поезжайте за ним с утра и тотчас возвращайтесь. Я буду поджидать вас у Могильщицы, мы у нее и позавтракаем вчетвером.

— Решено,— ответил Женеста.

Друзья отправились на покой, пожелав друг другу доброй ночи. Когда они дошли до площадки, разделявшей их комнаты, Женеста поставил свечу на подоконник и, обернувшись к Бенаси, сказал горячо и задушевно:

— Громы небесные! На прощание я должен сказать вам, что вы третий человек на белом свете, который заставил меня поверить, что там наверху кто-то есть!— И он указал на небо.

Врач в ответ печально улыбнулся и сердечно пожал ему руку.

На следующее утро, едва начало светать, офицер отправился в город, а к полудню уже подъезжал к тому месту, где от тракта, соединяющего Гренобль с селением, ответвлялась тропинка, ведущая к домику Могильщицы. Он ехал в открытой двуколке, в которую запрягается одна лошадь,—такие легонькие коляски встретишь на всех дорогах в здешних горных краях. Спутнику офицера, худенькому, истощенному подростку, можно было дать лет двенадцать, хотя ему шел шестнадцатый год. Прежде чем сойти, офицер осмотрелся, надеясь, что поблизости отыщется какой-нибудь крестьянин, который доставит коляску к Бенаси, потому что проехать по узкой тропе до домика Могильщицы было просто невозможно. Случайно на дорогу вышел полевой сторож, он-то и

взялся помочь Женеста, и офицер вместе с приемным сыном отправился пешком по горным тропкам к месту свидания.

— Сколько у тебя радостей впереди, Адриен: исходишь за год этот прекрасный край, научишься охотиться, ездить верхом, вместо того чтобы сохнуть над книгами. Полюбуйся-ка!

Адриен бросил на долину тусклый взгляд, какой бывает у больных детей, но его, как вообще всех молодых людей, не трогали красоты природы, и он сказал, не останавливаясь:

— Вы так добры, папенька.

Безразличие это, усиленное недугом, глубоко огорчило офицера, и он больше не заговаривал с сыном до самого дома девушки.

— Как вы точны, майор! — воскликнул Бенаси, поднимаясь с деревянной скамейки, на которой сидел.

Но он тотчас же снова опустился на нее и устремил озабоченный взгляд на Адриена; внимательно изучая его желтое и утомленное лицо, он в то же время любовался мягкими его чертами, полными благородной красоты. Мальчик, живой портрет матери, унаследовал ее нежную, матовую кожу и прекрасные черные глаза, умные и печальные. Своеобразная красота польских евреев запечатлелась на этом юном лице, обрамленном густыми волосами; только голова была, пожалуй, чересчур велика по сравнению с тщедушным телом.

— Как вы спите, милый мой мальчик? — спросил его Бенаси.

— Хорошо, сударь.

— Покажите-ка мне колени, засучите панталоны.

Адриен, краснея, развязал подвязки, и доктор тщательно ощупал его колено.

— Так, так! А ну-ка, скажите что-нибудь, крикните, да погромче!

Адриен крикнул.

— Довольно. Дайте-ка сюда руки...

Юноша протянул вялые, белые, словно у женщины, руки с голубоватыми жилками.

— Как называется школа, в которой вы учились в Париже?

— Лицей Людовика Четырнадцатого.

— Не читал ли вам директор по ночам требник?

— Читал, сударь.

— Значит, вы не сразу засыпали?

Адриен промолчал, и Женеста сказал доктору:

— Директор у них священник, весьма достойный человек; он сам посоветовал мне взять из лицея моего маленького воина, из-за слабого здоровья.

— Что ж,— отвечал Бенаси, погружая ясный взгляд свой в неспокойные глаза Адриена.— Мы его вылечим. Сделаем из него настоящего мужчину. Жить будем, как два приятеля, дружок! Ложиться спать будем рано, вставать тоже рано. Я научу вашего сына ездить верхом, майор. Месяца два полечим его желудок, есть он будет только молочную пищу; а потом я достану для него право на ношение оружия, разрешение на охоту, передам мальчика Бютифе, и они вдвоем начнут охотиться на серн. Пусть ваш сын месяцев пять поживет в деревне, и вы его не узнаете, майор. Бютифе будет на седьмом небе. Знаю я этого непоседу, он доведет вас, дружок, до самой Швейцарии, напрямик через Альпы, потащит вас на вершины гор, и за шесть месяцев вы вырастете на шесть дюймов; у вас опять заиграет на щеках румянец, закалятся нервы, и вы позабудете все скверные привычки, привитые в лицее. А потом снова возьметесь за учение и станете человеком. Бютифе — честный парень, мы ему доверим деньги, и он будет оплачивать расходы все то время, пока вы будете вместе странствовать и охотиться; чувство ответственности сделает его благоразумным на полгода, и он тоже многое выиграет от этого.

Лицо Женеста прояснялось с каждым словом врача.

— Пойдемте завтракать. Нашей хозяюшке не терпится увидеть вас,— сказал Бенаси, ласково потрепав Адриена по щеке.

— У него, значит, нет чахотки? — спросил Женеста, взяв врача под руку и отводя в сторону.

— Нет и намека.

— Так что же с ним?

— Э, да просто он в переходном возрасте, вот и все,— ответил врач.

На пороге появилась Могильщица, и Женеста удивился, увидев ее простой, но изящный наряд. Не вчерашняя крестьяночка, а грациозная парижанка, одетая со вку-

сом, бросила на него неотразимый взгляд. Офицер отвел глаза и посмотрел на ореховый стол, не покрытый скатертью, зато навощенный с таким старанием, что он блестел, будто отполированный; на нем виднелись деревенские яства: яйца, масло, пирог и душистая горная земляника. Девушка украсила комнату цветами — это говорило о том, что сегодня у нее праздник. И офицеру невольно захотелось стать хозяином этого уютного домика, этой лужайки, он взглянул на крестьянку с надеждою и сомнением и перевел взгляд на Адриена, которого девушка усердно потчевала, чтобы скрыть свое смущение.

— А знаете ли вы, майор,— сказал Бенаси,— какою ценой вы добились здесь гостеприимства? Вам придется рассказать моей питомице какой-нибудь случай из военной жизни.

— Пусть господин офицер сначала спокойно позавтракает, а уж когда он выпьет кофе...

— Конечно, расскажу, и охотно,— ответил Женеста.— Однако ставлю условие: вы тоже расскажете нам о каком-нибудь приключении из своей жизни.

— Право, сударь, со мной никогда ничего не приключалось... Ничего такого, о чем бы стоило рассказывать,— отвечала она зардевшись.— Не хотите ли еще кусочек пирога, дружок? — спросила она Адриена, заметив, что у него пустая тарелка.

— Хочу, мадемуазель.

— Пирог превкусный,— заметил Женеста.

— А вот увидите, какое у нее кофе со сливками! — воскликнул Бенаси.

— Я бы ему предпочел рассказ нашей прелестной хозяюшки.

— Не так приступаете к делу, Женеста,— сказал врач.— Знаешь, милая моя девочка,— продолжал он, обращаясь к Могильщице и пожимая ей руку,— у этого офицера под суровой внешностью скрывается добрейшее сердце, и тебе нечего стесняться. Хочешь — говори, хочешь — нет, дело твое. Бедная моя детка, выслушать и понять тебя могут только три человека на свете — вот они перед тобою. Расскажи-ка нам, были ли у тебя прежде сердечные привязанности, но не думай, мы не собираемся выведывать теперешние твои тайны.

— Вот Мариетта принесла кофе,— отвечала девуш-

ка,— вы позавтракаете, и я охотно расскажу вам о своих сердечных делах. А вы, господин офицер, не забудете своего обещания? — прибавила она, посмотрев на Женеста с милым задором.

— Как можно, мадемуазель,— почтительно склонившись, ответил офицер.

— В шестнадцать лет я часто прихварывала,— так начала свой рассказ девушка,— и все же мне приходилось бродить по савойским дорогам и просить милостыню. На ночлег я отправлялась в Эшель и спала в хлеву на соломе. Приют мне давал хозяин постоялого двора; сам он был человек предобрый, а вот его жена невзлюбила меня и всегда бранила. И как же это меня обижало, ведь я, хоть и была нищенкой, а вела себя хорошо, утром и вечером молилась, не воровала, жила по заповедям божьим, а подаяния просила, потому что ничего не умела делать, хворала, и силы у меня не было не только мотыгой работать, но даже нитки сучить. И вот прогнали меня с постоялого двора — из-за собаки. С самой колыбели не видела я ласки, жила без родных, без друзей, без радости. Покойная бабушка Морен вырастила меня, много мне добра сделала, но не помню, приголубила ли она меня хоть разок, да и некогда ей было: старушка работала в поле за мужчину; бывало, пожалеет меня и тут же ложкой — хлоп по рукам, если я уж очень рьяно набрасывалась на похлебку,— ели-то мы из одной плошки. Бедненькая бабушка Морен! Нет дня, чтобы я не помянула ее в своих молитвах. Дал бы милосердный бог, чтобы ей на небе жилось получше, чем на земле, а главное — чтоб постель была поудобней; она всегда жаловалась, что очень уж жестко ей спать, да и спали-то мы вместе. Так вот, вы и представить себе не можете, до чего обидны брань, окрики и злые взгляды, от них сердцу бывает больнее, чем от удара ножом. Я знавала стариков нищих, которые уже обтерпелись; но я-то не была создана для того, чтобы побираться. Как услышу: «Не подаем»,—так и заплачу. С каждым вечером все тяжелее и тяжелее становилось у меня на душе; утешение находила я только в молитвах. На всем божьем свете не было никого, кому бы я могла излить свое горе. Одно синее небо было мне другом. Увижу, бывало, что небо синее-пресинее, и радуюсь. Ветер разгонит тучи,

я заберусь в укромное местечко среди скал, лягу, гляжу на небо. И воображаю себя важной дамой. До того досмотрюсь, бывало, что покажется мне, будто я плаваю в этой синеве; перенесусь мыслью туда, в небеса, и будто становлюсь еще легче, как пушинку меня уносит вверх, все выше, выше. А привязанности вот у меня какие были. Однажды собака на постоялом дворе принесла щеночка, такого славненького, беленького, с черными пятнышками на лапах,—как сейчас вижу моего ангелочка! Только песик и смотрел на меня ласково; я припрятывала для него лакомые кусочки; он узнавал меня, по вечерам встречал, не стыдился моих лохмотьев, ластился, лизал мне ноги; а в глазенках у него было столько доброты, столько ласки, что посмотрю я на него, заплачу и скажу: «Один ты на всем свете и любишь меня». Зимой он спал, свернувшись у меня в ногах. Когда его били, мне словно самой было больно, и я отучила его забегать в дома, таскать кости; он довольствовался хлебом, который я приносила. Взгрустнется мне, он подбежит и заглядывает мне в глаза, будто хочет сказать: «О чем, бедняжка, грустишь?» И какой же был славный песик: кинут проезжие мне несколько грошей, он их подберет в пыли и принесет. Как завела я себе этого дружка, у меня на душе стало веселее. Каждый день я откладывала несколько су: мечтала скопить полсотни франков и выкупить собачку у хозяина постоялого двора. А только хозяйка заметила вдруг, как привязался ко мне песик, и вообразила, будто она его обожает. А надо вам сказать, собака ее терпеть не могла. Животные чуют, какая у тебя душа, любишь ты их или нет. Я берегла золотую двадцатифранковую монету — носила ее зашитой в пояске — и вот говорю однажды хозяину:

— Уважаемый господин Монсо, мне хотелось скопить денег за год, чтобы купить у вас щенка. Да вот что — пока ваша жена совсем не забрала его себе, хоть он ей и ни к чему, уступите мне собачку за двадцать франков, возьмите их, вот деньги.

— Что ты, девочка, не нужны мне твои двадцать франков. Боже избави меня тянуть деньги с бедняков! Возьми себе собаку. А если жена раскричится, ступай отсюда.

И накинулась же она на него из-за собаки... Господи,

расшумелась так, будто в доме начался пожар! Подумайте, что она сделала! Увидела, как щенок ко мне привязан, поняла, что никогда ей этого не добиться, взяла и отравила его. Бедный песик умер у меня на руках; я горевала, будто сыночка похоронила. Сколько слез пролила над его могилкой под елью! Уселась возле нее и думаю: видно, суждено мне быть одинокой, никогда не знать мне счастья, нет у меня никого близкого на всем свете, и никто уж не посмотрит на меня любящим взглядом. Словом, всю ночь я просидела там, под открытым небом, молилась богу, чтобы он надо мной сжалился. А когда я вышла на дорогу, то увидела безрукого нищего, мальчугана лет десяти. «Милосердный бог услышал меня,— подумала я.— Ведь я еще никогда так не молилась ему, как нынешней ночью. Буду заботиться о бедненьком калеке, как родная мать; вместе будем просить милостыню, вместе больше соберем; пожалуй, ради него я стану посмелей». Мальчик сначала как будто был доволен, да и как не быть довольным: я исполняла все его желания, отдавала ему лучшие кусочки, в рабу его превратилась, а он меня мучил, но лучше уж мучиться, чем жить одиноко. И вот дрянной мальчишка пронюхал о тех двадцати франках, которыми я за песика хотела заплатить, умудрился распороть мой поясок и украл золотую монету. Я хотела на нее заказать обедни. Подумать только, безрукий, а вор! Как же тут не ужасаться! После его поступка жизнь мне совсем опостылела. Выходило так: стоит мне полюбить кого-нибудь, и все идет прахом! Как-то вижу, по Эшельской дороге едет в гору нарядная коляска, а в ней сидит барышня, такая красотка — прямо дева Мария; с ней молодой человек — точь-в-точь она. Он бросил мне серебряное экю и сказал девушке:

— Посмотри, какая хорошенькая!

Один вы, господин Бенаси, поймете, как эта похвала обрадовала меня, ведь никогда я таких слов не слышала; а лучше бы проезжий не бросал мне денег. Не знаю, что со мной случилось; видно, его слова вскружили мне голову, только я побежала напрямик по горным тропкам и очутилась на Эшельском кряже гораздо раньше проезжих; коляска их еле-еле поднималась в гору. Еще разок увидела я молодого человека, он удивился, а я так была рада, что сердце у меня чуть из груди не выскочило; са-

ма не пойму, отчего меня так влекло к нему. Едва он меня узнал, как я бросилась бежать дальше, мне казалось, что они непременно остановятся полюбоваться водопадом Куз; добралась я туда, притаилась под придорожными ореховыми деревьями, а когда проезжие вышли из коляски и снова увидели, что я тут как тут, то стали меня расспрашивать,— видно, приняли долю мою близко к сердцу. В жизни я еще не слыхала таких ласковых голосов, как у красавца путешественника и у его сестры; я уверена, она была ему сестрою. Весь год я их вспоминала, все надеялась, что они вернутся. Жизни не пожалела бы, только бы еще разок посмотреть на того самого путешественника,—так он мне понравился. И до тех пор, пока я не познакомилась с господином Бенаси, больше никаких событий в моей жизни не было; ведь в тот раз, когда хозяйка выгнала меня за то, что я примерила ее противное бальное платье, я пожалела ее и простила ей, вот и все. По правде говоря, я-то знаю, и вы можете мне поверить на слово, что я гораздо лучше ее, хоть она и графиня.

— Видите, господь бог все-таки пришел вам на помощь,— заметил Женеста после недолгого молчания,— ведь вам здесь живется привольно, как рыбе в воде.

При этих словах девушка бросила на врача взгляд, полный горячей благодарности.

— Эх, хотелось бы мне разбогатеть! — воскликнул офицер.

Воцарилось глубокое молчание.

— А ведь вы обещали мне рассказать что-нибудь,— вдруг вкрадчиво сказала девушка.

— И расскажу,— ответил Женеста.— Накануне битвы под Фридландом,— начал он, помолчав,— ездил я с поручением к генералу Даву; возвращаюсь на свой бивуак и за поворотом дороги лицом к лицу сталкиваюсь с императором. Смотрит на меня Наполеон и говорит:

— Ты капитан Женеста?

— Так точно, ваше величество.

— Был в Египте?

— Так точно, ваше величество.

— Ты этой дорогой больше не езди,— говорит он,— сверни вон там, налево: гораздо скорее попадешь к себе в дивизию.

Вы не представляете даже, с какой добротою подал мне совет император, а ведь у самого дел было по горло,— он объезжал местность, знакомился с полем битвы. Рассказываю об этом случае, чтобы вы видели, какая у него была память и что меня он в лицо знал. В тысяча восемьсот пятнадцатом году я принес присягу. Не числись за мной этого греха, пожалуй, был бы я теперь полковником; да ведь я и не думал изменять Бурбонам: в ту пору главное для меня дело было — защита Франции. Стал я командовать гренадерским эскадроном императорской гвардии, и хоть рана моя еще ныла, однако же я изрядно поработал саблей в битве при Ватерлоо. А когда все было кончено, я сопровождал Наполеона в Париж. Он отправился в Рошфор, и я за ним, несмотря на его приказ. Рад был, что довелось мне охранять его от бед, какие могли стрястись с ним в пути. Вышел он прогуляться на берег моря и увидел, что я стою на посту, шагах в десяти от него. Он подошел ко мне, спросил:

— Ну как, Женеста, еще живем?

Сердце у меня сжалось от его слов. Если б вы их услышали, дрожь бы и вас пробрала. Он указал на ненавистное английское судно, охранявшее входы и выходы в порту, и сказал:

— Смотрю и жалею, что не утонул я в крови моей гвардии!

Посмотрев на врача и на девушку, Женеста подчеркнул:

— Именно так он и сказал. «Маршалы, которые не дали вам самому пойти в атаку да усадили вас в дорожную карету, друзьями вам не были!» — говорю я императору.

— Поедем со мной! — воскликнул он.— Игра еще не проиграна!

— Ваше величество, последую за вами с охотой, но не сейчас, потому что на руках у меня ребенок, потерявший мать, и я собою не располагаю.

Так вот и получилось, что из-за Адриена я не отправился на остров святой Елены.

— Постой-ка, я ведь тебе никогда ничего не дарил, ты не из тех, у кого глаза завидущие и руки загребущие, возьми-ка эту табакерку, она была при мне в последнем

походе. Да оставайся во Франции, ведь ей храбрецы тоже нужны! Служи по-прежнему и обо мне помни. Ты последний из моих египтян, которого мне довелось увидеть живым, покидая Францию.

И он протянул мне небольшую табакерку:

— Выгравируй на ней: «Честь и отчизна»,— в словах этих вся история последних наших двух кампаний.

Тут к нему подошли люди, сопровождавшие его, и мы все утро пробыли вместе. Император шагал взад и вперед по берегу и был спокоен, но порою хмурил лоб. К полудню выяснилось, что отплыть невозможно. Англичане знали, что он в Рошфоре, следовательно, или в плен сдавайся, или снова проходи через всю Францию. Мы были в тревоге. Медленно тянулось время. Наполеон очутился между двух огней: с одной стороны Бурбоны, а они бы сразу его расстреляли, с другой — англичане, а их уважать не за что, никогда им не смыть позора, которым они покрыли себя, заточив на скалистом острове противника, просившего у них гостеприимства. Кто-то из свиты представил ему в этой суматохе капитана Доре, моряка, предлагавшего устроить ему побег в Америку. В самом деле в порту стоял американский бриг и торговое судно.

— А как же вы, капитан, думаете это сделать? — спросил его император.

— А вот как, ваше величество,— ответил моряк,— вы сядете на торговый корабль, а я с людьми, преданными вам, поплыву на бриге под белым флагом. Мы возьмем на абордаж английское судно, подожжем его, взорвемся, а вы тем временем проскочите мимо.

— И мы отправимся с вами! — крикнул я капитану.

Наполеон посмотрел на нас и произнес:

— Капитан Доре, вы нужны Франции.

Первый раз в жизни я видел Наполеона растроганным. Он махнул нам на прощание рукой и вернулся к себе. Я уехал, когда он причаливал к английскому судну. Он знал, что идет на верную гибель. В порту оказался предатель и сигналами сообщил врагам о том, что император здесь. И вот Наполеон испытал последнее средство: поступил так, как поступал всегда на поле битвы,— пошел на врага, не ожидая, чтобы враг пошел

на него. Вот вы рассказывали о своем горе, да что может сравниться с отчаянием тех, кто боготворил его.

— Ну, а где же его табакерка? — спросила девушка.

— В Гренобле, я храню ее в шкатулке,— ответил офицер.

— Позвольте мне приехать, взглянуть на нее. Даже не верится, что у вас есть вещь, к которой он прикасался! А руки у него были красивые?

— Очень красивые.

— А верно, что он умер? — снова спросила девушка.— Вы правду скажите.

— Да, разумеется, душенька, он умер.

— Я совсем еще крошкой была в тысяча восемьсот пятнадцатом году, только его шляпу и разглядела, к тому же меня чуть не раздавила толпа в Гренобле.

— Кофе превосходный,— заметил Женеста.— Ну как, Адриен, тебе здесь нравится? Будешь навещать нашу хозяюшку?

Адриен не ответил, девушка его смущала, и он на нее не смотрел. Врач все время наблюдал за юношей и словно читал в его душе.

— Конечно, будет навещать,— сказал Бенаси.— Однако ж пора домой; мне придется совершить верхом довольно долгое путешествие. А пока меня не будет, вы обо всем столкуетесь с Жакотой.

— Вы нас не проводите? — спросил Женеста у девушки.

— С удовольствием, кстати, мне нужно кое-что снести Жакоте,— ответила она.

Они отправились к дому врача, и девушка, повеселевшая в обществе гостей, повела их горными козьими тропками по самым пустынным местам.

— Господин офицер,—заговорила она, помолчав,—о себе-то вы ничего не рассказали, а мне хотелось бы послушать о каком-нибудь вашем приключении на войне. Очень мне понравился рассказ про Наполеона, но на душе стало тяжело... Уж будьте так любезны...

— Она права! — поддержал ее Бенаси.— Придется вам по дороге рассказать о каком-нибудь занимательном похождении. Припомните что-нибудь любопытное, вроде случая в овине у Березины.

— Воспоминаний у меня маловато,— отвечал Жене-

ста.— С другими людьми чего только не случается, а мне не приходилось быть героем какого-нибудь приключения. Постойте, разок все-таки вышла презабавная история. В тысяча восемьсот пятом году я, в то время всего-навсего младший лейтенант, вместе со всею великой армией очутился под Аустерлицем. Ульм взяли не сразу, разыгралось не одно сражение, и кавалерия крепко атаковала врага. Служил я тогда под командованием Мюрата, а он уж никому спуска не давал. В начале кампании мы завладели местностью, где было немало превосходных имений. Как-то вечером мой полк расположился в парке, разбитом вокруг красивого замка, которым владела молоденькая и хорошенькая женщина — графиня; я-то, разумеется, намерен был устроиться в самом замке и поспешил туда, чтобы мои ребята не вздумали его разграбить. Вхожу в гостиную и вижу: мой унтер-офицер, ужаснейший урод, прицелившись из ружья в графиню, грубо требует у нее того, на что она никак не могла согласиться; я взмахиваю саблей, выбиваю из его рук карабин, пуля попадает в зеркало; наотмашь ударяю грубияна, и он падает. На крик графини и на выстрел сбежались все ее прислужники и вот-вот набросятся на меня.

— Стойте,— говорит она им по-немецки,— этот офицер — мой спаситель.

Ну-с, они уходят. Дамочка дарит мне платочек, красивый вышитый платочек, который я и сейчас берегу, уверяет, что в ее имении я всегда найду приют и что, какие бы напасти со мною ни стряслись, она всегда придет мне на помощь, как сестра и верный друг,— словом, пускает в ход все свои чары. А хороша она была, как ясная зорька, мила, как кошечка. Пообедали мы вместе. На следующий день я был от нее без ума; но на следующий же день пришлось идти на передовую, помнится, в Гунцбург, и я тронулся в путь, унося платочек. Завязывается битва, а я твержу одно: «Хоть бы в меня попало! Господи, сколько пуль пролетает, неужто для меня не найдется ни одной?» Но я не хотел, чтобы меня ранило в бедро, ни за что не вернулся бы я тогда в замок. Не то чтобы мне жизнь опостылела — просто я размечтался, что ранят меня в руку, что перевязывать и холить меня будет моя королева. И я кидался на врага, как

одержимый. Да не повезло: вышел из дела целым и невредимым. Поход продолжался, и пришлось позабыть о графине. Вот и весь сказ.

Когда они дошли до дома врача, Бенаси немедля вскочил на лошадь и исчез. К его возвращению Жакота, которой Женеста поручил сына, уже завладела Адриеном, поспешила поместить его в парадной комнате г-на Гравье и оторопела от удивления, когда врач распорядился, чтобы для юноши была поставлена складная кровать в его спальне; сказал он это таким повелительным тоном, что Жакота не посмела и рта раскрыть для возражения. После обеда Бенаси вновь заверил офицера, что юноша быстро восстановит силы, и Женеста с легкой душой отправился в обратный путь — в Гренобль.

Восемь месяцев прошло с того дня, когда Женеста поручил своего приемного сына доктору Бенаси. И вот в первых числах декабря Женеста был произведен в подполковники и получил приказ о переводе в полк, стоявший в Пуатье. Только он собрался известить о своем отъезде Бенаси, как от него пришло письмо, в котором врач сообщал о полном выздоровлении Адриена.

«Мальчик вырос, возмужал, чувствует себя превосходно,— писал ему друг.— За это время он так хорошо усвоил уроки Бютифе, что из него вышел отличный стрелок, не хуже нашего контрабандиста; он ловок и подвижен, неутомимый ходок, неутомимый наездник. Его не узнать. Шестнадцатилетнему юноше теперь дашь лет двадцать, а ведь недавно он казался двенадцатилетним. Вид у него уверенный, независимый. Он стал взрослым человеком, вам должно подумать о его будущем».

«Завтра непременно навещу Бенаси, посоветуюсь, чем бы мне занять молодца»,— решил Женеста и отправился на прощальный ужин, который давали в его честь полковые офицеры, потому что через несколько дней он собирался уехать из Гренобля.

Когда подполковник вернулся, слуга вручил ему письмо, принесенное нарочным, уже давным-давно ждавшим ответа. У Женеста изрядно кружилась голова от вина, которое он выпил, отвечая на тосты, произнесенные офицерами в его честь, но он тотчас же узнал почерк сы-

на, решил, что Адриен просит исполнить какую-нибудь его мальчишескую прихоть, положил письмо на стол и только утром, когда развеялись пары шампанского, распечатал его.

«Дорогой папенька!»

«Хитер у меня мальчишка,— подумал Женеста,— умеет подластиться, когда нужно!»

Но тут в глаза ему бросились слова:

«...Умер наш добрый господин Бенаси...»

Письмо выпало из рук Женеста, и он не сразу стал читать дальше.

«Смерть его повергла в горе весь край и поразила нас неожиданностью — господин Бенаси накануне был совсем здоров и ни на что не жаловался. Позавчера, словно предчувствуя свою кончину, он посетил всех больных, даже тех, кто живет очень далеко, со всеми, кого встречал, разговаривал и всем говорил: «Прощайте, друзья». Воротился он, как у нас было заведено, к обеду, к пяти часам. Жакота заметила, что в лице у него появился багровый оттенок; было холодно, и она не сделала ему ножную ванну, которую всегда заставляла его принимать, когда видела, что у него к голове прилила кровь. И теперь бедняжка уже два дня плачет и твердит одно: «Кабы сделала я ему ножную ванну, он бы жив был!» Господин Бенаси проголодался, плотно поел и был даже веселее, чем всегда. Мы много смеялись, я никогда не видел, чтобы он так смеялся. После обеда, часов в семь, пришел кто-то из Сен-Лоран-де-Пона срочно звать его к больному. Господин Бенаси сказал мне: «Ничего не поделаешь, надо отправляться. Правда, мне вредно ездить верхом, пока не закончилось пищеварение, особенно в холодную погоду,— так и умереть недолго». И все же он поехал. Часов в девять почтарь Гогла принес какое-то письмо. Жакота в тот день устала от стирки и легла спать,— она отдала мне письмо и попросила вскипятить чай для господина Бенаси на огне в камине, потому что я по-прежнему спал у него в комнате на узенькой складной кровати. Я загасил свет в гостиной и поднялся наверх, чтобы подождать моего дорогого друга в нашей спальне. Прежде чем по-

ложить письмо на камин, я, из любопытства, посмотрел на штемпель и почерк. Письмо было из Парижа, и мне показалось, что адрес выведен женской рукой. Рассказываю я вам обо всем этом, потому что письмо сыграло роковую роль. Часам к десяти застучали подковы и раздался голос господина Бенаси, говорившего Николю: «Холод лютый; мне что-то нездоровится». «Не разбудить ли Жакоту?» — спросил Николь. «Нет, не надо». И доктор поднялся к нам в комнату. «Я приготовил вам чай»,— сказал я. «Спасибо, Адриен»,— ответил он с улыбкой, которая вам хорошо знакома. Это была его последняя улыбка. Вот он развязывает галстук, будто ему теснит горло, говорит: «У нас душно!» — и кидается в кресло. «Дорогой друг, пришло письмо для вас. Возьмите»,— говорю я. Он берет письмо, видит почерк и восклицает: «Господи! Неужели же она свободна!» Тут он запрокинул голову, руки у него задрожали: он переставил свечу на стол и распечатал письмо. Меня поразило, что господин Бенаси так разволновался, и я не отрываясь смотрел на него, пока он читал. Вдруг я увидел, что его лицо вспыхнуло, он зарыдал и упал ничком. Я поднял дорогого друга, лицо его побагровело. «Умираю»,— произнес он, задыхаясь, и с невероятным усилием попытался встать. «Кровь пустите!» — крикнул он, сжимая мне руку... «Сожгите письмо, Адриен!» Он протянул мне письмо, и я бросил его в огонь. Зову Жакоту и Николя, но слышит меня один Николь, он прибегает, мы вместе укладываем господина Бенаси на мою кровать, на мой жесткий матрац. Наш дорогой друг уже ничего не слышал! И хоть он открывал глаза, но уже не видел ничего. Николь поскакал верхом за фельдшером — господином Бордье и поднял тревогу в селении. Тотчас же все были на ногах. Господин Жанвье, господин Дюфо — ваши знакомые — прибежали первыми. Господин Бенаси умирал, и ничего нельзя было сделать. Господин Бордье прижег ему пятки, но наш друг не подал и признака жизни. Приступ подагры и кровоизлияние в мозг унесли нашего друга. Описываю все подробно потому, что знаю, дорогой папенька, как вы любите господина Бенаси. А какое это для меня горе, какая утрата! Ведь, кроме вас, никого я не любил так сильно, как его. Я больше узнал, разговаривая по вечерам с добрым господином

Бенаси, чем из всей своей усердной зубрежки в лицее. Когда на следующее утро в селении стало известно, что он скончался, началось нечто невообразимое. Двор и сад наполнились народом. Все плакали и причитали, все побросали работу, каждый вспоминал, что́ сказал ему в последний раз господин Бенаси; люди рассказывали, сколько добра сделал им доктор Бенаси; те, кто был поспокойнее, говорили за других; толпа все прибывала, каждому хотелось его увидеть. Быстро разнеслась печальная весть — изо всех окрестных селений шли сюда люди, подавленные горем: мужчины, женщины, девушки и юноши. Гроб несли в церковь четыре самых престарелых жителя общины, но похоронная процессия все время останавливалась, потому что на дороге скопилась толпа тысяч в пять человек; почти все стояли на коленях, как во время крестного хода. Церковь всех не вместила. Началась служба, и тотчас же смолкли рыдания, воцарилась такая глубокая тишина, что звон колокольчика и пение слышны были и в конце улицы. Но когда пришло время отнести тело на новое кладбище, которое бедный господин Бенаси устроил для селения на своей земле, не подозревая, что его там похоронят первым, со всех сторон раздались громкие стенания. Господин Жанвье, рыдая, читал молитвы, и у всех слезы катились из глаз. И вот мы похоронили его. Вечером толпа рассеялась, все разошлись по домам в печали и тоске. На следующий день, с утра, Гондрен, Гогла, Бютифе, полевой сторож и еще много людей принялись за работу: там, где покоится прах господина Бенаси, воздвигнута земляная пирамида высотою футов в двадцать, ее обкладывают дерном, все принимают участие в работе! Вот что, любезный папенька, произошло у нас за эти три дня. Господин Дюфо нашел в ящике стола незапечатанное завещание господина Бенаси. Наш дорогой друг распорядился своим состоянием так, что любовь к нему и глубокая скорбь о его смерти усилились, ежели это возможно. А теперь, дорогой папенька, я жду с Бютифе, который отнесет вам мое письмо, ответа и указаний, как мне вести себя. Вы ли за мной приедете, или мне ехать к вам, в Гренобль? Как вам будет угодно, так я и поступлю, и будьте уверены в полном моем послушании.

Прощайте, папенька, шлю вам лучшие свои пожелания.

Любящий вас сын *Адриен Женеста*».

— Надо ехать! — воскликнул Женеста.

Он приказал оседлать лошадь и пустился в путь. Стояло унылое декабрьское утро, пасмурное утро, когда сероватая мгла застилает небо, когда ветру не рассеять тумана, окутавшего обнаженные деревья и дома, потемневшие от сырости, утратившие обычный свой облик. Тишина стояла безжизненная, ибо ведь бывает тишина, насыщенная жизнью. В ясную погоду малейший шорох веселит душу, в ненастье природа не только безмолвна, она нема. Туман, цепляясь за деревья, собирался в капли, и они медленно, будто слезы, катились по листьям. Звуки замирали в воздухе. Чувства подполковника Женеста, удрученного скорбью и мыслями о смерти, были созвучны печали, разлитой вокруг. Невольно сравнивал он то, что видел, проезжая в первый раз по этой долине,— прекрасное весеннее небо и пленявшие взор ландшафты — с картиной, сейчас открывавшейся перед ним: с унылым свинцово-серым небом, с горами, сбросившими зеленый наряд, но еще не надевшими снежных одеяний, в которых есть своя прелесть. Тягостно смотреть на обнаженную землю тому, кто едет посетить могилу,— могильный холм мерещится ему повсюду. Темные ели, то тут, то там возвышавшиеся на гребнях гор, углубляли тоску, и без того угнетавшую офицера, а стоило ему охватить взглядом долину, раскинувшуюся перед ним, как он невольно начинал думать о том, какое горе поразило весь кантон и как стало здесь пусто после смерти одного лишь человека. Вскоре подполковник подъехал к той убогой лачуге, где воспитывались приютские дети и где он весной пил молоко. Увидев, что над трубой вьется дымок, он подумал о благодетельном влиянии Бенаси, и ему захотелось войти в эту хижину и в память умершего друга дать денег бедной женщине. Он привязал лошадь к дереву и, не постучав, отворил дверь.

— Здравствуйте, тетушка,— сказал он женщине, гревшейся у очага, среди детей, примостившихся около нее.— Узнаете?

— Да как не узнать, сударь. Вы приезжали весенней порой, два экю мне подарили.

— Вот возьмите-ка. Это вам и детям.

— Как благодарить-то вас, сударь! Да сохранит вас господь!

— Не меня благодарить надо за эти деньги, а покойного доктора Бенаси.

Женщина подняла голову и взглянула на Женеста.

— Ах, сударь, хоть он и отдал все свое имущество нашему бедному краю и все мы — его наследники, а все же мы потеряли самое большое наше богатство, потому что он для нас старался...

— Прощайте, тетушка, молитесь за него,— сказал Женеста, ласково похлопав хлыстом малышей.

Ребята и их приемная мать проводили его; он вскочил на лошадь и поехал дальше. Вот от дороги, проложенной вдоль долины, отошла тропа, ведущая к домику Могильщицы. Офицер поднялся на холм, откуда виднелся домик, и с тревогой обнаружил, что двери и ставни затворены; свернув на большую дорогу, обсаженную тополями, с которых облетели все листья, он увидел, что ему навстречу бредет старик работник, без котомки с инструментами, одетый, вероятно, в лучшую свою одежду.

— Доброго здоровья, дедушка Моро!

— И вам доброго здоровья, сударь. Узнаю, узнаю,— прибавил он, помолчав,— вы друг покойного господина мэра. Ах, сударь, почему милосердный бог не прибрал вместо него бедного калеку вроде меня? Какая от меня польза? А он ведь был нашим утешителем.

— Не знаете, отчего пусто в доме у Могильщицы?

Старик взглянул на небо и спросил:

— А который час, сударь? Солнца-то не видать.

— Сейчас десять.

— Ну, значит, она у обедни или на кладбище. Каждый день туда ходит; он-то наследство ей оставил: ренту в пятьсот франков и дом в пожизненное владение, да только не на радость ей — не стало его, и она, прямо сказать, рехнулась.

— Куда же, дедушка, путь держите?

— На похороны Жака, бедный мальчишка племянником мне доводился. Вчера утром умер. Да ведь какой хворый был; его только наш дорогой доктор и поддер-

живал. Молодые, а помирают,— прибавил Моро полужалобно, полунасмешливо.

Подъезжая к селению, Женеста остановил лошадь, увидев Гондрена и Гогла, вооруженных заступами и кирками.

— Ну, старые вояки,— сказал он,— свалилась на нас беда, не стало его!

— Хватит, хватит, господин офицер! — сумрачно прервал его Гогла.— Сами про это знаем. Вот нарезали дерна для его могилы.

— Про него есть что порассказать, верно ведь? — сказал Женеста.

— Да, ежели отбросить дела военные, он — Наполеон нашей долины,— ответил Гогла.

Женеста подъехал к церковному дому и тотчас же заметил на пороге Бютифе и Адриена, говоривших с Жанвье, который, очевидно, только что отслужил обедню. Не успел офицер спрыгнуть с лошади, как Бютифе взял ее под уздцы. Адриен же бросился на шею отцу, которого глубоко тронула сыновняя ласка. Однако офицер скрыл свои чувства и сказал юноше:

— Да ты совсем поправился, Адриен! Ей-богу! Спасибо нашему покойному другу,— ты стал настоящим мужчиной! Не забуду я и твоего наставника Бютифе.

— Эх, полковник,— воскликнул Бютифе,— взяли бы вы меня к себе в полк! Право же, вот умер господин мэр, и я теперь сам себя боюсь. Ведь он так хотел, чтобы я стал солдатом. Надо исполнить его волю. Он все рассказал вам про меня — будьте же ко мне снисходительны!

— Идет, дружище,— сказал Женеста, пожимая ему руку.— Будь спокоен, я постараюсь, чтобы тебя зачислили в наш полк. Вот какие дела, господин кюре...

— Я скорблю, как все жители кантона, но живее, нежели они, чувствую, какую непоправимую утрату мы понесли. Доктор Бенаси был сущим ангелом! Одно утешение, что он умер без страданий. Господь милосердной рукою развязал узы его жизни, служившей для всех нас неиссякаемым источником благодеяний.

— Ежели вам нетрудно, проводите меня на кладбище. Мне хотелось бы хоть на могиле у него побывать, попрощаться с ним.

Бютифе и Адриен шли позади Женеста и кюре, кото-

рые всю дорогу беседовали. Они пересекли селение, направляясь к маленькому озеру, и подполковник увидел на противоположном берегу, на скалистом склоне горы обширный участок, обнесенный стеной.

— Вот и кладбище,— сказал ему кюре.— Месяца три назад господин Бенаси нашел, что не место погостам близ церквей, и, следуя закону, предписывающему устраивать кладбища поодаль от жилья, передал для этой цели свой собственный участок в дар общине; он похоронен там первым. Сегодня мы похоронили там отрока. Итак, начали мы с того, что погребли добродетель и невинность. Неужели смерть — воздаяние? Быть может, бог в назидание нам призвал к себе две безгрешных души, ибо у него находят прибежище те, кто в юном возрасте претерпел телесные муки, а в более зрелом — муки духовные. Вот и простой сельский памятник, который мы ему воздвигли.

Женеста увидел земляную пирамиду футов в двадцать вышиною, еще оголенную, но по граням ее уже кое-где зеленел дерн, принесенный жителями. У подножия огромного креста, сколоченного из еловых стволов, покрытых корою, на камне сидела Могильщица и плакала навзрыд, закрыв лицо руками. Офицер прочел слова, вырезанные большими буквами на кресте:

ГОСПОДИ, ПРИМИ ЕГО ДУШУ!
ПОД СИМ КРЕСТОМ
ПОКОИТСЯ ДОБРЫЙ ГОСПОДИН БЕНАСИ,
ВСЕМ НАМ ОТЕЦ.
МОЛИТЕСЬ ЗА НЕГО!

— Вы придумали эту надпись или же...— спросил Женеста.

— Нет, не я, эти слова повторяет народ повсюду: и здесь, и в горных кантонах, и в Гренобле.

Женеста в сосредоточенном молчании постоял у могилы, потом подошел к девушке, которая даже не заметила его, и сказал, обращаясь к кюре:

— Вот выйду на пенсию и поселюсь у вас, чтобы здесь окончить свои дни.

Октябрь 1832 г.— июнь 1833 г.

«СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»

«СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ».

СЕЛЬСКИЙ СВЯЩЕННИК

ГЛАВА I

ВЕРОНИКА

В нижнем Лиможе, на углу улицы Старой почты и улицы Ситэ, лет тридцать тому назад находилась одна из тех лавок, в которых как будто ничего не изменилось со времен средневековья. Неосторожный пешеход не раз споткнулся бы на широких выщербленных плитах, покрывающих неровную, местами сырую землю, если б не отдал должного внимания всем выбоинам и буграм столь непривычной мостовой. Пропитанные пылью стены представляли собой причудливую мозаику из дерева и кирпичей, из камня и железа, прочностью своей обязанную времени, а может быть, и случаю. Более ста лет сложенный из огромных балок пол, не дав ни единой трещины, прогибался под тяжестью верхних этажей. Выложенный из кирпича, дом этот снаружи был облицован прямоугольными шиферными плитками на гвоздях и хранил бесхитростный облик городских строений доброго старого времени. Ни одно из окон, обрамленных деревянными наличниками, некогда украшенными резьбой, позднее разрушенными дыханием непогоды, не держалось прямо по отвесу: одно выпирало наружу, другое заваливалось назад, иные, казалось, вот-вот распадутся на части; а вокруг каждого окна из земли, бог весть откуда взявшейся в размытых дождем трещинах, весной прорастали хилые цветочки, скромные вьющиеся стебельки и чахлая травка. Бархатистый

мох стлался по крыше и подоконникам. Краеугольный столб сложной каменной кладки — из тесаных камней вперемежку с кирпичом и булыжником — выгнулся настолько, что смотреть было страшно: казалось, он не сегодня-завтра рухнет под тяжестью дома, а конек крыши уже выпятился вперед чуть не на полфута. Вот почему муниципальные власти и дорожное ведомство, купив этот дом, распорядились снести его и расширить тем самым перекресток.

Опорный столб, расположенный на углу двух улиц, предлагал вниманию любителей старины прелестную, высеченную в камне нишу, в которой стояла статуя святой девы, сильно пострадавшая во время революции. Горожане, притязающие на осведомленность в археологии, распознавали следы каменного выступа, предназначенного для подсвечников, на который благочестивые жители Лиможа ставили зажженные свечи, возлагали свои ex voto [1] и цветы. Источенная червем деревянная лестница в глубине лавки вела на верхние два этажа и на чердак. Дом, задним фасадом примыкавший к двум соседним домам, был лишен глубины и получал дневной свет только из окон. Каждый этаж насчитывал по две комнатки об одном окне, смотревшие одна на улицу Старой почты, другая — на улицу Ситэ. В средние века так жили все ремесленники.

Некогда дом, очевидно, принадлежал кольчужнику, оружейнику, ножовщику либо другому какому мастеру, чье ремесло не боялось свежего воздуха: в нижнем помещении ничего не было видно, если не открывать настежь железные ставни на каждом фасаде, где по обе стороны от столба находилось по двери, как во многих лавках или мастерских, расположенных на углу двух улиц. Сразу за дверным порогом из прекрасного, стертого временем камня шла низенькая стенка с замурованным в нее железным желобом; другой желоб был вделан над дверью в верхнюю балку, подпирающую стену второго этажа. С незапамятных времен скользили по этим желобам тяжелые ставни и закреплялись толстым железным брусом, с гремящими болтами; запер подобным хитроумным способом обе двери, владе-

[1] По обету (*лат.*), то есть приношения церкви.

лец лавки мог чувствовать себя в своем доме, как в крепости. Осматривая помещение, где на памяти лимузенцев в первое двадцатилетие нашего века всегда громоздились горы железа и меди — старые пружины, ободья, колокола и всякий металлический лом, остающийся на месте разрушенных зданий,— любители старины по длинной полоске сажи определяли место, где проходила труба кузнечного горна — подробность, подтверждавшая предположения археологов о первоначальном назначении лавки. На втором этаже были расположены одна комната и кухня; на третьем — две комнаты. Чердак служил складом для вещей более ценных, чем товары, сваленные как попало в лавке.

Этот дом был сначала снят внаймы, а несколько позже и куплен неким Совиа, бродячим торговцем, который с 1792 по 1796 год исколесил все деревни вокруг провинции Овернь, обменивая горшки, блюда, тарелки, стаканы — словом, домашнюю утварь, необходимую даже в самом скромном хозяйстве,— на никому не нужное железо, медь, свинец, на любой металл, в каком бы то ни было виде. Овернец отдавал глиняный горшок ценой в два су за фунт свинца или за два фунта железа, за ломаную кирку или разбитую лопату, за старый, продавленный котелок; и всегда, являясь судьей в собственной тяжбе, он взвешивал железо сам. На третий год Совиа стал скупать еще и жесть. В 1793 году ему удалось приобрести продававшийся с национальных торгов за́мок. Он разобрал его по камешку, а полученную прибыль, без сомнения, удвоил, пустив ее в оборот по всем отраслям своей торговли. Впоследствии первые удачи подсказали ему мысль поставить дело на широкую ногу, и он обратился с таким предложением к своему земляку, жившему в Париже. Таким образом, мысль о создании «Черной шайки», столь прославившейся своими опустошительными набегами, зародилась в мозгу старого Совиа, бродячего торговца, которого весь Лимож в течение двадцати семи лет мог видеть в жалкой лавке среди разбитых колоколов, ломаных кос, цепей, чугунков, мятых свинцовых труб и всевозможного железного хлама. Надо отдать ему справедливость, он никогда не подозревал ни о степени известности, ни о размахе этого сообщества; он пользовался его поддержкой

лишь в соответствии с капиталом, который доверил знаменитому банкирскому дому Брезака.

В 1797 году, устав от кочевой жизни по ярмаркам и деревням, овернец осел в Лиможе и там женился на дочери вдовца жестянщика, по имени Шампаньяк. После смерти тестя он купил дом, где и обосновался на постоянном месте со своею торговлей железным товаром, пробродив года три перед этим вместе с женой по окрестным деревням.

Совиа сравнялось пятьдесят лет, когда он женился на дочери старого Шампаньяка, но и ей, пожалуй, было не меньше тридцати. Девица Шампаньяк не отличалась ни красотой, ни привлекательностью; она родилась в Оверни, и ее местный говор оказался для жениха главным соблазном; кроме того, она обладала могучим сложением, при котором женщине не страшна самая тяжелая работа. Во всех поездках жена не отставала от Совиа. Она таскала на спине мешки с железом и свинцом и правила лошадью, запряженной в ветхий фургон, набитый горшками, при помощи которых муж ее занимался скрытым ростовщичеством. Смуглая, румяная, пышущая здоровьем, девица Шампаньяк открывала в улыбке белые крупные, как миндаль, зубы; а грудь и бедра этой женщины говорили о том, что сама природа создала ее для материнства. Если такая крепкая девушка не вышла замуж раньше, то лишь по вине своего отца, который хотя и не читал Мольера, но твердо усвоил слова Гарпагона: «Без приданого!» Однако отсутствие приданого не испугало Совиа. К тому же пятидесятилетнему мужчине не пристало быть разборчивым, и, кроме того, он рассчитал, что жена избавит его от расхода на прислугу. Он и не подумал прикупить что-нибудь к обстановке своей комнаты, где со дня свадьбы и до переезда в новый дом неизменно стояли на своих местах кровать с резными колонками, украшенная фестончатым пологом и занавесками из зеленой саржи, сундук, комод, четыре кресла, стол и зеркало — все собранное где попало. В верхней части сундука хранилась разрозненная оловянная посуда. Нетрудно понять, что кухня была под стать спальне. Ни муж, ни жена не знали грамоте — несущественный пробел в их воспитании, который, впрочем, не мешал им превосходно считать и дер-

жать свою торговлю в цветущем состоянии. Совиа не покупал ни одной вещи, если не был уверен, что при перепродаже она не принесет ему сто процентов прибыли. Чтобы не тратиться на ведение книг и счетов, он и платил и получал только наличными. Память у него была безупречная; пролежи товар в лавке хоть пять лет, супруги Совиа до последнего лиара будут помнить его покупную цену и нарастающие каждый год проценты.

Матушка Совиа, кроме часов, занятых хлопотами по хозяйству, все время проводила, сидя на колченогом стуле, прислоненном к угловому столбу лавки; она вязала, поглядывая на прохожих и охраняя свое железо, а не то сама продавала, взвешивала и отпускала его, если Совиа находился в разъездах за товаром.

На рассвете хозяин с грохотом отодвигал ставни, из лавки стремглав выскакивала голодная собака, а вслед за тем появлялась тетушка Совиа, чтобы помочь мужу разложить на выступах стены по улице Старой почты и по улице Ситэ гнутые пружины, звонки, бубенчики, ломаные ружейные дула и всякий железный хлам, который, заменяя вывеску, придавал довольно жалкий вид лавке, где зачастую набиралось на двадцать тысяч франков свинца, стали и меди.

Никогда бывший бродячий торговец и его жена не говорили о своем богатстве; они скрывали его, как злодей скрывает преступление; их долгое время подозревали в подпиливании луидоров и экю. Когда умер старый Шампаньяк, супруги Совиа и не подумали составить опись имущества. С проворством крыс они обшарили весь дом, обчистили его как мертвое тело и сами продали в своей лавке оставшийся жестяной товар. Раз в год, в декабре, Совиа отправлялся в Париж, пользуясь в таких случаях почтовой каретой. Умные головы квартала полагали, что именно затем, чтобы сохранить в тайне свое богатство, Совиа и возит денежки в Париж самолично. Позже стало известно, что, будучи еще в молодости связан делами с одним из самых крупных торговцев скобяным товаром в Париже, тоже овернцем, Совиа вносил свои фонды в банкирский дом Брезака, ставший опорой знаменитого сообщества, прозванного «Черной шайкой»,

которое было создано, как говорилось выше, по совету Совиа.

Совиа был невысокий, толстый человечек с усталым лицом, отличавшийся необычайно честным видом, который привлекал к нему клиентов и немало способствовал удачной торговле. Он был скуп на уговоры и внешне проявлял полное безразличие, что всегда помогало выполнению его замыслов. Здоровый румянец едва проступал сквозь черную металлическую пыль, покрывавшую его тронутое следами оспы лицо и вьющиеся волосы. Лоб, не лишенный благородства, напоминал классический лоб, которым почти все художники наделяют святого Петра, самого грубого, самого *народного* и вместе с тем самого лукавого из всех апостолов. У него были руки неутомимого труженика, широкие, плотные, квадратные, изрезанные глубокими трещинами. Грудь отличалась мощной мускулатурой. Он никогда не расставался с одеждой бродячего торговца: грубые, подбитые гвоздями башмаки, синие, связанные женой чулки, заправленные под кожаные гетры, бархатные штаны бутылочного цвета, клетчатый жилет, поверх которого висел на отполированной временем, точно сталь, железной цепочке медный ключ от серебряных часов, короткополая куртка того же бархата, что и штаны, а вокруг шеи — цветной галстук, до блеска затертый под бородой. По воскресным и праздничным дням Совиа надевал сюртук коричневого сукна, который носил столь бережно, что заменить его новым пришлось лишь два раза за двадцать лет.

Жизнь каторжников могла бы показаться роскошной по сравнению с жизнью четы Совиа. Мясо они ели только по большим церковным праздникам. Всякий раз, расходуя деньги на повседневные нужды, матушка Совиа без конца рылась в двух карманах, спрятанных у нее между платьем и нижней юбкой, и, вытащив какую-нибудь дрянную подпиленную монету — экю ценой в шесть ливров или в пятьдесят пять су,— долго смотрела на нее с отчаянием, не решаясь разменять ее. Обычно супруги Совиа довольствовались селедкой, красной фасолью, сыром, крутыми яйцами, в виде добавления к салату, и самыми дешевыми овощами, смотря по сезону. Никогда они не делали запасов, разве что несколько свя-

зок чесноку или луку, которые ничего не боялись и стоили не бог весть сколько. То малое количество дров, которое сжигали они за зиму, матушка Совиа покупала у встречных дровосеков, и ровно на день. Зимой в семь часов, летом в девять семейство укладывалось спать, заперев лавку и оставив ее под охраной огромного пса, который днем искал себе пропитания по всем кухням квартала. Свечей матушка Совиа сжигала едва ли на три франка в год.

Но вот скудную трудовую жизнь этих людей осветила радость, посланная самой природой, и по этому случаю они впервые решились на крупные издержки. В мае 1802 года у матушки Совиа родилась дочь. Она рожала одна, без всякой помощи и через пять дней после родов уже хлопотала по хозяйству. Кормила ребенка она сама, сидя на своем стуле, под открытым небом, и, пока малютка сосала, мать неустанно торговала железом. Молоко ей ничего не стоило, и она кормила дочь грудью до двух лет, что, впрочем, не принесло той вреда. Вероника росла самым красивым ребенком в нижнем городе, прохожие всегда останавливались полюбоваться ею. И тут соседки обнаружили у старого Совиа признаки чувствительности, хотя до сих пор все думали, что он лишен ее начисто. Пока жена готовила ему обед, отец держал малютку на руках и укачивал ее, напевая овернские песенки. Рабочие не раз видели, как он подолгу стоял, любуясь уснувшей на руках у матери Вероникой. Ради дочери он старался смягчить свой грубый голос и даже вытирал ладони о штаны, прежде чем взять ее. Когда Вероника начала ходить, отец часто усаживался в нескольких шагах от нее на корточки и протягивал ей руки, умильно улыбаясь, отчего плясали все глубокие железные складки на его жестком, суровом лице. Этот человек, казалось, сделанный из свинца, железа и меди, неожиданно превращался в человека из плоти и крови. Когда он стоял, прислонясь к своему столбу, неподвижный, словно статуя, крик Вероники сразу приводил его в смятение. Он бросался к ней через горы железной рухляди, среди которой прошли все детские годы девочки, игравшей обломками металла, сваленными в углах просторной лавки, ни разу не поранив себя; она бегала иг-

рать и на улицу или к соседям, но мать никогда не теряла ее из виду.

Нелишне будет заметить, что супруги Совиа отличались чрезвычайной набожностью. В самый разгар революции Совиа свято соблюдал воскресные дни и все праздники. Дважды он чудом избежал гильотины, грозившей ему за посещение мессы, которую служил не присягнувший священник. Наконец он все-таки угодил в тюрьму за то, что помог бежать одному епископу, которому спас жизнь. По счастью, бродячий торговец знал толк в напильниках и железных прутьях и убежал без труда. Совиа был приговорен к смертной казни заочно и, к слову сказать, так и не снял с себя этот приговор — он умер, будучи уже мертвым. Жена разделяла его благочестивые чувства. Скаредность этой четы отступала только перед голосом религии. Старые торговцы железом щедро платили за освященные облатки и опускали монеты в церковную кружку. Если викарий собора Сент-Этьен приходил к ним за помощью, Совиа или его жена без всяких ужимок и отговорок немедленно выкладывали то, что считали своей долей в милостыне, собираемой по всему приходу. После 1799 года ниша в столбе дома, где стояла изувеченная статуэтка Мадонны, украшалась на пасху веточками букса. А когда зацветали цветы, прохожие часто видели перед Мадонной свежие букеты в стаканчиках синего стекла, особенно после рождения Вероники. Во время религиозных процессий супруги Совиа заботливо украшали свой дом полотнищами и цветочными гирляндами, а также принимали участие в сооружении и убранстве уличного алтаря — гордости их перекрестка.

Вероника Совиа была, разумеется, воспитана как добрая христианка. В возрасте семи лет к ней приставили воспитательницей монахиню из Оверни, которой супруги Совиа оказали в свое время кое-какие услуги. Оба они, когда речь шла только о них самих или их времени, бывали любезны и услужливы, как все бедняки, которые помогают друг другу с известной сердечностью. Монахиня научила Веронику читать и писать, познакомила ее с историей народа-избранника, с Катехизисом, Ветхим и Новым заветом и самую малость со счетом. Вот и

все — сестра монахиня полагала, что этого достаточно, если не слишком много.

К девяти годам Вероника поражала всех жителей квартала своей красотой. Каждый любовался личиком, которое обещало стать в будущем достойным кисти художников, стремящихся к прекрасному идеалу. Девочку прозвали *маленькой мадонной,* в ней и сейчас уже можно было угадать будущую стройную фигуру и нежную белую кожу. Личико мадонны обрамляли пышные белокурые волосы, подчеркивающие чистоту ее черт. Тот, кто видел чудесную маленькую Марию на картине Тициана «Введение во храм», поймет, какова была в детстве Вероника: та же простодушная невинность, то же ангельское изумление во взоре, та же простая и благородная осанка, та же поступь инфанты.

В одиннадцать лет Вероника заболела черной оспой и осталась жива только благодаря заботам сестры Марты. За те два месяца, что девочка была в опасности, супруги Совиа показали соседям всю меру своей родительской любви. Совиа прекратил поездки за товаром, все время он сидел в лавке, поминутно бегая наверх к дочери, и бодрствовал ночи напролет у ее постели вместе с женой. Его немое горе казалось таким глубоким, что соседи не осмеливались заговорить с ним; они смотрели на него с состраданием и справлялись о здоровье Вероники только у сестры Марты. В тот день, когда опасность стала особенно грозной, прохожие и соседи увидели, как из глаз Совиа, первый и единственный раз за всю его жизнь, полились по изрезанным морщинами щекам слезы; он не вытирал их; несколько часов просидел он как пришибленный, не решаясь подняться к дочери, глядя перед собой невидящим взглядом — в то время его можно было обокрасть.

Вероника была спасена, но красота ее погибла. Это прелестное лицо окрасилось ровным красно-коричневым тоном и покрылось грубыми рябинами, глубоко пробившими нежную кожу. Потемневший лоб тоже был отмечен клеймом жестокой болезни. Самым разительным казалось несоответствие между кирпичным цветом лица и белокурыми волосами — оно разрушало былую гармонию. Все эти глубокие и неровные разрывы кожной ткани исказили тонкий профиль, нарушили чистоту ли-

ний носа, потерявшего свою греческую форму, и подбородка, раньше нежного, как белый фарфор. Болезнь пощадила лишь то, чего не могла поразить: глаза и зубы. Вероника не утратила также грацию и красоту своего тела, пластичность его линий и гибкость талии. В пятнадцать лет она была недурна собой и, что особенно утешало родителей, стала скромной и доброй девушкой, деятельной, трудолюбивой и домовитой.

Когда Вероника совсем поправилась, то после первого причастия отец и мать отвели ей две комнаты на третьем этаже. Совиа, столь суровый к самому себе и к своей жене, тут проявил известную заботу о жизненных удобствах; он испытывал смутное желание утешить дочь в утрате, значение которой она сама еще не понимала. Потеряв красоту, которая являлась гордостью этих двух людей, Вероника стала для них еще более дорогой и ненаглядной. В один прекрасный день Совиа притащил на спине купленный по случаю ковер и сам повесил его в комнате Вероники. При продаже с торгов какого-то замка он придержал для нее стоявшую в спальне знатной дамы кровать с красным камчатным пологом, красные камчатные занавеси и обитые такой же тканью кресла и стулья. Этими старинными вещами, настоящую цену которым он так и не узнал, Совиа обставил комнату дочери. На выступе под окном он пристроил горшки с резедой и всякий раз привозил из своих поездок то анютины глазки, то еще какие-нибудь цветы, которыми разживался, по-видимому, у садовников или трактирщиков. Если бы Вероника умела сравнивать и могла судить о характере, образе мыслей и невежестве своих родителей, она оценила бы, сколько горячей любви проявлялось в подобных мелочах; но она просто любила их от всей души и ни о чем не раздумывала.

У Вероники было лучшее белье, какое только могла раздобыть у торговцев ее мать. Тетушка Совиа позволяла дочери выбирать для платьев любую материю по ее вкусу. И отец и мать нарадоваться не могли на скромность дочери, у которой не было ни малейшей склонности к мотовству. Вероника довольствовалась голубым шелковым платьем для праздничных дней, в рабочие дни зимой она носила платье из грубой мериносовой шерсти, а летом — из полосатого ситца. По воскресеньям она хо-

дила с родителями в церковь, а после вечерни — на прогулку по берегам Вьены или в окрестностях города. В будние дни Вероника сидела дома, вышивая ковер. Деньги от его продажи предназначались бедным. Итак, она отличалась нравом самым простым, самым целомудренным и примерным. Иногда она шила белье для богоугодных заведений. Работу она перемежала чтением и читала только те книги, какие давал ей викарий собора Сент-Этьен, священник, с которым познакомила семейство Совиа сестра Марта.

Законы семейного скопидомства на Веронику не распространялись. Мать сама готовила ей отдельно, радуясь, что может кормить ее на славу. Родители продолжали питаться орехами, черствым хлебом, селедкой и фасолью с прогорклым маслом, но для Вероники ничто не казалось им достаточно вкусным и свежим.

— Вероника, должно быть, вам стоит немало,— говаривал папаше Совиа живущий напротив шляпник. Он имел виды на Веронику для своего сына, расценивая состояние торговца железом не менее, как в сто тысяч франков.

— Да, сосед, да,— отвечал старый Совиа.— Она могла бы хоть десять экю спросить у меня, и я все равно бы ей дал. У нее есть все, чего она только хочет, но сама она никогда ничего не попросит, овечка моя кроткая!

Вероника действительно не знала цены вещам; она никогда ни в чем не нуждалась. Золотую монету она увидела впервые в день своей свадьбы, у нее даже не было своего кошелька. Мать покупала и давала дочке все, что ей было угодно; даже когда Вероника хотела подать милостыню нищему, она искала мелочь в карманах у матери.

— Недорого же она вам стоит,— говорил тогда шляпник.

— Вот вы как думаете! — возражал Совиа.— Вы бы не уложились и в сорок экю за год. А ее комната! Одной мебели там больше, чем на сотню экю; но когда у тебя одна-единственная дочь, можно позволить себе такую роскошь. В конце концов та малость, что у нас есть, достанется ей целиком.

— Малость? Да вы, наверно, богач, папаша Совиа. Вот уж сорок лет вы торгуете без всякого урона.

— Ну, не перережут же мне горло за тысячу двести франков,— отвечал старый торговец железом.

С того самого дня, как Вероника утратила нежную красоту, привлекавшую к ее детскому личику восхищенные взоры всех жителей квартала, Совиа удвоил свою энергию. Торговля его пошла настолько бойко, что теперь он ездил в Париж по нескольку раз в год. Все поняли, что он хотел богатством возместить то, что он на своем языке называл убытком дочери. Когда Веронике сравнялось пятнадцать лет, в порядках дома произошли большие перемены. Закончив трудовой день, отец и мать поднимались в комнату дочери, и весь вечер она при свете лампы, поставленной позади наполненного водой стеклянного шара, читала им «Жития святых» или «Назидательные письма» — одним словом, книги, которые давал ей викарий. Старуха Совиа вязала, рассчитывая окупить таким образом стоимость масла. Соседи могли наблюдать из своих окон двух стариков, которые, застыв в своих креслах, словно китайские болванчики, с восхищением слушали чтение дочери, напрягая все силы своего ума, глухого ко всему, что не было торговлей или верой в бога. Бывали, разумеется, девушки, столь же чистые, как Вероника, но ни одна из них не была чище или скромнее. Ее исповедь могла удивить ангелов и порадовать святую деву.

В шестнадцать лет Вероника достигла полного расцвета. Она была среднего роста — ни отец, ни мать у нее не были высокими; но фигура ее отличалась изящной гибкостью и той пленительной мягкостью линий, какая с трудом дается художникам, но свойственна самой природе, которая тонким резцом высекает гармонические формы, всегда заметные глазу знатока, даже сквозь белье и грубые одежды, в конце концов лишь прикрывающие и драпирующие обнаженное тело. Чуждая притворства, Вероника подчеркивала свою прелесть простыми и естественными движениями, ничуть о том не думая. Красота ее возымела полную силу, если дозволено будет заимствовать в юридическом языке это выразительное определение. У Вероники были округлые плечи уроженки Оверни, пухлые красные руки хорошенькой трактир-

ной служанки, ноги сильные, но стройные и под стать всей фигуре.

Иногда с Вероникой происходили восхитительные, чудесные превращения, обещавшие подарить любви скрытую от всех глаз женщину. Должно быть, этот феномен и вызывал у родителей восторги перед ее красотой, которую, к великому удивлению соседей, они называли божественной. Первыми заметили эту особенность священник собора и верующие, стоявшие рядом с алтарем. Когда Вероника загоралась каким-нибудь сильным чувством — а религиозный восторг, охвативший ее во время первого причастия, разумеется, был для такой невинной девушки одним из самых сильных волнений,— казалось, будто внутренний свет стирал своими лучами ужасные следы оспы, и чистое, лучезарное личико ее детства вновь возникало в былой своей красоте. Оно сияло сквозь плотный покров, наброшенный болезнью, как сияет цветок, таинственно проступая из освещенной солнцем морской глубины. Вероника менялась всего на несколько секунд: маленькая мадонна появлялась и исчезала, как небесное видение. Ее зрачки, наделенные особой подвижностью, в такие минуты словно расцветали, и голубая радужная оболочка превращалась в узкое колечко. Это мгновенное превращение глаза, наблюдаемое у орлов, довершало удивительную перемену, происходившую во внешности Вероники. Буря ли сдерживаемых страстей, или сила, растущая из глубины души, расширяла ее зрачки среди бела дня, а не в темноте, как случается это с прочими людьми, и заливала чернью лазурь этих ангельских глаз? Как бы там ни было, никто не мог без волнения смотреть на Веронику, когда она после единения с богом возвращалась от алтаря на свое место, являясь всему приходу в былом своем блеске. В эти минуты красота ее затмевала прелесть самых прекрасных женщин. Какое очарование могло таиться для влюбленного и ревнивого мужчины в этом телесном покрове, скрывающем его супругу от посторонних взоров, в покрове, сорвать который дозволено только руке любви!

Губы Вероники были восхитительно изогнуты и словно подкрашены киноварью, так играла в них горячая чистая кровь. Подбородок и нижняя часть лица были не-

много тяжелы, в том смысле, какои придают этому слову художники, но эта тяжеловесная форма, согласно безжалостным законам физиогномики, являлась признаком почти болезненной силы страстей. Прекрасно вылепленный царственный лоб венчала корона блестящих пышных волос, принявших теперь каштановый оттенок.

С шестнадцати лет и до дня своего замужества Вероника была грустна и задумчива. Живя в глубоком одиночестве, она, как все одинокие души, предавалась созерцанию своего внутреннего мира: развития мысли, прихотливого сплетения образов, свободного полета чувств, согретых чистой жизнью. Горожане, проходившие по улице Ситэ в погожий день, могли, подняв голову, увидеть дочку Совиа, которая, сидя в задумчивости у окна, шила, вязала или вышивала по канве. Ее головка четко выделялась среди цветов, придававших поэтический вид старому окну с бурым растрескавшимся подоконником и тусклыми стеклами в свинцовых переплетах. Порой отсвет красных камчатных занавесей падал на эту и без того колоритную головку; подобно алому цветку, Вероника царила в воздушном саду, заботливо разведенном ею на окне. В этом старом, прелестном своей наивностью доме главной прелестью был портрет молодой девушки, достойный Мьериса, Ван Остаде, Терборга или Герарда Доу и вставленный в одну из тех покосившихся, побуревших оконных рам, которые так удавались их кисти. Когда какой-нибудь чужеземец, пораженный этим видением, раскрыв рот, устремлял свой взор на третий этаж, старик Совиа высовывал голову на улицу, чуть не теряя равновесие, в полной уверенности, что дочь его сидит у окна. Убедившись в этом, он, потирая руки, говорил жене на овернском наречии: «Э! Старуха, погляди, как любуются на твою дочку!»

В 1820 году в простой и безмятежной жизни, которую вела Вероника, произошел случай, возможно, оказавший губительное влияние на все ее будущее, хотя для любой другой юной особы мог и не иметь никакого значения. Как-то в один из отмененных революцией праздничных дней — в эти дни семейство Совиа запирало лавку и отправлялось в церковь или погулять, хотя весь город продолжал работать,— Вероника, направляясь с

родителями в загородную прогулку, прошла мимо книжного магазина и увидела на выставке книгу под названием «Павел и Виргиния». Прельстившись красивой гравюрой, она захотела купить книжку, и отец, заплатив сто су за роковой томик, сунул его в объемистый карман своего сюртука.

— Не следует ли показать это господину викарию? — спросила мать, которой всякая печатная книга казалась чем-то предосудительным.

— Я и сама подумала,— просто ответила Вероника.

Девушка всю ночь провела за чтением романа — одной из самых трогательных книг, написанных на французском языке. Художник, нарисовавший эту почти библейскую и достойную младенческих лет человечества взаимную любовь, перевернул душу Вероники. Божественная или дьявольская рука сорвала завесу, ранее скрывавшую от нее природу. Таившаяся в прекрасной девушке маленькая мадонна наутро увидела, что цветы ее стали еще краше,— она поняла их символический язык, она устремила к лазурному небосводу взор, полный восторга, и беспричинные слезы полились из ее глаз.

В жизни каждой женщины наступает минута, когда ей дано постичь свою судьбу, когда все ее существо, доселе безмолвное, властно дает о себе знать. Дремлющее в женщине шестое чувство не всегда пробуждает мужчина, избранный ее нечаянным беглым взглядом. Чаще, пожалуй, его пробуждает какое-нибудь неожиданное зрелище, прекрасный ландшафт, чтение, пышное религиозное празднество, сочетание естественных приятных запахов, чудесное, окутанное легким туманом утро, ласкающие звуки божественной музыки — одним словом, некое внезапное движение, совершившееся в тайниках нашей души или тела. Одинокой девушке, замкнувшейся в своем мрачном доме, воспитанной простыми, чуть ли не грубыми людьми, девушке, которая никогда не слыхала ни одного нечистого слова, не постигла своим невинным сознанием ни одной дурной мысли, ангелоподобной ученице сестры Марты и доброго викария тайну любви, составляющей жизнь женщины, открыла пленительная книга, открыл гений. Для любой другой девушки это чтение было бы безопасным. Для Вероники эта книга оказалась страшнее книги непри-

стойной. Совращение — понятие относительное. Есть возвышенные девственные натуры, которые можно совратить одной-единственной мыслью и нанести им тем больший ущерб, что они и не подозревают о необходимости защиты.

На другой день Вероника показала книгу доброму священнику и получила полное его одобрение, ибо роман «Павел и Виргиния» славился как книга детская, невинная и чистая. Но жаркое дыхание тропиков и красота пейзажей, но почти младенческая непорочность почти святой любви произвели глубокое впечатление на Веронику. Кроткий благородный образ автора внушил ей роковое человеческое верование — поклонение Идеалу. Она предалась мечтам о возлюбленном, подобном Павлу. Ее воображение рисовало сладостные картины в лесах благоуханного острова. В ребяческом увлечении она назвала зеленый островок на Вьене, расположенный ниже Лиможа, почти напротив предместья Сен-Марсиаль, островом Иль-де-Франс. Ее воображение заселило этот островок фантастическими созданиями, которые придумывают все молодые девушки, наделяя их собственными совершенствами. Долгие часы она проводила у окна, разглядывая проходящих мимо ремесленников, единственных мужчин, о которых позволяло ей думать скромное положение ее родителей. Привыкнув уже к мысли о браке с человеком из народа, она все же чувствовала в себе глубокое отвращение ко всякой грубости. Вот почему она любила придумывать романы, какие все молодые девушки сочиняют для самих себя. Быть может, она лелеяла, с пылкостью, естественной для девственного и утонченного воображения, прекрасную мысль облагородить одного из этих людей, поднять его на ту высоту, где парили ее мечты; быть может, она превращала в Павла какого-нибудь юношу, избранного ее взглядом, лишь затем, чтобы воплотить в живом существе свои безумные грезы,— так схваченные морозом испарения атмосферной влаги кристаллизуются на ветках придорожного дерева. Порой в своих мечтах она устремлялась в бездонные глубины, и если часто на лбу ее, после возвращения с надзвездных высот, сиял отблеск небесного сияния, еще чаще она, казалось, держа-

ла в руках цветы, собранные на берегу потока, за которым следовала до самого дна пропасти.

В теплую погоду Вероника, взяв под руку старого отца, отправлялась на прогулку вдоль берега Вьены и там с восторгом любовалась красотой неба и полей, пурпурным великолепием заходящего солнца или нарядной прелестью обрызнутого росой утра. Весь ее облик дышал подлинной поэзией. Она стала тщательно приглаживать и завивать буклями свои волосы, которые раньше просто заплетала в косы и укладывала вокруг головы. В туалете ее появилась некоторая изысканность. Дикая виноградная лоза, свободно прильнувшая к старому вязу, была теперь пересажена, подрезана и обвилась вокруг кокетливой зеленой решетки.

В декабрьский вечер 1822 года к старому Совиа, недавно вернувшемуся из Парижа,— ему в ту пору уже исполнилось семьдесят лет,— пришел викарий. Поговорив о том, о сем, викарий сказал:

— Подумайте о замужестве своей дочери, Совиа. В вашем возрасте не следует откладывать выполнение столь важного долга.

— Да захочет ли еще Вероника выйти замуж?—спросил удивленный старик.

— Как вам будет угодно, батюшка,— ответила она, опустив глаза.

— Выдадим мы ее, выдадим! — с улыбкой воскликнула толстая матушка Совиа.

— Что же ты, мать моя, ничего не сказала мне перед отъездом? — возразил Совиа.— Теперь придется снова ехать в Париж.

Жером-Батист Совиа — в глазах которого богатство стоило любого счастья, а любовь и брак были лишь средством передать добро своему другому я,— поклялся выдать Веронику за богатого буржуа. Давно уже эта мысль превратилась у него в твердо принятое решение. Его сосед, богатый шляпник, имевший две тысячи ливров дохода, просил уже у Совиа для своего сына, которому он собирался передать мастерскую, руку Вероники, девушки знаменитой во всем квартале своим примерным поведением и благочестием. Совиа вежливо отказал, даже не сообщив об этом Веронике. На другой день после того, как викарий, особа важная в глазах су-

пругов Совиа, заговорил о необходимости выдать замуж Веронику, чьим духовным наставником он являлся, старик побрился, надел свой праздничный костюм и вышел из дому, ни слова не сказав ни жене, ни дочери. И та и другая поняли, что отец пустился на поиски зятя. Старый Совиа направился к г-ну Граслену.

Господин Граслен, богатый лиможский банкир, в свое время, как и Совиа, приехал без гроша в кармане из Оверни искать счастья. Поступив рассыльным к одному финансисту, он, подобно многим из них, сделал карьеру благодаря своей бережливости, а также и счастливым обстоятельствам. Став в двадцать пять лет кассиром, а через десять лет компаньоном банкирского дома Перре и Гростет, он оказался хозяином конторы, после того как два старых банкира устранились от дел и уехали в свои поместья, оставив под невысокие проценты свой капитал в его распоряжение. Пьер Граслен, достигший к тому времени сорока семи лет, владел, если верить слухам, по меньшей мере шестьюстами тысячами франков. Недавно слава о богатстве Пьера Граслена разнеслась по всему департаменту. Все восхваляли его щедрость, выразившуюся в том, что он выстроил себе в новом квартале близ площади Деревьев, призванном сообщить приятный облик Лиможу, красивый дом, стоящий на красной линии и фасадом своим напоминающий общественное здание. Меблировать дом, законченный уже полгода назад, Пьер Граслен не решался; дом стоил ему так дорого, что он под любыми предлогами оттягивал свое переселение. Самолюбие, возможно, увлекло его за пределы тех мудрых законов, которые до сего времени правили всей его жизнью. Здравый смысл коммерсанта подсказал ему, что внутреннее устройство дома должно быть в полном соответствии с ясно выраженным характером фасада. Мебель, серебро и другие предметы роскоши, необходимые для жизни в таком особняке, должны были, согласно его расчетам, стоить не меньше, чем сама постройка. Невзирая на пересуды всего города, насмешки коммерсантов и дружеские уговоры ближних, банкир по-прежнему ютился в первом этаже старого, сырого и грязного дома, по улице Монтанманинь, где положил начало своему богатству. Общество злословило; однако Граслен заслужил одобрение двух своих быв-

ших компаньонов, которые поощряли в нем столь необычную твердость.

Богатство и образ жизни такого человека, как Пьер Граслен, не могли не вызвать интереса во многих семьях провинциального города. Не одним предложением связать себя брачными узами пытались соблазнить г-на Граслена за последние десять лет. Но холостая жизнь была как нельзя более удобна для человека, занятого с утра до вечера, всегда утомленного разъездами, заваленного работой, выслеживающего выгодные дела, как охотник выслеживает дичь. Потому-то Граслен и не попался ни в одну из ловушек, расставленных ему честолюбивыми мамашами, жаждавшими заполучить для своих дочерей столь блестящего жениха. Граслен, этот Совиа высшей сферы деловой деятельности, тратил на себя не более сорока су в день, а одевался не лучше своего второго приказчика. Двух приказчиков и рассыльного ему было достаточно, чтобы ворочать огромными и сложными делами. Один приказчик вел корреспонденцию, другой ведал кассой. Душой всего дела был сам Пьер Граслен. Оба приказчика, принадлежавшие к его родне, были людьми надежными, толковыми и привычными к работе, как их хозяин. Что же касается рассыльного, то жизнь его мало отличалась от жизни ломовой лошади.

Граслен поднимался в любое время года в пять часов утра, а ложился не позже одиннадцати; он пользовался услугами одной только поденщицы, старой оверни, которая занималась его кухней. Фаянсовая посуда и грубое домотканое белье были в полном соответствии с заведенным в доме порядком. Старухе оверне был дан строгий приказ тратить не более трех франков в день на все нужды домашнего хозяйства. Мальчишка-рассыльный выполнял также обязанности слуги. Приказчики убирали свои комнаты сами. Почерневшие деревянные столы, продавленные соломенные стулья, шкафы для бумаг, жалкие деревянные койки — вся обстановка конторы и расположенных над ней трех комнат не стоила и тысячи франков, включая сюда огромную замурованную в стене железную кассу, доставшуюся Граслену в наследство от его предшественников, подле которой по

ночам спал рассыльный вместе с двумя сторожевыми псами.

Граслен не часто бывал в обществе, где столь усиленно интересовались его особой. Два-три раза в год он обедал у главного сборщика податей, с которым его связывали дела. Иногда также бывал на обедах в префектуре,— к его великому сожалению, он был избран членом совета департамента. «Там только время теряешь»,— говаривал он. Случалось, собратья убеждали его позавтракать или пообедать после заключения какой-нибудь сделки. Наконец, он обязательно должен был посещать своих бывших хозяев, которые проводили зиму в Лиможе. Граслен так мало дорожил светскими связями, что за двадцать пять лет не предложил никому и стакана воды. Когда Граслен проходил по улице, все говорили ему вслед: «Вот господин Граслен!» Другими словами, вот человек, который пришел в Лимож без гроша в кармане, а теперь обладает огромным состоянием. Банкир из Оверни являлся образцом, на который указывали отцы сыновьям, и поводом для язвительных насмешек, которыми жены осыпали мужей. Не трудно догадаться, по каким мотивам человек, ставший основным стержнем финансовой машины Лимузена, решительно отвергал преследовавшие его разнообразные брачные предложения. Дочери банкиров Перре и Гростета вышли замуж раньше, чем положение Граслена позволило бы ему на них жениться, но поскольку у каждой из этих дам были малютки-дочери, то Граслена в конце концов оставили в покое, предположив, что старый Перре или проницательный Гростет заранее подготовили брак Граслена с одной из своих внучек.

Совиа более внимательно и более серьезно, чем кто бы то ни было, следил за неуклонным восхождением своего земляка, с которым свел знакомство раньше, чем тот обосновался в Лиможе; но разница в их положении стала так велика, по крайней мере на поверхностный взгляд, что старая дружба, и без того неглубокая, почти совсем захирела. Тем не менее Граслен, не забывая земляка, охотно болтал с Совиа, когда им случалось встретиться. Оба они по старой привычке были на «ты», но только, если разговаривали на овернском наречии. Когда сборщик налогов в Бурже, младший из братьев Гро-

стет, выдал в 1823 году свою дочь за младшего сына графа де Фонтена, Совиа понял, что Гростеты отнюдь не собираются принимать в свою семью Граслена.

После беседы с банкиром папаша Совиа вернулся к обеду весьма довольный и, войдя в комнату дочери, объявил обеим женщинам:

— Вероника будет госпожой Граслен.

— Госпожой Граслен? — воскликнула матушка Совиа в изумлении.

— Может ли это быть? — проронила никогда не видевшая Граслена Вероника, которой он представлялся столь же недоступным, как Ротшильд парижской гризетке.

— Да, дело сделано! — торжественно произнес старый Совиа.— Граслен великолепно обставит свой дом; он выпишет для нашей дочери лучшую карету из Парижа, заведет лучших лимузенских лошадей, купит для нее на пять тысяч франков земли и переведет на ее имя свой особняк. Одним словом, Вероника станет первой в Лиможе, самой богатой в департаменте, а из Граслена будет веревки вить!

Полученное ею воспитание, религиозные убеждения, беспредельная любовь к родителям и полное неведение помешали Веронике найти хоть какое-нибудь возражение; она даже не подумала, что ею распоряжались без ее согласия. На следующий день Совиа отправился в Париж и пробыл в отлучке целую неделю.

Пьер Граслен, не будучи, как легко догадаться, болтуном, не стал терять времени даром. Сказано — сделано. В феврале 1822 года необычайная новость, словно удар грома, поразила весь Лимож: особняк Граслена роскошно меблируется: целыми днями одна за другой прибывают из Парижа повозки и разгружаются во дворе. По городу побежали слухи о прекрасной, подобранной с изысканным вкусом мебели в старинном или современном стиле согласно моде. Знаменитый ювелир Одио прислал с почтовой каретой превосходное серебро. Наконец прибыли три экипажа: коляска, купе и кабриолет, укутанные в солому, словно драгоценности. Г-н Граслен женится! Эти слова в течение целого вечера слетали со всех уст, об этом заговорили в салонах высшего общества, в семейных домах, в лавках, в предместьях, а вско-

ре и во всем Лимузене. Но на ком? Этого никто не знал. В Лиможе появилась тайна.

После возвращения Совиа из Парижа в половине десятого состоялся первый вечерний визит г-на Граслена. Вероника ждала его, надев свое голубое шелковое платье с кружевной вставкой, набросив на плечи батистовую косынку с широким рубцом. Ее разделенные прямым пробором, до блеска приглаженные волосы были стянуты сзади пучком à la grecque [1]. Она сидела на мягком стуле рядом с матерью, устроившейся у камина в глубоком обитом красным бархатом кресле с резной спинкой — остаток роскоши старого замка. В очаге ярко пылал огонь. На каминной доске по обе стороны старинных часов, о подлинной ценности которых семейство Совиа, разумеется, и не подозревало, в старых медных канделябрах, сделанных в виде виноградной лозы, горело по шесть свечей, освещая коричневую комнату и Веронику в полном расцвете ее красоты. Старуха мать принарядилась. Пройдя по безмолвной в этот час улице, поднявшись среди мягкой полутьмы по старой лестнице, Граслен появился перед скромной наивной Вероникой, все еще витавшей в сладких мечтах о любви, навеянных ей книгой Бернардена де Сен-Пьера.

У маленького тощего Граслена была густая, как щетка, буйная черная шевелюра, из-под которой выступала красная, словно у запойного пьяницы, физиономия, усеянная гнойными прыщами, — кровоточащими или вот-вот готовыми вскрыться. Это цветение воспаленной крови — разгоряченной непрерывным трудом, заботами, неистовой страстью к коммерции, ночными бдениями, суровой воздержанной жизнью — походило одновременно на проказу и страшный лишай. Несмотря на все настояния своих компаньонов, приказчиков и врача, банкир не мог заставить себя подчиниться медицинскому вмешательству, которое остановило или умерило бы развитие болезни, обострявшейся с каждым днем. Он хотел выздороветь, он принимал в течение нескольких дней ванны, пил назначенное ему лекарство, но, увлеченный потоком дел, забывал о собственном здоровье. Грас-

---

[1] На греческий манер *(франц.)*.

лен даже подумывал прервать на время свои занятия, отправиться путешествовать, полечиться на водах; но какой же охотник за миллионами может остановиться? На этой пылающей физиономии блестели два серых глаза, испещренных зелеными прожилками и коричневыми точками; два жадных глаза, два проницательных глаза, проникающих в самую глубь сердца, два безжалостных глаза, полных решимости, прямоты и расчета. У Граслена был вздернутый нос, рот с толстыми, чувственными губами, выпуклый лоб, щеки насмешника и мясистые уши с плотными краями, изъеденными болезнью. Одним словом, это был античный сатир, фавн в сюртуке и черном атласном жилете, с повязанным вокруг шеи белым галстуком. Сильные, крепкие плечи, в свое время привычные к тяжелой клади, уже согнулись; чрезмерно развитый торс опирался на короткие ляжки с кое-как приделанными к ним нескладными сухопарыми ногами. Тощие волосатые руки заканчивались скрюченными пальцами, словно приспособленными считать золото. Вокруг рта у него залегли ровные складки, как у всех людей, одержимых материальными интересами. Привычка к быстрым решениям читалась в изгибе приподнятых к вискам бровей. И все же, хотя губы его были сурово сжаты, по ним угадывалась скрытая доброта, прекрасная душа, погребенная под грузом дел, быть может, полузадушенная, но еще способная возродиться от прикосновения женской руки.

При появлении этого человека сердце Вероники судорожно сжалось, у нее потемнело в глазах; ей показалось, что она вскрикнула, но на самом деле она хранила молчание, не сводя с него неподвижного взгляда.

— Вероника, вот господин Граслен,— сказал тогда старый Совиа.

Вероника встала, поздоровалась, снова упала на стул и взглянула на мать, которая радостно улыбалась миллионеру и выглядела, как и Совиа, такой счастливой, такой счастливой, что бедная девочка нашла в себе силы скрыть охватившие ее ужас и отвращение. В завязавшемся разговоре речь зашла о здоровье г-на Граслена. Банкир взглянул на себя в оправленное эбеновой рамой зеркало с граненными краями и простодушно за-

метил: «Я не красавец, мадмуазель». Он объяснил воспаленный цвет лица своей кипучей жизнью, рассказал, как пренебрегал советами врачей, и выразил надежду, что все изменится, если в его дом войдет женщина и станет заботиться о нем лучше, чем он сам.

— Э! С лица не воду пить! — воскликнул старый торговец железом, хлопнув что есть мочи земляка по ляжке.

Объяснение Граслена взывало к естественным чувствам, которыми в той или иной мере наделено сердце каждой женщины. Вероника подумала, что и ее лицо изуродовано ужасной болезнью, и христианская скромность побудила ее не поверить первому впечатлению. Тут с улицы раздался свист, и Граслен спустился вниз в сопровождении несколько обеспокоенного Совиа. Оба тут же вернулись. Запоздавший рассыльный принес первый букет. Когда банкир развернул целую охапку экзотических цветов, наполнивших комнату благоуханием, и преподнес их своей нареченной, Веронику охватили чувства, совсем не похожие на те, что она испытала при первом взгляде на Граслена. Ей показалось, будто она перенеслась в идеальный фантастический мир тропической природы. Она никогда не видела белых камелий, ей неведомы были запахи альпийского ракитника, мелиссы, азорского жасмина, волькамерий, мускусных роз — все эти божественные ароматы, которые, пробуждая в душе любовь, словно возносят к сердцу свои благоуханные гимны. Граслен покинул Веронику во власти новых переживаний.

После первого свидания каждый вечер, когда в Лиможе все было объято сном, банкир, скользя вдоль стен, пробирался к дому папаши Совиа. Он тихонько стучался в ставень, собака не лаяла, старик спускался вниз, открывал земляку дверь, и Граслен проводил час-другой в коричневой комнате подле Вероники. Там Граслена всегда ждал настоящий овернский ужин, приготовленный мамашей Совиа. Необычный поклонник никогда не приходил к Веронике без букета, составленного из самых редких цветов, выведенных в оранжерее г-на Гростета — единственного человека в Лиможе, посвященного в тайну этого сватовства. Рассыльный приходил каждый вечер, и старик Гростет сам составлял букет.

За два месяца Граслен побывал в доме Совиа раз пятьдесят; и всякий раз приносил какой-нибудь дорогой подарок: кольца, часы, золотую цепочку, несессер и т. д.

Столь невероятную расточительность можно было объяснить немногими словами. В приданое Веронике предназначалось почти все состояние ее отца — семьсот пятьдесят тысяч франков. У старика хранилось государственное долговое обязательство на восемь тысяч франков, купленное за шестьдесят тысяч ливров ассигнациями его земляком Брезаком. Совиа доверил Брезаку эту сумму перед тем, как попал в тюрьму, и тот сохранил ее, уговорив старика не продавать облигаций. Эти шестьдесят тысяч ливров ассигнациями составляли половину богатства Совиа в тот момент, когда ему грозил эшафот. Брезак оказался в этих обстоятельствах верным хранителем остальных семисот луидоров — огромной суммы, которую овернец сразу же пустил в оборот, едва вышел на свободу. За тридцать лет каждый из этих луидоров превратился в тысячефранковую ассигнацию, чему способствовали также и государственная рента, и наследство Шампаньяка, и прибыли от торговли, и сложные проценты, нарастающие в банкирском доме Брезака, который питал к Совиа бескорыстную дружбу, связывавшую всех овернцев. Вот почему, когда Совиа проходил мимо особняка Граслена, он всегда говорил себе: «Вероника будет жить в этом дворце!» Он знал, что ни за одной девушкой в Лиможе не дадут в приданое семисот пятидесяти тысяч франков, а у Вероники была еще надежда на двести пятьдесят тысяч в будущем. Следовательно, избранный им в зятья Граслен неизбежно должен был жениться на Веронике.

Вероника каждый вечер получала букет, который на следующее утро, втайне от соседей, украшал ее маленькую гостиную. Она восхищалась прелестными драгоценностями, браслетами, жемчугом, бриллиантами, рубинами, которые нравятся всем дочерям Евы; в дорогом уборе она казалась себе менее безобразной. Она видела, как радуется мать ее браку, и у нее не было никакого образца для сравнения. К тому же она не знала ни обязанностей, ни цели супружества; и, наконец, она слышала торжественный голос викария собора Сент-Этьен, восхвалявшего Граслена как человека чести, с ко-

торым она будет вести достойную жизнь. Итак, Вероника согласилась принять попечение г-на Граслена. Когда в такой замкнутой и уединенной жизни, какую вела Вероника, появляется ежедневно один-единственный человек, человек этот не может быть безразличен: его либо ненавидят, и, если при более близком знакомстве отвращение не проходит, он становится невыносим; либо привычка видеть его скрадывает, если можно так выразиться, в наших глазах физические недостатки. Мысль начинает искать им возмещения. Это лицо возбуждает любопытство, черты его оживляются, порой в них проскальзывает мимолетная красота. И в конце концов проступает спрятанное под невзрачною формой глубокое содержание. Одним словом, стоит только преодолеть первое впечатление, и привязанность начинает расти, а душа лелеет ее, как собственное творение. Так возникает любовь. В этом объяснение страсти, какую испытывают порой красивые люди к существам на первый взгляд безобразным. Чувство заставляет забывать о форме, и теперь в человеке представляет цену только душа. К тому же красота, необходимая женщине, у мужчины приобретает характер столь своеобразный, что женщинам, быть может, так же трудно прийти к согласию относительно мужской красоты, как мужчинам — относительно женской.

После бесконечных колебаний, после долгой борьбы с самой собой Вероника разрешила, наконец, огласить помолвку. С той поры в Лиможе только и было разговоров, что об этом невероятном происшествии. Никому не была известна его разгадка: огромная сумма приданого. Если бы размеры приданого были известны, Вероника могла бы сама выбирать себе мужа; но, может быть, и она обманулась бы! Граслен прослыл влюбленным без памяти. Он выписал из Парижа обойщиков, которые отделали его прекрасный дом. В Лиможе только и судачили, что о щедрости банкира: подсчитывали стоимость люстр, рассказывали о позолоте гостиной, о стенных часах; описывали жардиньерки, скамеечки у камина, предметы роскоши, невиданные новинки. В саду, окружавшем особняк Граслена, над ледником был устроен прелестный вольер, и все приходившие поглазеть, а их было немало, поражались при виде диковинных

птиц: попугаев, китайских фазанов, каких-то необыкновенных уток. Г-н и г-жа Гростет, пожилые особы, пользующиеся в Лиможе почетом, несколько раз посетили в сопровождении Граслена семейство Совиа. Г-жа Гростет, всеми уважаемая женщина, поздравила Веронику с удачным браком. Таким образом, церковь, семья, свет — все до последних мелочей способствовало этому браку.

В апреле знакомым Граслена были разосланы официальные приглашения. В одно прекрасное утро, около одиннадцати часов, вызвав великое волнение в квартале, к скромной лавке торговца железом подъехали коляска и купе, запряженные на английский манер лимузенскими лошадьми, которых выбрал сам Гростет. В экипажах сидели бывшие хозяева жениха и два его приказчика. Улица была полна народу, сбежавшегося поглядеть на дочку Совиа, которую причесал самый знаменитый в Лиможе парикмахер, украсив ее пышные волосы свадебным венцом и вуалью из самых дорогих английских кружев. На Веронике было простое платье из белого муслина. Внушительное сборище наиболее именитых дам города поджидало невесту в соборе, где сам епископ, зная благочестие семьи Совиа, удостоил обвенчать Веронику. Новобрачную все сочли дурнушкой. Она прибыла в свой особняк, где ее ожидал один сюрприз за другим. Парадный обед предшествовал балу, на который Граслен пригласил чуть ли не весь Лимож. Обед, устроенный для епископа, префекта, председателя суда, главного прокурора, мэра, генерала, бывших хозяев Граслена и их супруг, окончился триумфом новобрачной, которая, подобно всем простым и естественным натурам, проявила неожиданный такт и прелесть в обращении. Никто из новобрачных не умел танцевать, поэтому Вероника продолжала занимать гостей и снискала уважение и расположение всех своих новых знакомых, расспросив предварительно о каждом из них Гростета, который проникся к ней живейшей дружбой. Таким образом, она не совершила ни одной оплошности. В этот вечер два бывших банкира огласили сумму — в Лимузене неслыханную,— которую дал за дочкой старый Совиа. В девять часов торговец железом отправился спать домой, оставив жену присмотреть за отходом ко сну ново-

брачной. Во всем городе говорили, что г-жа Граслен некрасива, но хорошо сложена.

Старик Совиа ликвидировал свои дела и продал городской дом. На левом берегу Вьены между Лиможем и Клюзо он купил себе сельский домик, расположенный в десяти минутах от предместья Сен-Марсиаль, где собирался спокойно дожить вместе с женой свои дни. Старикам были отведены комнаты в особняке Граслена; раз или два в неделю они обедали у дочери, а она нередко посещала их домик во время прогулок. Но спокойная жизнь едва не убила старого торговца. К счастью, Граслен нашел способ занять делами своего тестя. В 1823 году банкиру пришлось приобрести небольшую фарфоровую фабрику — некогда он ссудил ее владельцам крупную сумму, и они могли расплатиться с ним, лишь продав ему свое заведение. Благодаря своим связям и вложенному капиталу Граслен сделал фабрику лучшей в Лиможе; три года спустя он перепродал ее с большим барышом. Пока что Граслен поручил наблюдение за этим солидным предприятием, расположенным как раз в предместье Сен-Марсиаль, своему тестю, который, хотя и достиг уже семидесяти двух лет, немало способствовал его процветанию и сам при этом как бы помолодел. Теперь Граслен мог целиком заняться своими делами в городе, не заботясь о фабрике, которая без энергичной деятельности старого Совиа, пожалуй, вынудила бы его взять в компаньоны одного из приказчиков и тем самым лишиться части полученных впоследствии барышей. Совиа умер в 1827 году от несчастного случая. Наблюдая за описью товаров на фабрике, он провалился в большой ящик с просветами, предназначенный для упаковки фарфора. При падении он слегка поранил ногу, но не обратил на это внимания. Началась гангрена. Старик ни за что не соглашался отрезать ногу и умер. Вдова отказалась от двухсот пятидесяти тысяч франков, которым примерно равнялось оставленное Совиа наследство, удовольствовавшись тем, что зять будет ей выплачивать ежемесячную ренту в двести франков, вполне достаточную для ее нужд. Она сохранила за собой свой сельский домик, где намеревалась жить одна, без служанки, не слушая уговоров дочери и держась своего решения с упрямством, свойственным старым

людям. Впрочем, матушка Совиа почти каждый день навещала дочь, а дочь по-прежнему выбирала для своих прогулок сельский домик, откуда открывался чарующий вид на Вьену. С берега виден был любимый островок Вероники, из которого создала она некогда свой Иль-де-Франс.

Чтобы не нарушать в дальнейшем течение рассказа о семействе Граслен, нам пришлось закончить историю четы Совиа, предвосхитив некоторые события, нужные, впрочем, для объяснения той замкнутой жизни, которую вела г-жа Граслен. Старуха мать, догадываясь, что скупость Граслена может во многом стеснить ее дочь, долгое время не хотела отказываться от остатков своего состояния; но Вероника, неспособная предвидеть случай, когда женщинам так нужны собственные средства, настояла на этом из самых благородных побуждений: она хотела отблагодарить Граслена за то, что он вернул ей свободу, какой пользовалась она в девичестве.

Необычайная роскошь, сопутствующая бракосочетанию Граслена, шла вразрез со всеми его привычками и противоречила его характеру. Этот великий финансист обладал ограниченным умом. Вероника не могла судить о человеке, с которым предстояло ей провести всю жизнь. Во время своих пятидесяти пяти визитов Граслен всегда выказывал себя коммерсантом, упорным тружеником, который отлично понимает и направляет ход финансовых дел и изучает общественные события, измеряя их, впрочем, только масштабом банка. Зачарованный миллионом будущего тестя, выскочка проявлял щедрость из расчета; но он поставил дело на широкую ногу, он был увлечен весенней порой женитьбы и своим, как он говорил, безумством — тем домом, который до сих пор называют особняком Граслена. Он завел лошадей, коляску, купе и, разумеется, пользовался ими, отдавая визиты после свадьбы, посещая все обеды и балы, которыми высшие административные круги и богатые семьи отвечали новобрачным на их свадебный прием. Увлеченный течением, вырвавшим его из привычной сферы, Граслен назначил приемные дни и выписал повара из Парижа. Почти целый год он вел образ жизни, какой и должен был бы вести владелец полуторамиллионного состояния, сверх того располагающий еще тремя миллионами, если считать

доверенные ему фонды. Тогда-то он и стал самым видным лицом в Лиможе. В течение года он каждый месяц великодушно опускал двадцать пять монет по двадцать франков в кошелек г-жи Граслен. Высший свет города уделял немало внимания Веронике в первые месяцы ее замужства; она была просто находкой для всеобщего любопытства, в провинции почти всегда лишенного пищи. Вероникой особенно интересовались, потому что в обществе она выглядела явлением необычным; однако держалась она просто и скромно, как человек, наблюдающий незнакомые ему нравы и обычаи, желая к ним приспособиться. Ее еще раньше объявили некрасивой, но хорошо сложенной, теперь решено было, что она добра, но глуповата. Она узнавала столько нового, ей нужно было столько услышать и увидеть, что ее поведение, ее речи могли придать подобному суждению видимость правоты. К тому же она находилась в каком-то оцепенении, которое могло показаться недостатком ума. Замужество — это тяжелое ремесло, как говорила она,— для которого и церковь, и закон, и ее мать могли посоветовать ей только величайшую покорность и совершеннейшее послушание под страхом преступить все человеческие законы и навлечь на себя непоправимые беды, повергло ее в глубокую подавленность, близкую к бессознательному состоянию. Молчаливая, сдержанная, она прислушивалась к самой себе, так же как прислушивалась к другим. Почувствовав, как, по выражению Фонтенеля, «трудно ей быть» и с каждым днем становится труднее, она испугалась самой себя. Природа восставала против души, тело не подчинялось воле. Попав в западню, бедное создание, рыдая, припало к груди великой матери всех несчастных и страждущих: она обратилась к церкви, она удвоила свое рвение, она поведала о кознях дьявола своему благочестивому духовнику, она молилась. Никогда в жизни не исполняла она свой религиозный долг с таким самозабвением. Отчаяние, вызванное тем, что она не любит своего мужа, бросало ее к подножию алтаря, и там божественные, полные сострадания голоса говорили ей о терпении. Она была терпелива и кротка и продолжала жить надеждой на счастье материнства.

— Видели ли вы сегодня госпожу Граслен? — гово-

рили между собой женщины,— замужество не пошло ей на пользу, она так бледна!

— Да, но выдали бы вы свою дочь за такого человека, как господин Граслен? Нельзя безнаказанно быть женой такого чудовища.

С тех пор как Граслен женился, все мамаши, охотившиеся за ним в течение десяти лет, не переставали осыпать его насмешками.

Вероника худела и становилась в самом деле дурнушкой. Глаза у нее ввалились, черты лица огрубели, она казалась пристыженной и подавленной. В ее взгляде появился печальный холодок, который замечают обычно у ханжей. Она изнывала и чахла в первый год замужества, обычно самый счастливый для молодой женщины.

Вскоре она попробовала искать рассеяния в чтении, пользуясь правом замужней женщины читать все. Она прочла романы Вальтера Скотта, поэмы лорда Байрона, творения Шиллера и Гёте, ознакомилась с новой и древней литературой. Она научилась ездить верхом, танцевать и рисовать. Она писала акварелью и сепией, с жаром хватаясь за все, что помогает женщине бороться с тоской одиночества. Одним словом, она дала себе второе воспитание, которым почти все женщины обязаны мужчине, а она была обязана себе самой. Свободная, смелая натура, взращенная будто в пустыне, но укрепленная силой религии, поднимала Веронику выше всех, внушала ей гордое величие и требования, которых не могло удовлетворить провинциальное общество. Все книги говорили ей о любви, она искала применения прочитанному, но не видела страсти нигде. Любовь жила в ее сердце подобно ростку, который ждет первого солнечного луча. Глубокая грусть, порожденная постоянными размышлениями о своей судьбе, неведомым путем привела ее снова к лучезарным мечтам последних дней ее девичества. Не раз возвращалась она в своем воображении к былым романтическим вымыслам и сама становилась их героиней. Она опять увидела залитый светом, цветущий, благоуханный остров, где все ласкало ей душу. Часто ее угасший взор оглядывал гостиную с щемящим любопытством: все мужчины походили тут на Граслена, она наблюдала за ними и мысленно допрашивала их жен; но, не заметив ни на одном лице следов

тайных страданий, она возвращалась домой, мрачная и печальная, недовольная собой. Авторы, которых она читала по утрам, отвечали самым высоким ее чувствам, ум их пленял ее. А вечером она выслушивала пошлости, даже не прикрытые остроумной формой, разговоры глупые и пустые или заполненные мелкими личными интересами, не имеющими для нее никакого значения. Она поражалась, слыша горячие споры, в которых и речи не было о чувстве, являвшемся для нее душой жизни. Часто сидела она в отупении, с неподвижным взглядом, вспоминая о днях своей ничего не ведавшей юности, проведенных в комнате, полной прекрасных грез, разбитых, растоптанных, как она сама. С ужасом и отвращением она думала о страшной пучине мелочности, поглотившей всех женщин, с которыми приходилось ей жить. Плохо скрытое презрение, написанное на ее лбу, на ее губах, было сочтено наглостью выскочки. Г-жа Граслен прочла на всех лицах холод и уловила во всех речах язвительность, причина которой осталась ей неизвестной, ибо до сих пор она не приобрела ни одной подруги, достаточно близкой, чтобы дать ей объяснение или совет. Несправедливость, оскорбляя ограниченные натуры, возвышенную душу приводит к глубокому раздумью и к своего рода смирению. Вероника стала осуждать себя, искать за собой вину: она старалась быть приветливой — ее обвинили в притворстве; она проявляла величайшую кротость — ее ославили лицемеркой, даже ее набожность возбуждала злословие; она тратила деньги, давала обеды и балы — ей приписали тщеславие. Потерпев неудачу во всех своих попытках, никем не понятая, отвергнутая низменной и оскорбительной спесью провинциального общества, где каждого обуревают кичливые притязания и ничтожные тревоги, г-жа Граслен замкнулась в полном одиночестве. С радостью вернулась она в объятия церкви. Ее сильный дух, заключенный в столь слабую плоть, нашел в многочисленных требованиях католицизма как бы камни, положенные у края пропасти, разверзнувшейся на жизненном пути, как бы опору, воздвигнутую милосердными руками для поддержания слабости человеческой; и со строжайшей точностью соблюдала она все мелочи религиозного обряда. Тогда либеральная партия зачислила г-жу Граслен в ряды городских ханжей и объявила ее

«СЕЛЬСКИЙ СВЯЩЕННИК».

«СЕЛЬСКИЙ СВЯЩЕННИК»

ультрароялисткой. К различным нареканиям, которые навлекла на себя ни в чем не повинная Вероника, дух партийного пристрастия присоединил и свои ядовитые придирки. Но поскольку с изгнанием из общества Вероника ничего не теряла, она охотно покинула свет и обратилась к чтению, которое сулило ей неисчерпаемые богатства. Она размышляла о книгах, сравнивала высказанные в них взгляды, она изощряла силу своего понимания и расширяла круг сведений, она открыла врата своей души для любознательности. Во время этих упорных занятий, в которых только религия поддерживала ее дух, Вероника обрела дружбу Гростета. Он принадлежал к тем старикам, которые, погрязнув в провинциальной жизни, теряют свои выдающиеся достоинства, но при встрече с подлинно живым умом способны вновь проявить былой блеск. Гростет горячо заинтересовался Вероникой, а она вознаградила его за нежное, трогательное чувство, нередко пробуждающееся в сердце стариков, раскрыв перед ним первым все сокровища своей души, весь блеск своего ума, взлелеянного втайне и теперь достигшего полного расцвета. Отрывок из письма, написанного ею в те времена г-ну Гростету, покажет, в каком состоянии находилась женщина, которой суждено было в будущем проявить характер столь твердый и возвышенный.

«Цветы, которые вы мне прислали для бала, прелестны, но они вызвали во мне мучительное раздумье. Эти собранные вами чудесные создания, обреченные умереть у меня на груди и в моих волосах, украсив собой праздник, навели меня на мысль о цветах, что появляются на свет и умирают в ваших лесах, никем не видимые, никого не дарящие своим благоуханием. Я спросила себя, зачем я танцевала, зачем украшала себя драгоценностями, так же, как спрашиваю я у бога, зачем я живу на свете. Вы видите, друг мой, несчастного всюду подстерегают ловушки, ничтожная мелочь может напомнить больному о его недуге; но самая большая беда упорных недугов в том, что они превращаются в идею. Разве непрестанная боль не становится в конце концов мыслью о боге? Вы любите цветы ради них самих; я же люблю их, как люблю слушать прекрасную музыку. Итак,— я вам уже об этом говорила — тайна множества явлений от меня ускользает. У вас, старый друг мой, есть своя страсть:

вы садовод. Когда вы вернетесь в город, приобщите и меня к своему увлечению, сделайте так, чтобы я, подобно вам, как умелый хозяин, входила в свою оранжерею и, наблюдая за ростом растений, сама раскрывалась и расцветала бы с ними, восхищаясь, как восхищаетесь вы, когда возникают у вас на глазах новые неожиданные краски, созданные вашим трудом! Меня терзает тоска. В моей оранжерее живут лишь страждущие души. Несчастья, которые я пытаюсь смягчить, печалят мою душу, а когда я посвящаю себя благотворительности и, увидев молодую мать, не имеющую белья для новорожденного, или старика, лишенного куска хлеба, помогаю им, радость от того, что я утешила их в горе, не может насытить мою душу. Ах, друг мой! Я чувствую в себе великие и, может быть, пагубные силы,— ничто не может смирить их, и даже самые строгие веления религии не способны их победить. Когда, навещая свою мать, я остаюсь одна среди полей, меня обуревает желание кричать, и я кричу. Мне кажется, что тело мое — это тюрьма, куда какой-то злой гений заключил несчастное создание, в слезах ожидающее тайного слова, которое разобьет несносные оковы. Но нет, сравнение это неверно. Напротив, тело мое томится, если можно употребить здесь это выражение. Разве религия не владеет моей душой, разве чтение не обогащает, не питает неустанно мой разум? Почему же так жажду я страдания, которое нарушило бы докучный покой моей жизни? Если какое-нибудь чувство, если увлечение каким-нибудь делом не придет мне на помощь, я погибну в трясине, где все мысли тускнеют, где мельчает характер, где сдают все движущие пружины, где все достоинства блекнут, где иссякают все силы души, где я буду только тем, чем захотела сделать меня природа. Вот о чем я взываю! Пусть все же это не мешает вам посылать мне цветы. Ваша нежная, благосклонная дружба за последние месяцы примирила меня с собой. Да, я счастлива при мысли, что вы бросите дружеский взгляд на мою опустошенную и все же цветущую душу, что найдется у вас ласковое слово для беглянки, умчавшейся на неистовом коне мечты, когда вернется она, разбившись о скалы».

На исходе третьего года женитьбы Граслен, видя, что жена его не пользуется своими лошадьми, при первом же

случае с выгодой продал их. Он продал также экипажи, рассчитал кучера, уступил епископу своего повара и заменил его кухаркой. Денег жене он больше не давал, объявив, что сам будет платить по всем счетам. Это был счастливейший из супругов, ибо он не встречал никакого сопротивления своей воле у женщины, которая принесла ему миллионное состояние. Г-жа Граслен, выросшая в родительском доме, не зная денег, не видевшая в них необходимого условия жизни, была неоценима в своем самоотречении. В ящиках секретера Граслен нашел нетронутыми выданные жене суммы, если не считать израсходованного на милостыню и на туалеты, тоже не требовавшие больших затрат благодаря щедрому приданому. Граслен расхваливал Веронику по всему Лиможу как образцовую жену. Он немало пожалел о роскоши своей меблировки и велел как следует прикрыть все вещи. Только гостиная, будуар и туалетная его жены были освобождены от этих мер предохранения, которые ни от чего не предохраняют, ибо под чехлами мебель изнашивается не меньше, чем без чехлов.

Граслен поселился в первом этаже особняка, там, где разместились его конторы, и вернулся к прежней жизни, охотясь за прибыльными делами с не меньшим пылом, чем раньше. Овернец мнил себя превосходным мужем, ибо всегда приходил к обеду и завтраку, приготовленному заботами его жены. Правда, он был настолько неточен, что едва ли больше десяти раз в месяц садился за стол одновременно с нею; поэтому из деликатности он попросил, чтобы она никогда не ждала его. Однако Вероника оставалась за столом до прихода Граслена и сама прислуживала ему, желая хоть каким-нибудь ощутимым способом выполнить свои супружеские обязанности. Банкир, который был довольно равнодушен к супружеской жизни и видел в своей жене лишь семьсот пятьдесят тысяч франков приданого, никогда не замечал отвращения Вероники. Незаметно он покинул г-жу Граслен ради коммерческих дел. Когда он попросил поставить ему кровать в комнате, примыкавшей к кабинету, Вероника поспешила удовлетворить это желание. Итак, через три года после свадьбы два эти столь неподходящих друг другу человека вернулись каждый к своему прежнему образу жизни, и оба были этим довольны.

Былая скаредность еще более цепко захватила финансиста — обладателя миллиона восьмисот тысяч франков,— после того как он на время отказался от своих привычек. Правда, теперь два его приказчика и рассыльный спали не в таких плохих комнатах и немного лучше питались; только в этом и заключалась разница между настоящим и прошлым. Г-жа Граслен наняла кухарку и горничную — меньшим обойтись было невозможно; но на хозяйство, кроме самых необходимых расходов, банкир не выпускал из кассы ни гроша. Радуясь такому обороту событий, Вероника старалась во всем угождать мужу, и хотя бы этим отблагодарить его за разрыв, о котором даже не просила: она не думала, что была так же неприятна Граслену, как Граслен был отвратителен для нее. Этот тайный развод наполнял ее сердце и радостью и грустью: она все еще надеялась, что материнство сможет вернуть ей интерес к жизни. Но время шло, и, несмотря на их обоюдную покорность судьбе, супруги вступили в 1828 год, не имея потомства.

Итак, живя в великолепном особняке, окруженная завистью всего города, г-жа Граслен узнала то же одиночество, что и в домишке своего отца, но одиночество, лишенное надежд и детских радостей неведения. Она жила в развалинах своих воздушных замков, просвещенная печальным опытом, опираясь на свою глубокую веру и заботясь о бедняках, которых осыпала благодеяниями. Она шила белье для младенцев, она дарила тюфяки и одеяла тем, кто спал на соломе. В этих делах ей помогала горничная, которую отыскала для нее мать, молоденькая овернская девушка, преданная ей телом и душой. Вероника поручала своему добродетельному лазутчику разыскивать жилища, где нужно было успокоить страдания или смягчить нищету. Эта деятельная благотворительность, соединенная со строжайшим выполнением религиозного долга, оставалась в глубокой тайне для всех, кроме городских священников, с которыми Вероника совещалась обо всех добрых делах, дабы не попали в руки порока деньги, столь необходимые для помощи в незаслуженном несчастье.

В этой фазе своей жизни Вероника завоевала дружбу, столь же горячую, столь же драгоценную для нее, как дружба старого Гростета. Она стала возлюбленной

овечкой выдающегося пастыря, высокие достоинства которого не были поняты и даже навлекли на него преследования,— одного из старших викариев епархии, по имени аббат Дютейль. Этот священник принадлежал к той немногочисленной части французского духовенства, которая, склоняясь к некоторым уступкам, хотела бы объединить церковь с народными интересами, дабы, проповедуя подлинно евангельское учение, церковь могла вновь завоевать свое былое влияние на массы и таким путем обратить их опять к монархии. То ли аббат Дютейль не верил в возможность убедить римскую курию и высшее духовенство, то ли подчинил свои воззрения взглядам старших по сану, но он придерживался рамок строжайшей ортодоксии, зная, что одно только разглашение его принципов закроет ему навсегда дорогу к епископству. Этот превосходный священник сочетал величайшую христианскую скромность с величием характера. Не проявляя ни гордости, ни честолюбия, он оставался на своем посту и выполнял свой долг, невзирая на грозившие ему опасности. Городским либералам неизвестны были причины его поведения, они ссылались на его взгляды и считали его патриотом — слово, на католическом языке означавшее «революционер». Низшее духовенство, не смевшее восхвалять достоинства аббата Дютейля, любило его, равные приглядывались к нему с опаской; епископу он мешал. Добродетели и глубокие познания аббата, быть может, вызывавшие зависть, ограждали его от преследований. Невозможно было пожаловаться на него, хотя он и обличал все политические несообразности, которыми трон и духовенство только вредили друг другу. Напрасно он предсказывал все пагубные последствия такой политики, уподобляясь бедной Кассандре, которую равно проклинали и до и после гибели ее отчизны. Не произойди революция, аббату Дютейлю суждено было бы оставаться одним из скрытых в основании краеугольных камней, на которых держится все здание. Все признавали приносимую им пользу, но его оставляли на своем месте, как и большинство других умных людей, чей приход к власти так пугает посредственность. Если бы, подобно аббату Ламенне, он взялся за перо, на него, без сомнения, тоже обрушились бы громы римской курии.

Аббат Дютейль внушал невольное уважение. Под

его спокойной, невозмутимой внешностью таилась глубокая душа. Высокий рост и крайняя худоба не нарушали общего впечатления от его облика, очерченного линиями, которые обычно избирали гении испанской живописи, рисуя великих мыслителей-монахов, а недавно вновь нашел Торвальдсен для своих апостолов. Длинные, почти неподвижные складки лица и гармонирующие с ним складки одежды отличались тем благородством, которым в средние века дышали мистические статуи, стоявшие в порталах церквей. Глубина и серьезность, присущие его мысли, речи и интонации, как нельзя более подходили аббату Дютейлю. Увидев его глубоко запавшие от постов и воздержания глаза, окруженные темными кругами, увидев его лоб, пожелтевший, словно старый мрамор, его голову, его иссохшие руки, каждый хотел только из его уст услышать поучающее слово. Это чисто физическое величие в сочетании с величием нравственным придавало священнику несколько высокомерное, презрительное выражение, которое тотчас же опровергалось его скромностью и его словами, но не располагало в его пользу. Принадлежи он к более высокому рангу, подобные выгодные качества помогли бы ему приобрести влияние на массы, которые охотно подчиняются одаренным людям. Но стоящие выше никогда не прощают своим подчиненным достойную осанку и проявление столь ценимого в древности величия, которого так часто не хватает современным правителям.

По странности, которая может показаться естественной лишь тонкому царедворцу, другой старший викарий, аббат де Гранкур — тучный человечек со свежим цветом лица и голубыми глазами, чьи воззрения совершенно расходились со взглядами аббата Дютейля,— очень любил общество своего собрата, не высказывая, впрочем, никогда ничего такого, что могло бы лишить его самого милостей епископа, которому он был предан беспредельно. Аббат де Гранкур верил в достоинства своего коллеги, он признавал его таланты, он тайно принимал его доктрину, но осуждал ее публично, ибо он принадлежал к тем людям, которых величие духа и привлекает и пугает, которые ненавидят его и не могут перед ним не преклоняться. «Он будет обнимать меня, прокли-

ная»,— говорил о нем аббат Дютейль. У аббата де Гранкура не было ни друзей, ни врагов, ему суждено было всю жизнь оставаться старшим викарием. Он уверял, что к Веронике его привлекает желание помочь советом столь набожной и добродетельной особе, и епископ одобрял это. Но в действительности его зосхищала возможность провести несколько вечеров в обществе аббата Дютейля.

Оба священника стали довольно регулярно посещать Веронику, чтобы сообщать ей обо всех несчастных и обсуждать способы наставить их на путь истинный, оказывая им помощь. Но с каждым годом господин Граслен все туже затягивал свой кошелек, ибо узнал, несмотря на все невинные ухищрения своей жены и Алины, что испрашиваемые деньги не шли ни на хозяйство, ни на туалеты. Он пришел в ярость, когда подсчитал, чего стоила ему благотворительность жены. Проверив счета кухарки, он вник во все мелкие расходы и проявил свой административный талант, доказав на деле, что можно блестяще вести дом на тысячу экю. Затем, интересуясь только приходом и расходом, он составил с женой список ее издержек и назначил ей сто франков в месяц, гордясь этим решением, как проявлением королевской щедрости. Сад был оставлен без присмотра, и только по воскресеньям за ним следил рассыльный, любивший цветы. Отпустив садовника, Граслен превратил оранжерею в склад и свалил туда товары, полученные им в залог под ссуды. Он уморил голодом всех птиц в устроенном над ледником вольере, чтобы не тратиться больше на корм. И, наконец, воспользовавшись теплой зимой, перестал платить за перевозку льда. В 1828 году от былой роскоши не осталось и следа. В особняке Граслена, не встретив никакого сопротивления, воцарился самый мелочный расчет.

За три года, проведенные Грасленом близ Вероники, которая заставляла мужа строго следовать предписаниям врачей, лицо его заметно изменилось к лучшему; теперь же оно стало еще более красным, воспаленным и прыщавым, чем раньше. Дела приняли такой размах, что рассыльный, как некогда его хозяин, получил место кассира, а для черной работы в дом Граслена был взят молодой овернец. Итак, через четыре года после замуже-

ства женщина, обладавшая огромным богатством, не располагала ни одним экю. Скупость мужа не уступала скупости родителей. Г-жа Граслен поняла, как необходимы ей деньги, лишь когда была стеснена в своей благотворительности.

К началу 1828 года Вероника вновь обрела цветущее здоровье, которое придавало некогда такую прелесть невинной юной девушке, сидевшей у окна в старом доме на улице Ситэ; но, кроме того, она узнала литературу, она научилась думать и говорить. Изощренная способность суждения углубила ее характер. Освоившись со всеми тонкостями светской жизни, она с бесконечным изяществом носила свои модные платья. Теперь, когда Веронике случалось появиться в какой-нибудь гостиной, она не без удивления замечала, что ее встречают с почтительным восхищением. Этой перемене она обязана была обоим старшим викариям и старому Гростету. Узнав о ее скрытой от всех прекрасной жизни, о неустанно творимых добрых делах, епископ и другие влиятельные лица заговорили об этом цветке истинного благочестия, об этой благоуханной фиалке добродетели, и, без ведома г-жи Граслен, в отношении к ней произошла перемена, долго заставившая себя ждать, но зато прочная и длительная. Этот поворот в общественном мнении создал влияние салону Вероники, который с этого года стали посещать самые значительные в городе лица. Причиной тому послужили следующие обстоятельства. К концу года в Лиможский суд был направлен в качестве товарища прокурора молодой виконт де Гранвиль, молва о котором, как о каждом приезжающем в провинцию парижанине, распространилась заранее. Через несколько дней после приезда, во время приема в префектуре, он сказал, отвечая на довольно глупый вопрос, что самой приятной, умной и утонченной женщиной в городе является г-жа Граслен.

— Быть может, она и самая красивая? — спросила жена главного сборщика податей.

— В вашем присутствии я этого сказать не смею,— ответил он.— Но все же я в сомнении. Красота госпожи Граслен не должна вызывать в вас ревности: она никогда не показывается при свете дня. Госпожа Граслен прекрасна лишь для тех, кого она любит, вы же прекрас-

ны для всех. У госпожи Граслен каждое душевное движение, вызванное подлинным чувством, отражается на лице и совершенно меняет его. Лицо ее подобно пейзажу, бесконечно печальному зимой, а летом блистающему всеми красками; светскому обществу суждено видеть его только зимой. Но когда она обсуждает с друзьями какую-нибудь литературную либо философскую тему или интересующие ее религиозные вопросы, она воодушевляется, и перед вами внезапно возникает никому неведомая женщина чарующей красоты.

Эти слова, основанные на наблюдении феномена, возвращавшего Веронике красоту во время причастия, наделали немало шуму в Лиможе, где новый товарищ прокурора, которому, по слухам, обещано было место прокурора, играл в ту пору первую роль. Во всех провинциальных городах человек, хоть немного возвышающийся над общим уровнем, пользуется более или менее длительное время всеобщим преклонением, которое часто обманывает и самый предмет этого преходящего культа. Подобной общественной прихоти мы обязаны появлением окружных знаменитостей, наделенных мнимыми достоинствами непризнанных гениев, судьба которых всегда плачевна. Человек, которого вводят в моду женщины, обычно бывает приезжим, а не местным жителем. Однако в отношении виконта де Гранвиля его поклонники, как ни странно, ничуть не ошиблись.

Госпожа Граслен была единственной женщиной, с которой парижанин мог обменяться мыслями и поддерживать интересную беседу. Через несколько месяцев после своего приезда товарищ прокурора, увлеченный прелестью речей и манер Вероники, предложил аббату Дютейлю и нескольким заметным в городе лицам собираться для игры в вист у г-жи Граслен. Вероника начала принимать пять раз в неделю; два дня, говорила она, ей хотелось оставить свободными для нужд своего дома. Когда вокруг г-жи Граслен собрались все выдающиеся люди города, выяснилось, что и другие не прочь приобрести патент на ум, войдя в принятое у нее общество. Вероника допустила в свой салон нескольких известных своими достоинствами военных из местного гарнизона и штаба. Свобода мнений, которой пользовались гости, и абсолютная скромность, которой все они придерживались, не сго-

вариваясь и приняв за образец законы самого высшего света, вынуждали Веронику быть чрезвычайно разборчивой по отношению к людям, домогавшимся как чести ее общества. Городские дамы не без зависти увидели, что г-жу Граслен окружают самые умные, самые любезные мужчины в Лиможе. Но чем больше сдержанности проявляла Вероника, тем шире распространялось ее влияние. Она приняла у себя нескольких женщин, которые приехали с мужьями из Парижа и были в ужасе от провинциальных сплетен. Когда в этом избранном обществе появлялся случайный пришелец, по молчаливому согласию, разговор тут же менялся, и гости болтали только о пустяках. Итак, особняк Граслена превратился в оазис, где выдающиеся умы отдыхали от скуки провинциальной жизни, где люди, связанные с правительством, могли открыто говорить о политике, не боясь, что слова их получат огласку, где тонко высмеивали все, достойное осмеяния, где каждый сбрасывал одежды своей профессии и становился самим собой. Итак, г-жа Граслен — некогда безвестная девочка, объявленная ничтожеством и глупенькой дурнушкой,— в 1828 году стала первым лицом в городе и самой знаменитой из представительниц женского общества.

Никто не посещал Веронику по утрам, все знали о ее благотворительной деятельности и строгом соблюдении религиозных обрядов. Почти всякий день она ходила к ранней обедне, чтобы не опоздать к завтраку мужа, хотя Граслен не отличался аккуратностью. Вероника всегда сама подавала ему завтрак, и в конце концов Граслен к этому привык. Банкир никогда не упускал случая похвалить свою жену; он считал ее совершенством. Никогда она ни о чем его не просила, он мог без помехи копить свои экю и целиком погрузиться в дела. Он завязал отношения с банкирским домом Брезака; он несся на всех парусах по океану коммерции; напряженная погоня за прибылью держала его в сосредоточенном опьяняющем исступлении, свойственном всем игрокам, наблюдающим за великими событиями, которые разыгрываются на зеленом сукне Спекуляции.

В эти счастливые дни, до самого начала 1829 года, г-жа Граслен расцветала на глазах у своих друзей поистине необычайной красотой, возрожденной никому не

известными причинами. Ее голубые глаза раскрылись, как цветы, вокруг сузившихся черных зрачков, в них мерцал мягкий, томный свет любви. Ее лоб, озаренный воспоминаниями и мыслями о счастье, белел, как горная вершина под лучами зари, линии его очистились пыланием внутреннего огня. Лицо утратило жаркий коричневый оттенок, возвещающий начало воспаления печени, болезни, которая поражает людей, наделенных бурным темпераментом, или тех, чья душа страдает, а чувства подавлены. Виски ее отличались чарующей свежестью. И часто перед друзьями появлялось на мгновение божественное, достойное кисти Рафаэля лицо, которое изувечила болезнь, подобно тому, как время исказило полотна великого живописца. Руки Вероники стали белее, плечи приняли прекрасную округлую форму, в свободных, полных живости движениях проявлялась вся прелесть ее стройной и гибкой фигуры. Городские дамы заподозрили ее в склонности к г-ну де Гранвилю, который и в самом деле упорно за ней ухаживал, однако встречал в Веронике непреклонное сопротивление. Товарищ прокурора испытывал перед г-жой Граслен почтительный восторг, который не обманывал ни одного из посетителей ее салона. Священники и люди умные сразу поняли, что это чувство, несомненно, любовное у молодого прокурора, у г-жи Граслен не преступало границ дозволенного. Устав от ее сопротивления, хотя и основанного на самых религиозных чувствах, виконт де Гранвиль, как известно было членам кружка, не раз вступал в легкие связи, что, однако, не мешало ему быть постоянным и преданным поклонником прекрасной г-жи Граслен, как в 1829 году называл ее весь Лимож. Люди наиболее прозорливые приписывали перемены во внешности Вероники, делавшие ее еще прелестней в глазах друзей, тайной радости, которую испытывает даже самая религиозная женщина, когда видит себя любимой; удовольствию жить в среде, равной ей по уму; тому наслаждению, что получала она, обмениваясь мыслями с окружавшими ее воспитанными, образованными друзьями, чья привязанность росла день ото дня. Быть может, требовались наблюдатели более глубокие, более проницательные или более подозрительные, чем завсегдатаи особняка Граслена, чтобы разгадать то гордое величие,

те необузданные, свойственные только народу силы, какие таила Вероника в глубине своей души. Если кто-нибудь из друзей заставал ее погруженной в размышления, или мрачной, или просто задумчивой, каждый думал, что сердце ее хранит память о чужих несчастьях, что утром она, без сомнения, приобщилась ко многим горестям, что она посещала страшные притоны, где пороки предстают во всей своей наготе. Не раз товарищ прокурора, ставший вскоре прокурором, корил ее за безрассудную благотворительность, которая в тайных инструкциях органов правосудия рассматривалась как поощрение преступных деяний.

— Вам, может быть, нужны деньги для ваших бедняков? — спрашивал в таких случаях старик Гростет, беря ее за руку.— Я охотно стану вашим сообщником в добрых делах.

— Увы, нельзя всех сделать богатыми,— со вздохом отвечала она.

В начале нового года произошло событие, которому суждено было перевернуть внутреннюю жизнь Вероники и произвести полную метаморфозу в чудесном выражении ее лица, сделав его, впрочем, еще более интересным для глаз художника. Обеспокоенный состоянием своего здоровья, Граслен, к великому отчаянию жены, не пожелал больше жить на первом этаже; он водворился в супружеских покоях и потребовал ухода за собой. Вскоре в Лиможе распространилась новость: г-жа Граслен ждет ребенка. Печаль ее, смешанная с радостью, дала понять друзьям, что, несмотря на всю свою добродетель, Вероника была счастлива, живя отдельно от мужа. Может быть, она надеялась на лучшую судьбу с тех пор, как прокурор суда стал ухаживать за ней, отказавшись от брака с самой богатой наследницей Лимузена. Отныне глубокие политики, которые между двумя партиями в вист ведут надзор за чужими чувствами и состояниями, заподозрили члена суда и г-жу Граслен в том, что они возлагали на болезненное состояние банкира некоторые надежды, почти полностью разрушенные последними событиями. Глубокие тревоги, отметившие этот период жизни Вероники, волнение, которое всегда вызывают у женщины первые роды, к тому же небезопасные,

когда уже миновала первая молодость,— все побуждало друзей уделять ей еще больше внимания. Каждый окружал ее заботами, показавшими, насколько глубоки и прочны были их чувства.

ГЛАВА II

ТАШРОН

В том же году Лимож стал ареной загадочной драмы. Речь идет о процессе Ташрона, в котором молодой виконт де Гранвиль проявил все свои таланты, заслужившие ему впоследствии пост главного прокурора.

Был убит некий старик, проживавший в уединенном доме в предместье Сент-Этьен. От предместья дом этот был отделен большим фруктовым садом, а от деревни — запущенным парком, на краю которого находилась старая, заброшенная оранжерея. Берега Вьены перед жилищем убитого старика круто обрываются вниз, открывая глазу течение реки. Покатый двор заканчивается над обрывом низенькой каменной оградой с расположенными на равном расстоянии пилястрами, между которыми, больше для украшения, чем для защиты от воров, тянется решетка из крашеных деревянных планок. Известный своей скупостью старик, по имени Пенгре, жил вместе с единственной своей служанкой, которая исполняла всю тяжелую работу по саду. Сам он ухаживал за шпалерами, подстригал деревья, снимал фрукты, отправлял их на продажу в город, а также торговал ранними овощами, выращивать которые был великий мастер. Племянница старика и его единственная наследница, бывшая замужем за мелким городским рантье, г-ном де Ванно, не раз просила дядю взять сторожа для охраны дома, всячески доказывая, что с его помощью можно было бы вырастить не одно плодовое дерево на участках, где теперь засевались лишь кормовые травы; однако старик неизменно отказывался. Такое ни с чем несообразное для скряги поведение вызывало немало толков и догадок в домах, где проводили вечера супруги де Ванно. Поминутно самые разноречивые заявления прерывали партию в бостон. Наиболее дошлые из игроков предполагали, что в люцерновом поле зарыт клад.

— Будь я на месте госпожи де Ванно,— говаривал один милый шутник,— я не стал бы мучить своего дядюшку. Убьют его? Прекрасно, пусть убивают. Наследство достанется мне.

Госпожа де Ванно заботилась о своем дяде, как директор Итальянской оперы заботится о состоящем на жалованье теноре, заставляя его хорошенько укутывать горло и предлагая ему собственное пальто, если тот позабыл свое дома. Она подарила Пенгре великолепного сторожевого пса, но старик отослал его обратно с Жанной Маласси, своей служанкой.

—Хозяин не хочет в своем доме ни одного лишнего рта,— объясняла она г-же де Ванно.

События показали, насколько обоснованны были опасения племянницы. Пенгре был убит глухой ночью посреди люцернового поля, очевидно, в то время, когда он добавлял монеты в набитый золотом горшок. Служанка, разбуженная шумом борьбы, имела мужество броситься на помощь к старому скряге, и убийца был вынужден убить и ее, чтобы избавиться от свидетеля. Подобное соображение, заставляющее преступника множить количество жертв, порождено страхом грозящей ему смертной казни. Это двойное убийство сопровождалось совершенно необычайными обстоятельствами, которые давали равные шансы как обвинению, так и защите.

Когда поутру соседи не увидели в саду ни папаши Пенгре, ни его служанки, когда, заглянув через решетку, они обнаружили, что, против обыкновения, окна и двери дома заперты, в предместье Сент-Этьен поднялся шум, который докатился до Колокольной улицы, где жила г-жа де Ванно. Племяннице всегда мерещились всякие ужасы, она известила полицию, которая тут же выломала ворота. На четырех люцерновых участках были найдены четыре пустые ямы с разбросанными вокруг черепками от горшков, еще накануне полных золота. В двух ямах лежали кое-как закопанные трупы папаши Пенгре и Жанны Маласси. Бедная девушка прибежала босиком, в одной рубашке. Пока королевский прокурор, полицейский комиссар и судебный следователь вели предварительное следствие, несчастный де Ванно соби-

рал черепки и по размерам горшков прикидывал сумму утраченного наследства. Судейские подтвердили правильность его расчетов, установив, что в каждом из разбитых горшков хранилось по тысяче монет; но, как знать, были это монеты достоинством в сорок восемь или в сорок, в двадцать четыре или в двадцать франков? Все, кто только ожидал в Лиможе наследства, горячо сочувствовали горю де Ванно. Воображение лимузенцев было поражено зрелищем разбитых, некогда полных золота горшков. Что касается папаши Пенгре, который часто сам торговал на рынке своими овощами и, питаясь одним хлебом и луком, тратил не более трехсот франков в год, то, поскольку он никому не доставлял ни неприятностей, ни удовольствия и не сделал в предместье Сент-Этьен ни крупицы добра,— о нем не жалел никто. Что же до Жанны Маласси, то ее героизм, за который старый скряга едва ли вознаградил бы ее, был сочтен неуместным, и людей, восхищавшихся ею, было гораздо меньше, нежели тех, кто говорил: я бы на ее месте преспокойно спал!

Представители правосудия не нашли в этом нетопленном, голом и мрачном доме даже чернил и пера, чтобы составить протокол. Любопытные соседи и наследник обратили внимание на странности, свойственные многим скупцам. Об ужасе старичка перед расходами можно было судить по давно не чиненной крыше, пропускавшей и свет, и дождь, и снег; по зеленым трещинам, избороздившим стены, по едва державшимся, сгнившим дверям, по заменяющей оконные стекла непромасленной бумаге. Во всех комнатах — окна без занавесей, камины без зеркал и решеток, а в каминах одно-единственное полено или несколько щепок, покрытых, словно лаком, стекающей из труб дождевой водой пополам с сажей. Имущество составляли хромые стулья, две тощие жесткие кушетки, треснувшие горшки, склеенные тарелки, продавленные кресла, занавеси, расшитые безжалостной рукой времени, источенный червем секретер, где старик хранил семена, покрытое заплатами и швами белье и, наконец, груда тряпья, которое держалось только волей своего хозяина, а после его смерти рассыпалось в пыль, в прах, в остатки химического распада, в нечто не имеющее названия, едва прикоснулись к нему руки взбешенного на-

следника или представителей власти. Вещи эти исчезли, как бы убоявшись продажи с торгов.

Большинство жителей столицы Лимузена долго еще проявляли интерес к судьбе славных супругов де Ванно, имевших к тому же двоих детей. Но когда правосудию удалось напасть на след предполагаемого преступника, новый персонаж привлек к себе всеобщее внимание. Героем стал он, а супруги де Ванно отошли на задний план.

К концу марта г-жа Граслен начала испытывать недомогание, вызываемое обычно первой беременностью. Правосудие продолжало расследовать дело об убийстве в предместье Сент-Этьен, но убийца не был еще задержан. Вероника принимала друзей в своей спальне, где поставили карточные столы. Вот уже несколько дней г-жа Граслен не выходила из дому, теперь у нее появилось немало причуд и капризов, обычно приписываемых беременности. Мать приходила к ней почти каждый день, и они проводили вместе целые часы.

Пробило девять часов. Игроки не садились за карты, все говорили об убийстве и о супругах де Ванно. Вошел прокурор.

— Убийца папаши Пенгре в наших руках,— объявил он с довольным видом.

— Кто он? — раздалось со всех сторон.

— Рабочий с фарфоровой фабрики, известный своим отменным поведением и стоявший на пути к богатству. Он работал на фабрике, принадлежавшей ранее вашему мужу,— добавил он, обращаясь к г-же Граслен.

— Кто же это? — слабым голосом спросила Вероника.

— Жан-Франсуа Ташрон.

— Несчастный! — сказала она.— Да, я видела его несколько раз. Отец говорил мне о нем, как об очень способном юноше.

— Он еще до смерти Совиа ушел от него на фабрику к господину Филиппару, который пообещал ему больший заработок,— заметила старуха Совиа.— Но полезно ли моей дочери слушать все эти разговоры? — добавила она, взглянув на г-жу Граслен, которая побледнела как полотно.

С этого дня старая матушка Совиа переселилась из

своего дома к дочери и, несмотря на свои шестьдесят шесть лет, стала ходить за ней, как сиделка. Она не покидала комнаты,— друзья г-жи Граслен в любой час дня заставали ее на посту у изголовья дочери с неизменным вязанием в руках. Она не сводила глаз с Вероники, как в те дни, когда дочь болела черной оспой, отвечала за нее на вопросы и не всегда впускала к ней посетителей. Взаимная любовь матери и дочери была так хорошо известна в Лиможе, что поведение старой женщины никого не удивило.

Через несколько дней прокурор, думая развлечь этим больную, пожелал рассказать подробности о деле Жана-Франсуа Ташрона, которых жадно добивался весь город, но старуха Совиа резко прервала его, сказав, что, пожалуй, после таких рассказов г-жа Граслен будет видеть дурные сны. Однако Вероника, пристально глядя на г-на де Гранвиля, попросила его продолжать. Таким образом, друзья г-жи Граслен, находясь у нее в гостях, первыми узнали еще не опубликованные результаты следствия. Вот в кратких чертах содержание обвинительного акта, который готовился тем временем в канцелярии прокурора.

Жан-Франсуа Ташрон был сыном обремененного семьей мелкого фермера, проживавшего в деревне Монтеньяк. Лет за двадцать до того, как произошло преступление, всполошившее весь Лимузен, кантон Монтеньяк был известен своими дурными нравами. В лиможской прокуратуре так и говорили, что из ста приговоров по всему департаменту пятьдесят выносятся в судебном округе, к которому принадлежит Монтеньяк. С 1816 года, то есть через два года после приезда священника Бонне, Монтеньяк утратил свою печальную известность и перестал поставлять преступников для суда присяжных. Подобную перемену целиком приписывали благотворному влиянию г-на Бонне на общину, некогда являвшуюся очагом злодеяний, наводивших ужас на всю округу. Преступление Жана-Франсуа Ташрона сразу напомнило о дурной славе Монтеньяка. По удивительной воле случая семья Ташрона была почти единственной в этих местах семьей, сохранившей добрые старые нравы и религиозные обычаи, которые, по утверждению наблюдателей, постепенно исчезают в деревнях. Таким

образом, Ташроны являлись точкой опоры для священника, естественно, полюбившего их всем сердцем. Эта дружная семья, отличавшаяся честностью и трудолюбием, могла подать Жану-Франсуа только хороший пример. Привлеченный в Лимож похвальным стремлением добиться богатства, честно трудясь на фабрике, юноша уехал из деревни, к великому сожалению горячо любивших его родных и друзей. В течение двух лет ученичества его поведение было выше похвал, ни один проступок не предвещал ужасного злодеяния, которым закончилась его жизнь. Жан-Франсуа Ташрон отдавал учению и книгам то время, которое остальные рабочие проводят в пьянстве или в разврате. Самые тщательные расследования со стороны провинциального правосудия, располагавшего достаточным для того временем, не пролили света на тайну его существования. Хозяйка убогих меблированных комнат, где проживал Жан-Франсуа, на допросе показала, что никогда не приходилось ей иметь жильцом такого высоконравственного и порядочного молодого человека. Нрава он был мягкого, приветливого, почти веселого. Примерно за год до преступления привычки его несколько изменились. Часто он не ночевал дома, иной раз — несколько ночей подряд. В какой части города он ночевал — этого она не знает. Судя по состоянию его башмаков, она думала, что жилец бывал в деревне. Но хотя он и отправлялся за город, вместо подбитой гвоздями грубой обуви он всегда обувал легкие башмаки. Перед уходом он брился, душился и надевал чистое белье. Следствие раскинуло свои сети на подозрительные дома и женщин, ведущих распутную жизнь, но там Жан-Франсуа Ташрон был неизвестен. Следствие попыталось получить сведения среди работниц и гризеток, но ни одна из девиц легкого поведения никогда не встречалась с обвиняемым. Преступление, мотивы которого неизвестны, всегда кажется непостижимым, особенно если преступником является юноша, чья тяга к образованию и честолюбие должны были внушить ему мысли и суждения более возвышенные, чем у других рабочих. Прокуратура и следователь пытались объяснить совершенное Ташроном убийство страстью к игре. Однако тщательное расследование показало, что обвиняемый никогда не брал в руки карт.

Жан-Франсуа с самого начала прибегнул к полному отрицанию и запирательству, которое на суде не могло бы устоять перед свидетельством улик, но ясно дало почувствовать тайное вмешательство какого-то другого лица, глубоко сведущего в юриспруденции или же наделенного незаурядным умом. Улики, как в большинстве дел об убийстве, были очень тяжкими и вместе с тем незначительными. Вот главные из них. Отсутствие Ташрона в ночь, когда было совершено преступление, и отказ сообщить, где он провел эту ночь,— обвиняемый не удостаивал даже создать себе алиби. Найденный на дереве клочок его блузы, очевидно, вырванный бедной служанкой во время борьбы и унесенный ветром. Прогулка Ташрона вечером возле дома, замеченная прохожими, жителями предместья, которые, не произойди убийства, о том бы и не вспомнили. Самодельный ключ от выходящей в поле калитки, который был довольно ловко спрятан в углу ямы, где случайно копнул землю г-н де Ванно, желая убедиться, что в тайнике нет второго этажа. Следствие в конце концов разыскало тех, кто продал железо, кто одолжил тиски, кто дал напильник. Этот ключ был первым указанием, он навел на след Ташрона, который был арестован в лесу на границе департамента, где юноша ждал проходящего дилижанса. Часом позже он должен был уехать в Америку.

Наконец, хотя все следы шагов были тщательно затерты как на возделанной почве, так и на дорожной грязи, полевой сторож обнаружил отпечатки чьих-то легких башмаков. Когда сделали обыск у Ташрона и приложили подошвы его башмаков к этим следам, они совершенно совпали. Это роковое совпадение полностью подтвердило показания наблюдательной хозяйки. Следствие приписало совершенное преступление постороннему влиянию, а не единолично принятому решению. Чтобы унести похищенные деньги, необходим был сообщник. Как бы ни был силен человек, один он не может далеко унести двадцать пять тысяч франков золотом. Если предположить, что такая сумма находилась в каждом горшке, то, чтобы переправить четыре горшка, потребовалось бы ходить четыре раза. Однако случайное обстоятельство помогло определить час, в который произошло убийство. Услышав крики хозяина, Жанна Маласси в ужасе вскочила,

опрокинув при этом ночной столик, где стояли ее часы — единственный подарок, полученный ею от скряги за все пять лет. Пружина в часах при падении сломалась, и они остановились, показывая ровно два пополуночи. В середине марта, когда было совершено преступление, светать начинает между пятью и шестью часами утра. Куда бы ни были перенесены деньги, Ташрон, согласно выдвинутой следствием гипотезе, не мог унести их один. Тщательность, с какой Ташрон стер все следы, не обращая внимания на свои собственные, говорила о каком-то таинственном помощнике.

Вынужденное идти на догадки, правосудие стало искать причины убийства в любовной страсти. И поскольку предмета этой страсти в низших классах найти не удалось, следствие бросило взгляд выше. Возможно, какая-нибудь женщина из буржуазного сословия, уверенная в скромности этого юноши с характером сеида, завязала роман, закончившийся такой ужасной развязкой.

Обстоятельства убийства во многом подтверждали эту догадку. Старик был убит ударами заступа. Следовательно, убийство было внезапным, непреднамеренным, случайным. Скорее всего, любовники задумали ограбление, а не убийство. Любовь Ташрона и скупость Пенгре — две неумолимые страсти, привлеченные блеском золота, столкнулись лицом к лицу в густом мраке ночи.

Стремясь пролить хоть какой-нибудь свет на эту тайну, правосудие, воспользовавшись своим правом, арестовало любимую сестру Жана-Франсуа, надеясь с ее помощью разузнать что-нибудь о жизни брата. Дениза Ташрон из осторожности отпиралась от всего, и следователь даже заподозрил, что она знает причину преступления, хотя на самом деле ей ничего не было известно. Тюремное заключение наложило пятно на репутацию бедной девушки.

Обвиняемый проявил характер, редкий у людей, вышедших из народа. Он сбил с толку самых ловких *наседок*, которых ему подсаживали, не догадываясь даже об их назначении. Наиболее умные люди в суде считали Жана-Франсуа преступником, движимым страстью, а не

необходимостью, подобно большинству заурядных убийц, которые, прежде чем взойти на эшафот, все проходят через исправительную полицию и каторгу. В этом направлении и велись упорные и осторожные расследования, но неизменная выдержка преступника оставляла следствие без всякого материала. После того как была принята весьма правдоподобная версия романа со светской дамой, Жана-Франсуа подвергли не одному коварному допросу. Но стойкость его всегда торжествовала над моральными пытками, уготованными ему искусным следователем. Когда, пойдя на последнее средство, судейский сказал Ташрону, что особа, ради которой он совершил преступление, опознана и арестована, он, ничуть не изменяясь в лице, иронически заметил:

— Что же, я был бы очень рад ее видеть.

Узнав обстоятельства дела, многие согласились с предположениями следствия, которые, по-видимому, подтверждались молчанием обвиняемого. Молодой человек, ставший для всех загадкой, вызывал живейший интерес. Легко понять, как возбуждено было общественное любопытство, с какой жадностью все ожидали судебного разбирательства. Несмотря на розыски, произведенные полицией, следствие остановилось на пороге гипотезы, не решаясь проникнуть в тайну, скрывавшую немало опасностей. В некоторых юридических случаях для обвинения мало полууверенности. Оставалось надеяться, что правда увидит свет на суде присяжных, когда многие преступники сами себя изобличают.

Господин Граслен был назначен в эту сессию присяжным, и, таким образом, либо через мужа, либо через г-на де Гранвиля Вероника узнавала малейшие подробности уголовного процесса, который в течение двух недель держал в волнении Лимузен и всю Францию.

Поведение обвиняемого подтверждало легенду, сложившуюся в городе на основании догадок правосудия. Часто глаза его обращались к местам, где сидели дамы из высшего общества, которые наслаждались волнующими перипетиями этой подлинной драмы. Всякий раз, когда ясный, но непроницаемый взор этого человека пробегал по группе элегантных зрительниц, среди них начиналось бурное движение: каждая боялась показаться его сообщницей инквизиторскому оку обвинителей и су-

да. Тщетные усилия следствия получили теперь огласку, и все узнали, какие предосторожности принимал обвиняемый, чтобы обеспечить своему злодеянию полный успех.

За несколько месяцев до роковой ночи Жан-Франсуа раздобыл паспорт для выезда в Северную Америку. А если они хотели покинуть Францию, дама, очевидно, была замужем,— ведь бежать с девицей, казалось бы, незачем. Возможно, что и ограбление было задумано с тем, чтобы неизвестная могла потом жить в довольстве. Следствие не обнаружило в префектуре ни одной записи о выдаче американского паспорта на чье бы то ни было женское имя. На всякий случай были запрошены префектуры Парижа и соседних департаментов, но тщетно.

Все детали, выясняющиеся на суде, указывали на глубоко продуманный план, составленный выдающимся умом. Самые добродетельные лимузенские дамы приписывали непонятный в обычных обстоятельствах выбор легкой обуви для хождения по грязи и разрытой земле тем, что преступник выслеживал старика Пенгре, а самые серьезные мужчины с восторгом разъясняли, как полезны такие туфли, если хочешь бесшумно влезть в окно и тайно бродить по дому. Было совершенно ясно, что Жан-Франсуа и его возлюбленная (молодая, прекрасная, романтическая,— каждый рисовал в своем воображении восхитительный портрет) решили совершить подлог и вписать в паспорт: *и его супруга.*

Вечерами карточные партии во всех гостиных поминутно прерывались. Все игроки высказывали проницательные соображения, вспоминая, кто из женщин ездил в марте 1829 года в Париж, или прикидывая, кто из них мог явно или тайно готовиться к побегу.

Одним словом, Лимож наслаждался собственным процессом Фюальдеса, украшенным вдобавок неизвестной госпожой Мансон. Никогда ни один провинциальный город не становился добычей такого любопытства и возбуждения, как Лимож каждый вечер после заседания суда. В Лиможе бредили этим процессом, где все оборачивалось к вящей славе обвиняемого, чьи ответы — при передаче искусно сглаженные, расширенные и истолкованные — вызывали бурные спо-

ры. Когда один из присяжных спросил у Ташрона, почему он взял паспорт для отъезда в Америку, тот ответил, что собирался открыть там фарфоровую фабрику. Таким образом, не меняя способа защиты, он снова выгораживал свою сообщницу, давая понять, что совершил преступление лишь из нужды в деньгах, для выполнения своего честолюбивого замысла. В один из наиболее напряженных дней судоговорения друзья Вероники, которая чувствовала себя несколько лучше, собравшись вечером в ее гостиной, невольно принялись искать объяснения скромности преступника. Накануне врач рекомендовал Веронике совершить прогулку. Утром она, опираясь на руку матери, отправилась окольным путем в сельский домик Совиа и там немного отдохнула. После возвращения домой она решила не ложиться, а подождать прихода мужа, чтобы, как всегда, подать ему обед. Вот почему она не могла не услыхать спора своих друзей.

— Если бы жив был мой бедный отец,— сказала Вероника,— мы бы знали больше, а может быть, этот человек и не стал бы преступником... Но, мне кажется, вы все забрали себе в голову странную мысль. Вы считаете, что причиной преступления является любовь: тут я с вами согласна. Но почему вы думаете, что незнакомка замужем? Может быть, он любит молодую девушку, которую родители не желают отдавать за него?

— Рано или поздно несовершеннолетняя девица стала бы его женой законным путем,— ответил г-н де Гранвиль.— У Ташрона достаточно терпения, он мог бы честно наживать состояние, дожидаясь того момента, когда каждая девушка может выйти замуж против воли родителей.

— А я не знала, что такие браки возможны,— заметила г-жа Граслен.— Но как могло случиться, что ни у кого не возникло ни малейшего подозрения в городе, где все друг друга знают, где жизнь каждого соседа на виду? Ведь для того, чтобы любить друг друга, им нужно было по крайней мере видеться. А что думаете об этом вы, представители правосудия? — спросила она, пристально глядя в глаза прокурору.

— Мы все полагаем, что женщина принадлежит к мещанскому или коммерческому сословию.

— Вот уж не думаю,— возразила г-жа Граслен.— Женщинам этого круга недоступны такие высокие чувства.

Услыхав подобный ответ, все посмотрели на Веронику, ожидая, что она объяснит столь парадоксальное мнение.

— В часы ночной бессонницы или днем, лежа в постели, я невольно размышляла об этом таинственном деле и, мне кажется, разгадала побуждения Ташрона. Вот почему я думаю, что здесь замешана девушка: у замужней женщины есть свои интересы, если не чувства, которые владеют ее сердцем и мешают ей дойти до полного самозабвения, способного внушить столь великую страсть. Не нужно быть матерью, чтобы понять любовь, в которой материнские чувства соединяются с любовным желанием. По-видимому, этого человека любила женщина, которая хотела быть его опорой. В своей страсти незнакомка проявила тот талант, какой видим мы в прекрасных произведениях художников или поэтов. У женщин талант проявляется в другой форме: их назначение создавать не вещи, а людей. Наши дети — вот наши произведения! Дети — это наши картины, книги, статуи. Разве, воспитывая их, мы не становимся художниками? Вот почему я голову наотрез даю, что если незнакомка и не девушка, то, во всяком случае, она не мать. Следователю нужна проницательность женщины, чтобы уловить множество ускользающих от него оттенков. Будь я вашим помощником,—обратилась Вероника к прокурору,— мы нашли бы виновную, если только незнакомка действительно виновна. Я полагаю, так же как аббат Дютейль, что оба возлюбленные задумали бежать, а так как денег на жизнь в Америке у них не было, то они похитили клад бедняги Пенгре. Воровство привело к убийству — такова роковая логика, внушенная преступникам угрозой смертной казни. Итак,— добавила она, бросив умоляющий взгляд на прокурора,— вы поступили бы прекрасно, если бы, устранив обвинение в преднамеренности, спасли бы несчастному жизнь. Человек этот велик, несмотря на его преступление; быть может, он искупит свою вину безграничным раскаянием. Дела, совершенные в знак раскаяния,— вот чем должна бы заняться мысль

правосудия. Неужели и в наше время во искупление своих злодеяний можно только сложить голову на плахе или, как в былые дни, построить миланский собор?

— Сударыня, ваши рассуждения благородны и возвышенны,— возразил прокурор,— но даже если устранить преднамеренность, Ташрону все равно грозит смертная казнь, в силу доказанных отягчающих обстоятельств, сопровождавших кражу: ночное время, взлом замков, проникновение через забор и т. д.

— Значит, вы думаете, что он будет осужден? — спросила она, опустив веки.

— Я в этом уверен, обвинение одержит победу.

От легкой дрожи, пробежавшей по телу Вероники, платье ее зашуршало.

— Мне холодно,— сказала она и, опершись на руку матери, ушла к себе в спальню.

— Она выглядит сегодня много лучше,— согласились все друзья.

На следующий день Вероника была близка к смерти. Когда врач удивился ее тяжелому состоянию, она, улыбаясь, заметила:

— Ведь я предсказывала, что прогулка мне пользы не принесет.

Во время прений сторон Ташрон держался спокойно, без всякой рисовки и без лицемерного смирения. Врач, стараясь развлечь больную, принялся рассуждать о поведении обвиняемого. По словам врача, вера в талант защитника ослепила беднягу,— он верит, что избежит смерти. Иногда на его лице вспыхивает надежда, которая говорит о счастье большем, чем жизнь.

Вся прежняя жизнь этого двадцатитрехлетнего юноши настолько противоречила завершившему ее поступку, что защитники видели в его спокойствии подтверждение своих взглядов. Одним словом, обстоятельства, выдвинутые гипотезой обвинения, выглядели столь неубедительно в романе, созданном защитой, что голова обвиняемого оспаривалась адвокатом не без шансов на победу. Чтобы спасти жизнь своего подзащитного, адвокат решил ожесточенно сражаться, не отрицая преднамеренности: он гипотетически принял преднамеренность кражи, но не преднамеренность двойного убийства, вызван-

ного неожиданной борьбой. Успех и обвинения и защиты казался равно возможным.

После визита врача Вероника приняла прокурора, который навещал ее каждое утро после судебного заседания.

— Я читала вчера речь защитника. Сегодня предстоят реплики обвинения. Меня так заинтересовала участь подсудимого, что я хотела бы его оправдания. Не можете ли вы раз в жизни отказаться от победы? Дайте адвокату побить себя. Право, подарите мне жизнь этого несчастного, быть может, когда-нибудь вам будет принадлежать моя жизнь!.. Прекрасная речь, которую произнес адвокат Ташрона, заронила в умы сомнения, и теперь...

— Как дрожит ваш голос! — воскликнул несколько удивленный виконт.

— Знаете почему? — спросила она.— Недавно муж заметил одно ужасное совпадение; при моей чувствительности оно может стоить мне жизни. Я буду рожать в тот самый день, когда вы дадите приказ отрубить Ташрону голову.

— Но не могу же я изменить Кодекс? — возразил прокурор.

— Оставьте меня! Вы не умеете любить,— сказала Вероника, закрыв глаза.

Она опустила голову на подушку и властным жестом указала виконту на дверь.

Господин Граслен энергично, но тщетно ратовал за оправдание обвиняемого, приводя подсказанные ему женой доводы, с которыми согласились еще двое присяжных из его друзей.

— Если мы сохраним жизнь этому человеку, семья де Ванно найдет наследство старого Пенгре.— Этот неопровержимый аргумент привел к тому, что голоса присяжных разделились: семь против пяти. Потребовалось вмешательство суда, но суд присоединился к меньшинству присяжных. Согласно юридическим правилам того времени, это присоединение предопределяло обвинительный приговор. Когда Ташрону сообщили решение суда, он впал в неистовство, весьма естественное для человека, полного жизненных сил; однако ни судьям, ни адвокатам, ни присяжным, ни публике почти никогда не

случалось наблюдать подобное состояние у преступника, осужденного несправедливо. Никто не считал, что с вынесением приговора драма была завершена. Ожесточенная борьба в суде породила, как это всегда бывает в подобных случаях, два противоположных мнения относительно виновности героя, в котором одни видели угнетенную невинность, а другие — преступника, понесшего заслуженную кару. Либералы стояли за невиновность Ташрона, не столько из уверенности в ней, сколько из желания противоречить властям. «Как можно,— говорили они,— приговорить человека к смерти лишь потому, что нога его совпадает с отпечатками другой ноги, что он не ночевал дома, хотя, как всем известно, любой юноша скорее умрет, чем скомпрометирует женщину, и что он одолжил инструменты и купил кусок железа? Ведь не доказано, что ключ сделал именно он. А лоскут синей материи, висевший на дереве, может быть, прицепил сам Пенгре, чтобы отпугивать воробьев, и только случайно подошел он к дыре на блузе Ташрона. Подумать только, от чего зависит жизнь человека! И наконец, Жан-Франсуа все отрицал, а у обвинения не было ни одного свидетеля, который видел бы убийство своими глазами».

Либералы подкрепляли, развивали и пересказывали доводы и защитительную речь адвоката. «Что такое старик Пенгре? Околевший денежный сундук!» — говорили острословы. Так называемые передовые люди, отрекаясь от святых законов собственности — в отвлеченной сфере экономических идей, уже подвергшихся нападкам сенсимонистов,— шли еще дальше: «Папаша Пенгре первый совершил преступление. Этот человек копил золото и обирал свою страну. Сколько предприятий могло быть оплодотворено этим бесполезно лежавшим капиталом! Он ограбил промышленность и понес заслуженное наказание». Служанка? Ее жалели все. Дениза Ташрон, которая, разгадав уловки правосудия, не произнесла на допросе ни одного необдуманного слова, вызывала всеобщий интерес. Она превратилась в фигуру, отчасти подобную Дженни Динс, которую напоминала очарованием и скромностью, набожностью и красотой.

Итак, Жан-Франсуа Ташрон продолжал возбуждать любопытство не только в городе, но и во всем департа-

менте, и многие романтически настроенные женщины открыто высказывали свое восхищение. «Если под всем этим кроется любовь к женщине, стоящей выше него, то, разумеется, он человек необыкновенный,— говорили они.— Вот увидите, он умрет без страха!» Люди бились об заклад: заговорит он? Не заговорит?

После объявления приговора, вызвавшего приступ ярости, который без вмешательства жандармов мог бы оказаться роковым для иных членов суда и зрителей, преступник продолжал с неистовством дикого зверя грозить всем, кто к нему приближался. Тюремщику пришлось надеть на него смирительную рубашку, чтобы помешать ему покуситься на свою жизнь и чтобы самому чувствовать себя в безопасности. Побежденный этой жестокостью, Ташрон не мог больше прибегнуть к насилию и изливал свое отчаяние в бешеных криках и взглядах, которые в средние века объяснили бы одержимостью. Он был так молод, что женщины не могли не оплакивать эту озаренную любовью жизнь, которой суждено было оборваться так рано. «Последний день осужденного», этот тщетный протест против смертной казни, опора тайных обществ, мрачная элегия, недавно вышедшая в свет, словно специально к этому случаю, упоминалась во всех разговорах. И, наконец, кто не рисовал в своем воображении неуловимую незнакомку, шагающую по крови, стоящую, словно на пьедестале, перед судом присяжных, истерзанную ужасной скорбью, но осужденную хранить невозмутимое спокойствие у своего семейного очага? Ею тоже готовы были восхищаться, этой лимузенской Медеей с непроницаемым лицом, с железным сердцем в белой груди. Быть может, она живет в том или в этом доме? Чья-нибудь сестра или кузина, или дочь, или жена? Какой страх должен был царить в лоне семейств! В области воображения сила неведомого неизмерима,— превосходно сказал Наполеон.

Что касается ста тысяч франков, украденных у господ де Ванно и тщетно разыскиваемых полицией, то тут из-за упорного молчания преступника обвинитель потерпел полное поражение. Г-н де Гранвиль, замещавший тогда в палате депутатов генерального прокурора, хотел пустить в ход испытанное средство — пообещать смягчить приговор в случае признания. Но когда он появился пе-

ред узником, тот встретил его исступленными воплями, эпилептическими судорогами и полным ярости взглядом, в котором ясно читалось желание перегрызть ему глотку. Теперь правосудие могло рассчитывать только на помощь церкви. Супруги де Ванно не раз приходили к тюремному священнику аббату Паскалю. Священник не лишен был того особого таланта, без которого не мог бы заставить узников слушать себя. Он попытался обуздать с помощью религии неистовство Ташрона, своими отцовскими словами смягчить бури, терзающие эту могучую натуру. Но борьба с ураганом вырвавшихся на свободу страстей лишила сил бедного аббата Паскаля.

— Этот человек обрел свой рай в земной юдоли,— кротким голосом сказал старец.

Бедняжка г-жа де Ванно советовалась с приятельницами, не попытаться ли ей самой воздействовать на преступника. Г-н де Ванно хотел поладить с ним полюбовно. Дойдя до отчаяния, он предложил г-ну де Гранвилю испросить помилование убийце своего дяди, если оный убийца вернет сто тысяч франков. Прокурор ответил, что его королевское величество не унизится до подобной сделки. Супруги де Ванно обратились тогда к адвокату Ташрона, пообещав ему десять процентов от похищенной суммы, если только удастся ее вернуть. Адвокат был единственным человеком, при виде которого Ташрон не выходил из себя; наследники уполномочили его предложить убийце другие десять процентов для передачи его семье. Несмотря на все ухищрения наследников и красноречие адвоката, от его подзащитного ничего не удалось добиться. Взбешенные де Ванно ругали и проклинали осужденного.

— Он не только убийца, но еще и лишен деликатности! — совершенно серьезно вскричал г-н де Ванно, в жизни не слыхавший знаменитой песни о Фюальдесе, когда узнал о неудаче аббата Паскаля и понял, что все погибнет в случае отклонения ходатайства о помиловании.— На что ему наши деньги там, куда он отправится? Убийство — это еще можно понять, но бесцельная кража — это непостижимо. В какие только времена мы живем, если люди из общества интересуются таким разбойником?

— Все-таки это бесчестно,— вторила г-жа де Ванно.

— Но, вернув деньги, он может скомпрометировать свою подругу,— предположила какая-то старая дева.

— Мы сохранили бы все в тайне! — закричал г-н де Ванно.

— Тогда вы были бы виновны в укрывательстве,— возразил адвокат.

— О проклятый нищий! — таково было заключение г-на де Ванно.

Одна из дам, принятых в обществе г-жи де Граслен, со смехом рассказавшая ей о спорах супругов де Ванно, женщина очень умная, одна из тех, кто мечтает о прекрасном идеале и хочет, чтобы все было совершенно, высказала сожаление о том, что осужденный ведет себя, как разъяренный зверь. Ей хотелось, чтобы он был холоден, спокоен и полон достоинства.

— Разве вы не видите,— заметила Вероника,— что таким образом он отбрасывает соблазны и сопротивляется искушениям. Он из расчета превратился в дикого зверя.

— К тому же это не человек из общества,—подхватила изгнанница-парижанка,— это рабочий.

— Человек из общества давно бы предал незнакомку,— ответила г-жа Граслен.

Эти события, на все лады обсуждаемые и в салонах и в скромных семейных домах, досконально разбиравшиеся всеми умниками города, вызывали жгучий интерес к казни Ташрона, чью просьбу о помиловании Верховный суд по истечении двух месяцев отклонил. Как будет вести себя в последние минуты преступник, который заявлял, что пойдет на отчаянное сопротивление и не даст убить себя? Заговорит ли он? Признается ли? Кто выиграет пари? Пойдете ли вы? Не пойдете? А как туда попасть?

В Лиможе тюрьма и место казни расположены таким образом, чтобы избавить преступников от тягости долгого пути. Поэтому количество избранной публики всегда бывает ограничено. Здание суда, где помещается тюрьма, стоит на углу Судейской улицы и улицы Понт-Эрисон. Прямым продолжением Судейской улицы является короткая уличка Монт-а-Регре, ведущая на площадь Эн, или Арен, где совершаются казни, чему, без сомнения, и обязана она своим названием. Путь неда-

лек, и, следовательно, на пути этом мало домов и мало окон. А какой же человек из общества захочет смешаться с толпой, обычно заполняющей площадь?

Однако ожидавшаяся со дня на день казнь, к величайшему удивлению всего города, со дня на день откладывалась, и вот почему. Благочестивое смирение идущего на казнь злодея является торжеством церкви и всегда оказывает огромное воздействие на толпу. Раскаяние преступника слишком ярко свидетельствует о могуществе религиозных идей, чтобы духовенство — не говоря уже о чисто христианских интересах, являющихся основной целью церкви,— не было раздражено своей неудачей в таком из ряда вон выходящем случае. В июле 1829 года положение было особенно острым из-за духа партийной борьбы, отравлявшего всю политическую жизнь. Партия либералов торжествовала, видя публичное поражение «поповской партии» — название, придуманное Манлозье, роялистом, присоединившимся к конституционалистам, которые увлекли его несколько дальше, чем ему бы хотелось. Партии в целом совершают бесчестные поступки, которые отдельного человека покрыли бы позором; поэтому если в глазах толпы какой-нибудь человек представляет партию, будь то Робеспьер, Джеффри или Лобардемон, он превращается в своего рода покаянный алтарь, на который все сообщники возлагают свои тайные ex voto. Действуя в согласии с епархией, суд оттягивал казнь, надеясь тем временем узнать о преступлении все, что ускользнуло от внимания следствия, а также способствовать торжеству религии. Меж тем власть суда была не безгранична, и рано или поздно приговор следовало привести в исполнение. Те же либералы, которые из духа противоречия считали Ташрона невиновным и нападали на приговор суда, теперь выражали недовольство тем, что приговор не приводится в исполнение. Оппозиция, если она последовательна, часто приходит к подобным нелепостям, ибо для нее не столько важно быть правой, сколько фрондировать против властей.

Таким образом, в начале августа суд был вынужден к действию той подчас неразумной молвой, которая называется общественным мнением. День казни был назначен. В подобных чрезвычайных обстоятельствах аббат Дютейль взял на себя смелость предложить епископу по-

следнее средство, и успех его замысла ввел в судебную драму человека необыкновенного, который объединил всех остальных персонажей, стал главным действующим лицом нашего повествования и неисповедимыми путями провидения привел г-жу Граслен на то поприще, где все ее добродетели раскрылись в полном блеске, где она показала себя благодетельницей рода человеческого и святой христианкой.

Епископский дворец в Лиможе расположен на холме, над берегами Вьены, и сады его, следуя естественному строению обрывистых склонов, террасами спускаются к реке, опираясь на мощные, увенчанные балюстрадами стены. Холм этот настолько высок, что предместье Сент-Этьен на том берегу реки как бы лежит у подножия последней террасы. С холма, куда бы ни направил свои шаги гуляющий, раскрывается великолепная панорама с вьющейся посредине рекой, которая видна то вдоль всего течения, то, скрываясь за поворотом, лишь с берега на берег. На востоке, оставив за собой сады епископского дворца, Вьена устремляется в город, изящной дугой изогнувшись вокруг предместья Сен-Марсиаль. Выше по течению, невдалеке от предместья, стоит хорошенький сельский домик, известный под названием Клюзо; он отлично виден с нижних террас и благодаря смещению перспективы как бы компонуется с колокольнями предместья. Перед домиком лежит поросший деревьями островок с изрезанными берегами, который Вероника в дни своей юности называла Иль-де Франс. На западе амфитеатром поднимаются уходящие вдаль холмы. Волшебная прелесть ландшафта и благородная простота здания делают епископский дворец самым примечательным памятником города, где остальные постройки не блещут ни выбором материала, ни архитектурой.

Давно уже приглядевшийся к чудесным видам, достойным внимания любителей живописных путешествий, аббат Дютейль в сопровождении г-на де Гранкура спускался с террасы на террасу, не обращая никакого внимания на алые краски, оранжевые тона и фиолетовые оттенки, которыми закат расписал старые стены, каменные балюстрады, дома предместья и воды реки. Он искал епископа, который сидел в ту пору на углу послед-

ней террасы под сенью виноградной беседки, куда велел подать себе десерт, и наслаждался очарованием вечера. Растущие на островке тополя рассекали воду своими длинными тенями, их пожелтевшие вершины отливали на солнце чистым золотом. Угасавшие лучи, пробегая по массе зелени разнообразнейших оттенков, создавали роскошные сочетания тонов, проникнутые глубокой печалью. В долине сверкающая блестками рябь трепетала под легким вечерним ветерком на зеркальной глади Вьены, оттеняя бурые плоскости кровель предместья Сент-Этьен. Сквозь обвившие решетку виноградные лозы вдали виднелись позлащенные солнцем шпили и колокольни предместья Сен-Марсиаль. Приглушенный шум провинциального городка, наполовину скрытого в глубокой излучине реки, ласковый ветерок — все располагало прелата к душевному спокойствию, которого требуют все авторы, писавшие о пищеварении. Глаза его невольно обращались туда, где тень тополей, достигнув берега предместья Сент-Этьен, падала на стену сада, в котором были убиты старик Пенгре и его служанка. Но как только недолгое блаженство епископа было нарушено старшими викариями, напомнившими ему о неприятных событиях, глаза его приняли непроницаемое выражение. Оба священника приписали его рассеянность досаде, меж тем как прелат прозревал в это время на песчаных берегах Вьены разгадку, которой тщетно добивались супруги де Ванно и правосудие.

— Монсеньер,—сказал, подойдя к епископу, де Гранкур,— все бесполезно. К нашему прискорбию, мы увидим, как умрет нераскаянным бедняга Ташрон. Он будет изрыгать самые ужасные проклятия против религии, осыпать бранью несчастного аббата Паскаля, плевать на распятие, отрицать все, даже существование ада.

— Он испугает народ,— добавил аббат Дютейль.— Это скандальное происшествие и ужас, который оно вызовет, будут свидетельством нашего поражения и бессилия. Вот почему я говорил по дороге господину де Гранкуру, что зрелище это оттолкнет не одного грешника от лона церкви.

Взволнованный этими словами, епископ положил на некрашеный деревянный стол виноградную кисть, вы-

тер пальцы и жестом пригласил обоих своих старших викариев присесть.

— Аббат Паскаль не так взялся за это дело,— произнес он, наконец.

— Последнее посещение тюрьмы довело его до болезни,— возразил аббат де Гранкур,— а не то он пришел бы с нами и разъяснил, почему невозможно осуществить повеления вашего преосвещенства.

— Осужденный начинает во все горло распевать непристойные песни, едва лишь увидит кого-нибудь из нас, и заглушает все наши увещевания,— сказал молодой священник, сидевший подле епископа.

Юноша этот, отличавшийся прелестной внешностью, сидел, облокотясь на стол, и тонкой белой рукой небрежно перебирал виноградные кисти, выбирая спелые ягоды с непринужденностью сотрапезника или любимца. Связанный с епископом Лиможским семейными и дружескими узами, молодой священник, младший брат барона де Растиньяка, был и сотрапезником и любимцем прелата. Так как духовное поприще он избрал только из расчета, епископ взял его себе в личные секретари, чтобы предоставить ему время и возможность выдвинуться. Имя аббата Габриэля сулило ему самые высокие места в церковной иерархии.

— А, значит, ты ходил туда, сын мой? — спросил епископ.

— Да, монсеньер. Но едва я показался, этот несчастный стал изрыгать против меня и вас самые мерзкие поношения, он вел себя так, что священнику невозможно было там оставаться. Дозволит ли ваше преосвященство дать ему совет?

— Послушаем мудрость младенцев, порой их устами глаголет бог,— сказал, улыбаясь, епископ.

— Не по его ли велению заговорила и Валаамова ослица? — весело откликнулся юный аббат де Растиньяк.

— По мнению иных комментаторов, она не слишком хорошо понимала свои слова,— возразил, смеясь, епископ.

Оба старших викария улыбнулись: прежде всего шутка исходила от монсеньера, а к тому же он ласково высмеивал молодого аббата, которому завидовали все духовные лица и честолюбцы, окружавшие прелата.

— Мне кажется,— сказал молодой аббат,— что следует попросить господина де Гранвиля еще немного отложить казнь. Если осужденный узнает, что он обязан несколькими днями отсрочки нашему ходатайству, он, может быть, сделает вид, что слушает нас, а если он нас выслушает...

— Он станет упорствовать в своем поведении, увидев, что оно ему выгодно,— прервал епископ своего любимца.— Господа,— продолжал он после минутного молчания,— известны ли все эти подробности в городе?

— Нет дома, в котором бы их не обсуждали,— ответил аббат де Гранкур.— А сейчас только и говорят, что о болезненном состоянии доброго аббата Паскаля.

— Когда должна состояться казнь Ташрона? — спросил епископ.

— Завтра, в базарный день,— сказал аббат де Гранкур.

— Господа, религия не может потерпеть поражения! — вскричал епископ.— Чем больше внимания привлекает это дело, тем настойчивее я буду добиваться полного торжества. Церковь находится в сложном положении. Мы обязаны сотворить чудо в промышленном городе, где дух мятежа против религиозных и монархических доктрин пустил глубокие корни, где порожденная протестантизмом разрушительная система взглядов, ныне именуемая либерализмом, готовая завтра же принять другое имя, охватила все и вся. Идите, господа, к викарию де Гранвилю — он предан нам всей душой,— скажите ему, что мы требуем нескольких дней отсрочки. Я сам пойду к несчастному узнику.

— Вы, монсеньер! — воскликнул аббат де Растиньяк.— Но, если потерпите неудачу вы, слишком многое от этого пострадает. Вы можете идти туда, лишь будучи уверены в успехе.

— Если монсеньер позволит мне высказать свое мнение,—сказал аббат Дютейль,— я надеюсь, что смогу предложить средство добиться торжества религии в этом печальном деле.

Прелат ответил жестом согласия, но достаточно небрежным, чтобы показать, как мало он ценит старшего викария.

— Если и может кто-нибудь воздействовать на эту мятежную душу и вернуть ее господу,— продолжал аббат Дютейль,— то лишь кюре из его деревни, господин Бонне.

— Один из ваших подопечных,— заметил епископ.

— Монсеньер, кюре Бонне принадлежит к людям, которые сами себя опекают своей воинствующей добродетелью и своими евангельскими трудами.

Этот скромный и простой ответ бы встречен молчанием, которое смутило бы всякого другого, кроме аббата Дютейля. Его возражение касалось людей непризнанных, и все три пастыря усмотрели в нем один из тех смиренных, но безупречных и ловко отточенных сарказмов, которыми щеголяют духовные лица, умеющие говорить именно то, что и хотят сказать, не нарушая при этом строжайших правил. Но это было не так, аббат Дютейль и не думал о сарказмах.

— Я давно уже слышу об этом святом Аристиде,— сказал с улыбкой епископ.— Если я скрою от людей такой талант, это будет несправедливостью или предубеждением. Ваши либералы восхваляют вашего господина Бонне так, словно он принадлежит к их партии, но я хочу сам судить об этом сельском апостоле. Отправляйтесь, господа, к прокурору и попросите от моего имени об отсрочке. Я подожду ответа, прежде чем посылать нашего милого аббата Габриэля в Монтеньяк за святым человеком. Мы дадим этому праведнику возможность сотворить чудо.

Услыхав слова прелата, аббат Дютейль покраснел, но не показал, что они были ему неприятны. Оба старшие викария молча поклонились и оставили епископа наедине с его фаворитом.

— Тайна исповеди, которой мы домогаемся, несомненно, погребена там,— сказал епископ молодому аббату, указывая на тень тополей, покрывшую одинокий дом, затерянный между островом и предместьем Сент-Этьен.

— Я сам так думаю,— ответил Габриэль.— Я не следователь и не хочу быть шпионом; но будь я судьей, я узнал бы имя женщины, которая трепещет при каждом шуме, при каждом слове и все же должна хранить невозмутимое спокойствие под страхом разделить на эшафоте судьбу преступника. Ей, впрочем, нечего бо-

яться. Я видел этого человека, он унесет в могилу тайну своей пылкой любви.

— Маленький хитрец,— сказал епископ, потрепав за ухо своего секретаря, и указал на озаренное последней вспышкой заката пространство между островом и предместьем Сент-Этьен, к которому прикован был взгляд молодого священника.— Правосудию следовало бы поискать там, не правда ли?..

— Я ходил к убийце, чтобы проверить мои подозрения, но он окружен шпионами; если бы я заговорил, то мог бы скомпрометировать женщину, ради которой он идет на смерть.

— Умолкнем,— сказал епископ,— мы не служим правосудию земному. Достаточно одной головы. Впрочем, рано или поздно эта тайна откроется церкви.

Проницательность, которой привычка к размышлению наделяет священников, значительно выше проницательности суда или полиции. Созерцая с высоты своей террасы место ужасного преступления, прелат и его секретарь действительно в конце концов проникли в тайну, оставшуюся неразгаданной, несмотря на все ухищрения следствия и дебаты в суде присяжных.

Господин де Гранвиль играл в вист у г-жи Граслен, поэтому пришлось ждать его возвращения, и ответ прокурора стал известен епископу лишь около полуночи. В два часа ночи аббат Габриэль в карете епископа отправился в Монтеньяк. Этот округ, отстоящий от города примерно на девять лье, расположен в той части Лимузена, что идет вдоль Коррезских гор и граничит с департаментом Крезы. Итак, юный аббат покинул Лимож, кипевший бурными страстями в предвкушении назначенного на завтра зрелища, которому снова не суждено было состояться.

ГЛАВА III

КЮРЕ ДЕРЕВНИ МОНТЕНЬЯК

Священники и ханжи склонны соблюдать в денежных делах величайшую бережливость. Что тут виной? Бедность? Или эгоизм, порожденный уединенной жизнью и способствующий развитию заложенной в человеке ска-

редности? Или же расчет и разумная экономия, которых требуют дела милосердия? Различным характерам соответствуют различные толкования. Порой нежелание раскошелиться скрывается под милым добродушием, иногда выступает неприкрыто, но особенно ярко оно проявляется во время путешествия.

Габриэль де Растиньяк, самый красивый из всех молодых людей, склонявшихся когда-либо в алтарях над святыми дарами, не давал почтальонам на чай больше тридцати су и потому ехал очень медленно. Почтальоны весьма неторопливо возят епископов, которые обычно лишь удваивают установленную плату, но не причинят никакого вреда епископской карете из страха навлечь на себя неприятности. Аббат Габриэль впервые путешествовал один; при каждой смене лошадей он произносил нежным голосом:

— Поторапливайтесь, господа почтальоны.

— Мы машем кнутом, лишь когда ездок помашет кошельком,— ответил ему какой-то старый почтальон.

Юный аббат откинулся на подушки кареты, так и не поняв ответа. Чтобы развлечься, он стал рассматривать окружавшую его местность, а иной раз поднимался пешком на возвышенности, по которым вьется дорога из Бордо в Лион.

В пяти лье от Лиможа, минуя прихотливые извивы Вьены и прелестные луга пологих склонов Лимузена — местами, особенно в Сен-Леонаре, напоминающие Швейцарию,— открывается ландшафт мрачный и печальный. Кругом простираются обширные невозделанные равнины, сухие степи, в которых не видно ни травы, ни лошадей, степи, обрамленные на горизонте высотами Коррезских гор. Взор путника не порадуют в этих горах ни стройные громады и живописные пещеры Альп, ни жаркие ущелья и обнаженные вершины Апеннин, ни величие Пиренеев. Их волнообразные, сглаженные медленным течением вод очертания говорят о мертвом спокойствии, наступившем после катастрофы. Этот мягкий облик, свойственный почти всем возвышенностям Франции, быть может, не меньше, чем климат, заслужил ей в Европе название *Милой Франции*. Но если плоская равнина, затерявшаяся между прекрасными пейзажами Ли-

музена, Оверни и Марша, может вызвать у мыслителя или поэта образ бесконечности, столь страшный для иных душ, если побуждает она к мечтательности женщину, скучающую в своей карете, то для местных жителей природа края сурова, дика и безжалостна. Почва этих серых равнин бесплодна. Только близкое соседство столицы могло бы повторить здесь чудо, совершенное за последние два века в Бри. Но нет здесь больших городов, способных оживить пустыни, в которых агроном видит лишь гиблое место, где цивилизация в загоне, где путешественник не найдет ни гостиниц, ни милой его сердцу живописности. Души возвышенные относятся к ландам без неприязни; они видят в них тени, необходимые в огромной картине природы. Недавно Купер, этот меланхолический талант, показал всю поэзию глухих, необитаемых мест в своей «Прерии». Наши равнины, лишенные растительности, покрытые бесплодными минеральными обломками, мертвые земли, усеянные камнями,— это вызов, брошенный цивилизации. Франция обязана решить свои задачи, как решили их англичане для Шотландии, где их терпение, их героическая борьба с природой превратили непроходимые вересковые заросли в цветущие фермы. Брошенная в диком, первобытном состоянии, эта нетронутая общественная целина порождает безволие, лень, слабость, вызванную недостатком пищи, и преступление, если нужда заговорит слишком властно. Такова в немногих словах прошлая история Монтеньяка. Что оставалось людям, живущим на земле, забытой властями, покинутой дворянством и отвергнутой промышленным производством? Объявить войну обществу, не выполняющему свой долг. Вот почему жители Монтеньяка до последнего времени жили воровством и разбоем, как некогда горные шотландцы. Взглянув внимательно на местность, мыслитель легко поймет, каким образом двадцать лет назад жители деревни могли вести войну с обществом.

Большое плато, ограниченное с одной стороны берегами Вьены, с двух других — живописными долинами провинций Марш и Овернь и замкнутое цепью Коррезских гор, напоминает, если не принимать во внимание сельское хозяйство, плато Бос, отделяющее бассейн Луары от бассейна Сены, плато Турени, Берри и дру-

гих областей, подобные граням на поверхности Франции и достаточно многочисленные, чтобы вызвать серьезные размышления у государственных деятелей. Ведь это неслыханно! Все жалуются на то, что народные массы пробиваются в высшие слои общества, а правительство не может помешать этому в стране, где, по статистическим данным, несколько миллионов гектаров земли лежат под паром, причем в некоторых местах, в Берри, например, это чистый чернозем. Многие из этих земель, которые прокормили бы не одну деревню и дали бы огромные урожаи, принадлежат общинам, из упрямства не желающим продавать их предпринимателям, лишь бы сохранить право пасти на своих лугах сотню коров. На всех этих заброшенных землях написано одно слово: *беспомощность*. Каждая почва бесплодна по-своему. Тут дело не в отсутствии рук или доброй воли, но административного ума и таланта. Во Франции до нынешнего времени плато приносились в жертву долинам. Государство направляло свои заботы, свою помощь туда, где выгода говорила сама за себя.

Большая часть этих злосчастных пустынь лишена воды — необходимого условия для производства продуктов. Туманы, которые могли бы удобрить эти мертвые серые земли своими окисями, не успевают даже осесть: их уносит ветер, ибо нет здесь деревьев, которые задерживают туман в других местностях и поглощают его питательные вещества. Посадка деревьев была бы тут равносильна проповеди Евангелия. Жители этих мест отрезаны от ближайшего к ним города непреодолимой для бедняков пустыней; у них не было бы рынка для сбыта, даже если бы они что-нибудь и вырастили; соседние леса снабжали их только дровами и неверными плодами браконьерства; зимой их преследовал голод. Так как земля не годилась для посева, несчастные не имели ни скота, ни земледельческих орудий, они питались каштанами. Тот, кто, осматривая зоологический музей, замечал, какое грустное впечатление производит окрашенный в бурые тона животный мир Европы, поймет, быть может, какую тоску наводит зрелище этих сероватых равнин, постоянно напоминающих о своем бесплодии. Нет здесь ни свежести, ни тени, ни контрастов, нет ни единой мысли, ни единого образа, веселящих серд-

це. Самой жалкой кривой яблоне тут обрадуешься, как близкому другу.

От развилки шоссе шла через равнину недавно проложенная департаментскими властями дорога. На расстоянии нескольких лье, у подножия холма, находился Монтеньяк, центр кантона, входившего в один из округов департамента Верхней Вьены. Холм тоже принадлежит к Монтеньякскому кантону, в котором соединились равнинная и горная природа. Эта община с ее пригорками и низинами похожа на маленькую Шотландию. За холмом, у подножия которого приютилась деревня, примерно на расстоянии одного лье возвышается первый пик Коррезских гор. Вокруг раскинулся большой Монтеньякский лес,— он покрывает Монтеньякский холм, сбегает с него, расползается по долинам и голым склонам, оставляя местами большие проплешины, огибает пик и доходит до Абюссонской дороги, острым языком спускаясь к ней по крутому откосу. Откос этот господствует над ущельем, по которому проходит большая дорога из Бордо в Лион. Нередко кареты, всадники и пешеходы подвергались в этом опасном ущелье нападению грабителей, которым все проделки сходили с рук. Место было самое подходящее: пробираясь им одним известными тропинками, разбойники прятались в непроходимой лесной чаще. Подобный край не располагал правосудие к расследованиям. Дорогой перестали пользоваться. А без путей сообщения невозможны ни торговля, ни промышленность, ни обмен идеями, ни накопление богатств, ибо первоначально возникает идея, а все физически ощутимые чудеса цивилизации являются лишь результатом ее применения. Мысль неизменно служит отправной и конечной точкой любому обществу. История Монтеньяка подтверждает эту аксиому социальной науки. Когда власти получили возможность заняться неотложными материальными нуждами края, они вырубили участок леса, спускавшийся в ущелье, и поручили жандармскому караулу сопровождать почту на протяжении двух перегонов. Но, к вящему посрамлению жандармерии, слово, а не меч, кюре Бонне, а не бригадир Шервен выиграли этот гражданский бой, изменив нравственную природу населения. Проникшись религиозной

любовью к несчастному краю, кюре задумал возродить его и достиг своей цели.

Проехав около часа среди усеянных камнями, покрытых слоем пыли, иссохших равнин, где целыми выводками мирно бродят куропатки и тяжело взлетают, заслышав приближение экипажа, аббат Габриэль, как все попадавшие сюда путники, испытал облегчение, увидев вдали крыши деревни.

При въезде в Монтеньяк стоит одна из тех забавных почтовых станций, какие можно увидеть только во Франции. Вместо вывески над жалкой, полуразвалившейся конюшней, где не заметишь ни единой лошади, красуется прибитая четырьмя гвоздями дубовая доска, на которой честолюбивый почтальон вывел черными чернилами: «Лашадиная пошта». Вместо порога перед открытой дверью торчит поставленная на ребро доска, предохраняющая от стока дождевой воды пол конюшни, расположенный ниже уровня дороги. Приунывший пассажир может увидеть выцветшую ветхую упряжь, едва ли способную выдержать хотя бы первый рывок лошади. Лошади обычно бывают в поле, на лугу, где угодно, только не в конюшне. Если же случайно они находятся в конюшне, то они едят; если они уже поели, то почтальон в гостях у своей тетки или кузины, а не то возит сено или спит; ни одна душа не знает, где он: приходится ждать, пока кто-нибудь отправится на поиски, но все равно почтальон приходит, лишь закончив все свои дела; когда он является, проходит бесконечно много времени, покуда он найдет свою куртку, свой кнут или запряжет лошадей. На пороге дома обычно мечется дородная женщина; она, пожалуй, еще в большем нетерпении, чем пассажир, и, желая умилостивить его, бегает взад и вперед значительно резвее, чем побегут лошади. Представившись вам как хозяйка почты, она сообщает, что муж работает в поле.

Любимец монсеньера вышел из кареты, остановившейся у точно такой конюшни: стены строения походили на географическую карту, а соломенная крыша так заросла живучкой, что прогибалась под ее тяжестью. Попросив хозяйку, чтобы через час все было готово к отъезду, аббат справился о дороге к дому священника; добрая женщина указала ему проулок между двумя

домами, который вел к церкви, а уж за церковью будет и дом священника.

Пока молодой аббат поднимался по зажатой между изгородями каменистой тропинке, хозяйка допрашивала почтальона. По всему пути от Лиможа до Монтеньяка каждый прибывающий почтальон сообщал своему отбывающему собрату о намерениях епископа, разглашенных городским почтальоном. И вот, в то время как жители Лиможа, встав ото сна, только и говорили, что о казни, ожидавшей убийцу папаши Пенгре, во всех придорожных деревнях люди радовались помилованию, которого добился епископ для неповинного человека, и чесали языки о мнимых ошибках земного правосудия. Когда позднее Жан-Франсуа был казнен, его, возможно, сочли мучеником.

Сделав несколько шагов по крутой тропинке, усыпанной красными осенними листьями и черными ягодами терна и ежевики, аббат Габриэль обернулся, повинуясь невольному желанию осмотреть местность, куда попал впервые, или своего рода физическому любопытству, присущему также собакам и лошадям. Ему стало ясно положение Монтеньяка при виде нескольких скудных источников на склоне холма и узкой речушки, вдоль которой проходила департаментская дорога, соединявшая центр округа с префектурой. Как во всех деревнях этого плато, дома Монтеньяка были сложены из необожженного кирпича. Настоящий кирпич можно было увидеть только в домах, очевидно, отстроенных после пожара. Крыши всюду соломенные. Все здесь говорило о нищете. Перед деревней простирались поля ржи, репы и картофеля, отвоеванные у равнины. На склонах холма Габриэль увидел небольшие, искусственно орошаемые луга; на таких лугах выращивают знаменитых лимузенских лошадей, которые, говорят, остались нам в наследство от арабов, пришедших через Пиренеи во Францию, чтобы пасть между Пуатье и Туром от секиры франков, сражавшихся под началом Шарля Мартеля. Вершина холма была словно поражена засухой. Выжженные, красно-бурые пространства указывали на бесплодную почву, на которой могут расти только каштаны. Вода, заботливо собранная для орошения, оживляла лишь окаймленные каштановыми деревьями, окруженные изгородями луга, где росла

тонкая, редкая и низкая, будто подслащенная травка, которой и выкармливают породу гордых и нежных коней; они не очень выносливы, но в своих родных местах отличаются превосходными качествами — на чужбине они приживаются с трудом. Несколько молодых тутовых деревьев свидетельствовали о намерении заняться производством шелка. Как в большинстве деревень мира, в Монтеньяке была одна только улица, по которой шла проселочная дорога. Деревня делилась на верхний и нижний Монтеньяк и вся была изрезана переулочками, соединявшимися с улицей под прямым углом. Над рядом домов, примостившихся у подножия холма, поднимались вверх веселые садики. Чтобы выйти из дома на дорогу, требовался какой-нибудь спуск; тут были и земляные лесенки и каменные, а на них то здесь, то там сидели старухи — кто с вязаньем в руках, кто укачивая ребенка — и вели беседу между верхним и нижним Монтеньяком, переговариваясь через обычно пустынную дорогу; таким образом, новости довольно быстро доходили с одного конца деревни на другой. Все сады были полны фруктовых деревьев, капусты, лука, овощей; вдоль задних оград стояли ульи. Ниже дороги шел параллельно другой ряд хижин, с садами, сбегавшими к реке, вдоль которой тянулись заросли великолепной конопли и росли любящие влагу фруктовые деревья; некоторые дома находились, так же как почта, в низине, что благоприятствовало ткацкому промыслу. Повсюду поднимались раскидистые ореховые деревья — признак плодородной почвы. В этой стороне, в отдаленном от равнины конце деревни, стоял дом побольше и поприглядnее других, окруженный еще несколькими домиками, тоже содержавшимися в чистоте и порядке. Этот хуторок, отделенный садами от остальной деревни, уже тогда носил название «Ташроны» и сохранил его по сей день. Сама по себе община Монтеньяка была невелика, но в нее входило еще примерно мыз тридцать, стоявших особняком. По долине тянулись к реке полосы кустарников, какие встречаются также в долинах Марша и Берри; отмечая путь весенних вод, они окружали как бы зеленой бахромой деревню, затерянную в равнине, словно корабль в открытом море.

Когда какая-нибудь семья, усадьба, деревня, страна переходит от плачевного состояния к удовлетворительному, хотя бы не достигнув еще ни роскоши, ни даже достатка, эта новая жизнь кажется настолько естественной для живых существ, что сторонний наблюдатель не может догадаться о тех гигантских усилиях, бесконечно мелких, но великих своим упорством, о труде, заложенном в самом основании дела, о позабытой уже тяжкой работе, на которой покоятся первые заметные глазу перемены. Вот почему молодой аббат не заметил ничего примечательного, когда окинул взглядом приветливый ландшафт. Ему неизвестно было состояние края до приезда кюре Бонне.

Аббат Габриэль двинулся дальше по тропинке и вскоре вновь увидел над садами верхнего Монтеньяка церковь и дом священника, которые заметил еще издали, и неясно проступающие позади них величественные, увитые ползучими растениями развалины старого Монтеньякского замка, бывшего в двенадцатом веке одной из резиденций герцогов Наваррских. Перед домом священника, очевидно, построенным некогда для главного лесничего или управляющего, тянулась длинная, усаженная липами терраса, с которой открывался вид на всю округу. О древности лестницы и поддерживающих террасу стен говорили причиненные безжалостным временем разрушения. Между каменными плитами ступеней, сдвинутых с места незаметным, но упорным, натиском растительности, пробивались высокие травы и грубые листья. Низкий, стелющийся по камням мох покрывал каждую ступеньку ярким зеленым ковром. Разнообразные вьюнки, ромашки, венерины волосы пышными охапками выглядывали из всех трещин, избороздивших старые стены, несмотря на их толщину. Природа набросила на серые камни многоцветное покрывало из резных папоротников, фиолетовых львиных зевов с золотистыми пестиками, голубой змеиной травки, бурых хвощей, и теперь камень, редко-редко проглядывая сквозь свежий ковер, казался второстепенной деталью. На террасе перед самым домом был разбит садик с прямыми дорожками, окаймленными буксом, а позади дома белела скала, украшенная слабенькими, склоненными, словно плюмажи, деревьями. Развалины замка возвышались и

над жилищем священника и над церковью. Прочно выстроенный из скрепленных известкой валунов двухэтажный дом был увенчан огромной покатой крышей с двумя коньками, прикрывавшей обширные и, судя по ветхости слуховых окон, пустые чердаки. Первый этаж состоял из двух комнат, разделенных коридором, в глубине которого деревянная лесенка вела на второй этаж; здесь также было две комнаты. Маленькая кухонька прилепилась к зданию со стороны двора, в котором находились конюшня и хлев, совершенно пустые, бесполезные и заброшенные. Между церковью и домом священника раскинулся огород. Полуразрушенная галерея вела из дома в ризницу.

Когда молодой аббат увидел эти четыре окна со свинцовыми переплетами, бурые замшелые стены, грубо вытесанную и растрескавшуюся, словно спичечный коробок, дверь, он — отнюдь не умилившись наивной прелестью этого уголка, свежестью буйных растений, обвивших крышу и потемневшие наличники, или виноградными лозами, заглядывавшими в окна всеми своими листочками и кистями,— почувствовал себя несказанно счастливым оттого, что ему предстояло быть епископом, а не деревенским кюре.

Этот всегда открытый дом, казалось, принадлежал всем. Аббат Габриэль вошел в примыкавшую к кухне столовую и нашел ее меблировку весьма скудной: старинный дубовый стол на четырех витых ножках, обитое ковровой тканью кресло, деревянные стулья и ветхий ларь, заменявший буфет. В кухне ни души, кроме кошки, указывавшеи на присутствие женщины. Вторая комната служила гостиной. Заглянув туда, молодой священник увидел некрашеные деревянные кресла с мягкими сиденьями. Панели и потолочные балки были из каштана, принявшего оттенок черного дерева. Обстановку дополняли стенные часы в зеленом, расписанном цветами футляре, стол, покрытый вытертой зеленой скатертью, несколько стульев и два подсвечника на каминной доске, между которыми стоял восковой младенец Иисус под стеклянным колпаком. Перед камином, обрамленным грубой деревянной резьбой, красовался бумажный экран с изображением доброго пастыря, несущего на плече овечку,— несомненно, подарок дочери

мэра или мирового судьи в знак признательности за пастырскую заботу о ее воспитании.

Дом находился в жалком состоянии; некогда побеленные стены местами потеряли всякий цвет, и в высоту человеческого роста были затерты до блеска; лестница с широкими перилами и деревянными ступеньками содержалась в чистоте, но так и дрожала под ногами. В глубине, против входной двери, была другая, тоже открытая дверь, через которую аббат де Растиньяк увидел крошечный огородик, упиравшийся, словно в крепостную стену, в белую выветренную скалу, вдоль которой тянулись пышные, но плохо ухоженные виноградные шпалеры с листьями, будто изъеденными проказой. Аббат повернул назад и стал прогуливаться по аллеям сада, откуда открывался его взору великолепный вид на расположенную ниже деревни долину реки — подлинный оазис на краю беспредельных плоских равнин, напоминавших спокойное море, подернутое дымкой утреннего тумана. А позади, с одной стороны — яркие пятна тронутого бронзой леса, с другой — церковь и развалины замка на вершине горы, как бы врезанные в синеву небес.

Прислушиваясь к поскрипыванию песка под ногами, аббат Габриэль бродил по дорожкам, образующим звезды, круги и ромбы, и поглядывал то на деревню, где заприметившие его жители уже стали собираться на улице кучками, то на зеленую долину, пересеченную каменистыми дорогами и бегущей среди ив речкой,— на долину, так резко отличавшуюся от беспредельной степи. И тут молодого аббата охватили чувства, изменившие весь ход его мыслей; он восхитился покоем этих мест, вдохнул всей грудью этот чистый воздух и почувствовал, как снизошел на него мир этой жизни, столь близкой к библейской простоте. Он начал смутно постигать красоту дома священника и вернулся, чтобы получше рассмотреть его, движимый серьезной пытливостью. Девчушка, которая, очевидно, лакомилась в саду, вместо того чтобы стеречь дом, услышала, как по выложенному плитками полу первого этажа ходит какой-то человек в скрипучих башмаках. Она прибежала. Смущенная тем, что ее застали с одним яблоком в руке, а с другим в зубах, она не могла произнести ни слова в ответ на расспросы этого красивого молоденького аббатика. Малышка и не

подозревала, что бывают такие аббаты — разряженные, в белоснежном батистовом белье, в сутане из тонкого черного сукна без единого пятнышка или морщинки.

— Господин Бонне,— пробормотала она, наконец,— господин Бонне служит мессу, а мадмуазель Урсула в церкви.

Аббат Габриэль не заметил галереи, соединявшей жилище священника с церковью; выйдя вновь на тропинку, он направился к главному входу. Крытый портал был обращен к деревне; в церковь вели стертые неровные каменные ступени, поднимавшиеся над площадью, изрытой вешними водами и обсаженной по указу протестанта Сюлли раскидистыми вязами. Церковь, одна из самых бедных церквей Франции — где они бывают достаточно бедны,— походила на огромный амбар с пристроенным над дверью навесом, опирающимся на деревянные или кирпичные столбы. Сложенная так же, как дом священника, из валунов, схваченных известкой, с пристроенной четырехугольной колокольней без шпиля, крытая кровлей из крупной круглой черепицы, церковь эта блистала снаружи не роскошными произведениями скульптуры, а игрой света и тени на украшениях, созданных, отделанных и расписанных самой природой, которая знает в этом толк не меньше, чем Микеланджело. Вокруг входа разметались по стенам гибкие стебли плюща, проступающие сквозь листву, как сеть жилок на анатомическом рисунке. Это покрывало, наброшенное временем, чтобы прикрыть им же самим нанесенные раны, пестрело осенними цветами, проросшими из трещин, и давало приют множеству щебечущих пташек. Окно в виде розетки над навесом портала было сплошь увито голубыми колокольчиками, напоминая первую страницу богато разрисованного требника. Боковой фасад, обращенный к дому священника, не так изобиловал цветами: он смотрел на север, и по стене стлались серые и красные мхи. Но зато задний и противоположный боковой фасады, которые выходили на кладбище, радовали глаз пышным и ярким цветением. В расселинах между камнями росли маленькие деревца и среди них миндаль — эмблема надежды. Две гигантские сосны позади церкви заменяли громоотвод. Главным украшением кладбища, обнесенного полуразрушенной низкой огра-

дой, доходившей теперь лишь до половины человеческого роста, служил чугунный крест на каменном цоколе, убранный освященным на пасху буксом во исполнение трогательного христианского обычая, в городах позабытого. Из всех пастырей только деревенские священники могут сказать своим мертвецам в день светлого воскресения: «В ином мире вы будете счастливы!» Кое-где над поросшими травой бугорками высились полусгнившие кресты.

Внутреннее убранство храма совершенно отвечало его поэтически смиренной внешности, украшенной только рукой времени, на сей раз милосердного. В помещении церкви глаз прежде всего обращался к сводам, обшитым досками каштанового дерева, которому время придало богатые тона благородных древесных пород Европы. Свод поддерживали прочные подпоры, расположенные на равном расстоянии и покоящиеся на поперечных балках. Ни единого украшения на четырех выбеленных мелом стенах. В силу своей бедности прихожане, сами того не зная, оказались иконоборцами. На вымощенном плитками полу стояли деревянные скамьи, свет проникал в церковь через боковые стрельчатые окна со свинцовыми переплетами. Алтарь, имевший форму гроба, украшали распятие, дарохранительница орехового дерева с простой изящной резьбой, восемь подсвечников с экономичными свечами из выкрашенного в белый цвет дерева и две наполненные искусственными цветами фарфоровые вазы, которыми пренебрег бы привратник биржевого маклера, однако скромно удовольствовался бог. Люстрой в храме служил ночник, вставленный в старинную кропильницу посеребренной меди, подвешенную на шелковых шнурах, попавших сюда из какого-нибудь разоренного замка. Купель деревянная, так же как кафедра и некое подобие ложи для церковных старост, этой сельской аристократии. Алтарь святой девы являл взору восхищенной паствы две цветные литографии в позолоченных рамках. Он был выкрашен в белый цвет, убран искусственными цветами в позолоченных деревянных вазах и покрыт скатертью, обшитой старыми, порыжевшими кружевами.

Высокое узкое окно в глубине церкви, затянутое красной миткалевой занавесью, создавало неожиданный

волшебный эффект. Роскошная алая завеса отбрасывала розовый отсвет на побеленные стены, и казалось, будто божественная мысль озарила алтарь и объяла убогий неф, стремясь согреть его. У стены галереи, которая вела в ризницу, стояла деревянная, чудовищно раскрашенная статуя патрона деревни, святого Жана-Батиста с барашком.

И все же, несмотря на свою бедность, церковь не лишена была мягкой гармонии, которая особенно проявляется в красках и всегда трогает прекрасные души. Теплые коричневые тона дерева чудесно оттеняли чистую белизну стен и согласно сочетались с торжествующим пурпуром, озаряющим алтарь. Это суровое триединство цветов напоминало о великой католической идее. Если при взгляде на этот убогий дом божий первым чувством было недоумение, то тут же оно сменялось восторгом, смешанным с жалостью: разве не отразилась в храме нищета всего края? Не подобен ли он в своей бесхитростной простоте дому священника? К тому же церковь содержалась в чистоте и порядке. Здесь все дышало ароматом сельских добродетелей, ничто не говорило о заброшенности. Дом божий был прост и груб, но в нем обитала молитва, в нем трепетала душа, и каждый невольно это чувствовал.

Аббат Габриэль тихонько проскользнул в церковь, стараясь не нарушить глубокой сосредоточенности молящихся, стоявших двумя группами у главного алтаря. В том месте, где спускалась с потолка люстра, алтарь отделялся от нефа довольно топорной балюстрадой каштанового дерева с наброшенной на нее пеленой, которая употреблялась во время причастия. По обе стороны нефа стояло человек двадцать крестьян и крестьянок. Погруженные в горячую молитву, они не обратили никакого внимания на чужака, шагавшего по узкому проходу между двумя рядами скамей. Остановившись под люстрой, откуда видны были два образующие крест придела, один из которых вел в ризницу, а другой — на кладбище, аббат Габриэль заметил в приделе, обращенном к кладбищу, одетое в траур семейство, преклонившее колени на каменных плитах,— скамей там не было. Молодой аббат простерся на ступенях балюстрады, отделявшей амвон от нефа, и начал молиться, искоса наблюдая

за еще непонятным ему зрелищем. Евангелие было прочитано. Кюре снял с себя ризы и, спустившись со ступеней алтаря, направился к балюстраде. Молодой аббат, ожидавший этого, прижался к стене раньше, чем г-н Бонне мог его заметить. Пробило десять часов.

— Братья,— дрожащим голосом произнес кюре,— в этот самый час сын нашего прихода готовится заплатить свой долг земному правосудию; он идет на смертную муку, и мы служим святую мессу за упокой души его. Соединим свои молитвы, будем молить господа не покидать дитя свое в последнюю минуту, дабы раскаянием заслужил он на небе милость, в которой отказано ему было на земле. Гибель этого несчастного, от которого мы особенно ждали доброго примера, можно объяснить лишь забвением религиозных правил...

Тут кюре прервали рыдания одетых в траур людей; по этому взрыву горя молодой аббат признал в них семью Ташрона, хотя никогда их раньше не видел. У самой стены стояли двое стариков лет по семидесяти; два неподвижных, изборожденных морщинами лица, темных, как флорентийская бронза. Эти двое, застывшие как статуи в своих заплатанных, ветхих одеждах, очевидно, были дед и бабка осужденного. Их остекленевшие красные глаза, казалось, плакали кровавыми слезами, их руки так дрожали, что палки, на которые они опирались, выстукивали дробь на каменных плитах. Рядом с ними, закрыв лица, рыдали отец и мать. У ног четырех старших в семье стояли на коленях две замужние сестры со своими мужьями. За ними — трое юношей, окаменевшие от горя. Пятеро ребятишек, из которых старшему было не больше семи, преклонив колени и, разумеется, ничего не понимая во всем происходящем, осматривались вокруг и прислушивались с тем характерным для крестьян тупым любопытством, которое в действительности является самой острой способностью наблюдать физические стороны жизни. И, наконец, пришедшая позже других бедняжка Дениза, которая была арестована по воле правосудия, эта мученица сестринской любви, слушала священника, глядя на него не то безумным, не то недоверчивым взглядом. Для нее брат не мог умереть. Она разительно напоминала ту из трех Марий, которая не верила в смерть Христа, хотя и ви-

дела, что он умирает. Дениза стояла бледная, с глазами сухими, как у всех, кто проводит многие ночи без сна; не тяжкий крестьянский труд, а горе иссушило ее свежесть. Однако Дениза сохранила еще прелесть, свойственную сельским девушкам: полные формы, красивые грубоватые руки, круглое личико, чистые глаза, горевшие сейчас отчаянием. В вырезе платья под косынкой виднелась не тронутая солнцем кожа, которая говорила о прекрасном теле и скрытой под одеждой белизне. Обе замужние сестры плакали; их мужья, степенные земледельцы, были серьезны. Трое юношей, охваченные глубокой печалью, упорно смотрели в землю. Только Дениза и ее мать вносили оттенок возмущения в ужасную картину покорности и безнадежного горя.

Жители деревни с искренним благочестием и состраданием разделяли скорбь всеми уважаемой семьи; ужас отразился на лицах, когда из слов кюре стало ясно, что в этот миг должна была упасть голова юноши, которого все они знали с рождения и никогда не сочли бы способным совершить преступление. Рыдания, заглушившие простую короткую проповедь, начатую священником, так потрясли его, что он внезапно оборвал свою речь и призвал паству к горячей молитве. Хотя подобное зрелище и не должно бы удивлять священника, Габриэль де Растиньяк был слишком молод, чтобы не испытать глубокого волнения. Ему не приходилось отправлять обязанности простого священника,— он знал, что ему предназначена другая судьба; ему не случалось спускаться на дно общества, где сердце обливается кровью при виде человеческих горестей,— его ждала миссия высшего духовенства, которое поддерживает дух жертвенности, представляет возвышенную мысль церкви, а иногда с блеском проявляет свои достоинства на более обширной сцене, как знаменитые епископы Марселя и Мо, как архиепископы Арля и Камбрэ.

Кучка сельских жителей со слезами молилась за того, кто должен был сейчас принять казнь на городской площади, перед тысячами чужих людей, сбежавшихся со всех сторон, чтобы усугубить его муки позором; этот слабый противовес сочувствия и молитвы, пытавшийся преодолеть тяжкий груз кровожадного любопытства и справедливых проклятий, не мог не тронуть человеческое

сердце, особенно здесь, в этой скромной церкви. Аббата Габриэля искушало желание подойти к семье Ташрона и сказать: «Ваш сын, ваш брат еще жив, казнь отложена». Но он побоялся нарушить службу и к тому же знал, что отсрочка не означала помилования. Невольно вместо того, чтобы следить за службой, аббат стал присматриваться к пастырю, от которого ждали чуда — обращения преступника на путь истинный.

По своим впечатлениям от церковного дома Габриэль де Растиньяк создал себе воображаемый портрет г-на Бонне: тучный низенький человек, с грубым красным лицом, опаленный солнцем неутомимый труженик, похожий на крестьянина. Ничуть не бывало,— аббат увидел равного себе. Г-н Бонне был тщедушен и невелик ростом; в его внешности прежде всего поражало лицо, вдохновенное лицо апостола: оно было почти треугольной формы,— от висков широкого, прочерченного морщинами лба две тонкие прямые линии шли вдоль впалых щек к кончику подбородка. На этом болезненно желтом, словно воск, лице сияли ярко-голубые глаза, горевшие верой и живой надеждой. У кюре был прямой, тонкий и длинный нос с красиво вырезанными ноздрями, четко очерченный крупный и выразительный рот и голос, проникающий в самое сердце. Редкие тонкие и блестящие каштановые волосы говорили о недостаточном темпераменте, находящем опору только в воздержанной жизни. Вся сила этого человека заключалась в воле. Таковы были его отличительные черты. Короткопалые руки, принадлежи они другому человеку, могли бы навести на мысль о склонности к грубым развлечениям, но возможно, что, подобно Сократу, он победил свои дурные задатки. Худоба его не красила. Острые плечи, вогнутые колени и слишком развитая по сравнению с конечностями грудная клетка придавали ему вид горбуна без горба. Одним словом, он не должен был нравиться. Только в людях, знающих, какие чудеса способны сотворить мысль, вера или искусство, аббат Бонне мог вызвать восхищение своим горящим взглядом мученика, бледностью, всегда сопровождающей постоянство, и голосом, полным любви.

Этот человек, достойный быть священником первобытной церкви, существующей ныне лишь на картинах

шестнадцатого века и на страницах мартиролога, был отмечен печатью человеческого величия, которое приближает к величию божественному, был исполнен убеждения, которое придает невыразимую красоту самому заурядному облику, озаряет теплым светом лица людей, преданных своему служению: так светится лицо женщины, которая гордится своей великой любовью. Убежденность есть человеческая воля, достигшая высшего могущества. Являясь одновременно причиной и следствием, она зажигает даже самые холодные души и своим немым красноречием увлекает массы.

Спускаясь со ступеней алтаря, кюре встретился глазами с аббатом Габриэлем; он узнал его, но когда секретарь епископа появился в ризнице, он застал там одну Урсулу, которой г-н Бонне отдал все распоряжения. Она пригласила молодого аббата следовать за ней.

— Сударь,— сказала Урсула, женщина канонического возраста, ведя аббата Растиньяка по галерее в сад,— господин кюре велел спросить у вас, завтракали ли вы. Должно быть, вы выехали из Лиможа спозаранку, если добрались сюда к десяти часам. Я сейчас же все приготовлю к завтраку. Господин аббат, конечно, не найдет здесь таких яств, как у епископа, но уж и мы постараемся угостить его получше. Господин Бонне вот-вот вернется, он пошел утешить эту несчастную семью... Ташронов... Подумать только, какие ужасы происходят сейчас с их сыном!..

— Но где находится дом этих славных людей? — вставил, наконец, аббат Габриэль.— По распоряжению монсеньера я должен немедленно увезти господина Бонне в Лимож. Этого несчастного не казнят сегодня, монсеньер добился отсрочки...

— Ах! — воскликнула Урсула, у которой просто язык зачесался от желания поскорей разгласить такую новость.— Вы, сударь, успеете принести им это утешение, пока я готовлю завтрак. Дом Ташронов в конце деревни. Видите дорожку здесь внизу, под террасой,— она приведет прямо туда.

Как только аббат Габриэль скрылся из виду, Урсула поспешила спуститься вниз, чтобы разнести новость по всей деревне, а заодно поискать провизию к завтраку.

В церкви кюре неожиданно узнал о решении, которое в отчаянии приняла семья Ташронов после того, как была отклонена кассационная жалоба. Добрые люди покидали родной край и сегодня утром должны были получить деньги за свое имущество, которое продали заранее. Продажа имущества потребовала непредвиденных задержек и формальностей. Вот почему Ташронам пришлось остаться в деревне после вынесения приговора Жану-Франсуа и испить до дна свою горькую чашу. Их тайное намерение обнаружилось лишь перед самым днем казни. Ташроны надеялись уехать до этого рокового дня, но человек, купивший их добро, был в кантоне чужим, и ему были безразличны их мотивы, к тому же он получил нужные деньги с запозданием. Таким образом, семья должна была нести свое горе до конца. Чувство, заставлявшее их покинуть родину, так властно захватило эти простые души, непривычные к сделкам с совестью, что уехать решили все: дед, бабка, дочери со своими мужьями, отец, мать — все, кто носил фамилию Ташронов или был с ними связан родством. Отъезд семьи огорчил всю общину. Мэр просил кюре, чтобы тот попытался удержать этих честных людей.

По новому закону отец не отвечал за сына, а преступление отца не накладывало пятна на его семью. Вместе с другими послаблениями, умалившими власть отцов, этот закон способствовал торжеству индивидуализма, подтачивающего современное общество. Вот почему подлинный мыслитель, обдумывающий вопросы нашего будущего, увидит разрушение духа семьи там, где составителям нового кодекса мнится свобода воли и равноправие. Семья всегда будет основой общества. Но теперь, неизбежно являясь чем-то временным, непрестанно разделяясь и соединяясь, чтобы распасться вновь, не будучи связью между прошлым и будущим, семья былых времен во Франции не существует. Разрушители старого здания поступили логично, разделив поровну имущество семьи, ослабив авторитет отца, сделав каждого сына главой новой семьи и уничтожив великую взаимную ответственность. Но будет ли перестроенное общественное здание с его новыми законами, не узнавшее еще длительных испытаний, столь же прочным, каким было здание старой монархии, несмотря на все

ее злоупотребления? Утратив единство семьи, общество утратило свою основную силу, которую Монтескье открыл и назвал *честью*. Чтобы легче господствовать, общество всех разъединило; чтобы ослабить врага, оно всех разделило. Оно царит над цифрами, сваленными в кучу, как зерна. Могут ли общие интересы заменить семью? Только время даст ответ на этот великий вопрос.

И все же старый закон существует, он пустил настолько глубокие корни, что в народной среде вы найдете его живые отростки. Есть еще уголки в провинции, где живет то, что называют предрассудком, где верят в то, что семья страдает из-за преступления, совершенного одним из ее детей или ее отцом. Это убеждение вынудило Ташронов покинуть родные края. Они были слишком набожны, чтобы не прийти утром в церковь: разве можно было не присутствовать на мессе, обращенной к богу с мольбой внушить раскаяние их сыну, дабы вошел он в царствие небесное; разве могли они не проститься с алтарем родной деревни? Но свое намерение уехать они не оставили. Когда последовавший за ними кюре вошел в их главный дом, он увидел, что вещи уже уложены в дорогу. Покупатель поджидал продавцов, чтобы вручить им деньги. Нотариус заканчивал составление акта продажи. Во дворе, за домом, стояла запряженная лошадьми повозка, в которой должны были выехать старики с деньгами и мать Жана-Франсуа. Остальные собирались с наступлением ночи отправиться пешком.

К тому времени, когда молодой аббат вошел в низкую комнату, где собралась вся семья, монтеньякский священник исчерпал уже все запасы своего красноречия. Двое стариков, словно пришибленные горем, сидели, сгорбившись, в углу на мешках и смотрели на свой старый родовой дом, на свою мебель, на нового владельца и то и дело поглядывали друг на друга, будто спрашивая: могли ли мы ждать такой напасти? Эти старики, которые давно уже уступили распоряжение всеми делами своему сыну, отцу преступника, были подобны старой королевской чете после отречения, низведенной к пассивной роли подданных или детей. Ташрон-отец стоя слушал пастыря и отвечал ему тихо и односложно. Это был че-

ловек лет сорока восьми с прекрасным суровым лицом, напоминающим лица апостолов на полотнах Тициана: лицо, освещенное верой и глубокой, непоколебимой честностью, строгий профиль, прямой нос, голубые глаза, благородный лоб, правильные черты, вьющиеся жесткие черные волосы, лежавшие с той симметрией, что придает особое очарование этим лицам, потемневшим от солнца и ветра. Легко было заметить, что все доводы кюре разбиваются о его твердую волю. Дениза, опершись на хлебный ларь, смотрела на нотариуса, который воспользовался ларем вместо письменного стола и писал, устроившись в бабушкином кресле. Новый владелец сидел рядом, в другом кресле. Замужние сестры накрывали на стол к последнему угощению, которое старики хотели приготовить и подать людям в своем доме, в своей деревне, перед тем как уехать в чужие края. Мужчины присели на большой кровати с зеленым саржевым пологом. Мать хлопотала у очага, разбивая яйца для яичницы. Внуки сбились у порога, за которым стояла семья нового хозяина. В окошко заглядывал заботливо возделанный сад, где каждое дерево было посажено руками этих семидесятилетних стариков. Закопченная комната с почерневшими балками была овеяна той же сдержанной скорбью, что читалась на всех, столь несхожих между собой лицах. Угощение готовилось для нотариуса, для нового владельца, для детей и молодых мужчин. У отца с матерью, у Денизы и ее сестер было слишком тяжело на сердце, чтобы они могли думать о еде. В исполнении последнего долга сельского гостеприимства чувствовалась возвышенная и мучительная покорность судьбе. Ташроны, подобные людям античных времен, кончали свою жизнь в деревне так, как обычно начинают,— радушно встречая гостей. Эта лишенная всякой напыщенности, но глубоко торжественная картина поразила секретаря епархии, когда он вошел, чтобы сообщить монтеньякскому кюре о намерениях прелата.

— Сын этого мужественного человека еще жив,— сказал Габриэль священнику.

При этих словах, услышанных в тишине всеми, двое стариков встали, словно при звуке трубы страшного суда.

Мать уронила сковороду в огонь. Дениза радостно вскрикнула. Остальные окаменели от изумления.

— Жан-Франсуа помилован! — кричали в один голос все жители деревни, бросившиеся к дому Ташронов.— Господин епископ...

— Я знала, что он невиновен,— сказала мать.

— Сделка остается в силе? — спросил покупатель у нотариуса, который утвердительно кивнул в ответ.

В один миг все взгляды устремились на аббата Габриэля. Печаль, написанная на его лице, внушала мысль об ошибке. Молодой аббат побоялся сказать правду родным; в сопровождении кюре он вышел, шепнув по дороге нескольким крестьянам, что казнь только отложена. Радостные клики мгновенно сменились гробовым молчанием. Когда аббат Габриэль и кюре вернулись в дом, то по раздирающей скорби, омрачившей все лица, они увидели, что причина внезапно наступившей в деревне тишины была понята.

— Друзья мои,— сказал молодой аббат, увидев, что удар уже нанесен.— Жана-Франсуа не помиловали. Но состояние его души настолько волнует монсеньера, что он попросил продлить последние дни вашего сына, дабы он мог заслужить себе вечное спасение.

— Значит, он еще жив! — воскликнула Дениза.

Молодой аббат отвел г-на Бонне в сторону и объяснил ему, насколько опасно для церкви нечестивое поведение его прихожанина и каких действий ждет от кюре епископ.

— Монсеньер требует моей смерти,— возразил кюре.— Я уже отказал убитой горем семье, которая просила меня проводить несчастного юношу на казнь. Беседа с ним и предстоящее мне страшное зрелище сокрушили бы меня, как стекло. Каждому свое. Слабость моих органов или, скорее, крайняя возбудимость моей нервной организации запрещает мне исполнять эти обязанности нашего сана. Я остался простым сельским священником, чтобы приносить пользу ближним в той сфере, где могу подать им пример христианской жизни. Я боролся с собой, желая удовлетворить достойное семейство и выполнить долг пастыря перед бедным мальчиком. Но при одной мысли о том, что пришлось бы подняться с ним в тележку осужденного или наблюдать роковые приготовления, смертная дрожь разливается по всем моим жилам. Этого не потребуют от матери, а по-

думайте, сударь, ведь он родился в лоне моей бедной церкви.

— Итак,— сказал аббат Габриэль,— вы отказываетесь повиноваться монсеньеру.

— Монсеньеру неизвестно состояние моего здоровья, он не знает, что вся моя природа противится...— начал г-н Бонне, глядя на молодого аббата.

— Бывают случаи, когда, подобно Бельзенсу Марсельскому, мы должны идти на верную смерть,— прервал его аббат Габриэль.

В эту минуту кюре почувствовал, что кто-то дергает его за сутану, он услышал рыдания и, обернувшись, увидел всю семью на коленях. Старые и молодые, взрослые и дети, мужчины и женщины умоляюще простирали к нему руки. Когда он повернул к ним пылающее лицо, раздался единодушный крик:

— Спасите, по крайней мере, его душу!

Старенькая бабушка дергала кюре за сутану, обливая ее слезами.

— Я повинуюсь, сударь!

Произнеся эти слова, кюре был вынужден сесть, так дрожали у него ноги. Молодой секретарь рассказал, в каком исступлении находится Жан-Франсуа.

— Как вы думаете,— спросил он,— не смягчится ли он, увидев сестру?

— Да, несомненно,— отвечал кюре.— Дениза, вы поедете с нами.

— Я тоже,— сказала мать.

— Нет! — воскликнул отец.— Этот сын для нас больше не существует, вы знаете. Никто из нас его не увидит.

— Не противьтесь его спасению,— возразил молодой аббат.— Вы берете на себя ответственность за душу своего сына, отказывая нам в возможности смягчить ее. Сейчас смерть его может принести еще больший вред, чем самая жизнь.

— Пусть едет,— произнес отец,— пусть будет ей это карой за то, что она противилась всякий раз, когда я хотел наказать ее сына!

Аббат Габриэль и г-н Бонне направились в дом священника, куда к моменту их отъезда в Лимож должны были прийти Дениза и ее мать. Шагая по дорожке, оги-

бавшей верхний Монтеньяк, молодой человек мог рассмотреть более внимательно, чем в церкви, деревенского кюре, которого так хвалил старший викарий. Аббата Габриэля сразу расположили к себе его простые, полные достоинства манеры, чарующий голос и такие же речи. Кюре только один раз был в резиденции епископа после того, как прелат взял в секретари Габриэля де Растиньяка, едва ли даже он встретился с этим фаворитом, которому все прочили епископский сан, но, разумеется, он знал о его влиянии. И при всем том г-н Бонне держался с достойной любезностью, за которой ощущалась совершенная независимость, предоставляемая церковью сельским священникам в их приходе.

Чувства молодого аббата никак не проявлялись на его лице, хранившем суровое выражение. Оно оставалось более чем холодным, оно замораживало. Человек, способный изменить нравы целой округи, должен обладать некоторой наблюдательностью, быть отчасти физиономистом, и хотя кюре владел лишь одной наукой — наукой добра, чувствительность его была необычайна; поэтому он был поражен холодностью, с какой секретарь епископа отвечал на его любезность и доброжелательность. Приписав этот пренебрежительный тон скрытому недовольству, кюре старался понять, чем мог он обидеть гостя, что в его поведении могло показаться предосудительным в глазах вышестоящих. Наступило неловкое молчание, которое аббат де Растиньяк прервал вопросом, полным аристократического высокомерия:

— Ваша церковь очень бедна, господин кюре?

— Она слишком мала,— ответил г-н Бонне.— По большим праздникам старики ставят скамьи в портале, а молодежь стоит кружком на площади; однако царит такая тишина, что даже вне церкви все слышат мой голос.

Габриэль помолчал немного.

— Но если жители так набожны, как можете вы оставлять церковь в подобном убожестве?

— Увы, сударь, я не решаюсь тратить на убранство церкви деньги, которыми можно помочь бедным. Бедняки — это и есть церковь. Однако же я не побоялся бы приезда епископа в праздник тела господня! Бедняки от-

дают в этот день церкви все, что имеют! Видели ли вы там, сударь, вбитые в стены гвозди? На них укрепляют проволочную решетку, и женщины вставляют в нее букеты. Вся церковь тогда покрыта цветами, и они остаются свежими до самого вечера. Моя бедная церковь, которая показалась вам столь убогой, нарядна как новобрачная; она благоухает; весь пол усыпан листвой, а посредине остается дорожка для пронесения святых даров, устланная одними розами. В этот день меня не смутила бы роскошь собора святого Петра в Риме. У святейшего папы — золото, у меня — цветы: каждому — свое чудо. Ах, сударь! Деревня Монтеньяк бедна, но она верна католицизму. Было время, тут грабили путников, теперь проезжий может обронить здесь мешок с золотом, и его принесут ко мне.

— Подобные результаты делают вам честь,— заметил Габриэль.

— Дело не во мне,— краснея, возразил кюре, задетый тонкой насмешкой,— а в слове божьем, в хлебе священном.

— Хлебе довольно темном,— улыбнулся аббат Габриэль.

— Белый хлеб годится лишь для желудков богачей,— скромно ответил кюре.

Тут молодой аббат взял г-на Бонне за обе руки и с чувством пожал их.

— Простите меня, господин кюре,— сказал он, прося о примирении открытым взглядом своих прекрасных голубых глаз, проникшим в самое сердце священника.— Монсеньер советовал мне испытать ваше терпение и вашу скромность, но я не могу продолжать, я и так вижу, как оклеветали вас либералы своими похвалами.

Завтрак был готов: свежие яйца, масло, мед, фрукты, сливки и кофе, расставленные Урсулой среди букетов роз на белоснежной скатерти, которой был накрыт древний стол в старой столовой. Окно, выходившее на террасу, было распахнуто. Белые звезды ломоноса с золотистой сердцевиной украшали подоконник. По одну сторону окна цвел жасмин, по другую — тянулись вверх настурции. Над окном свешивались уже отливавшие пурпуром виноградные лозы, образуя великолепный бордюр, которому мог позавидовать не один скульптор,—

такое изящество придавал ему солнечный свет, пробивавшийся сквозь кружево листвы.

— Здесь вы увидите жизнь в простейшем ее выражении,— сказал кюре с улыбкой, которая не могла скрыть печали, тяготившей его сердце.— Если бы мы знали о вашем приезде! Но кто мог предвидеть его? Урсула раздобыла бы горную форель. В нашем лесном ручье она превосходна. Да что я говорю, я и позабыл, что в августе Габу пересыхает начисто! Просто в голове помутилось...

— Вам очень здесь нравится? — спросил молодой аббат.

— Да, сударь. Если позволит мне бог, я и умру монтеньякским кюре. Я хотел бы, чтобы моему примеру последовали достойные люди, которые сочли за лучшее посвятить себя благотворительности. Современная благотворительность — это общественное бедствие. Только принципы католической религии могут исцелить язвы, разъедающие тело общества. Не описывать болезнь нужно, не распространять совершенное ею зло своими элегическими сетованиями, а взяться за дело, войти простым работником в вертоград господень. Задача моя здесь еще далеко не выполнена, сударь. Мало привить нравственные чувства людям, которых я застал в состоянии ужасающего нечестия; я хотел бы умереть, увидев поколение, полностью обращенное на путь истинный.

— Вы лишь исполнили свой долг,— снова несколько сухо заметил молодой человек, почувствовав укол зависти в своем сердце.

— Да, сударь,— скромно ответил священник, бросив на него проницательный взгляд, казалось, вопрошавший: снова испытание? — Я молюсь неустанно,— добавил он,— чтобы каждый исполнил свой долг перед богом и королем.

Эта полная глубокого смысла фраза была произнесена с особым выражением, показавшим, что уже в 1829 году этот священник, отличавшийся силой мысли и смиренным поведением, всегда подчинявший свои мнения воле высших по сану, провидел судьбы монархии и церкви.

Когда пришли удрученные горем женщины, моло-

дой аббат, которому не терпелось вернуться в Лимож, оставил их в доме священника, а сам пошел узнать, закладывают ли лошадей. Вскоре он возвратился, сообщив, что все готово к отъезду. Все четверо отбыли на глазах у жителей деревни, собравшихся возле почты. Мать и сестра осужденного хранили молчание. Оба священника, боясь показаться равнодушными или слишком веселыми, затруднялись в выборе темы. Подыскивая нейтральную почву для беседы, они пересекли равнину; в ее безотрадных просторах еще труднее было нарушить печальное безмолвие.

— По каким соображениям избрали вы духовную карьеру? — неожиданно спросил движимый пустым любопытством аббат Габриэль у кюре Бонне, когда карета выехала на большую дорогу.

— Я не считал священный сан карьерой,— просто ответил кюре.— Я не понимаю, как можно стать священником по каким-либо соображениям, а не повинуясь непреодолимой силе призвания. Я знаю, что многие становятся работниками вертограда господня, растратив свое сердце в служении страстям: одни любили без надежды, другие стали жертвой измены; эти утратили вкус к жизни, похоронив обожаемую жену или возлюбленную, те прониклись отвращением к общественной жизни нашего времени, когда непостоянство царит во всем, даже в чувствах, когда сомнение высмеивает самые дорогие убеждения, называя их предрассудками. Иные отказываются от политики в наши дни, когда власть становится похожей на искупление грехов, а подданный рассматривает свое подчинение как роковую необходимость. Многие покидают общество, бросив свои знамена, а в это время противники объединяются, дабы ниспровергнуть добро.

Я не представляю себе, чтобы можно было служить богу с корыстной мыслью. Некоторые люди видят в духовном поприще путь к возрождению отчизны. Но, по моему слабому разумению, священник-патриот — это бессмыслица. Священник должен принадлежать лишь богу. Я не хотел принести богу, который, впрочем, приемлет все, лишь обломки моего сердца и остатки воли, я отдал себя целиком. По трогательному обычаю языческой религии, жертва, уготованная ложным богам, должна бы-

ла отправляться в храм увенчанная цветами. Этот обычай всегда умилял меня. Жертва — ничто без благодати. Итак, в жизни моей было не много событий и ни одного даже самого невинного увлечения. Впрочем, если вам угодна полная исповедь, я расскажу вам все. Семья моя более чем зажиточна, она почти богата. Отец, своими руками создавший себе состояние,— человек суровый и беспощадный; к жене и детям он относится, впрочем, так же, как к себе самому. Никогда я не видел на его устах улыбки. Его железная рука, его каменное лицо, его мрачная, порывистая энергия подавляли всех; жена, дети, приказчики, слуги — все жили под игом неукротимого деспотизма. Я мог бы — говорю только о себе — приспособиться к такой жизни, если бы эта гнетущая власть была ровной. Но отец, сумасбродный и вспыльчивый, впадал из одной крайности в другую. Мы никогда не знали, правы мы или виновны, а эта ужасная неуверенность невыносима в семейной жизни. В таких случаях лучше уйти куда глаза глядят, чем оставаться дома. Если бы я был один в семье, я бы сносил все безропотно, но отец безжалостно мучил мою горячо любимую мать, которую я не раз заставал в слезах,— это раздирало мне сердце и приводило меня в исступление, помрачавшее мой разум. Время учения в коллеже, обычно исполненное огорчений и трудов для всех ребятишек, было для меня счастливейшим временем жизни. Со страхом ждал я каникул. Мать была счастлива, только когда навещала меня. Закончив курс словесных наук, я вернулся под родительский кров, чтобы стать приказчиком у отца, но почувствовал, что больше нескольких месяцев я тут не проживу: мой еще не окрепший отроческий разум мог не выдержать. Однажды пасмурным осенним вечером, гуляя с матерью по бульвару Бурдон — в те времена одному из самых глухих парижских уголков,— я излил перед ней свою душу и признался, что единственный возможный для меня жизненный путь вижу в служении церкви. Все мои склонности, мысли, может быть, даже и любовь будут подавлены, пока жив отец. Сутана священника внушит ему уважение ко мне, и таким образом я смогу в случае надобности стать защитником семьи. Мать горько плакала. В это время мой старший брат, впоследствии ставший генералом и убитый под Лейпцигом, вступил в

армию простым солдатом, уйдя из дому по тем же причинам, что определили и мое призвание. Стремясь спасти мать, я посоветовал ей избрать себе в зятья человека с твердым характером и, выдав за него сестру, едва та достигнет совершеннолетия, искать опоры в новой семье.

Под предлогом, что я хочу избежать рекрутского набора, не вводя отца в расходы, а также сославшись на свое призвание, в 1807 году, когда мне исполнилось девятнадцать лет, я поступил в семинарию Сен-Сюльпис. В древних стенах этого знаменитого здания я нашел мир и счастье, которое нарушалось только мыслью о страданиях сестры и матери; а их домашняя жизнь, без сомнения, стала еще мучительнее, ибо при наших встречах они укрепляли меня в принятом решении. Приобщившись, быть может, благодаря моим горестям, тайн милосердия, как определяет это святой Павел в несравненном своем послании, я пожелал врачевать язвы бедняков в каком-нибудь заброшенном уголке земли и доказать своим примером, если господь удостоит благословить мои труды, что католическая религия, воплощенная в человеческих деяниях, является единственно истинной, единственно доброй и прекрасной цивилизующей силой. В последние дни перед посвящением в дьяконы снизошла на меня благодать: я все простил своему отцу, увидев в нем орудие судьбы. Несмотря на длинное нежное письмо, в котором я все объяснил матери, указав на запечатленный повсюду перст божий, она пролила немало слез, когда волосы мои упали, срезанные ножницами церкви; она знала только, от каких радостей я отказываюсь, не ведая, к каким тайным усладам я стремился. О любящая женская душа!

Когда я целиком отдал себя богу, я ощутил безграничный покой. Я не испытывал ни нужды, ни тщеславия, не ведал забот об имуществе, которые преследуют столь многих людей. Я подумал, что отныне я принадлежу провидению и оно само будет неустанно печься обо мне. Я вступил в мир, откуда изгнан страх, где будущее ясно, где все является делом воли божьей, даже молчание. Этот покой есть один из даров благодати. Моя мать не верила, что можно соединить свою судьбу с церковью; однако, увидев меня спокойным и счастливым, она тоже

почувствовала себя счастливой. После того как я был посвящен в сан, я поехал в Лимузен навестить одного родственника по отцовской линии, и он, между прочим, рассказал мне о плачевном состоянии Монтеньякского кантона. Словно свет вспыхнул перед моими очами, и внутренний голос сказал: вот вертоград твой! И я приехал сюда. Вот, сударь, вся моя история, как видите, совсем простая и неинтересная.

В эту минуту в лучах заходящего солнца на горизонте показался Лимож. Обе женщины разразились слезами.

Тем временем молодой человек, к которому стремились любящие сердца матери и сестры, который возбуждал столько непритворного любопытства, лицемерных симпатий и горячих споров, томился на тюремной койке в камере смертников. За дверью караулил шпион, которому надлежало ловить каждое его слово, хотя бы вырвавшееся во сне или в припадке исступления, ибо правосудие решило исчерпать все человеческие возможности, чтобы выведать, кто же был сообщником Жана-Франсуа Ташрона, и разыскать украденные деньги. Супруги де Ванно подкупили полицию, и полиция неусыпно следила за упорным молчальником. Когда человек, приставленный наблюдать за душевным состоянием узника, заглядывал в специально прорезанный глазок, он всегда видел его в одной и той же позе: смирительная рубашка туго стягивала его тело, а голова была закреплена неподвижно кожаным ремнем, который стали надевать с тех пор, как узник попытался зубами перегрызть свои узы.

Жан-Франсуа сидел, вперив в пол горящие отчаянием глаза, покрасневшие, словно от прилива бурных жизненных сил, взбудораженных какой-то ужасной мыслью. Он казался ожившей статуей античного Прометея; мысль об утраченном счастье терзала его сердце. Когда помощник главного прокурора пришел поговорить с заключенным, он не мог не выразить удивления перед такой непоколебимостью характера. Стоило кому-нибудь появиться в его камере, как Жан-Франсуа впадал в ярость, которая переходила все границы, известные врачам при такого рода возбуждении. Заслышав поворот ключа в замочной скважине или лязг засовов, пристроенных к

обитой железом двери, он начинал дрожать, а на губах его выступала пена.

Жану-Франсуа в ту пору сравнялось двадцать пять лет, он был невысокого роста, но хорошо сложен. Жесткие, вьющиеся, довольно низко наросшие на лоб волосы свидетельствовали о большой жизненной силе. Слишком близко поставленные блестящие желто-карие глаза придавали ему сходство с хищной птицей. Как все жители центральной Франции, он был круглолиц и смугл. Одна черта в его физиономии подтверждала наблюдение Лафатера, касавшееся людей, способных на убийство: передние зубы у него находили один на другой. Однако от всего облика его веяло честностью и кротким простодушием; не удивительно, что женщина могла так страстно полюбить его. Зубы Жана-Франсуа отличались поразительной белизной. Свежий темно-красный цвет красиво очерченных губ являлся признаком сдержанного кипения страстей, которое у иных людей находит выход в пылких наслаждениях. В его манере держаться не было и следа дурных привычек, свойственных рабочему. Все присутствовавшие на процессе дамы признали, что женская рука смягчила эту натуру, знакомую только с трудом, облагородила осанку этого жителя полей и придала изящество его облику. Женщины распознают воздействие любви на мужчину так же безошибочно, как мужчины, глядя на женщину, угадывают, коснулось ли ее, как говорится, дыхание любви.

Вечером Жан-Франсуа услыхал лязг засовов и скрежет ключа в замочной скважине; резко повернув голову, он издал глухое рычание, за которым всегда следовал приступ бешенства. Лихорадочная дрожь пробежала по его телу, когда в мягком сумеречном свете он рассмотрел любимые лица сестры и матери, а за ними голову монтеньякского кюре.

— Злодеи! Вот что они припасли,— прошептал он, закрыв глаза.

Дениза, которая, побывав в тюрьме, научилась ничему не верить, подозревала, что шпион исчез лишь затем, чтобы вернуться незаметно. Бросившись к брату и спрятав залитое слезами лицо на его груди, она шепнула:

— Нас, верно, будут подслушивать.

— Иначе вас бы сюда не пустили,— громко ответил он.— Я все время, как о великой милости, просил не приводить ко мне никого из родных.

— Что они с ним сделали!—сказала мать священнику.— Дитя мое, бедное мое дитя! — Она упала на колени перед койкой и зарылась лицом в сутану священника, молча стоявшего перед ней.— Я не могу видеть его в этом мешке, связанного, задушенного...

— Если Жан обещает мне быть благоразумным, не покушаться на свою жизнь и вести себя хорошо все время, что мы будем с ним,— произнес кюре,— я добьюсь, чтобы его развязали. Но малейшее нарушение этого обещания падет на меня.

— Мне так нужно свободно подвигаться, дорогой господин Бонне,— сказал осужденный, глядя на него полными слез глазами,— что я даю вам слово делать все по-вашему.

Кюре вышел и вернулся с тюремщиком.

— Сегодня вы не убьете меня?—спросил тюремщик.

Жан ничего не ответил.

— Бедный братец,— сказала Дениза, открывая корзинку, которую у входа в тюрьму тщательно осмотрели,— вот мы принесли все, что ты любишь, ведь тебя тут, наверное, голодом морят!

Она показала фрукты, собранные перед отъездом, и лепешку, которую мать тут же вынула из корзинки. Внимание, напомнившее бедному узнику дни детства, голос и ласковые движения сестры, присутствие матери и кюре произвели резкую перемену в состоянии Жана: он залился слезами.

— Ах, Дениза! — воскликнул он.— За все это время я не мог проглотить ни куска. Я ел только, чтобы не умереть с голоду.

Мать и дочь хлопотали, входили и выходили. В стремлении, свойственном всем хозяйкам, предоставить мужчине удобства и уют они старались получше сервировать ужин своему любимцу. Им помогли: в тюрьме был дан приказ содействовать им во всем, что не нарушало безопасности заключенного. Супруги де Ванно имели печальное мужество поддерживать благополучие преступника, от которого они все еще надеялись получить обратно свое наследство. Итак, Жан последний раз вкусил

семейные радости, хотя и омраченные грозной тенью грядущего.

— Моя просьба о помиловании отклонена? — спросил он у г-на Бонне.

— Да, дитя мое. Тебе остается только встретить свой конец, как подобает христианину. Эта жизнь ничто по сравнению с жизнью, тебя ожидающей. Подумай о вечном блаженстве. С людьми ты можешь рассчитаться, отдав им свою жизнь, но богу этого мало.

— Отдав им жизнь?.. Ах! Вы не знаете, что́ я оставляю на земле!

Дениза посмотрела на брата, словно напоминая ему, что даже в делах религии необходима осторожность.

— Не будем об этом говорить,— продолжал Жан, набросившись на фрукты с жадностью, которая выдавала снедавший его внутренний жар.— Когда собираются меня?..

— Нет, ни слова при мне об этом! — взмолилась мать.

— Но я буду спокойнее ждать,— шепнул Жан священнику.

— Верен своему характеру! — воскликнул г-н Бонне и, наклонившись, сказал ему на ухо: — Если сегодня ночью вы примиритесь с богом и ваше раскаяние позволит отпустить вам грехи, это произойдет завтра. Мы уже многого достигли, успокоив вас,— добавил он громко.

При последних словах губы Жана побледнели, он стал дико вращать глазами, и по лицу его пробежал трепет, предвещающий бурю.

— Да разве я спокоен? — спросил он. К счастью, он встретился с полными слез глазами Денизы и вновь овладел собой.— Хорошо, только вас я способен слушать,— обратился он к кюре.— Они отлично знали, чем меня взять.

И он уронил голову на грудь матери.

— Слушайся его, сын мой,— рыдая, сказала мать,— он рискует жизнью, наш дорогой господин Бонне, согласившись напутствовать тебя...— она заколебалась и сказала: — в вечную жизнь.

Она поцеловала Жана в голову и прижала его к своему сердцу.

— Он будет сопровождать меня? — спросил Жан, глядя на кюре, который наклонил в ответ голову.— Что ж, хорошо! Я выслушаю его, я сделаю все, чего он желает.

— Обещай мне это,— сказала Дениза.— Спасти твою душу — вот к чему все мы стремимся. Неужели ты хочешь, чтобы и в Лиможе и в наших краях говорили, будто один из Ташронов не сумел умереть достойно христианина? Подумай, все, что ты теряешь здесь, ты сможешь обрести на небесах, где вновь встречаются души, заслужившие прощение.

После такого сверхчеловеческого усилия голос мужественной девушки пресекся. Она умолкла вместе с матерью, но она победила. Узник, до той поры обуреваемый ненавистью к правосудию, вырвавшему счастье из его рук, почувствовал трепет при мысли о высокой католической истине, которую так бесхитростно выразила его сестра. Все женщины, даже молодые крестьянские девушки, подобные Денизе, умеют находить нужные слова: все они хотят, чтобы любовь жила вечно. Дениза коснулась двух самых чувствительных струн в душе брата. Пробужденная гордость воззвала к другим добродетелям, которые оцепенели под бременем несчастья, умолкли, сраженные отчаянием. Жан взял руку сестры, поцеловал ее и с силой, хотя и нежно, прижал к своему сердцу движением, полным глубокого значения.

— Итак,— сказал он,— надо отказаться от всего. Вот моя последняя мысль, последнее биение сердца, прими их, Дениза!

И он бросил на нее взгляд, каким люди в великие минуты жизни пытаются соприкоснуться своей душой с душою друга.

Эти слова, эта мысль были его завещанием. Мать, сестра, Жан и священник поняли, в чем заключалось это неназванное наследство, которое надо было с той же верностью передать, с каким доверием было оно вручено; все четверо отвернулись друг от друга, чтобы скрыть слезы и сохранить в тайне свои мысли. Эти несколько слов были агонией страсти, прощанием отцовской души с прекраснейшими из земных благ в предчувствии религиозного отречения. И кюре, побежденный мощью великих человеческих деяний, пусть даже преступных,

постиг силу этой безвестной страсти по безмерности вины; он поднял глаза к небу, как бы призывая милость божью. Там, в небесах, открывались ему нежные утешения и беспредельная любовь католической церкви, такой человечной и кроткой, когда простирала она руку, чтобы объяснить человеку законы высших миров, такой грозной и божественной, когда протягивала она руку, чтобы увести его на небо.

Дениза тайно от всех указала священнику то место, где расступится скала, ту расселину, из которой хлынут воды раскаяния.

Внезапно, сраженный воспоминаниями, Жан издал леденящий душу вопль гиены, захваченной охотниками.

— Нет, нет,— закричал он, падая на колени,— я хочу жить! Матушка, останьтесь здесь вместо меня, дайте мне свою одежду, я убегу отсюда. Пощадите! Пощадите меня! Идите к королю, скажите ему...

Он умолк и, глухо зарычав, вцепился руками в сутану священника.

— Уходите,— тихо сказал г-н Бонне удрученным женщинам.

Жан услыхал эти слова, поднял голову, взглянул на мать, на сестру и поцеловал им обеим ноги.

— Простимся, не приходите больше. Оставьте меня с господином Бонне, не тревожьтесь теперь обо мне,— сказал он, обнимая мать и сестру так, словно хотел вложить в объятие всю свою душу.

— Можно ли после этого жить? — сказала Дениза матери, когда они подошли к воротам тюрьмы.

Было около восьми часов вечера. У выхода они увидели аббата де Растиньяка, который спросил их о состоянии узника.

— Он, без сомнения, примирится с богом,— ответила Дениза.— Если раскаяние еще не наступило, то оно близко.

Епископу было тут же доложено, что церковь восторжествует и осужденный пойдет на казнь, исполненный самых поучительных религиозных чувств. Епископ, у которого находился в это время королевский прокурор, высказал желание увидеть кюре. Г-н Бонне появился в епископском дворце только после полуночи. Аббат Габриэль, несколько раз совершивший путь от дворца к

тюрьме, счел необходимым усадить кюре в карету епископа: несчастный священник был в таком изнеможении, что едва держался на ногах. Мысль о предстоящем ему завтра тяжком дне, внутренняя борьба, происходившая у него на глазах, зрелище полного бурного раскаяния, разразившегося, когда его мятежному духовному сыну открылся, наконец, высший счет вечности,— все эти потрясения лишили сил г-на Бонне, чья легко возбудимая, нервная натура мгновенно настраивалась в лад несчастьям ближнего. Подобные прекрасные души так горячо воспринимают переживания, беды, страсти и муки того, в ком принимают они участие, что сами начинают их испытывать с необычайной остротой и таким образом постигают всю силу и глубину чужих чувств, ускользающую порой от людей, ослепленных влечением сердца или приступом горя. В этом смысле священник, подобный г-ну Бонне, является художником, который чувствует, а не судит.

Когда кюре очутился в салоне епископа, в обществе обоих старших викариев, аббата де Растиньяка, г-на де Гранвиля и главного прокурора, он понял, что от него ждут каких-то сообщений.

— Господин кюре,— спросил епископ,— добились ли вы каких-либо признаний, которые могли бы доверить правосудию и помочь ему, не нарушая тем своего долга?

— Монсеньер, для того, чтобы дать отпущение грехов несчастному заблудшему агнцу, я не только ждал полного и искреннего раскаяния, угодного церкви, но также потребовал возвращения денег.

— Забота о возвращении денег и привела меня к монсеньеру,— вступил в разговор главный прокурор.— Возможно, при этом выяснятся темные места в ведении дела. Тут, несомненно, есть сообщники.

— Мною не руководили интересы правосудия земного,— возразил кюре.— Я не знаю, где и когда будут возвращены деньги, но это будет сделано. Призвав меня к одному из моих прихожан, монсеньер поставил меня в независимое положение, которое дает всякому кюре в пределах его прихода такие же права, какими пользуется монсеньер в своей епархии, за исключением случаев, требующих церковной дисциплины и послушания.

— Прекрасно,— сказал епископ.— Но речь идет о добровольных признаниях, которые мог бы сделать преступник перед лицом правосудия.

— Мое назначение — возвратить заблудшую душу богу,— ответил г-н Бонне.

Господин де Гранкур слегка пожал плечами, но аббат Дютейль склонил голову в знак одобрения.

— Ташрон, очевидно, хочет спасти особу, которую могли бы опознать при возвращении денег,— сказал главный прокурор.

— Сударь,— возразил кюре,— я не знаю решительно ничего, что могло бы опровергнуть или подтвердить ваши подозрения. К тому же тайна исповеди нерушима.

— Итак, деньги будут возвращены? — спросил представитель правосудия.

— Да, сударь,— ответил представитель бога.

— Этого для меня достаточно,— заявил главный прокурор, считавший полицию достаточно искусной, чтобы получить нужные сведения, как будто страсти и личный интерес не бывают искуснее любой полиции.

На третье утро, в базарный день, Жана-Франсуа отправили на казнь, как хотели того набожные и политически благонадежные души Лиможа. Исполненный смирения и благочестия, он с жаром целовал распятие, которое дрожащей рукой протягивал ему г-н Бонне. Все глаза были устремлены на несчастного юношу, подстерегая каждый его взгляд; все ждали, не посмотрит ли он на кого-нибудь в толпе или на какой-нибудь дом. Но сдержанность не изменила ему до конца. Он умер смертью христианина, принеся полное раскаяние и получив отпущение грехов.

Бедного монтеньякского кюре унесли от подножия эшафота без сознания, хотя он и не видел зловещей машины.

На следующую ночь, остановившись среди дороги, в пустынном месте на расстоянии трех лье от Лиможа, обессилевшая от горя и усталости Дениза начала умолять отца, чтобы он разрешил ей вернуться в Лимож вместе с Луи-Мари Ташроном, одним из ее братьев.

— Что еще тебе нужно в этом городе? — нахмурив лоб и сдвинув брови, резко спросил отец.

— Батюшка,— шепнула она ему на ухо,— нам нуж-

но не только заплатить адвокату, которыи защищал его, но и вернуть спрятанные им деньги.

— Да, это верно,— ответил честный человек и протянул руку к кожаному кошелю.

— Нет, нет! — воскликнула Дениза.— Он больше не сын вам. Не тот, кто проклял его, а те, кто его благословил, поблагодарят адвоката.

— Мы будем ждать вас в Гавре,— сказал отец.

На заре Дениза и ее брат, никем не замеченные, вернулись в город. Когда позднее полиция узнала об их приезде, ей так и не удалось выяснить, где они скрывались. Около четырех часов утра, крадучись вдоль стен, Дениза с братом пробрались в верхний Лимож. Бедная девушка смотрела в землю, боясь встретиться с глазами, которые могли видеть, как упала голова ее брата. Разыскав г-на Бонне, который, невзирая на свою крайнюю усталость, согласился стать отцом и опекуном Денизы в этом деле, они отправились к адвокату, жившему на улице Комедии.

— Здравствуйте, бедные мои дети,— сказал адвокат после того, как приветствовал г-на Бонне,— чем могу вам служить? Вы, может быть, хотите просить, чтобы я затребовал тело вашего брата?

— Нет, сударь,— ответила Дениза, залившись слезами при этой мысли, которая раньше не приходила ей в голову.— Я вернулась, чтобы расплатиться с вами, если только можно оплатить деньгами долг вечной признательности.

— Присядьте же,— сказал адвокат, спохватившись, что Дениза и кюре стоят.

Отвернувшись, Дениза вытащила из-за корсажа два билета по пятьсот франков, приколотые булавкой к ее рубашке, и, протянув их адвокату, села на стул. Кюре бросил на адвоката сверкающий взгляд, который, впрочем, тут же смягчился.

— Оставьте, оставьте эти деньги себе, бедная девочка! Даже богачи не платят так щедро за проигранное дело.

— Сударь,— ответила Дениза,— я не могу послушаться вас.

— Значит, деньги не ваши? — быстро спросил адвокат.

— Простите,— ответила она, взглянув на г-на Бонне, словно желая узнать, не рассердился ли господь на эту ложь.

Кюре не поднял глаз.

— Ладно! — сказал адвокат, оставляя себе один билет в пятьсот франков, а другой протягивая кюре.— Я поделюсь с неимущими. А вы, Дениза, дайте мне взамен этих денег — ведь теперь-то они мои — ваш золотой крестик на бархатной ленточке. Я повешу его у себя над камином в память о самом чистом и добром девичьем сердечке, какое мне случалось встретить за всю мою адвокатскую жизнь.

— О, я отдам его так, без денег! — воскликнула Дениза, снимая и протягивая ему крестик.

— Ну, что ж, сударь,— сказал кюре,— я возьму эти пятьсот франков затем, чтобы перенести тело бедного мальчика на монтеньякское кладбище. Бог, конечно, простил его, и Жан сможет восстать вместе со всей моей паствой в день страшного суда, когда праведники и раскаявшиеся грешники будут призваны одесную отца.

— Согласен,— сказал адвокат.

Он взял Денизу за руку и привлек к себе, чтобы поцеловать ее в лоб; но на самом деле у него была другая цель.

— Дитя мое,— прошептал он,— ни у кого в Монтеньяке нет билетов по пятьсот франков. Немного их и в Лиможе. Без банкового учета никто их не получает. Значит, деньги эти вам кто-нибудь дал. Вы не скажете, кто их дал, и я вас об этом не спрашиваю. Но выслушайте меня: если у вас остались еще в городе дела, касающиеся бедного вашего брата, будьте осторожны! За господином Бонне, за вами и вашим братом неотступно будут следовать сыщики. Всем известно, что семья ваша уехала. Как только узнают, что вы здесь, за вами начнут наблюдать, незаметно для вас самих.

— Увы! — сказала она.— Больше мне здесь делать нечего.

«Она осторожна,— подумал адвокат, провожая Денизу.— Ее научили, но она и сама неглупа».

В последних числах сентября, в теплый, словно летний день епископ давал обед городским властям. Среди приглашенных были королевский прокурор и прокурор

суда. Горячие споры оживляли общество, и вечер затянулся несколько дольше обычного. Играли в вист и в триктрак — любимую игру всех епископов. Около одиннадцати часов королевский прокурор вышел погулять на верхнюю террасу. Остановившись на углу, он заметил свет на острове, который однажды вечером привлек внимание аббата Габриэля и епископа, одним словом, на острове Вероники. Этот огонек напомнил ему о до сих пор не выясненной тайне преступления, совершенного Ташроном. Прокурор недоумевал, кому понадобилось зажигать в такой час огонь на реке. Внезапно та же догадка, что поразила епископа и его секретаря, вспыхнула в его сознании так же ярко, как пылавший вдали костер.

— Все мы были изрядными глупцами! — воскликнул он.— Теперь сообщники в наших руках.

Он вернулся в салон, разыскал г-на де Гранвиля, сказал ему на ухо несколько слов, и оба исчезли. Но аббат де Растиньяк, из вежливости последовавший за ними, увидел, как они направились на террасу, и тоже заметил костер на берегу острова.

«Она погибла»,— подумал он.

Посланцы правосудия прибыли слишком поздно. Дениза и Луи-Мари, которого Жан в свое время научил нырять, все еще находились на берегу Вьены в указанном Жаном месте. Луи-Мари Ташрон успел уже нырнуть четыре раза, всякий раз выуживая из воды по двадцать тысяч франков золотом. Первая сумма находилась в фуляре, связанном всеми четырьмя концами. Фуляр был тут же выжат и брошен в заранее разожженный большой костер. Дениза не отходила от огня, пока фуляр не сгорел дотла. Вторая сумма была завернута в шаль, а третья — в батистовый носовой платок. В тот момент, когда Дениза бросала в костер четвертую обертку, подоспевшие вместе с полицейским комиссаром жандармы схватили эту важную улику, которую девушка уступила им, не проявив ни малейшего волнения. То был носовой платок, и на нем, несмотря на долгое пребывание в воде, еще сохранились следы крови. Допрошенная тут же Дениза сказала, что, следуя наказу своего брата, она вытаскивала из воды похищенное золото. Комиссар спросил, почему она сжигала обертки. Она ответила, что выполняла поставленное братом условие. Когда ее спро-

сили, во что были завернуты деньги, она смело ответила, ничуть не кривя душой: в фуляр, в батистовый платок и в шаль.

Носовой платок, который удалось захватить, принадлежал ее брату.

Эта ночная рыбная ловля и сопровождавшие ее обстоятельства наделали много шуму в городе Лиможе. Особенно шаль подтверждала уверенность в том, что Ташрон совершил преступление ради любви.

— Даже после своей смерти он оберегает ее,— сказала одна дама, узнав о последних разоблачениях, так ловко сведенных на нет.

— Быть может, и есть в Лиможе муж, который не досчитается одного фуляра, но ему придется молчать,— с улыбкой заметил главный прокурор.

— Мелочи туалета так легко могут скомпрометировать, что отныне я каждый день стану проверять свой гардероб,— улыбнулась старая г-жа Перре.

— Кому же принадлежат маленькие ножки, следы которых были так тщательно затерты? — спросил г-н де Гранвиль.

— Ах, может быть, совсем безобразной женщине! — отозвался главный прокурор.

— Она дорого заплатила за свой проступок,— заметил аббат де Гранкур.

— Знаете ли, о чем говорит это дело? — воскликнул г-н де Гранвиль.— Оно показывает, как много потеряли женщины после революции, смешавшей все социальные сословия. Подобную страсть можно встретить теперь только у человека, который знает, что между ним и его возлюбленной лежит пропасть.

— Вы приписываете любви слишком много тщеславия,— возразил аббат Дютейль.

— А что думает госпожа Граслен?

— О чем же может она думать? Она родила, как предсказывала, во время казни и с тех пор ни с кем не виделась, она тяжело больна,— ответил г-н де Гранвиль.

В это время в другом лиможском салоне происходила сцена почти комическая. Друзья супругов де Ванно пришли поздравить их с получением наследства.

— Что и говорить, надо было помиловать этого беднягу,— сказала г-жа де Ванно.— Любовь, а не корысть

довела его до убийства; сам он был человек не порочный и не злой.

— Он был так деликатен! — добавил г-н де Ванно.— *Знал бы я, где его семья, я бы отблагодарил их.* Славные люди эти Ташроны.

Тяжелая болезнь после родов принудила г-жу Граслен долгое время провести в полном уединении, не поднимаясь с постели. Когда в конце 1829 года она поправилась, муж рассказал ей, что намерен заключить весьма значительную сделку. Герцог Наваррский собирался продавать монтеньякский лес и окружавшие его невозделанные земли. Граслен до сих пор еще не выполнил пункт брачного контракта, обязывающий его вложить приданое жены в земельную собственность; он предпочитал держать эту сумму в банке и уже удвоил ее. При этом разговоре Вероника, будто припомнив название Монтеньяк, попросила мужа выполнить обязательство и приобрести для нее эту землю. Г-н Граслен пожелал встретиться с кюре Бонне и навести у него справки о лесе и землях, которые хотел продать герцог Наваррский, ибо он предвидел, что борьба, разжигаемая принцем Полиньяком между либералами и Бурбонами, будет жестокой. Герцог не ожидал счастливого исхода, вот почему он был самым яростным противником государственного переворота.

Герцог отправил в Лимож поверенного, поручив ему продать свои земли за крупную сумму наличными деньгами. Он слишком хорошо помнил революцию 1789 года, чтобы не воспользоваться уроком, который дала она всей аристократии. Поверенный уже около месяца вел переговоры с Грасленом, самым тонким дельцом в Лимузене и единственным, на кого местные патриции указали как на человека, способного приобрести, немедленно уплатив наличными, крупное земельное владение.

Вероника хотела просить кюре отобедать у нее. Но банкир не дал г-ну Бонне подняться к жене, пока, продержав его битый час у себя в кабинете, не выспросил все нужные сведения. Они оказались настолько удовлетворительными, что он немедленно заключил купчую на приобретение леса и всех монтеньякских угодий за пятьсот тысяч франков. Граслен выполнил желание жены, оговорив, что данная покупка и все прочие покупки, с ней

связанные, совершены во исполнение статьи брачного контракта, касающейся помещения суммы приданого. Он сделал это тем охотнее, что подобное проявление честности ровно ничего ему не стоило.

Ко времени переговоров все владения включали в себя непригодный к эксплуатации монтеньякский лес площадью примерно в тридцать тысяч арпанов, развалины замка, сады и около пяти тысяч арпанов земли в невозделанной равнине, лежащей перед Монтеньяком. Граслен тут же совершил еще несколько сделок, чтобы стать хозяином первой вершины Коррезской горной цепи, у которой кончался огромный монтеньякский лес. После введения налогов герцог Наваррский не получал и пятнадцати тысяч франков в год от этой латифундии, некогда одной из самых богатых в королевстве. Владения эти избежали предписанной Конвентом продажи благодаря бесплодности земель и невозможности эксплуатировать лес.

Когда кюре увидел женщину, известную своим благочестием и умом, женщину, о которой он столько слышал, он не мог скрыть свое изумление. Вероника вступила теперь в третью фазу своей жизни, в ту фазу, когда ей суждено было достичь величия в проявлении самых высоких добродетелей и стать как бы другой женщиной. На смену Рафаэлевой мадонне, скрывшейся в одиннадцать лет под рваным покровом чёрной оспы, пришла прекрасная, благородная, одухотворенная страстью женщина; теперь эта женщина, сраженная тайным горем, превратилась в святую. Лицо ее приобрело желтоватый оттенок, свойственный строгим ликам знаменитых аббатис, сурово умерщвлявших свою плоть. Нежные виски отливали золотом. Губы побледнели; они напоминали теперь не алый сок надрезанного граната, а поблекшие лепестки бенгальской розы. В уголках глаз, у переносицы, скорбь провела две перламутровые полоски там, где пробегали тайные слезы. Слезы стерли следы оспы и разгладили кожу. Эта гладкая кожа, испещренная голубой сеткой кровеносных сосудов, невольно привлекала к себе внимание; казалось, бьющаяся в сосудах кровь приливала сюда, чтобы превратиться в слезы. Только вокруг глаз сохранились коричневые тона, переходящие в черноту под глазами и подобные полоске бистра на

сморщенных веках. Щеки запали — горькие мысли провели на них резкие складки. Подбородок, в юности округлый и слишком крупный, теперь стал меньше, но к невыгоде для общего выражения; он выдавал ту беспощадную суровость в исполнении религиозного долга, на которую обрекла себя Вероника. В двадцать девять лет ей пришлось вырвать множество седых волос, теперь волосы Вероники казались совсем жидкими и тонкими: роды лишили ее одного из главных очарований. Худоба ее была ужасающа. Несмотря на запрещение врача, она пожелала сама кормить своего сына. Врач торжествовал, видя, что сбываются все предсказанные им на этот случай перемены.

— Вот что могут сделать с женщиной одни роды,— рассказывал он в городе.— Зато она обожает своего сына. Я всегда замечал, что женщины тем больше любят детей, чем дороже они им достаются.

Молодыми на поблекшем лице Вероники оставались только глаза: темно-голубые, как ирисы, они горели исступленным огнем. Казалось, в них сосредоточилась жизнь, покинувшая эту холодную, неподвижную маску, которая оживлялась небесным выражением, лишь когда речь заходила о любви к ближнему. Поэтому испуг и удивление, поразившие кюре, исчезали по мере того, как он рассказывал г-же Граслен, сколько добра может сделать владелец Монтеньяка, поселившись в своем имении. Вероника на миг снова стала прекрасной, озаренная светом неожиданно открывшегося ей будущего.

— Я поеду туда,— сказала она.— Я буду творить добро. Я добьюсь нужных средств у господина Граслена и стану горячо помогать вам в вашей угодной богу деятельности. Монтеньяк расцветет, мы найдем воду, чтобы оросить вашу бесплодную равнину. Подобно Моисею, вы ударите жезлом по скале, и из нее брызнут слезы!

Когда лиможские друзья спросили у монтеньякского кюре о г-же Граслен, он сказал, что она святая.

На следующее же утро после покупки г-н Граслен отправил в Монтеньяк архитектора. Банкир хотел восстановить замок, сады, террасу, парк и возродить лес новыми посадками; он горячо принялся за дело.

Через два года г-жу Граслен постигло большое го-

ре. В августе 1830 года, несмотря на всю свою осторожность, Граслен не избежал бедствий, поразивших коммерцию и банки. Он не перенес мысли о банкротстве и потере трехмиллионного состояния, которое стоило ему сорока лет работы. Нравственные страдания усугубили постоянный воспалительный процесс в крови: он слег в постель. После рождения ребенка дружба Вероники с Грасленом укрепилась еще больше и рассеяла все надежды ее поклонника г-на де Гранвиля. Вероника пыталась спасти мужа своими нежными заботами, но ей удалось лишь продлить на несколько месяцев его муки. Все же это продление оказалось весьма полезным, ибо Гростет, предвидевший кончину своего бывшего приказчика, успел получить от него все сведения, необходимые для предстоящей ликвидации имущества.

Граслен умер в апреле 1831 года. Горе вдовы уступило лишь ее христианской покорности. Первой мыслью Вероники было отдать свое собственное состояние для расплаты с кредиторами. Но на это с избытком хватило состояния г-на Граслена. Через два месяца ликвидация дел, которую взял на себя Гростет, была закончена. У г-жи Граслен остались земли Монтеньяка и шестьсот шестьдесят тысяч франков — все принадлежавшее ей ранее состояние. Имя ее сына было не запятнано: Граслен не разорил никого, даже свою жену. Франсис Граслен даже получил в наследство около сотни тысяч франков.

Господин де Гранвиль, которому известны были благородство и высокие достоинства Вероники, сделал ей предложение. Но, к удивлению всего Лиможа, г-жа Граслен отказала вновь назначенному главному прокурору под тем предлогом, что церковь осуждает вторичное замужество. Гростет, человек, наделенный редким здравым смыслом и верным глазом, посоветовал Веронике поместить свое состояние и остатки состояния г-на Граслена в государственные долговые обязательства и сам незамедлительно осуществил эту операцию в июле месяце, когда помещение капитала представляло особые выгоды, а именно — три процента на пятьдесят франков. Франсис получил, следовательно, шесть тысяч ливров ренты, а его мать — около сорока тысяч. Вероника попрежнему являлась обладательницей одного из самых

крупных состояний в департаменте. Когда все было улажено, г-жа Граслен объявила о своем намерении покинуть Лимож и поселиться в Монтеньяке, подле г-на Бонне. Она снова вызвала к себе кюре, чтобы расспросить его о начатых в Монтеньяке работах, в которых хотела принять участие. Но г-н Бонне великодушно стал отговаривать Веронику от принятого решения, доказывая, что ее место в обществе.

— Я родилась в народе и хочу вернуться к народу,— ответила она.

Тогда кюре, исполненный любви к своей деревне, не стал противиться призванию г-жи Граслен, тем более, что она сама поставила себя в необходимость покинуть Лимож, уступив особняк Граслена Гростету, который в уплату долга взял дом по его полной стоимости.

В день отъезда, в конце августа 1831 года, многочисленные друзья г-жи Граслен пожелали проводить ее до выезда за пределы города. Некоторые доехали до первой почтовой станции. Вероника отправилась в одной коляске с матерью. На переднем сиденье поместились Гростет и аббат Дютейль, несколько дней назад получивший епархию. Когда они поравнялись с площадью Эн, страшное волнение охватило Веронику; лицо ее исказилось, и она с силой прижала к себе ребенка, но матушка Совиа тут же взяла его на руки, заслонив собой Веронику,— казалось, она ждала волнения дочери. Случайно коляска г-жи Граслен проехала мимо того места, где когда-то стоял дом ее отца. Вероника сжала руку матери, крупные слезы выступили у нее на глазах и побежали вдоль щек. Выехав из Лиможа, г-жа Граслен бросила на него последний взгляд, и друзья заметили, что лицо ее прояснилось. Когда главный прокурор, двадцатипятилетний молодой человек, которого она отказалась взять в мужья, с живейшим сожалением поцеловал ей руку, вновь посвященный епископ заметил странную перемену в лице Вероники: зрачки ее резко расширились, вокруг них осталось лишь узкое голубое колечко. Потемневшие глаза говорили о жестокой внутренней борьбе.

— Больше я его не увижу! — шепнула она матери, которая выслушала ее с бесстрастным лицом.

На старуху Совиа смотрел в это время стоявший перед ней Гростет, но бывший банкир и без ее хитростей

не догадался бы о ненависти Вероники к прокурору, который, однако, был принят в ее доме. В подобных случаях духовные лица бывают проницательнее других людей; вот почему епископ и удивил Веронику, бросив на нее испытующий взор, присущий только пастырям.

— Вам ничего не жаль оставлять в Лиможе?

— Ведь вы покидаете его,— ответила она.— Да и господин Гростет будет наезжать туда редко,— добавила она, улыбаясь прощавшемуся с ней Гростету.

Епископ проводил Веронику до самого Монтеньяка.

— По этой дороге я должна бы идти в трауре,— тихо сказала Вероника матери, поднимаясь пешком по склону Сен-Леонара.

Старуха, не меняя выражения жесткого, сморщенного лица, поднесла палец к губам, показав на епископа, который с ужасающим вниманием разглядывал ребенка. Этот жест, а особенно проницательный взгляд прелата привел г-жу Граслен в содрогание. При виде обширной серой равнины, раскинувшейся перед Монтеньяком, глаза Вероники погасли, ей стало грустно. Она заметила спешившего навстречу кюре. Г-н Бонне предложил ей сесть в коляску.

— Вот ваши владения, сударыня,— сказал он, указывая на выжженную равнину.

ГЛАВА IV

ГОСПОЖА ГРАСЛЕН В МОНТЕНЬЯКЕ

Через несколько минут у подножия холма показалось, радуя глаз своими новыми постройками, селение Монтеньяк, позлащенное лучами заходящего солнца, овеянное поэзией, которую по контрасту с равниной порождал этот прелестный уголок, затерявшийся здесь, словно оазис в пустыне.

Глаза г-жи Граслен наполнились слезами. Кюре показал ей на идущую вверх широкую белую полосу, выделявшуюся на горе, словно рубец.

— Вот что сделали мои прихожане в знак признательности к своей повелительнице,— сказал он, указывая на недавно проложенную дорогу.— Теперь можно

доехать в экипаже до самого замка. Эта дорога не потребовала от вас ни гроша, а за два месяца мы обсадим ее деревьями. Монсеньер может оценить, скольких самоотверженных трудов и забот стоило подобное предприятие.

— Они сами сделали это? — спросил епископ.

— Да, и отказались от оплаты, монсеньер. Все бедняки приложили тут свои руки, зная, что к нам едет их защитница и мать.

У подножия горы собрались все жители деревни. Раздались ружейные залпы, потом две самые красивые девушки, одетые в белые платья, поднесли г-же Граслен цветы и фрукты.

— Найти такой прием в этой деревне! — воскликнула она и сжала руку г-на Бонне, словно боялась упасть в пропасть.

Толпа проводила экипаж до въездных ворот. Отсюда г-жа Граслен могла рассмотреть свой замок, который издали рисовался лишь в общих очертаниях. Увидев его вблизи, она была почти испугана великолепием своего жилища. Камень в этом краю — редкость; гранит, который можно найти в горах, с трудом поддается обтесыванию; поэтому архитектор, которому г-н Граслен поручил отстроить замок, желая удешевить постройку, избрал в качестве главного материала кирпич, благо в лесах Монтеньяка в изобилии имелись глина и дрова, необходимые для его изготовления. Балки, стропила и камень для кладки также поставлялись из лесу. Без такой строгой экономии Граслен разорился бы. Главные издержки падали на перевозку и обработку материалов и на оплату работников. Таким образом, все деньги остались в деревне и вдохнули в нее жизнь. Издали замок представлялся красной громадой, расчерченной в клетку черными линиями пазов и обрамленной серыми полосами; последнее впечатление объяснялось тем, что оконные и дверные наличники, карнизы, углы и кордоны на каждом этаже были облицованы граненым гранитом. Двор в виде наклонного овала, как в Версальском дворце, был окружен кирпичной оградой, на которой выделялись прямоугольники, окаймленные гранитными рустами. Внизу вдоль ограды шла плотная полоса замечательно подобранного кустарника, поражающего раз-

нообразием зеленых оттенков. Двое великолепных решетчатых ворот, расположенных по обе стороны двора, вели одни на террасу, обращенную в сторону Монтеньяка, другие—к службам и к ферме. По бокам решетчатых въездных ворот, у которых кончалась недавно проложенная дорога, возвышались два прелестных павильона в стиле шестнадцатого века. Фасад, выходивший во двор и образованный тремя павильонами — причем центральный отделялся от двух боковых жилыми помещениями,— был обращен на восток. Точно такой же фасад, смотревший в сады, был обращен на запад. В каждом павильоне на фасаде было по одному окну, а в жилых помещениях — по три. Центральный павильон, выстроенный в виде колоколенки с углами, отделанными резной работой, был примечателен изяществом скульптурных украшений, правда, немногочисленных. В провинции искусство отличается скромностью, и хотя, по заверениям писателей, после 1829 года орнаментация далеко шагнула вперед, в те времена домовладельцы боялись лишних расходов, которые из-за отсутствия конкуренции и нехватки искусных рабочих были довольно значительны. Угловые павильоны, имевшие по три окна на боковых фасадах, венчала высокая кровля с идущей понизу гранитной балюстрадой. В каждом скате крутой пирамидальной крыши было прорезано окно, обрамленное нарядной лепниной, а под ним — изящный балкон со свинцовыми бортами и чугунными перилами. Дверные и оконные консоли на каждом этаже украшала скульптура, скопированная с домов Генуи. Павильон, обращенный тремя окнами к югу, смотрит на Монтеньяк. Другой, северный, повернут к лесу. Из окон, которые выходят в сад, открывается вид на ту часть Монтеньяка, где находятся «Ташроны», и на дорогу, ведущую в центр округа. Со стороны двора глаз отдыхает на беспредельной равнине, которая замкнута горами только по соседству с Монтеньяком, а вдали теряется на линии плоского горизонта. Жилые комнаты расположены двумя этажами, крыша над ними прорезана мансардами в старинном стиле; но оба боковых павильона — трехэтажные. Центральный павильон увенчан приплюснутым куполом, напоминающим купол так называемого павильона часов в Тюильри или в Лувре; там находится только

украшенный часами бельведер. Из экономии все кровли были черепичные, но стропила и перекрытия, сделанные из монтеньякского леса, легко несли их огромную тяжесть.

Перед смертью Граслен задумал проложить к замку дорогу; теперь крестьяне закончили ее в знак признательности,— ведь предприятие это, которое Граслен называл своим безумием, доставило общине пять тысяч франков. Поэтому Монтеньяк значительно разросся. Позади участка, занятого службами, на склоне холма, который с северной стороны мягко спускался в долину, Граслен начал возводить постройки для большой фермы, очевидно, собираясь обрабатывать невозделанные земли равнины. Шесть садовников, которые жили в помещениях для слуг, занимались под присмотром главного садовода посадками, заканчивая самые необходимые, по суждению г-на Бонне, работы. Первый этаж замка, предназначенный для приемов, был обставлен с ослепительной роскошью. Второй этаж был почти пуст: после смерти г-на Граслена доставка мебели прекратилась.

— Ах, монсеньер! — сказала г-жа Граслен епископу после осмотра замка.— А я-то собиралась жить в хижине! Бедный господин Граслен натворил безумств.

— А вы,— произнес епископ,— вы будете творить дела милосердия,—добавил он после паузы, заметив, как вздрогнула при первых его словах г-жа Граслен.

Опершись на руку матери, которая вела за собой Франсиса, Вероника направилась к длинной террасе, ниже которой стояли дом священника и церковь. Отсюда хорошо видны были расположенные уступами деревенские домики. Кюре завладел монсеньером Дютейлем, желая показать ему пейзаж с разных сторон. Но вскоре внимание обоих священников привлекли Вероника и ее мать, застывшие, словно статуи, на другом конце террасы: старуха прижимала к глазам платок, дочь, простирая руки над балюстрадой, будто указывала на стоящую внизу церковь.

— Что с вами, сударыня? — спросил кюре Бонне у старухи Совиа.

— Ничего,— ответила г-жа Граслен, обернувшись и сделав несколько шагов навстречу священникам.— Я

не знала, что прямо перед моим домом находится кладбище.

— Вы можете потребовать, чтобы его перенесли. Закон на вашей стороне.

— Закон! — Это слово вырвалось у нее, как крик.

Тут епископ снова взглянул на Веронику. Не выдержав взгляда черных глаз, который, словно проникнув сквозь тело, облекавшее ее душу, настиг тайну, погребенную в одной из могил этого кладбища, Вероника крикнула: «Да! Да!»

Потрясенный епископ закрыл рукой глаза и глубоко задумался.

— Поддержите мою дочь! — вскрикнула старуха.— Ей дурно.

— Здесь слишком свежо, я продрогла,— проговорила г-жа Граслен и без чувств упала на руки обоих священников, которые отнесли ее в замок.

Когда она пришла в себя, то увидела, что епископ и кюре на коленях молятся за нее.

— Да не покинет вас слетевший к вам ангел,— сказал епископ, благословляя ее.— Прощайте, дочь моя.

При этих словах г-жа Граслен залилась слезами.

— Значит, она спасена? — воскликнула матушка Совиа.

— На земле и на небесах,— обернувшись, ответил епископ и вышел из комнаты.

Комната, куда перенесли Веронику, находилась в первом этаже бокового павильона, окна которого выходили на церковь, кладбище и южную часть Монтеньяка. Г-жа Граслен пожелала здесь остаться и расположилась в павильоне вместе с Алиной и Франсисом. Матушка Совиа, разумеется, не отходила от дочери. Г-же Граслен понадобилось несколько дней, чтобы оправиться от жестокого волнения, испытанного во время приезда. Мать уговорила ее не вставать по утрам с постели. Вечерами Вероника сидела на скамье в конце террасы, не сводя глаз с церкви, церковного дома и кладбища. Несмотря на глухое сопротивление матери, г-жа Граслен с упорством маньяка сидела на одном месте, погруженная в глубокое уныние.

— Барыня умирает,— сказала Алина старухе Совиа.

Кюре не хотел быть навязчивым, но, узнав от обеих

женщин, что речь идет о душевном недуге, стал ежедневно навещать г-жу Граслен. Этот истинный пастырь всегда приходил в тот час, когда Вероника и ее сын, оба в глубоком трауре, сидели в углу террасы.

Начался октябрь, природа становилась хмурой и печальной. Г-н Бонне, сразу после приезда Вероники догадавшийся о какой-то глубокой внутренней ране, счел благоразумным подождать совершенного доверия со стороны этой женщины, которой суждено было стать его духовной дочерью. Но однажды вечером г-жа Граслен посмотрела на священника угасшим взглядом, исполненным рокового безразличия, которое можно наблюдать только у людей, лелеющих мысль о смерти. С этого часа г-н Бонне больше не колебался, долг велел ему остановить развитие ужасного нравственного недуга. Сначала между Вероникой и священником завязался пустой словесный спор, под которым оба скрывали свои потаенные мысли. Несмотря на холод, Вероника сидела на гранитной скамье, держа на коленях сына. Матушка Совиа стояла, опершись о каменную балюстраду, нарочно закрывая собой вид на кладбище. Алина ждала, пока ее госпожа не передаст ей ребенка.

— Я думал, сударыня,— сказал священник, который пришел сегодня в седьмой раз,— что вас преследует печаль. А теперь,— прошептал он ей на ухо,— я вижу, что это отчаяние. Чувство не христианское и не католическое.

— Какие же чувства разрешает церковь обреченным, если не отчаяние? — ответила она с горькой улыбкой, бросив пронзительный взгляд на небо.

Услышав ее слова, святой человек понял, какое страшное опустошение поразило эту душу.

— Ах, сударыня, из этого холма вы создали себе ад, а он может стать Голгофой, с которой вы вознесетесь на небо.

— Слишком мало во мне осталось гордости, чтобы подняться на подобный пьедестал,— ответила она тоном, в котором звучало глубокое презрение к самой себе.

Тогда священник, этот служитель бога, повинуясь наитию, так часто и естественно снисходящему на прекрасные девственные души, взял на руки ребенка и отечески поцеловал его в лоб.

— Несчастный малютка,— сказал он и сам передал мальчика няньке, которая унесла его.

Старуха Совиа взглянула на дочь и поняла, что слова г-на Бонне не пропали даром: слезы брызнули из давно иссохших глаз Вероники. Старая оверна сделала знак священнику и удалилась.

— Погуляйте немного,— сказал г-н Бонне Веронике, увлекая ее на другой конец террасы, откуда видны были «Ташроны».— Вы принадлежите мне, за вашу больную душу я должен буду отдать отчет богу.

— Дайте мне оправиться от моего уныния,— ответила она.

— Это уныние навеяно мрачными мыслями,— горячо возразил кюре.

— Да,— согласилась она с чистосердечием скорби, дошедшей до предела, за которым забывают об осторожности.

— Я вижу, вы впали в пучину равнодушия,— воскликнул он.— Если есть степень физических страданий, когда исчезает всякая стыдливость, то есть и такая степень страданий нравственных, когда угасают силы души,— это я хорошо знаю.

Вероника была поражена, встретив у г-на Бонне столь тонкую наблюдательность и нежное сочувствие; но мы уже видели, что необыкновенная чуткость этого человека, не искаженная ни единой страстью, помогала ему исцелять скорби своей паствы с материнской любовью, присущей только женщинам. Этот mens divinior [1], эта апостольская нежность ставит священника выше всех других людей, превращает его в существо божественное. Г-жа Граслен еще недостаточно знала г-на Бонне, чтобы разгадать в нем высшую красоту, скрытую в глубине души, как источник, который дарит покой, свежесть и подлинную жизнь.

— Ах, сударь! — воскликнула она, простирая к нему руки и устремив на него взгляд умирающей.

— Я слушаю вас,— откликнулся он.— Что делать? Чем помочь вам?

Они молча шли вдоль балюстрады по направлению

---

[1] Божественный дух *(лат.)*.

к равнине. Этот торжественный момент показался благоприятным носителю благих вестей, сыну иисусову.

— Представьте, что вы перед господом богом,— произнес он тихим таинственным голосом.— Что бы сказали вы ему?

Госпожа Граслен вздрогнула и остановилась, словно пораженная ударом грома.

— Я сказала бы, как Христос: «Отец мой, почто ты покинул меня?» — ответила она просто, но с такой болью, что слезы выступили на глазах у кюре.

— О Магдалина! Вот слова, которых я ожидал от вас! — воскликнул священник, невольно залюбовавшись ею.— Видите, вы прибегаете к правосудию божьему, вы призываете бога! Выслушайте меня, сударыня. До срока правосудие божье вершит религия. Церкви дано судить все тяжбы души. Правосудие земное лишь слабое подражание, призванное служить нуждам общества, оно лишь бледный образ правосудия небесного.

— Что вы хотите сказать?

— Вы не судья в собственном деле, над вами стоит бог,— сказал священник.— Вы не имеете права ни осуждать себя, ни отпускать себе грехи. Бог, дочь моя,— вот верховный судья.

— Ах! — воскликнула она.

— Он видит причину явлений там, где мы видим одни лишь явления.

Вероника остановилась, пораженная новой для нее мыслью.

— Вы обладаете возвышенной душой,— продолжал отважный священник,— и к вам обращаюсь я с другими словами, чем к смиренным моим прихожанам. Ум ваш развит и изощрен, вы можете подняться до понимания божественного смысла католической религии, для нищих и малых сих выражаемого в образах и в словах. Слушайте же меня внимательно, речь пойдет о вас; ибо хотя я поставлю вопрос очень широко, я буду говорить о вашем деле. *Право*, созданное, чтобы защищать общество, основано на равенстве. Общество, будучи лишь совокупностью поступков, опирается на неравенство. Итак, существует разлад между поступками и правом. Должен ли закон подавлять общество или благоприятствовать ему? Другими словами, должен закон противодейство-

вать движению внутренних сил общества, чтобы сдерживать его, или он должен применяться к этому движению, чтобы вести общество за собой? С самого зарождения человеческого общества ни один законодатель не смел взять на себя решение этого вопроса. Все законодатели довольствовались тем, что анализировали поступки, указывая на поступки предосудительные или преступные, и назначали кару или возмездие. Таков закон человеческий: он не дает ни способов предупредить ошибку, ни способов отвратить того, кто наказан, от новых ошибок. Филантропия — это высокое заблуждение; она лишь бесцельно терзает тело, она не проливает бальзама, исцеляющего душу. Филантропия создает проекты, порождает идеи и доверяет их осуществление людям, молчанию, работе, запретам — посредникам немым и бессильным. Религия не знает этих несовершенств, ибо простирает жизнь за пределы земного мира. Для нее все мы грешники, все мы падшие, она открывает нам неисчерпаемые сокровища всепрощения: всех нас ждет полное возрождение, никто из нас не безгрешен, церковь готова простить и ошибки и даже преступления. Там, где общество видит преступника, которого нужно исторгнуть из своего лона, церковь видит душу, которую надо спасти. Больше того!.. Вдохновленная богом, которого созерцает неустанно, церковь признает неравенство сил, она изучает несоответствие между силами человека и выпавшей ему на долю ношей. И если для нее мы не равны по мужеству, по телу, по духу, по способностям, по достоинствам, то всех она делает равными в раскаянии. Тут, сударыня, равенство не пустое слово, ибо мы можем быть, мы уже равны в своих чувствах. Начиная с первобытного фетишизма дикарей до изящных вымыслов Греции, до глубоких и изощренных учений Египта и Индии, выраженных в радостных или грозных обрядах, всюду проявляется заложенное в человеке представление — идея падения и греха, из которой возникает идея жертвы и искупления. Смерть спасителя нашего, искупившего грехи рода человеческого,— вот образ, которому все мы должны следовать: искупим вины наши! Искупим ошибки наши! Искупим грехи наши! Все искупается — в этих словах смысл католицизма; в них объяснение почитаемых нами таинств, которые

способствуют торжеству благодати и поддерживают грешника. Плакать и стенать, как Магдалина в пустыне,— это только начало, сударыня. Дело — вот венец! В монастырях плакали и действовали, молились и просвещали. Монастыри были действенными посредниками нашей божественной религии. Они воздвигли постройки, насадили леса и возделали поля в Европе, спасая вместе с тем сокровища наших познаний, сокровища земного правосудия, политики и искусства. В Европе всегда можно будет узнать места, где находились эти лучезарные центры. Большинство современных городов — порождение монастырей. Если вы верите, что только богу дано судить вас, то церковь говорит вам моими устами: все можно искупить добрыми делами раскаяния. Руки божьи взвешивают одновременно и содеянное зло и ценность совершенных благодеяний. Заступите одна место монастыря, и вы сможете сотворить здесь чудеса. А труд ваш принесет счастье людям, над которыми поставило вас ваше богатство, ваш ум и даже сама природа, создав в этом холме над равниной как бы образ вашего общественного положения.

В этот момент священник и г-жа Граслен повернули обратно, в сторону равнины, и кюре показал на деревню, лежавшую у подножия холма, и на замок, возвышавшийся над всей местностью. Было около пяти часов вечера. Желтые лучи солнца пробежали по балюстраде и садам, озарили замок, сверкая на позолоченных чугунных акротерах, и осветили широкую равнину, пересеченную дорогой — унылой серой лентой, не окаймленной, как все другие дороги, зеленым бордюром деревьев.

Когда Вероника и г-н Бонне миновали каменную громаду замка, позади двора им открылся вид на конюшни и службы, на монтеньякский лес, по которому ласково скользили солнечные лучи. Хотя последнее зарево заката освещало лишь верхушки деревьев, можно было отлично рассмотреть все прихотливые оттенки осеннего леса, подобно великолепному ковру, раскинувшемуся от холма, на котором лежал Монтеньяк, до первых вершин Коррезской горной цепи. Дубы отливали флорентийской бронзой, ореховые и каштановые деревья поднимали свои медно-зеленые кроны, трепетала золотая листва осин; и все это пиршество красок оттенялось разбросан-

ными по лесу мрачными серыми пятнами. Там возвышались только колоннады белесых стволов, начисто лишенных листвы. Рыжие, бурые, серые тона, гармонически сливающиеся воедино под бледным светом октябрьского солнца, перекликались с окраской бесплодной равнины, с зеленоватой, как стоячая вода, бескрайней целиной. Священник хотел объяснить Веронике, что означало это прекрасное, овеянное безмолвием зрелище: ни деревца, ни птицы, мертвая тишина — в равнине; молчание — в лесу; кое-где спирали дымков в деревне. Замок выглядел мрачно, как его хозяйка. По странной закономерности дом всегда похож на того, кто царит в нем, чей дух в нем витает.

Госпожа Граслен внезапно остановилась: мысль ее была поражена словами кюре, сердце тронуто его убежденностью, чувства ее пробудились от звука этого ангельского голоса. Кюре поднял руку и указал вдаль. Вероника посмотрела на лес.

— Не находите ли вы в картине этого леса смутное сходство с общественной жизнью? У каждого своя судьба! Сколько неравенства в этой массе деревьев! Самым высоким не хватает перегноя и воды, они умирают первыми!

— Это оттого, что *нож женщины, собирающей дрова,* пощадил их молодость,— с горечью сказала Вероника.

— Не впадайте больше в подобные чувства,— мягким голосом, но строго возразил кюре.— Несчастье этого леса в том, что его не вырубают. Видите ли вы, какое странное явление происходит в этой массе деревьев?

Вероника, которой были непонятны особенности лесной природы, послушно остановила взгляд на деревьях леса, а потом кротко перевела его на кюре.

— Не замечаете ли вы полосы совершенно зеленых деревьев? — спросил он, догадавшись по этому взгляду о полном неведении Вероники.

— Ах, верно! — воскликнула она.— Почему это?

— Там,— сказал кюре,— заложено богатство Монтеньяка и ваше, огромное богатство, на которое я указал господину Граслену. Вы видите долины трех ручьев, воды которых впадают в поток Габу. Этот поток отделяет монтеньякский лес от соседней с нами общины. В сентябре и в октябре русло потока пересыхает вовсе, но в

ноябре он многоводен. Воды его, приток которых можно легко умножить, произведя необходимые работы в лесу и собрав воедино даже самые мелкие ручейки, воды эти пропадают без пользы. Но постройте в долине потока, между двумя холмами, одну или две плотины, чтобы задержать и сберечь воду,— как сделал это Рике в Сен-Ферреоле, где созданы огромные водоемы для снабжения Лангедокского канала,— и вы оживите эту бесплодную равнину, разумно распределяя воду при помощи снабженных шлюзами отводных каналов и производя поливку в самое полезное для этих земель время, причем избыток воды всегда можно будет направить в нашу речушку. Вдоль всех каналов вы посадите прекрасные тополя и будете разводить скот в прекраснейших лугах. Что такое трава? Вода и солнце. В равнине достаточно земли для укоренения злаков; вместе с водой появится роса, которая удобрит почву, а тополя, всасывая влагу, задержат туманы, питательные вещества которых будут поглощаться всеми растениями,— в этом секрет прекрасной растительности всех долин. И вы увидите однажды жизнь, радость и веселье там, где царит молчание, где угнетает вас мрачная бесплодность. Разве не возвышенна такая молитва? Разве не лучше заполнить свой досуг трудом, нежели скорбными сетованиями?

Вероника сжала руку священника и произнесла лишь несколько слов, но то были великие слова:

— Я это сделаю, сударь!

— Вы поняли величие этого дела,— возразил он,— но не сможете выполнить его. Ни вы, ни я не обладаем необходимыми познаниями, чтобы осуществить замысел, который мог прийти на ум каждому, но несет в себе трудности непреодолимые; и хотя препятствия эти проеты и почти незаметны, они требуют точных распоряжений науки. Ищите же с сегодняшнего дня те человеческие орудия, которые помогут вам получить через двенадцать лет шесть или семь тысяч луидоров ренты с шести тысяч арпанов возрожденной вами земли. Когда-нибудь эта работа сделает Монтеньяк самой богатой коммуной департамента. Сейчас леса не приносят вам ничего. Но рано или поздно предприниматели найдут эти великолепные деревья, эти накопленные временем сокровища,

единственные сокровища, в производстве которых человек не может ни поторопить, ни заменить природу. Быть может, впоследствии государство проложит пути сообщения к этому лесу, который понадобится для его флота, но оно подождет, пока удесятерившееся население Монтеньяка потребует его покровительства, ибо государство подобно фортуне: оно дает лишь богатым. Земля эта станет со временем прекраснейшей во Франции. Она станет гордостью ваших внуков, и замок, пожалуй, им покажется жалким по сравнению с их доходами.

— Вот будущее, которому я отдам мою жизнь,— сказала Вероника.

— Подобный труд может искупить любую вину,— ответил кюре.

И увидев, что его поняли, он попытался нанести последний удар, обратившись к уму этой женщины: он угадал, что к ее сердцу ведет ум, меж тем, как у других женщин путь к уму лежит через сердце.

— Знаете ли вы,— сказал он, помолчав,— в чем ваше заблуждение?

Она робко взглянула на него.

— Сейчас ваше раскаяние вызвано лишь чувством понесенного поражения, и это ужасно; это отчаяние сатаны; так, вероятно, каялись грешники до пришествия Иисуса Христа. Но у нас, у католиков, раскаяние в другом. Душа, споткнувшись на дурном пути, ужаснется, и при падении ей откроется бог! Вы похожи на язычника Ореста, станьте же святым Павлом!

— Ваши слова возродили меня! — воскликнула Вероника.— Теперь, о, теперь я хочу жить!

«Дух победил»,— подумал скромный священник и ушел, преисполненный радости.

Он дал пищу тайному отчаянию, снедавшему Веронику, он обратил ее раскаяние на прекрасное и доброе дело.

На следующее же утро Вероника написала г-ну Гростету. Через несколько дней из Лиможа прибыли три верховые лошади, присланные ей старым другом. По просьбе Вероники г-н Бонне дал ей в проводники сына почтового смотрителя: молодой человек рад был услужить г-же Граслен и заработать полсотни экю. Морис Шампион — круглолицый, черноволосый и черноглазый

парень, невысокого роста, но статный и сильный — понравился Веронике и сразу же приступил к своим обязанностям. Он должен был сопровождать хозяйку во всех поездках и заботиться о верховых лошадях.

Главным лесничим в Монтеньяке был отставной квартирмейстер королевской гвардии родом из Лиможа; герцог Наваррский прислал его из другого своего поместья в Монтеньяк, чтобы он ознакомился с местными лесами и землями и доложил, какую выгоду можно из них извлечь. Жером Колора увидел лишь бесплодные, невозделанные земли, леса, не эксплуатируемые из-за отсутствия путей сообщения, руины замка и огромные затраты, которых требовало восстановление дома и садов. Особенно испугали его усеянные гранитными обломками прогалины, резко выделявшиеся среди лесной чащи. Этот честный, но бестолковый служака и надоумил герцога продать свои угодья.

— Колора,— призвав к себе лесничего, сказала г-жа Граслен.— С завтрашнего дня я, вероятно, каждое утро буду совершать прогулки верхом. Вы, должно быть, знаете лесные участки, принадлежащие этому имению, а также те, что присоединил к нему господин Граслен. Покажите их мне, я хочу все осмотреть сама.

Обитатели замка с радостью узнали о перемене в образе жизни Вероники. Не дожидаясь приказания, Алина сама нашла и привела в порядок старую черную амазонку своей хозяйки. На следующее утро матушка Совиа с невыразимым удовольствием увидела, что дочь ее оделась для верховой езды. Следуя за лесничим и Шампионом, которые отыскивали дорогу по памяти, ибо тропинки в этих пустынных горах были едва заметны, г-жа Граслен приняла решение объехать пока только вершины, на которых раскинулись ее леса, чтобы изучить горные склоны и ознакомиться с пересохшими руслами, словно естественные дороги, изрезавшими весь этот длинный кряж. Она хотела измерить величину своей задачи, понять природу горных потоков и ознакомиться с основами намеченного священником предприятия. Вероника следовала за прокладывавшим дорогу Колора, а Шампион трусил в нескольких шагах позади.

Пока они ехали по участкам, густо заросшим деревьями, то поднимаясь, то спускаясь по возвышенностям,

всегда очень тесно расположенным в горах Франции, Вероника предавалась созерцанию лесных чудес. Сначала больше всего ее поразили вековые деревья, но в конце концов она к ним привыкла. Потом ее внимание стали привлекать высокие, словно искусственно посаженные ровными рядами, рощи, или одиноко стоящие на прогалине сосны фантастической высоты, или — явление более редкое — какие-нибудь кусты, в других местах низкорослые, но здесь достигающие гигантских размеров и, очевидно, такие же древние, как породившая их земля.

Клубившиеся на голых скалах тучи вызывали в ней никогда не изведанные чувства. Она замечала белесые борозды, проведенные ручьями талой воды, издали похожие на шрамы. Выезжая из лишенного растительности ущелья, она восхищалась укоренившимися в выветренных склонах скалистых утесов вековыми каштанами, прямыми, как альпийские ели. Вероника ехала так быстро, что могла, словно с высоты птичьего полета, охватить глазом обширные полосы движущихся песков, лесные зажоры с редкими деревьями, опрокинутые гранитные глыбы, нависшие скалы, темные лощины, поляны, покрытые цветущим или иссохшим вереском, луга, заросшие низкой травой, участки земли, удобренные вековыми наслоениями ила,— одним словом, горную природу центральной Франции со всей ее печалью и великолепием, со всеми ее резкими и нежными чертами и причудливыми видами. И чем дальше всматривалась она в эти разнообразные по форме, но овеянные единой мыслью картины, тем сильнее овладевала ею, отвечая ее тайным чувствам, глубокая печаль, запечатленная в этой дикой, заброшенной и бесплодной природе. А когда, поднимаясь по пересохшему руслу, где среди песков и камней росли лишь чахлые, скрюченные кустики, она увидела в просвете между двумя скалами раскинувшуюся внизу равнину, и зрелище это повторилось снова и снова,— она почувствовала, как поразил ее суровый дух этой природы и вызвал новые для нее думы, навеянные глубоким смыслом лежавших вокруг разнообразных картин. Ибо нет ни одного уголка в лесу, который не имел бы своего значения; каждая прогалина, каждая чаща подобны лабиринту человеческих мыслей.

Кто из людей с развитым умом или глубоко раненным сердцем, гуляя в лесу, не внимал его шуму? Неприметно возникает голос леса, ласковый или грозный, но чаще ласковый, чем грозный. Если доискиваться причин охватившего вас торжественного и простого, сладостного и таинственного чувства, то, пожалуй, их можно найти в возвышенном и безыскусном зрелище всех этих покорных своей участи созданий. Рано или поздно сердце ваше преисполнится потрясающим ощущением вечности природы, и в глубоком волнении вы обратите свою мысль к богу. Так и Вероника в безмолвии горных вершин, в благоухании леса, в безмятежном спокойствии воздуха обрела, как сказала она вечером г-ну Бонне, уверенность в небесном милосердии. Она прозрела возможность мира более возвышенного, чем тот, в котором замкнулись ее грезы. Она испытала нечто похожее на счастье. Давно уже не знала она такого покоя. Было ли вызвано это чувство сходством, какое нашла она между окружавшими ее картинами и иссохшей пустыней своей души? Или она испытала радость при виде потрясенной природы, подумав, что и материя была наказана, хотя не совершила греха? Во всяком случае, она была глубоко взволнована. Колора и Шампион то и дело удивленно переглядывались, словно заметив, что она преобразилась у них на глазах. В каком-то месте обрывистые склоны пересохшего потока показались Веронике особенно суровыми. Внезапно она почувствовала страстное желание услышать шум воды, бурлящей в этом выжженном русле.

«Любить вечно!» — подумала она.

Устыдившись этих слов, словно произнесенных чьим-то голосом, она отважно пустила вскачь своего коня и, не слушая предупреждений проводников, помчалась к первой вершине Коррезских гор. Вероника одна поднялась на верхушку пика, называемого *Живая скала*, и остановилась, стараясь охватить глазом всю округу. Теперь, когда она услышала тайный голос множества молившихся о жизни созданий, она почувствовала как бы внутренний толчок, побудивший ее посвятить великому делу всю свою непреклонную волю, которую она не раз проявляла, вызывая восхищение друзей. Она привязала коня к дереву, присела на обломок скалы и, блуждая взором по владениям мачехи-природы, почувствовала ту прили-

вающую к сердцу материнскую любовь, какую испытала она, взглянув впервые на своего сына. Невольные размышления, очистив, по прекрасному выражению Вероники, ее душу, подготовили ее к высшему уроку, заложенному в этом зрелище, и она словно пробудилась от летаргического сна.

— Тогда я поняла,— сказала она священнику,— что души наши надо возделывать так же старательно, как землю.

Бледное ноябрьское солнце озаряло обширную панораму. С востока надвигались серые тучи, гонимые холодным ветром. Было около трех часов дня. Веронике понадобилось четыре часа, чтобы доехать сюда, но, как все люди, терзаемые глубоким и тайным горем, она не обращала внимания на внешние обстоятельства. В этот миг жизнь ее поистине слилась с могучим дыханием природы.

— Не оставайтесь здесь долго, сударыня,— произнес вдруг чей-то голос, заставивший ее вздрогнуть.— Не то вы не сможете вернуться. Вы находитесь далеко от жилья, а ночью по лесу не проедешь. Но это еще пустяки, здесь вас ждут опасности пострашнее: через несколько минут всю гору охватит смертельный холод; никто не знает его причины, но он убил уже не одного человека.

Госпожа Граслен увидела перед собой загорелое до черноты лицо со сверкающими, как угли, глазами. Вдоль щек свешивались густые пряди черных волос, а подбородок окаймляла густая борода веером. Человек почтительно приподнял огромную широкополую шляпу, какую носят крестьяне в центральной Франции, и обнажил облысевший, но великолепной формы лоб; подобный лоб иногда привлекает всеобщее внимание к просящему подаяния нищему. Вероника ничуть не испугалась. Она была в таком состоянии, когда в женщине умолкает мелкая осмотрительность, делающая ее пугливой.

— Как вы сюда попали? — спросила она.

— Мой дом тут недалеко,— ответил незнакомец.

— Что же вы делаете в этой пустыне? — удивилась Вероника.

— Живу.

— Но как и чем?

— Мне немного платят за то, что я присматриваю за

этой частью леса.— Человек показал на склон горы, смотревший в противоположную сторону от монтеньякской равнины.

Тут г-жа Граслен заметила дуло его ружья и охотничью сумку. Если и были у нее какие-нибудь опасения, то теперь она окончательно успокоилась.

— Вы лесник?

— Нет, сударыня. Чтобы стать лесником, надо принести присягу, а чтобы присягать, надо пользоваться всеми гражданскими правами.

— Да кто же вы?

— Я Фаррабеш,— сказал человек, с глубоким смирением опустив глаза.

Госпожа Граслен, которой это имя ничего не говорило, посмотрела на человека и подметила в его очень добром лице черты скрытой жестокости: неровные зубы придавали его рту с ярко-красными губами выражение иронии и дерзкой отваги; в выступающих, обтянутых загорелой кожей скулах таилось что-то животное. Роста он был среднего, с могучими плечами, короткой толстой шеей, руками широкими и волосатыми, как у всех вспыльчивых людей, склонных злоупотреблять преимуществами своей грубой натуры. Последние слова этого человека к тому же говорили о тайне, которой его манера держаться, физиономия и весь облик придавали какой-то грозный смысл.

— Значит, вы у меня на службе? — ласково спросила Вероника.

— Так я имею честь говорить с госпожой Граслен? — воскликнул Фаррабеш.

— Да, друг мой,— ответила она.

Бросив на свою хозяйку испуганный взгляд, Фаррабеш скрылся с проворством дикого зверя. Вероника поспешно села на коня и двинулась навстречу своим слугам, которые начали не на шутку беспокоиться, зная о вредоносном холоде, царившем вечерами на Живой скале.

Колора предложил хозяйке спуститься по неглубокой лощинке, ведущей прямо в равнину. «Пожалуй, небезопасно,— сказал он,— возвращаться через горы, где едва заметные дороги часто перекрещиваются и где даже при всем знании этих мест можно заблудиться».

Спустившись в равнину, Вероника замедлила ход своего коня.

— Что это за Фаррабеш служит тут у вас? — спросила она у главного лесничего.

— Сударыня встретила его? — воскликнул Колора.

— Да, но он убежал от меня.

— Бедняга, он, верно, не знает, как добра сударыня.

— Да что он такое сделал?

— Как же, сударыня, ведь Фаррабеш — убийца,— простодушно ответил Шампион.

— Значит, его помиловали? — дрогнувшим голосом спросила Вероника.

— Нет, сударыня,— возразил Колора,— Фаррабеша судил суд присяжных и приговорил его к десяти годам каторжных работ. Он отбыл половину своего срока, а потом был помилован и в 1827 году вернулся с каторги. Он обязан жизнью господину кюре, который уговорил его сдаться властям. А не то его приговорили бы к смертной казни заочно и все равно рано или поздно захватили бы. А тогда бы дело добром не кончилось. Господин Бонне отправился к нему совсем один, а ведь Фаррабеш мог убить его. Никто не знает, о чем они говорили. Они провели вместе два дня, а на третий день господин кюре привел Фаррабеша в Тюль, и там он сдался. Господин кюре нашел хорошего адвоката и рассказал ему про Фаррабеша. Фаррабеш отделался десятью годами каторжных работ, и господин кюре навещал его в тюрьме. И что бы вы думали, этот парень, наводивший ужас на всю округу, стал кротким, как овечка, и спокойно дал увезти себя на каторгу. А когда он вернулся, то поселился здесь, под покровительством господина кюре; выше господина кюре для него никого нет, каждое воскресенье и по всем праздничным дням он ходит к литургии и к мессе. И хотя у него есть свое место рядом со всеми, он всегда стоит один, у стены. А когда причащается, то в алтаре тоже держится в сторонке.

— И этот человек убил другого человека?

— Если бы одного!—сказал Колора.— Он убил многих. И все же он хороший человек.

— Возможно ли это? — воскликнула пораженная Вероника, уронив поводья на шею лошади.

— Видите ли, сударыня,— охотно отозвался лесни-

чий, которому не терпелось рассказать эту историю,— сначала Фаррабеш, возможно, был и прав. Он последний в семье Фаррабешей—старинный род Коррезы, что и говорить! Его старший брат, капитан Фаррабеш, погиб десять лет назад в Италии, всего двадцати двух лет от роду. Это ли не беда? А парень какой был! Умный, грамотный, так и ждали, что будет генералом. Вся семья убивалась, да и было по ком! Я в те времена служил императору и много слышал о его гибели. О! Капитан Фаррабеш пал смертью героя, он спас армию и маленького капрала. Я служил тогда под началом генерала Штейнгеля, немца, вернее, эльзасца — знаменитый генерал, но недальновидный, из-за этого-то он и погиб вскоре после капитана Фаррабеша. Младшему в семье, то есть этому самому Фаррабешу, было лет шесть, когда он узнал о смерти своего старшего брата. Второй брат тоже служил в армии, но как солдат. Он был сержантом первого полка гвардии — славный пост — и погиб в битве под Аустерлицем, где, доложу я вам, сударыня, мы маневрировали, словно на параде в Тюильри... Я тоже был там! О! Мне повезло,— не получил ни царапины. И вот наш Фаррабеш хоть и был храбрецом, забрал себе в голову, что не пойдет в солдаты. И то сказать, армия не шла на пользу этому семейству. Когда в 1811 году его вызвал супрефект, он спрятался в лесу, стал ослушником, так, что ли, их тогда называли. В ту пору связался он с шайкой поджаривателей; уж не знаю, по доброй воле или заставили его, но так или иначе, а он поджаривал! Сами понимаете, кроме господина кюре, никто не знает, что он проделывал вместе с этими, мягко говоря, собаками! Он частенько сражался против жандармов и даже против солдат. В общем, набралось семь стычек...

— Поговаривают, будто он убил двоих солдат и троих жандармов! — вставил Шампион.

— Э, да кто их считал! Сам-то он не скажет,— возразил Колора.— Одним словом, сударыня, почти вся шайка была схвачена, но он — черт возьми! — такой молодой, проворный, да все эти места знал лучше всех, его никак не могли изловить. Эти поджариватели шатались в окрестностях Брива и Тюля. Частенько они и сюда заглядывали, потому что тут Фаррабешу легко было их прятать. В 1814 году его оставили в покое,— рекрутский

набор был отменен; но все-таки весь 1815 год ему пришлось скрываться в лесу. Жить ему было нечем, вот он и помог остановить ту карету в ущелье; но в конце концов он послушался господина кюре и сам сдался. Нелегко было тогда найти свидетелей, все боялись показывать против него. Да еще его адвокат и господин кюре постарались, вот он и отделался десятью годами. Это большая удача для поджаривателя, а он таки поджаривал!

— А что это значит — «поджаривал»?

— Если угодно, сударыня, я вам расскажу, что они разделывали; так мне люди говорили, сам-то я, вы понимаете, не поджаривал! Нехорошо это, конечно, да нужда закона не знает. Ну, так вот, ввалятся семь или восемь человек в дом какого-нибудь фермера или хозяина, у которого, по слухам, водятся деньжата; разложат огонь в очаге и начинают пировать среди ночи, а потом, перед десертом, если хозяин дома не пожелает дать им требуемую сумму, подвяжут его ноги к крюку над очагом и держат, пока не получат свои денежки; вот и все. Являлись они всегда в масках. Случалось иногда им и уходить ни с чем. Черт возьми! Всегда найдутся упрямцы и скупердяи. Один фермер, папаша Кошегрю, который удавился бы за копейку, так и дал сжечь себе ноги! Позднее он умер, и поделом! А жена господина Давида из-под Брива кончилась со страху, оттого только, что увидела, как эти молодцы связывают ноги ее мужу. «Отдай им все, что у тебя есть!» — говорила она мужу, умирая. Он не хотел, тогда она сама показала им на тайник. Целых пять лет поджариватели были пугалом для всего края. И зарубите себе на носу — простите, сударыня,— что среди них было немало сынков из хороших семей, но этих-то не зацапали.

Госпожа Граслен слушала, не отвечая ни слова. Наступило короткое молчание. Но юный Шампион, горя желанием тоже развлечь хозяйку, решил рассказать то, что знал о Фаррабеше он.

— Вот я вам еще скажу, сударыня: Фаррабеша никто не обгонит ни пешком, ни верхом. Он ударом кулака быка убьет! А стреляет он лучше всех! Я еще маленький был, мне рассказывали о приключениях Фаррабеша. Один раз его окружили вместе с тремя товарищами; они — сражаться. Здорово! Двое ранены, третий убит — гото-

во! Фаррабеша хватают, не тут-то было! Он как вскочит на круп лошади позади жандарма! Дал шпоры — лошадь в галоп, он и ускакал, а жандарма обхватил руками, да так сильно, что потом мог сбросить его по пути, и остался один на лошади. Удрал да еще лошадь увел! И хватило смекалки продать ее где-то за десять лье от Лиможа. А после этого дела три месяца следа его найти не могли. Даже пообещали сотню луидоров тому, кто его выдаст.

— А другой раз,— добавил Колора,— когда сотню луидоров пообещал за него тюльский префект, он дал их заработать своему двоюродному брату, Жирие из Визэ. Брат на него донес и обставил все так, будто выдал его. О, он и в самом деле его выдал! Жандармы рады-радехоньки были бы доставить его в Тюль, но так далеко он идти не пожелал, и пришлось посадить его в тюрьму в Люберсаке, а оттуда он удрал в первую же ночь, воспользовавшись подкопом, который прорыл один из его сообщников, некий Габийо, дезертировавший из 17-го полка и расстрелянный в Тюле. Беднягу перевели в другую тюрьму как раз накануне той ночи, когда он рассчитывал бежать. О похождениях Фаррабеша ходили легенды. У шайки, сами понимаете, были свои доверенные. Кроме того, поджаривателей все любили. Еще бы! Эти молодчики не походили на нынешних, все они сорили деньгами налево и направо. Представьте себе, сударыня, раз как-то преследуют Фаррабеша жандармы, так? Ну что ж, и на этот раз он их провел: просидел двадцать четыре часа в сточной яме на какой-то ферме и дышал все время через соломинку, с головой погрузившись в нечистоты. А ему хоть бы что, ведь, бывало, он целую ночь держался на самой верхушке дерева, где и воробей не усидел бы, да поглядывал на солдат, которые искали его, бегая внизу взад и вперед. Фаррабеш был одним из пяти или шести поджаривателей, которых правосудию не удалось захватить; но поскольку он родом отсюда и в шайку попал поневоле да в конце концов он только убежал от призыва, то женщины за него горой стояли, а это самое главное.

— Значит, Фаррабеш в самом деле убил многих людей? — снова спросила г-жа Граслен.

— В самом деле,— ответил Колора.— По слухам, он-

то и убил того пассажира при нападении на почтовую карету в 1812 году. Но ни курьера, ни почтальона — единственных свидетелей, которые могли опознать Фаррабеша,— уже не было в живых, когда его судили.

— Убил, чтобы ограбить? — спросила г-жа Граслен.

— О, они все обобрали! Но те двадцать пять тысяч франков, что они взяли, принадлежали государству.

Некоторое время г-жа Граслен ехала молча. Солнце село, луна освещала серую равнину, напоминавшую теперь открытое море. Колора и Шампион посмотрели на г-жу Граслен, их беспокоило ее глубокое молчание; еще больше они взволновались, когда увидели на ее щеках две блестящие полоски, оставленные пролитыми слезами; слезы стояли в ее покрасневших глазах и падали капля за каплей.

— О сударыня,— воскликнул Колора,— не жалейте его! Парень этот пожил в свое удовольствие, у него были красивые подружки, а теперь, хоть он и состоит под надзором полиции, его поддерживают уважение и дружба господина кюре; ведь он раскаялся и на каторге вел себя образцово. Все знают, что он такой же честный человек, как самый честный из нас; только он очень горд и не хочет нарываться на оскорбления, вот он и живет здесь потихоньку и делает добро на свой лад. По ту сторону Живой скалы он развел древесный питомник площадью чуть не в десять арпанов и высаживает деревья в тех участках леса, где они могут прижиться; потом он обрезает сухие сучья, собирает хворост, увязывает все в вязанки и держит их у себя для бедняков. Каждый бедняк, зная, что может получить готовое топливо, пойдет к нему и попросит, а не станет обворовывать и портить ваш лес. Так что теперь если он и подбрасывает сучья в огонь, то делает это на пользу людям! Фаррабеш любит ваш лес, заботится о нем, как о собственном добре.

— И он живет!..— воскликнула г-жа Граслен и поспешила добавить: — Совсем один?

— Простите, сударыня, он воспитывает одного парнишку, теперь ему лет пятнадцать,— ответил Морис Шампион.

— Да, пожалуй, так,— подтвердил Колора,— потому что Катрин Кюрье родила его незадолго до того, как Фаррабеш сдался властям.

— Это его сын? — спросила г-жа Граслен.

— Все думают, что так.

— А почему же он не женился на этой девушке?

— Как же он мог это сделать? Его бы схватили! А когда Кюрье узнала, что его приговорили к каторге, бедная девушка уехала из этих мест.

— Она была красива?

— Да,— сказал Морис,— моя мать говорит, что она похожа была на другую девушку, которая, представьте, тоже уехала отсюда,— на Денизу Ташрон.

— Она любила его? — спросила г-жа Граслен.

— Еще бы! Ведь он поджаривал,— ответил Колора,— а женщины любят все необыкновенное. И все-таки в наших краях очень уж удивились, узнав об этой любви. Катрин Кюрье вела себя скромно, как сама пресвятая дева, и считалась в своей деревне образцом добродетели. Она родом из Визэ, большого селения в Коррезе, как раз на границе двух департаментов. Ее родители арендуют ферму у господина Брезака. Катрин Кюрье исполнилось семнадцать лет, когда Фаррабеша приговорили. А род Фаррабешей тоже издавна жил в этих краях, они обосновались в Монтеньяке и держали тут ферму. Отец и мать Фаррабеша умерли, а три сестры, такие же скромные, как Кюрье, замужем: одна в Обюссоне, другая в Лиможе, третья в Сен-Леонаре.

— А как вы думаете, Фаррабеш знает, где теперь Катрин? — спросила г-жа Граслен.

— Если бы знал, он бы уж вышел из своей дыры. О, он бы за ней поехал!.. Он сразу, как только появился здесь, попросил господина Бонне взять для него малыша у деда с бабкой, которые его воспитывали. Господин Бонне так и сделал.

— И никто не знает, что с ней сталось?

— Известно, молодость! — вздохнул Колора.— Девушка решила, что она погибла, и побоялась оставаться на родине! Отправилась в Париж. А что она там делает? Искать ее в столице — все равно, что пытаться найти бильярдный шар среди камней в равнине!

И Колора указал на монтеньякскую равнину с высоты новой дороги, по которой поднималась г-жа Граслен.

Они уже подъезжали к воротам замка. Встревоженная матушка Совиа, Алина, слуги — все собрались

здесь, не зная, что и думать о столь долгом отсутствии Вероники.

— Как же так,— говорила матушка Совиа, помогая дочери спуститься с седла.— Ты, верно, ужасно устала.

— Нет, матушка,— ответила г-жа Граслен таким дрожащим голосом, что старуха, пристально взглянув на дочь, сразу поняла, что та долго плакала.

Госпожа Граслен прошла в свою комнату вместе с Алиной, которая давно получила все распоряжения, касавшиеся домашней жизни ее хозяйки. Вероника заперлась и не пустила к себе мать, а когда старуха хотела войти, Алина сказала:

— Барыня почивает.

На другой день Вероника отправилась в путь верхом, взяв с собой только Мориса. Желая поскорее достигнуть Живой скалы, она избрала дорогу, по которой они накануне возвращались домой. Если смотреть со стороны равнины, казалось, что Живая скала стоит особняком; поднимаясь по ущелью, отделявшему эту вершину от последнего поросшего лесами холма, Вероника велела Морису показать ей дом Фаррабеша, а самому остаться с лошадьми и ждать ее; она хотела идти дальше одна. Морис проводил ее до тропинки, огибавшей Живую скалу, и на склоне, обращенном в противоположную от равнины сторону, показал ей соломенную крышу затерянной на горе хижины, ниже которой раскинулись молодые древесные посадки. Было около полудня. Пойдя на легкий дымок, вившийся над крышей, Вероника вскоре добралась до хижины. Но она решила сразу не показываться. При виде скромного домика, стоящего в саду, обнесенном изгородью из сухого терновника, она замерла на мгновение, отдавшись тайным, ей одной ведомым мыслям. Ниже сада тянулся окруженный живой изгородью луг, а на нем кое-где стояли яблони, груши и сливы с раскидистыми кронами. Над домом, по песчаному склону, поднимались пожелтевшие верхушки великолепных каштанов.

Отворив сбитую из полусгнивших планок калитку, г-жа Граслен заметила хлев, маленький птичий двор и все трогательные и живописные принадлежности жилища бедняков, которое в деревне всегда выглядит поэтично. Кто мог бы увидеть без волнения белье, сохнущее

на изгороди, подвешенные к потолку связки лука, выставленные на солнце чугунки, деревянную скамью, затененную жимолостью, живучку на коньке соломенной крыши — всю обстановку сельских хижин Франции, которая говорит о скромной, почти растительной жизни?

Но Веронике не удалось проникнуть к своему сторожу незамеченной: две красивые охотничьи собаки залаяли сразу же, как только ее амазонка зашелестела по сухой листве. Перебросив длинный шлейф через руку, она направилась к дому. Фаррабеш и его сын, сидевшие на деревянной скамье перед хижиной, встали и сняли шляпы, поклонившись почтительно, но без всякой угодливости.

— Я узнала,— произнесла Вероника, внимательно глядя на мальчика,— что вы печетесь о моих интересах, и мне захотелось самой посмотреть ваш дом и питомник и расспросить вас на месте, чем можно вам помочь.

— К вашим услугам, сударыня,— ответил Фаррабеш.

Вероника залюбовалась мальчиком. У него было прелестное лицо, обожженное солнцем, но очень правильное, с безукоризненным овалом и чистыми очертаниями лба; светло-карие глаза светились живым огоньком; черные волосы были подрезаны на лбу и длинными прядями спускались вдоль щек. Крупный для своих лет, мальчик был ростом футов пяти. Штаны и рубашка на нем были из толстого небеленого холста, потертый синий суконный жилет застегивался на роговые пуговицы; костюм дополняла куртка того же, принятого в одежде савояров, грубого сукна, которое в шутку называют Мориенским бархатом, и подкованные гвоздями башмаки, обутые прямо на босую ногу. Фаррабеш был одет точно так же, только у отца на голове красовалась широкополая войлочная шляпа, а у паренька — коричневый шерстяной колпачок. Очень живая и умная мордочка мальчугана хранила все же степенность, присущую людям, которые живут уединенно; безмолвная жизнь лесов невольно настраивает их на свой лад. И Фаррабеш и его сын были хорошо развиты физически, они обладали всеми примечательными свойствами дикарей: зорким взглядом, острым вниманием, умением владеть собой, верным слухом, проворством и ловкостью. В первом же взгляде ребенка, обращенном к отцу, г-жа Граслен уловила ту без-

граничную любовь, в которой инстинкт ищет опоры в мысли, а счастье совместной жизни подтверждает и стремление инстинкта и работу мысли.

— Это и есть тот мальчик, о котором мне говорили? — спросила, указывая на него, г-жа Граслен.

— Да, сударыня.

— Вы не пытались найти его мать? — продолжала Вероника, жестом отозвав Фаррабеша в сторону.

— Сударыня, очевидно, не знает, что мне запрещено выезжать за пределы коммуны.

— И вы никогда не получали никаких известий о ней?

— Когда кончился мой срок,— отвечал он,— комиссар вручил мне тысячу франков, которые кто-то пересылал мне понемножку каждые три месяца. По правилам деньги мне могли отдать только в день освобождения. Я подумал, что лишь Катрин могла подумать обо мне, раз это не был господин Бонне. Поэтому я сохранил деньги для Бенжамена.

— А родители Катрин?

— Они и не вспоминали о ней после ее отъезда. Впрочем, они сделали немало, позаботились о малыше.

— Ну что ж, Фаррабеш,— сказала Вероника, направляясь к дому,— я постараюсь узнать, жива ли Катрин, где она и каков ее образ жизни...

— О, каков бы он ни был, сударыня,— тихонько воскликнул Фаррабеш,— я сочту за счастье жениться на ней! Она еще может быть разборчива, но не я. Наш брак узаконил бы бедного мальчика, который и не подозревает о своем положении.

Отец посмотрел на сына, и в этом взгляде можно было прочесть всю жизнь этих покинутых или добровольно уединившихся людей; они были всем друг для друга, словно два соотечественника, заброшенные в пустыне.

— Значит, вы любите Катрин? — спросила Вероника.

— Если бы я даже не любил ее, сударыня,— ответил он,— в моем положении она для меня единственная женщина на свете.

Госпожа Граслен, резко повернувшись, направилась к каштановой роще и села под деревом, словно сраженная глубокой печалью. Сторож, решив, что это какая-нибудь

женская причуда, не посмел за ней следовать. Вероника просидела под деревом минут пятнадцать, делая вид, что рассматривает окрестный ландшафт. Отсюда была видна часть леса, растущего в той стороне долины, где протекал поток, сейчас пересохший, полный камней и похожий на глубокий ров, стиснутый между лесистыми горами Монтеньяка и цепью голых крутых холмов, кое-где поросших чахлыми деревцами. Здесь росли только довольно жалкие на вид березы, можжевельник да вереск; холмы эти входили в соседнее владение и принадлежали к департаменту Коррезы. Проселочная дорога, вьющаяся по пригоркам долины, служила границей Монтеньякскому округу и разделяла оба департамента. Суровые, мрачные холмы замыкали словно стеной прекрасный лес, раскинувшийся на противоположном склоне, являя собой разительный контраст с зелеными зарослями, среди которых приютилась хибарка Фаррабеша. С одной стороны — формы резкие, изломанные, с другой — мягкие и чарующие своим изяществом; с одной стороны — застывшая в холодном безмолвии, неподвижная бесплодная земля, прорезанная горизонтальными каменными плитами или острыми, обнаженными скалами; с другой — деревья разнообразных зеленых оттенков, с наполовину облетевшей листвой, которые возносят прямые разноцветные стволы, шевеля ветвями при каждом дуновении ветра. Дубы, вязы, буки, каштаны, сопротивляясь непогоде, сохраняют свои желтые, бронзовые и багряные кроны.

Ближе к Монтеньяку долина непомерно расширяется, и оба склона образуют огромную подкову. Со своего места под каштанами Вероника могла видеть уступы холмов, спускающиеся вниз, как ступени амфитеатра,— верхушки растущих на них деревьев кажутся головами зрителей. На обратном склоне прекрасного амфитеатра расположен ее парк. В другую сторону от хижины Фаррабеша долина сужается все больше и больше и переходит в ущелье шириной не более ста футов.

Взор Вероники непроизвольно блуждал вокруг, и красота этих диких мест отвлекла ее от мрачных мыслей. Она вернулась к дому, где молча поджидали ее отец и сын, даже не пытаясь понять, чем было вызвано странное бегство их хозяйки. Вероника осмотрела дом. Не-

смотря на соломенную крышу, оказалось, что он выстроен довольно тщательно, но, очевидно, был заброшен, когда герцог Наваррский покинул свое поместье. Не стало охоты, не стало и сторожей. Хотя дом простоял нежилым свыше ста лет, стены его хорошо сохранились, но были сплошь увиты плющом и вьюнками. Когда Фаррабешу разрешили здесь поселиться, он покрыл крышу соломой, выложил плитками пол в комнате и притащил кое-какую мебель. Войдя в дом, Вероника увидела две деревенские кровати, большой шкаф орехового дерева, хлебный ларь, буфет, стол, три стула, а на буфетных полках несколько глиняных тарелок — одним словом, все необходимое для житья. Над камином висели два ружья и две охотничьи сумки. Вещицы, очевидно, сработанные руками отца для мальчика, глубоко тронули Веронику: парусный корабль, лодочка, резная деревянная чашка, деревянная шкатулка изумительной работы, сундучок с инкрустациями, великолепные распятие и четки. На четках из сливовых косточек с обеих сторон были замечательно тонко вырезаны головы Иисуса Христа, апостолов, богоматери, святого Жана-Батиста, святого Иосифа, святой Анны и двух Магдалин.

— Это я все мастерил, чтобы позабавить мальчика в долгие зимние вечера,— как бы оправдываясь, сказал Фаррабеш.

Фасад дома был обсажен кустами жасмина и штамбовыми розами, которые закрывали окна первого, нежилого, этажа, где Фаррабеш держал запасы провизии. В его хозяйстве имелись куры, утки, два кабана; покупать приходилось только хлеб, соль, сахар и кое-какую бакалею. Ни он, ни его сын не пили вина.

— Все, что мне о вас говорили, и то, что я увидела сама,— сказала под конец г-жа Граслен Фаррабешу,— вызывает во мне горячее участие, и я надеюсь, оно не будет бесплодным.

— Узнаю руку господина Бонне! — воскликнул растроганный Фаррабеш.

— Ошибаетесь, господин кюре мне еще ничего не говорил. Все это — дело случая, а, может быть, бога.

— Да, сударыня, бога! Только бог может совершить чудо для такого несчастного, как я.

— Если вы были несчастны,— г-жа Граслен говори-

ла тихо, чтобы мальчик не мог ее услышать, и эта женская деликатность глубоко тронула Фаррабеша,— то ваше раскаяние, ваше поведение, а также доброе мнение господина кюре делают вас достойным счастья. Я распорядилась закончить постройку фермы, которую господин Граслен предполагал выстроить по соседству с замком. Вы будете моим фермером, вы сможете найти применение своим силам, своей энергии, создать положение своему сыну. Главный прокурор Лиможа узнает о вас, и я обещаю, что кончится для вас положение отверженного, которое отравляет вам жизнь.

При этих словах Фаррабеш упал на колени, пораженный, словно громом, исполнением мечты, которую так долго и тщетно лелеял; он поцеловал край амазонки г-жи Граслен, поцеловал ей ноги. Увидев слезы на глазах отца, Бенжамен зарыдал, сам не зная, о чем.

— Встаньте, Фаррабеш,— сказала г-жа Граслен,— вы и не знаете, насколько естественно то, что я делаю для вас, то, что я обещаю для вас сделать. Скажите, это вы посадили здесь хвойные деревья? — спросила она, показав на несколько елей, сосен и лиственниц, растущих у подножия противоположного голого и сухого склона.

— Да, сударыня.

— Значит, там земля получше?

— Воды все время размывают эти скалы и понемножку приносят вниз плодородную почву; я и воспользовался этим, ведь вся земля в долине ниже дороги принадлежит вам. Граница проходит по дороге.

— И много ли воды стекает в долину?

— О сударыня! — воскликнул Фаррабеш.— Через несколько дней начнутся дожди, и вы услышите из замка, как ревет поток! Но это и не сравнить с тем, что делается во время таяния снегов. Воды бегут с монтеньякского холма, из лесов, расположенных на высоких склонах, противоположных вашим садам и парку; в общем, сюда текут воды со всех этих холмов. Тут тогда настоящий потоп. На ваше счастье, деревья скрепляют почву, а вода скользит по палым листьям,— осенью они покрывают землю словно клеенчатым ковром,— не то верхний слой почвы смыло бы в долину, но не знаю, остался бы он там, слишком уж круто спускается русло потока вниз.

— А куда уходит вода? — спросила г-жа Граслен, внимательно слушавшая его.

Фаррабеш показал на узкое ущелье, замыкавшее долину ниже его дома.

— Она разливается по меловому плато, отделяющему Лимузен от Коррезы, и надолго застаивается там зелеными лужами, постепенно и очень медленно впитываясь в землю. Никто не живет в тех гиблых местах, где ничего нельзя посадить. Даже скотина не хочет есть осоку и камыш, которые только и растут в этой засоленной воде. Вся большая равнина, а в ней, наверное, тысячи три арпанов, служит общинным выгоном трем коммунам, но так же, как с монтеньякской равниной, с ней ничего нельзя сделать. У вас еще среди камней есть немного земли и песку, ну, а здесь сплошной туф.

— Пошлите мальчика за лошадьми, я хочу сама все это осмотреть.

Госпожа Граслен объяснила Бенжамену, где дожидается ее Морис, и мальчик побежал за ним.

— Вы, говорят, знаете все особенности этого края,— продолжала г-жа Граслен.— Объясните же мне, почему из моих лесов, со склонов, обращенных к монтеньякской равнине, не стекает туда ни единого ручейка ни во время дождей, ни во время таяния снегов?

— Ах, сударыня,— сказал Фаррабеш,— господин кюре в своих заботах о процветании Монтеньяка доискался причин этого явления, даже не имея еще никаких доказательств. После вашего приезда он поручил мне проследить путь воды по каждому оврагу, по всем сухим руслам. Вчера, когда я имел честь встретить вас, я возвращался с подножия Живой скалы, где изучал уклоны почвы. Я услыхал топот коней и пошел взглянуть, кто же это сюда забрался. Господин Бонне — не только святой, сударыня, он еще и ученый. «Фаррабеш,— сказал он мне,— а я в это время работал на дороге, которую община проложила до самого замка, и с того места господин кюре показал мне всю горную цепь от Монтеньяка до Живой скалы, длиной чуть ли не в два лье,— раз по этим склонам в равнину не стекает ни единой капли воды, значит, природа сотворила нечто вроде водосточной трубы, по которой вся влага уходит в другое место!» Так вот, сударыня, казалось бы, подобное рассуждение

настолько просто, что и ребенок мог бы до него додуматься. Но с тех пор, как стоит на этом месте Монтеньяк, никто, ни сеньоры, ни управляющие, ни лесничие, ни бедняки, ни богачи, не задумался над тем, куда деваются воды потока Габу, хотя все они видели равнину, ничего не родящую из-за отсутствия воды. Три общины, страдавшие от лихорадки из-за соседства стоячих вод, тоже не пытались избавиться от беды, да и сам я ничуть не беспокоился. Тут понадобилось вмешательство слуги божьего...

При этих словах слезы выступили на глазах у Фаррабеша.

— Гениальные люди,— сказала г-жа Граслен,— всегда находят решение настолько простое, что кажется, будто каждый мог бы найти его. «Но,— добавила она про себя,— гений тем и прекрасен, что походит на всех, хотя на него не походит никто».

— Я сразу понял господина Бонне,— продолжал Фаррабеш,— ему не пришлось тратить много слов, чтобы объяснить мне мою задачу. Все это кажется тем более странным, сударыня, что горные склоны, обращенные к вашей равнине,— ибо все эти пространства принадлежат вам — пересечены довольно глубокими оврагами и ущельями; но, сударыня, по всем этим трещинам, лощинам, оврагам, ущельям и, наконец, канавам вода устремляется в узкую долину Габу, расположенную на несколько футов ниже вашей равнины. Теперь я знаю разгадку этого явления: от Живой скалы до Монтеньяка тянется вдоль подножия гор нечто вроде желоба высотой от двадцати до тридцати футов; желоб этот не имеет ни единой трещины и состоит из горной породы, которую господин Бонне называет сланцем. Земля, будучи мягче камня, размывается течением, и воды, бегущие по всем этим руслам, естественно, попадают в Габу. Деревья и кустарник скрывают от глаза наклон почвы; но, проследив движение вод и след, оставленный потоками, легко в нем убедиться. Таким образом, Габу получает воды с обоих горных склонов — и с того, где расположен ваш парк, и со скалистых отрогов, лежащих перед нами. По мысли господина кюре, положение изменится, когда земля и камни, нанесенные водой, запрудят естественные русла, проходящие по склону, обращенно-

му к вашей равнине, и тем самым закроют воде доступ к Габу. Тогда ваша равнина будет затопляться точно так же, как те общинные выгоны, которые вы хотите посмотреть. Правда, на это потребуются сотни лет. Однако стоит ли этого желать, сударыня? Если ваша равнина, так же как общинные земли, не сможет поглотить всю массу воды, Монтеньяк тоже будет страдать от гниения стоячих вод.

— Значит, в тех местах, где, как показал мне на днях господин кюре, деревья еще сохранили зеленую листву, проходят эти естественные русла, по которым воды уходят в поток Габу?

— Да, сударыня. Между Живой скалой и Монтеньяком стоят три горы, следовательно, имеется три горловины, по которым вода, задержанная сланцевым барьером, устремляется в Габу. Идущая понизу полоса зеленого леса и указывает, где проходит водосточная труба, о существовании которой догадался господин кюре.

— То, что было несчастьем Монтеньяка, скоро послужит к его процветанию,— с глубокой убежденностью произнесла г-жа Граслен.— И так как вы оказались первым исполнителем этого благого дела, вы примете в нем участие, вы отыщете энергичных, преданных работников, ибо нехватку денег нам придется возмещать своей самоотверженностью и трудом.

В это время к ним присоединились Бенжамен и Морис. Вероника схватила своего коня за узду и знаком велела Фаррабешу сесть на лошадь Мориса.

— Проводите меня туда,— сказала она,— где воды разливаются по общинным землям.

— Сударыне тем более полезно съездить туда, что по совету господина кюре покойный господин Граслен приобрел в устье потока около трехсот арпанов земли, на которой вода оставила слой плодородного ила. Сударыня увидит обратный склон Живой скалы, покрытый великолепными лесами. Там господин Граслен, без сомнения, собирался выстроить ферму. Самым удобным было бы место, где теряется источник, берущий начало возле моего дома,— из него тоже можно бы извлечь немало пользы.

Фаррабеш двинулся первым, указывая дорогу. Вероника последовала за ним по крутой тропинке, кото-

рая вела туда, где два противоположных откоса стремительно сближались, а затем расходились в разные стороны: один — на запад, другой — на восток. Горловина этой воронки, усеянной лежавшими в высокой траве валунами, достигала шестидесяти футов в ширину. Срезанная отвесно Живая скала казалась гладкой гранитной стеной, но вершина этой суровой горы была увенчана деревьями с висящими в воздухе корнями. Сосны, зажавшие комья земли скрюченными лапами, напоминали сидящих на ветке птиц. Противоположный песчаный откос, изъеденный временем, выглядел хмуро; его бороздили неглубокие пещеры и ямы с неровными краями; мягкие выветренные скалы отливали охрой. Редкие кусты с острыми листочками, а пониже репейник, тростник и болотные травы указывали на недостаток солнца и скудость почвы. Ложе потока было из достаточно твердого, но тоже желтоватого камня. Две параллельные горные цепи, словно расколовшиеся в момент катастрофы, изменившей земной шар,— по необъяснимой прихоти природы или по никому не известной причине, открыть которую дано только гению,— были созданы из совершенно несхожих материалов. В ущелье контраст между двумя горными породами особенно бросался в глаза. Дальше Вероника увидела огромное меловое плато, начисто лишенное растительности, покрытое лужами солоноватой воды и испещренное трещинами. Направо высились Коррезские горы, налево глаз отдыхал на заросшей прекрасным лесом громаде Живой скалы, под которой расстилался широкий луг, своей яркой зеленью подчеркивавший неприглядный вид унылого плато.

— Мы с сыном вырыли вон ту канаву, видите, вдоль нее растет самая высокая трава,— сказал Фаррабеш.— Она соединяется с канавой, которая идет по границе ваших лесов. С этой стороны ваши владения граничат с пустошью — первая деревня расположена не ближе одного лье.

Вероника поскакала прямо в безрадостную равнину, сторож следовал за ней. Лошадь перемахнула через ров, и всадница, опустив поводья, помчалась вперед, словно наслаждаясь зловещим зрелищем полного опустошения. Фаррабеш был прав. Никакая сила, никакая власть не могла ничего извлечь из этой почвы, глухо звеневшей

под копытами лошадей. Казалось, под слоем пористого мела лежит пустота, и действительно повсюду видны были трещины, через которые, должно быть, просачивались воды и бежали прочь, чтобы питать далекие источники.

— Есть души, подобные этой равнине! — воскликнула Вероника, проскакав с четверть часа, и удержала коня.

Она в задумчивости остановилась посреди пустыни, где не было ни животных, ни насекомых, над которой даже не летали птицы. В монтеньякской равнине попадались все же камни, пески, участки рыхлой или глинистой земли, наносный слой в несколько дюймов толщины, в котором хоть что-нибудь могло укорениться; но здесь только бесплодный туф—еще не камень, но уже не земля — ранил человеческий взгляд, и невольно глаза устремлялись к небесам. Осмотрев границы лесов и лугов, купленных ее супругом, Вероника медленно направилась обратно к устью потока. Фаррабеш ждал ее, пристально глядя на какую-то пещеру или яму, должно быть, вырытую каким-нибудь предприимчивым человеком, пытавшимся разведать это унылое место в надежде, что природа скрыла в земле свои сокровища.

— Что с вами? — спросила Вероника, заметив выражение глубокой печали на мужественном лице Фаррабеша.

— Сударыня, этой пещере обязан я жизнью или, вернее, тем, что я раскаялся и искупил свои грехи в глазах людей...

Такое объяснение смысла жизни словно пригвоздило Веронику на месте, она остановила лошадь перед пещерой.

— Я прятался здесь, сударыня. В этой почве так отдается каждый звук, что, прижавшись ухом к земле, можно было издали уловить топот жандармских коней или шаг солдат, ведь его сразу узнаешь. Тогда я бежал по руслу Габу в местечко, где прятал коня, и всегда обгонял моих преследователей на пять-шесть лье. Катрин приносила мне сюда еду по ночам; и если я был в отлучке, то потом всегда находил в яме под камнем вино и хлеб.

Эти воспоминания о преступной бродячей жизни, ко-

торые, казалось, могли повредить Фаррабешу в глазах г-жи Граслен, вызвали в ней лишь глубокое сочувствие, однако она, не задерживаясь, направилась к устью Габу, куда последовал за ней и лесник. Пока она осматривала ущелье, за которым открывалась длинная долина, по одну сторону такая живописная, по другую — сухая и безрадостная, а еще дальше поднимались уступами холмы Монтеньяка, Фаррабеш сказал:

— Какие замечательные водопады здесь будут через несколько дней!

— А в будущем году в это самое время сюда не попадет ни капли воды. Мне принадлежит земля по обе стороны ущелья; я прикажу возвести стену, достаточно высокую и прочную, чтобы удержать воду. Вместо никому не нужной долины здесь будет озеро двадцати, тридцати, сорока или пятидесяти футов глубиной и протяженностью в целый лье — огромный водоем, который поможет мне оросить и сделать плодородной всю монтеньякскую равнину.

— Господин кюре был прав, сударыня. Когда мы прокладывали дорогу к замку, он говорил нам: «Вы работаете для вашей матери. Да благословит бог дело, которое вы замыслили!»

— Молчите, Фаррабеш,— сказала г-жа Граслен,— замысел этот принадлежит господину Бонне.

Вернувшись к дому Фаррабеша, Вероника захватила с собой Мориса и немедленно отправилась в замок. Когда мать и Алина увидели Веронику, они были поражены происшедшей в ней переменой: лицо ее дышало счастьем, так увлечена была она надеждой принести благо обездоленному краю.

Госпожа Граслен написала Гростету и просила его добиться у г-на де Гранвиля полной свободы для несчастного бывшего каторжника, о чьем поведении дала благоприятный отзыв, подтвержденный свидетельством монтеньякского мэра и письмом г-на Бонне. Кроме того, она сообщала о Катрин Кюрье и просила Гростета заинтересовать задуманным ею добрым делом главного прокурора, который мог бы обратиться в парижскую полицию с поручением разыскать девушку. На ее след могла навести пересылка денег, которые получил Фаррабеш при освобождении с каторги. Вероника хотела до-

знаться, почему Катрин не пыталась вернуться к своему ребенку и к Фаррабешу. Затем она поделилась со старым другом своими открытиями, касавшимися Габу, и настоятельно просила поторопиться с выбором знающего человека, о котором у них уже шла речь раньше.

На следующий день было воскресенье, и впервые со времени приезда в Монтеньяк Вероника почувствовала себя в силах пойти в церковь к мессе. Она посетила службу и сидела на принадлежавшей ей скамье в приделе святой девы. Увидев, как бедна монтеньякская церковь, Вероника дала себе слово каждый год жертвовать известную сумму на нужды и украшение храма. Она услыхала кроткие, умиляющие душу слова священника; его проповедь, хотя изложенная в простых, доступных пониманию крестьян выражениях, была поистине возвышенна. Возвышенное идет от сердца, ум не может породить его; а религия является неистощимым источником возвышенного, которому чужд всякий ложный блеск. Для проповеди г-н Бонне избрал текст из посланий апостолов, говоривший, что рано или поздно господь исполняет свои обещания и поддерживает добрые души. Кюре поведал, какие блага сулит приходу присутствие милосердного богача, объяснив, что обязанности бедняков по отношению к творящему добро богачу так же обширны, как обязанности богатых перед бедными, а потому следует им помогать друг другу.

Фаррабеш рассказал тем землякам, которые из христианского милосердия, пробужденного в них г-ном Бонне, охотно встречались с бывшим каторжником, о том, как благожелательно отнеслась к нему г-жа Граслен. Об этом стало известно всем крестьянам общины, собравшимся, по деревенскому обычаю, перед мессой на церковной площади. Ничто не могло вернее снискать ей дружбу этих столь чувствительных к добру сердец. Когда Вероника вышла из церкви, она увидела чуть ли не всех прихожан, стоявших двумя рядами вдоль дороги. Пока она проходила мимо них, каждый молча и почтительно ей кланялся. Она была тронута таким приемом, не подозревая об истинной его причине,— Фаррабеша она заметила одним из последних.

— Вы, говорят, искусный охотник,— сказала она ему,— приносите же нам дичь в замок.

Несколько дней спустя Вероника вместе со священником отправилась на прогулку в ближайшую к замку часть леса. Ей хотелось спуститься вниз по ступенчатым долинам, которые она заметила, стоя у дома Фаррабеша, и познакомиться с расположением верхних притоков Габу. В результате осмотра кюре сделал вывод, что воды, орошавшие часть верхнего Монтеньяка, сбегали с Коррезских гор. Эта цепь сообщалась с Монтеньяком через голые холмы, тянувшиеся параллельно Живой скале. Возвращаясь после прогулки, кюре радовался, как ребенок; с непосредственностью поэта он уже видел процветание своей любимой деревни. Разве не поэт — человек, который заранее видит воплощение своей мечты? Г-н Бонне представлял себе стога скошенного сена, указывая с высоты террасы на иссохшую, серую равнину.

На другой день Фаррабеш и его сын принесли полные сумки дичи. Лесник вырезал в подарок Франсису Граслену деревянную чашку — настоящее чудо,— изобразив на ней сражающихся воинов. Г-жа Граслен гуляла в это время по террасе, обращенной в сторону Ташронов. Она присела на скамью и, взяв чашку, залюбовалась искусной резьбой. На глазах ее выступили слезы.

— Вы, должно быть, много страдали,— сказала она Фаррабешу после долгого молчания.

— Что же делать, сударыня,— ответил он,— тяжко, когда сидишь там без всякой мысли о побеге, которая только и поддерживает жизнь всех заключенных.

— О, это ужасная жизнь,— жалобно промолвила она, взглядом и жестом приглашая Фаррабеша продолжать.

Фаррабеш приписал глубокое волнение г-жи Граслен горячему сочувствию к его судьбе и отчасти любопытству. В это время на дорожке появилась направлявшаяся к ним старуха Совиа; Вероника замахала носовым платком и сказала с необычной для нее резкостью:

— Оставьте меня, матушка!

— Сударыня,— продолжал Фаррабеш,— десять лет я носил,— он указал на свою ногу,— железное кольцо с цепью, которая приковывала меня к другому человеку. В течение моего срока их сменилось трое. Спал я на голых досках. Чтобы получить тощий матрац, который называли там *блин*, нужно было работать сверх всяких

сил. В каждом бараке было по восемьсот человек. На каждых нарах помещалось по двадцать четыре человека, скованных попарно. Каждый вечер и каждое утро цепь каждой пары нанизывалась на общую длинную цепь, так называемую *связку отбросов,* которая шла вдоль нар и связывала ноги всех каторжников. Два года не мог я привыкнуть к звону цепей, твердившему непрестанно: ты на каторге! Только уснешь, как кто-нибудь из товарищей по несчастью повернется или толкнет тебя и снова напомнит, где ты находишься. Нужно пройти целую науку, пока приладишься засыпать. В общем, я узнал сон, лишь когда дошел до полного изнеможения. Научившись спать, я мог по крайней мере забыться хотя бы ночью. А там, сударыня, забвение дороже всего! Человеку, раз уж он попал туда, приходится удовлетворять самые ничтожные свои потребности в порядке, установленном жесточайшими правилами. Судите сами, сударыня, как ужасна была такая жизнь для парня, жившего всегда в лесу, словно птица или дикая коза. Не просиди я раньше полгода один в четырех стенах тюремной камеры, то, несмотря на прекрасные слова господина Бонне, который был поистине отцом моей души, я бы бросился в море от одного вида своих товарищей. На воздухе, во время работы, еще куда ни шло. Но когда нас загоняли в барак для сна или для еды—а ели мы из общих мисок, по три пары на каждую миску,— я чувствовал, что умираю; свирепые лица и речи моих товарищей всегда внушали мне отвращение. К счастью, с пяти часов в летнее время и с половины восьмого зимними месяцами, невзирая на холод, ветер, жару или дождь, мы отправлялись *гнуть спину,* то есть работать. Бóльшая часть жизни проходит там на свежем воздухе, и как хорошо дышится, когда выходишь из барака, в котором набито восемьсот человек! А воздух там, заметьте, морской. Тебя обдувают бризы, греет солнце, смотришь на проплывающие облака, любуешься прекрасным днем. А мне еще и нравилась моя работа.

Фаррабеш остановился, увидев две крупные слезы, пробежавшие по щекам Вероники.

— О сударыня, я ведь рассказывал вам только о розах этого существования! — воскликнул он, подумав, что печаль г-жи Граслен вызвана его рассказом.— Все же-

стокие меры предосторожности, которые принимает государство, непрестанная слежка со стороны надзирателей, проверка кандалов каждый вечер и каждое утро, грубая пища, отвратительная, унижающая вас одежда, неудобства, мешающие сну, гром четырех сотен кандалов в гулком помещении, угроза расстрела, если каким-нибудь негодяям взбредет на ум взбунтоваться,— все это еще ничего: это еще розы, как я уже сказал вам. Если попадет туда, по несчастью, какой-нибудь буржуа, он долго не выдержит. Все время быть прикованным к другому человеку! Терпеть близость пяти каторжников во время еды и двадцати трех — во время сна, слушать их разговоры! В этом обществе, сударыня, действуют свои тайные законы; попробуйте не подчиниться им — вас убьют; но если подчинитесь, вы будете убийцей! Надо стать или палачом, или жертвой!

В конце концов, убей они тебя сразу, ты избавился бы от этой жизни. Но они мастера злодейства, от ненависти этих людей уйти невозможно. Они пользуются полной властью над неугодным им каторжником и могут превратить его жизнь в непрерывную пытку, которая страшнее смерти.

Человек, который раскаялся и хочет хорошо вести себя,— общий враг. Прежде всего его начинают подозревать в предательстве. За предательство карают смертью по малейшему подозрению. В каждом бараке есть свой трибунал, который судит преступления, совершенные против общества. Не подчиняться обычаям каторги преступно, и человек в таком случае подлежит суду. Например, все должны содействовать каждому побегу; если каторжник назначил час для побега, то в этот час вся каторга должна оказывать ему помощь и покровительство. Раскрыть, что кто-нибудь готовится к бегству,— преступление.

Я не стану рассказывать вам об ужасных нравах каторги; там, буквально не принадлежишь сам себе. Начальники, стараясь предупредить попытки к бегству или к бунту, превращают кандалы в пытку и вовсе невыносимую: они сковывают одной цепью людей, которые друг к другу относятся с ненавистью или с недоверием.

— Как же вы выходили из положения? — спросила г-жа Граслен.

— О, мне повезло,— ответил Фаррабеш,— мне ни разу не выпал жребий убить другого заключенного, я ни разу не подавал голоса за чью бы то ни было смерть, меня никогда никто не наказывал и не ненавидел, и я ладил со всеми тремя сменявшимися товарищами по цепи, все они меня любили и боялись. Дело в том, сударыня, что слух обо мне дошел до каторги раньше, чем я туда прибыл. Поджариватель! Ведь я слыл одним из этих разбойников. Я видел, как поджаривают,— почти шепотом продолжал после паузы Фаррабеш,— но сам я всегда отказывался и поджаривать и получать награбленные деньги. Я скрывался от рекрутского набора, и только. Я помогал приятелям, я наводил их на след, сражался, стоял настороже или прикрывал отступление. Но если я и проливал человеческую кровь, то только защищая свою жизнь. Ах! Я все рассказал господину Бонне и своему адвокату, мои судьи хорошо знали, что я не убийца! Но все же я великий преступник, все мои дела были нарушением закона. Двое из моих приятелей рассказали на каторге, что я человек, способный на все. А на каторге, сударыня, такая репутация дороже денег. В этой республике несчастных убийство заменяет паспорт. Я не стал опровергать сложившееся обо мне мнение. Я был мрачен и подавлен; в выражении моего лица нетрудно обмануться, и многие обманывались. Мой нелюдимый нрав, моя молчаливость были приняты за признаки свирепости. Все — каторжники и надзиратели, старые и молодые,— уважали меня. Я был старостой своего барака, Никто не нарушал мой сон, и никогда меня не подозревали в предательстве. Согласно их празилам, я вел себя честно: никогда не отказывал в помощи, не проявлял ни к чему отвращения — одним словом, внешне я выл с волками по-волчьи, а в глубине души молился богу. Последним моим товарищем по цепи был двадцатидвухлетний солдат. Он совершил кражу и из-за этого дезертировал. Мы провели вместе четыре года и стали друзьями; я уверен, что когда он выйдет на волю, то больше не собьется с пути. Бедняга Гепен не был злодеем, он просто легкомысленный малый, за десять лет он научится уму-разуму. О, если бы мои приятели знали, что я покоряюсь своей участи из религиозных убеждений, что по истечении срока я собираюсь поселиться в укромном месте,

позабыть весь этот ужасный сброд и никому из них не попадаться больше на глаза, они, наверное, довели бы меня до сумасшествия!

— Но в таком случае, если бедного и чувствительного молодого человека, увлеченного страстью, приговорят к смертной казни, а потом помилуют...

— О сударыня, для убийц нет полного помилования! Прежде всего казнь заменят двадцатью годами каторги. А если речь идет о чистом юноше, это страшно! Вы не можете и вообразить себе, какая жизнь его ожидает. Лучше сто раз умереть! Да смерть на эшафоте была бы для него счастьем!

— Я не смею так думать,— проговорила г-жа Граслен.

Вероника побледнела, как воск. Чтобы спрятать лицо, она оперлась лбом о балюстраду и несколько минут просидела, не шелохнувшись. Фаррабеш не знал, уходить ли ему или оставаться, но тут г-жа Граслен величаво поднялась, посмотрела на Фаррабеша и, к его изумлению, сказала голосом, проникшим ему в самое сердце:

— Спасибо, друг мой! — Помолчав, она добавила:— Но откуда бралось у вас мужество жить и страдать?

— Ах, сударыня, этим сокровищем наделил мою душу господин Бонне! Потому-то я и люблю его больше всех на свете.

— Больше, чем Катрин? — спросила г-жа Граслен, улыбнувшись с некоторой горечью.

— Ах, сударыня, почти так же.

— Как же он этого добился?

— Голос и слова этого человека покорили меня, сударыня. Катрин проводила его до той пещеры, которую я вам показывал, и он один пришел ко мне. Он новый священник, сказал мне господин Бонне, а я его прихожанин, он любит меня и знает, что я только сбился с пути, но не погиб; он хочет не предать меня, а спасти; одним словом, каждое его слово трогало меня до глубины души! И, видите ли, сударыня, этот человек приказывает вам творить добро с не меньшей силой, чем те, кто заставлял вас приносить зло. Тут он сказал мне, что Катрин готовится стать матерью, значит, я обрекаю два человеческих создания на позор и одиночество! «Что ж,—сказал

я ему,— и у них, как у меня, нет будущего». Он ответил, что я готовлю себе два ужасных будущих — на том и на этом свете,— если буду упорствовать в своей дурной жизни. Здесь я умру на эшафоте. Если меня схватят, защищать меня перед судом будет бесполезно. И, напротив, если я воспользуюсь снисходительностью нового правительства в делах, касающихся рекрутского набора, если я сам отдамся в руки правосудия, он приложит все силы, чтобы спасти мне жизнь: он найдет хорошего адвоката, и тот добьется, чтобы приговор не превышал десяти лет каторжных работ. Потом господин Бонне заговорил об иной жизни. Катрин рыдала, как Магдалина. Знаете, сударыня,— Фаррабеш показал на свою правую руку,— она лежала лицом на этой руке, и вся рука у меня была мокрой от слез. Она умоляла меня жить! Господин кюре обещал мирную, спокойную жизнь и мне и моему ребенку здесь, на родине, и ручался, что убережет меня от оскорблений. Наконец, он наставил меня в вере божьей, как малое дитя. После трех ночных посещений я стал мягче воска в его руках. Знаете ли, почему, сударыня?

Тут Фаррабеш и г-жа Граслен посмотрели друг на друга, каждый стараясь скрыть свое любопытство.

— Так вот,— продолжал бывший каторжник,— когда после первой встречи Катрин пошла провожать его, я остался один. Я почувствовал, что душу мою охватили ясность, покой и кротость, каких я не помнил с самого детства. Это похоже было на счастье, которым дарила меня бедняжка Катрин. Любовь этого превосходного человека, его забота обо мне, о моем будущем, о моей душе — все это изменило, переродило меня. Во мне словно все осветилось. Пока он говорил со мной, я сопротивлялся. Чего же вы хотите? Он был священником, а мы, бандиты, с ними никаких дел не имели. Но когда затихли шаги его и Катрин, меня — он объяснил это мне через два дня — осенила благодать. Отныне бог дал мне силы, чтобы вынести все: тюрьму, суд, оковы, отправку, жизнь на каторге. Я поверил его словам, как Евангелию; я считал, что страданиями оплачиваю свой долг. Когда я страдал слишком жестоко, я воображал себе, как через десять лет, увижу этот домик в лесу, маленького Бенжамена и Катрин. Господин Бонне сдержал свое

слово. Но одного человека здесь не хватает. Катрин не ждала меня ни у выхода с каторги, ни в моей пещере. Она, должно быть, умерла с горя. Вот почему я всегда так печален. Теперь благодаря вам я смогу работать на пользу людям и отдам этому все силы вместе с моим сыном, ради которого я живу.

— Теперь я поняла, как удалось господину кюре переродить всю общину...

— Ему никто не может противиться,— ответил Фаррабеш.

— Да, да, это я знаю,— отрывисто произнесла Вероника и знаком попрощалась с Фаррабешем.

Фаррабеш удалился. Весь день Вероника ходила по террасе, несмотря на мелкий дождик, моросивший до самого вечера. Она была мрачна. Когда лицо ее принимало такое выражение, ни мать, ни Алина не решались к ней подойти. В наступающих сумерках Вероника не видела, как пришла ее мать вместе с г-ном Бонне; священник решил прервать этот приступ мучительной печали, прислав к Веронике сына. Франсис взял мать за руку, и она покорно пошла за ним. При виде г-на Бонне у Вероники вырвался жест удивления, и чуть ли не испуга. Кюре прошелся с ней вдоль террасы и спросил:

— О чем же, сударыня, вы беседовали с Фаррабешем?

Веронике не хотелось лгать, вместо ответа она спросила у г-на Бонне:

— Этот человек был первой вашей победой?

— Да,— ответил он, — я полагал, что, завоевав его душу, я завоюю весь Монтеньяк, и не ошибся.

Вероника сжала руку г-на Бонне и сказала дрожащим от слез голосом:

— С сегодняшнего дня я готовлюсь к покаянию, господин кюре. Завтра я приду к вам исповедоваться.

Последние слова говорили об огромном внутреннем усилии, о нелегкой победе, которую одержала над собой эта женщина. Кюре молча проводил ее в замок и остался с ней до самого обеда, беседуя о будущих усовершенствованиях Монтеньяка.

— В сельском хозяйстве,— говорил он,— все зависит от времени. По моему скромному разумению, особенно важно хорошо использовать зиму. Вот-вот начнутся дож-

ди, скоро горы покроются снегом, и тогда руки у вас будут связаны. Торопите же господина Гростета.

Постепенно г-н Бонне вовлек Веронику в разговор, она оживилась и после его ухода почти оправилась от утренних волнений. Все же старуха Совиа сочла, что дочь слишком возбуждена, и осталась ночевать в ее комнате.

На третий день из Лиможа прибыл нарочный, посланный г-ном Гростетом, и вручил г-же Граслен следующие письма:

Госпоже Граслен.

«Дорогое дитя мое, как ни трудно было разыскать для вас верховых лошадей, надеюсь, я все же угодил вам. Если вам понадобятся упряжные или рабочие лошади, придется добывать их где-нибудь в других местах. Вообще же для работ и перевозок лучше пользоваться волами. Повсюду, где сельские работы производятся с помощью лошадей, хозяин теряет капитал, когда лошадь приходит в негодность, волы же приносят земледельцу не убыток, а прибыль.

Я полностью одобряю ваш замысел, дитя мое: вы направите на него ту жажду деятельности, которая терзает вашу душу и, не находя себе выхода, может погубить вас.

Но, признаюсь, когда, кроме лошадей, вы попросили меня найти человека, который мог бы вам помочь и, главное, был бы способен понять вас, я подумал, что подобных диковин мы у себя в провинции не выращиваем и, во всяком случае, не храним. Выведение такой высокой породы — дело, требующее слишком долгого времени и слишком рискованное, чтобы мы занялись им. К тому же люди, наделенные выдающимся умом, нас пугают, мы называем их «чудаками». И, наконец, особы, принадлежащие к ученому миру, где вы и хотите подыскать себе сотрудника, обычно так рассудительны и степенны, что я боялся даже писать вам, насколько мне кажется невозможной подобная находка. Вы требуете от меня поэта или, пожалуй, безумца, но все наши безумцы бегут в Париж. Я говорил о ваших намерениях с молодыми чиновниками, землемерами, с подрядчиками земельных работ, с десятниками, работавшими на строительстве каналов, и никто не нашел никакой *выгоды* в вашем пред-

ложении. Как вдруг случай привел мне прямо в руки человека, которого вы ищете. Юноше этому я в свое время помог, так мне по крайней мере казалось. Ибо из его письма вы увидите, что благодеяния никогда не следует оказывать необдуманно. Самых больших размышлений требует именно доброе дело. Никогда не знаешь, не обернется ли злом то, что сейчас тебе кажется добром. Заниматься благотворительностью, теперь я это понял, означает брать на себя роль судьбы...»

Прочтя эту фразу, г-жа Граслен уронила письмо на колени и глубоко задумалась.

— Господи,— прошептала она,— когда же перестанешь ты наносить мне удары со всех сторон? — И, собрав листки, она продолжала чтение.

«У Жерара, как мне кажется, холодная голова и горячее сердце, такой человек вам и нужен. Париж сейчас взбудоражен новыми учениями. Хорошо, если этот юноша не попадет в одну из ловушек, расставленных честолюбцами перед благородной французской молодежью. Я ничуть не одобряю умственного отупения провинциальной жизни, но еще меньше меня привлекает кипучая жизнь Парижа, эта страсть к новшествам, толкающая молодых людей на неизведанные пути. Убеждения мои известны только вам: по моему мнению, мир нравственный вертится вокруг своей оси так же, как мир материальный. Бедный мой протеже требует невозможного. Ни одна власть не устоит перед столь пылкими, настойчивыми и абсолютными притязаниями. Я сторонник малых дел, постепенности в политике, и меня не привлекают социальные преобразования, которые хотят нам навязать все эти великие умы. Я поверяю вам эти мысли неисправимого старого монархиста, зная вашу скромность! Но здесь, среди этих молодцов, которые чем дальше заходят, тем больше верят в прогресс, я молчу, хотя и страдаю, видя, какое непоправимое зло они причинили уже дорогой нашей родине.

Итак, я ответил этому молодому человеку, что его ждет достойная задача. Он приедет к вам; и хотя письмо, которое я прилагаю, позволит вам судить о нем, вы постараетесь познакомиться с ним поближе, не правда ли?

Вы, женщины, умеете распознавать людей. К тому же каждый человек, даже самый безразличный, чьими услугами вы пользуетесь, должен вам нравиться. Если он вам не подходит, вы можете отказать ему, но если он вам подойдет, дорогое дитя, излечите его от плохо скрытого честолюбия, заставьте его полюбить счастливую, тихую жизнь полей, где добро творится непрестанно, где все качества высокой и сильной души найдут себе постоянное применение, где каждый день в естественном производстве благ находишь повод для восторга, а в подлинном прогрессе и истинных усовершенствованиях — занятие, достойное человека.

Я отлично знаю, что великие идеи порождают великие действия, но поскольку подобные идеи крайне редки, я полагаю, что человеческие поступки обычно важнее идей. Тот, кто обрабатывает невозделанную почву, кто улучшает фруктовые деревья и засевает травой бесплодную землю, намного выше тех, кто ищет общих формул на благо человечеству. Изменило ли хоть в чем-нибудь открытие Ньютона участь обитателей деревни? О дорогая моя! Я всегда вас любил; но теперь, когда я понял, что́ вы собираетесь сделать, я боготворю вас.

В Лиможе все вас помнят, все восхищаются вашим великим решением возродить Монтеньяк. Согласитесь, мы все же способны преклоняться перед истинно прекрасным, и не забывайте, что первый ваш поклонник вместе с тем и первый ваш друг.

Ф. Гростет».

Жерару Гростету.

«Я собираюсь, сударь, сделать вам печальные признания; вы заменили мне отца, хотя могли быть всего лишь покровителем. Поэтому только вам одному, вам, кто сделал меня таким, каков я есть, могу я открыть душу. Я поражен жестокой болезнью, и к тому же болезнью духовной: в душе моей возникли чувства, а в голове — мысли, которые делают меня совершенно неспособным оправдать ожидания государства и общества. Быть может, вам покажется это актом неблагодарности, а это просто обвинительный акт.

Когда мне было двенадцать лет, вы, великодушный мой крестный отец, распознали в сыне простого рабоче-

го известные способности к точным наукам и рано проявившееся желание выбиться в люди. Вы поддержали мое стремление в высшие сферы, хотя на роду мне написано было навсегда остаться плотником, как мой бедный отец, который так и не успел при жизни порадоваться моим успехам. Без сомнения, сударь, вы поступили хорошо, и не проходит дня, чтобы я не благословлял вас. Должно быть, во всем виноват я сам. Но прав ли я, ошибаюсь ли, все равно я страдаю. Не правда ли, я ставлю вас очень высоко, обращая к вам свои жалобы, призывая вас вместо бога быть высшим судьей? Но, так или иначе, я отдаю себя на ваш милосердный суд.

С шестнадцати до восемнадцати лет я с таким увлечением отдавался изучению точных наук, что, как вы знаете, довел себя до болезни. Будущее мое зависело от того, попаду ли я в Политехническую школу. К этому времени занятия чрезмерно переутомили мой мозг: я едва не умер, я работал днем и ночью, я работал, вероятно, больше, чем позволяла природа моих органов. Я стремился сдать экзамен настолько хорошо, чтобы место в Школе мне было обеспечено и дало бы мне право на получение стипендии; я хотел избавить вас от расходов. Я добился победы! Я содрогаюсь теперь при мысли о чудовищном рекрутском наборе умов, поставляемых государству семейным честолюбием; непосильные занятия в ту пору, когда юноша только завершает свое развитие, могут привести к неведомым бедам, убивая при свете ламп драгоценные способности, которым позднее суждено было бы раскрыться во всем величии и блеске. Законы природы беспощадны, они не хотят ничего уступить намерениям или желаниям общества. В сфере нравственной, так же как в сфере природы, за каждое злоупотребление надо платить. Фрукты, созревающие раньше времени в жаркой оранжерее, поспевают за счет либо самого дерева, либо—качества его плодов. Ла Кентини убивал апельсиновые деревья ради того, чтобы каждое утро, в любой сезон, подносить цветы Людовику XIV. То же происходит и с интеллектом. Непосильный труд, которого требуют от неокрепшего мозга, наносит ущерб его будущему.

Нашей эпохе не хватает духа законодательства. В Европе не было подлинных законодателей после Иисуса

Христа, который, не создав своего свода законов, оставил дело свое незавершенным. Итак, прежде чем создавать специальные школы и устанавливать порядок набора в них, обратились ли к великим мыслителям, способным охватить всю совокупность отношений между подобными институтами и человеческими силами, взвесить при этом все выгоды и неудобства, изучить в прошлом законы, полезные для будущего? Справились ли о судьбе тех исключительных натур, которые по роковой случайности овладели науками раньше времени? Сосчитали, как мало их было? Поинтересовались ли их концом? Изучили, каким образом удавалось им поддерживать в постоянном напряжении свою мысль? Сколько из них, подобно Паскалю, безвременно скончалось, отдав все силы науке? Разузнали, в каком возрасте начали свои занятия те, кто прожил долго? Известно ли было тогда, известно ли сейчас, когда я пишу эти строки, каково внутреннее строение мозга, способного выдержать в юности натиск человеческих познаний? Подозревают ли, что вопрос этот прежде всего относится к физиологии человека?

Сам я сейчас думаю, что главное правило состоит в том, чтобы не нарушать растительную жизнь отрочества. Исключительные случаи полного развития всех органов человека в отрочестве в большинстве своем кончаются преждевременной смертью. Таким образом, гений, который противится раннему проявлению своих способностей, является исключением в ряду исключений. Если признать, что я не расхожусь с социальными фактами и медицинскими наблюдениями, то принятый во Франции способ комплектования специальных школ причиняет такие же увечья, как способ Ла Кентини, но увечит при этом лучших представителей каждого поколения.

Однако продолжаю свой рассказ и о сомнениях моих буду говорить лишь в связи с сообщаемыми фактами. Поступив в Школу, я продолжал работать с еще большим рвением, желая закончить обучение так же победоносно, как начал. С девятнадцати лет до двадцати одного года я расширял свои познания и постоянными упражнениями развивал свои способности. Эти два года достойно увенчали три предыдущих, когда я только готовился

к настоящим занятиям. Какова же была моя гордость, когда я получил право выбирать самому наиболее привлекающее меня поприще: военное или морское дело, артиллерию или главный штаб, горное дело или дорожное ведомство. По вашему совету я избрал дорожное ведомство. Но сколько юношей потерпели поражение там, где я победил! Знаете ли вы, что год от году государство предъявляет все более строгие научные требования к Школе и учиться там становится все труднее и мучительнее? Моя подготовительная работа не шла ни в какое сравнение с лихорадочными занятиями в Школе, задавшейся целью вбить в головы молодых людей, возрастом от девятнадцати до двадцати одного года, совокупность физических, математических, астрономических и химических наук со всей их терминологией. Государство, которое во Франции как будто собирается во многом заменить отцовскую власть, лишено отцовских чувств; оно творит свои опыты in anima vili [1]. Никогда не задумывалось оно над ужасной статистикой причиненных им страданий; ни разу за тридцать шесть лет не осведомилось оно о случаях воспаления мозга, о приступах отчаяния, терзающих эту молодежь, о ее нравственном разрушении. Я указываю вам на эту больную сторону вопроса, ибо в ней одна из причин окончательного результата. Некоторые слабые головы приходят к этому результату раньше других. Вам известно, что молодые люди, которые медленно усваивают знания или слишком легко переутомляются, могут оставаться в Школе три года вместо двух, но в таких случаях всегда высказывается нелестное для них сомнение в их способностях. И, наконец, многие молодые люди, которым впоследствии случается проявить выдающиеся таланты, могут окончить Школу, но не получить места, так как не показали на заключительном экзамене достаточных знаний. Их называют *пустоцветами*,— Наполеон зачислял этих юношей в младшие лейтенанты! Слово *пустоцвет* означает огромный ущерб для семьи и потерянное время для пострадавшего.

Но в конце концов я-то вышел победителем! В двадцать один год я владел математической наукой в тех

---

[1] В низменной душе (*лат.*), то есть делать опыты на животных.

пределах, до каких довели ее многие гениальные люди, и горел нетерпением отличиться, продолжая их дело. Желание это настолько естественно, что почти все ученики, выходя из Школы, устремляют свой взор на сияющее солнце славы! Все мы мечтали стать Ньютонами, Лапласами или Вобанами. Вот чего требует Франция от молодых людей, кончающих эту знаменитую Школу!

Посмотрим же, какова судьба этих людей, с такой тщательностью отобранных из целого поколения. В двадцать один год вся жизнь овеяна мечтами, и от каждого дня ждешь чуда. Я поступил в Школу строительства мостов и дорог в качестве ученика-инженера. Вы помните, с каким жаром изучал я строительную науку! Я окончил Школу в 1826 году, двадцати четырех лет от роду, и стал всего лишь инженером-дипломантом; государство платило мне сто пятьдесят франков в месяц. Любой парижский конторщик получает в восемнадцать лет столько же, работая не больше четырех часов в день. Мне выпала неслыханная удача, возможно, благодаря отличию, полученному за успешные занятия: в 1828 году, когда мне исполнилось двадцать пять лет, я получил место ординарного инженера. Меня послали, как вы знаете, в одну из супрефектур, положив жалованье в две с половиной тысячи франков. Дело тут не в деньгах. Разумеется, для сына плотника участь моя блестяща; но есть ли хоть один мальчишка из бакалейной лавки, который, начав карьеру в шестнадцать лет, к двадцати шести годам не окажется на верном пути к независимому положению?

Теперь я узнал, для чего нужно было то страшное умственное напряжение, те гигантские усилия, которых требовало от нас государство. Государство поручило мне считать и промерять вымощенные участки или кучи булыжника на дорогах. Я должен был поддерживать, ремонтировать, а иногда и строить желоба для стока воды, а также дорожные мостики, следить за обочинами, чистить или рыть канавы. В своем кабинете я отвечал на запросы, касающиеся разметки, посадки или вырубки леса. Таковы основные, а часто и единственные обязанности ординарного инженера, если не считать кое-каких работ по нивелировке, которые мы обязаны проделывать

лично, хотя любой из наших десятников, пользуясь только своим опытом, сделает это гораздо лучше нас, несмотря на все наши знания. Ординарных инженеров или инженеров-учеников в общей сложности около четырехсот, а так как главных инженеров всего лишь сто с лишним, то далеко не все ординарные инженеры могут рассчитывать на высшую должность. К тому же главным инженерам продвигаться дальше некуда; выше них существует лишь двенадцать или пятнадцать мест генеральных или окружных инспекторов — должность почти столь же бесполезная в нашей области, как должность полковника в артиллерии, где основной единицей является батарея. Ординарный инженер, так же, как артиллерийский капитан, владеет всеми нужными знаниями; над ним должно стоять только одно административное лицо, которое связывало бы всех восемьдесят шесть инженеров с государством, ибо для каждого департамента достаточно одного инженера и двух помощников.

Иерархия, установленная в подобных ведомствах, приводит лишь к тому, что деятельные умы подчиняются престарелым деятелям с угасающими умственными способностями, которые, полагая, что улучшают дело, обычно только портят или искажают все представленные им проекты, быть может, с единственной целью доказать необходимость своего существования. Мне кажется, именно такую роль играет в выполнении общественных работ во Франции Генеральный совет дорожного ведомства.

Предположим тем не менее, что между тридцатью и сорока годами я стану инженером первого класса, а затем, даже не достигнув пятидесяти лет,— главным инженером. Увы! Я вижу ясно всю мою будущую жизнь. Моему главному инженеру шестьдесят лет; как и я, он с честью закончил нашу знаменитую Школу; он поседел, проделывая в двух департаментах все, что делаю я, и превратился в самого заурядного человека, какого только можно себе представить. Он упал с высоты, на которую поднялся; более того, он не стоит на уровне науки: наука ушла вперед, он остался на месте; еще того хуже, он позабыл даже то, что знал! Человек, в двадцать два года обладавший выдающимися качествами, сохранил

лишь их видимость. Кроме того, занимаясь только математикой и точными науками, он пренебрегал всем, что было не *по его части*. Вы и представить себе не можете, до чего доходит его невежество в других областях человеческих знаний. Расчеты иссушили его сердце и мозг. Только вам я могу доверить тайну полного его ничтожества, прикрытого авторитетом Политехнической школы. Этот ярлык внушает уважение, и, доверяясь предрассудку, никто не смеет усомниться в пригодности главного инженера. Вам одному я скажу, что из-за того, что угасли его способности, он истратил на одно дело в нашем департаменте миллион вместо двухсот тысяч франков. Я хотел протестовать, хотел доложить префекту. Но мой друг, инженер, напомнил мне об одном из наших товарищей, которого после подобного случая возненавидело начальство. «А когда ты сам будешь главным инженером, тебе понравится, если подчиненные станут раскрывать твои ошибки? — спросил он.— Твоего главного инженера сделают окружным инспектором и все тут. Как только кто-нибудь из наших попадается на серьезной ошибке, управление, которое никогда не должно ошибаться, переводит его с действительной службы в инспектора». Вот каким образом награда, предназначенная таланту, достается ничтожеству. Вся Франция была свидетельницей бедствия, постигшего в самом сердце Парижа первый висячий мост, возведенный инженером, членом Академии наук. Печальная катастрофа была вызвана ошибками, которых не совершил бы ни строитель Бриэрского канала во времена Генриха IV, ни монах, построивший Королевский мост. Управление утешило инженера, назначив его членом Генерального совета.

Итак, не следует ли отсюда, что специальные Школы являются огромными фабриками бездарностей? Эта тема требует долгих размышлений. Если я прав, то необходима реформа по крайней мере в методах обучения, ибо я не смею ставить под сомнение полезность самих Школ. Однако, заглянув в прошлое, мы увидим, что никогда Франция не знала недостатка в великих талантах, нужных государству. Зачем же сейчас хочет она выращивать их по способу Монжа? Знал ли Вобан другую школу, кроме великой школы, называемой при-

званием? Кто был учителем Рике? Если гении возникают из социальной среды, повинуясь своему призванию, они почти всегда совершенны; человек тогда является не только специалистом, он наделен даром универсальности. Не думаю, чтобы инженер, вышедший из стен нашей Школы, мог когда-либо построить одно из тех чудес архитектуры, какие воздвигал Леонардо да Винчи — механик, архитектор, художник, один из изобретателей гидравлики, неутомимый строитель каналов Приученные с юных лет к абсолютной простоте теорем, молодые люди, кончающие Школу, теряют чувство изящного и прекрасного; колонна им кажется бесполезной, и, упорно придерживаясь принципа полезности, они возвращаются к младенческим дням искусства.

Но все это ничто по сравнению с болезнью, которая терзает меня! Я чувствую, как совершается во мне ужасная перемена; я чувствую, как иссякают мои силы и мои способности, сдав после чрезмерного напряжения. Проза жизни одолевает меня. Всеми силами я стремился к великим делам, а теперь лицом к лицу столкнулся с мелочами: проверяю булыжные мостовые, осматриваю дороги, определяю, в каком состоянии материалы. Я занят не более двух часов в день. Мои коллеги женятся, впадают в состояние, противоречащее духу современного общества. Быть может, честолюбие мое непомерно велико? Я хочу быть полезен моей стране. Страна потребовала от меня мощных усилий, велела мне овладеть всеми знаниями, а я буду сидеть сложа руки в глубокой провинции? Мне не дозволено преступать пределы отведенного мне места или упражнять мои способности, разрабатывая какой-нибудь полезный проект. Скрытая, но ощутимая немилость — вот верная награда тому из нас, кто, уступив своему вдохновению, выйдет за рамки, поставленные ему службой. В таком случае единственная милость, на которую может надеяться выдающийся человек,—это забвение его таланта, его дерзости и погребение его проекта в папках дирекции. Какая награда ждет Вика, единственного из нас, кто действительно двинул вперед практическую науку строительства? Генеральный совет дорожного ведомства, состоящий из людей, изношенных долгой, иногда даже почетной службой, людей, которые теперь способны только на от-

рицание и зачеркивают все, чего не могут понять,— это настоящая петля, где гибнут проекты смелых умов. Этот Совет будто нарочно создан, чтобы парализовать действия нашей прекрасной молодежи, которая жаждет работы, которая хочет служить Франции! В Париже происходят чудовищные вещи: будущее провинции зависит от *визы* централизаторов, задерживающих при помощи интриг, о которых недосуг сейчас рассказывать, выполнение лучших планов; лучшими же являются те, что сулят наибольшие выгоды компаниям или предпринимателям и пресекают или устраняют злоупотребления. Но Злоупотребление во Франции всегда сильнее Улучшения. Пройдет еще пять лет, и я перестану быть самим собой, во мне угаснет честолюбие, угаснет благородное стремление приложить к делу способности, развития которых потребовала от меня родина, и они заглохнут в этом темном углу, где вынужден я жить. Даже при самых счастливых обстоятельствах меня ждет жалкое будущее. Я воспользовался отпуском и приехал в Париж. Я хочу изменить свое поприще, найти применение своей энергии, своим знаниям, своей деятельности. Я подам в отставку и поеду в края, где нужны люди со специальными знаниями и где они могут творить великие дела. Если все это невозможно, я примкну к одному из новых учений, которые призваны осуществить глубокие изменения в современном социальном порядке, правильно руководя работниками. А кто же мы, если не работники, лишенные труда, не орудия, валяющиеся на складе? Мы способны перевернуть земной шар, а нам нечего делать. Я чувствую в себе великие силы, но они распыляются, они гибнут, я предсказываю это с математической точностью.

Прежде чем изменить свое жизненное положение, я хотел бы услышать ваше мнение. Я считаю себя как бы вашим сыном и никогда не сделаю важного шага, не посоветовавшись с вами, ибо опытность ваша равна вашей доброте. Я отлично понимаю, что государство, подготовив людей со специальными знаниями, не может затеять нарочно для них монументальные сооружения,— ему не нужны триста мостов в год. Государство не может начать строительство монументальных сооружений лишь для того, чтобы дать работу инженерам, так же как не

может объявить войну, чтобы дать возможность великим полководцам проявить себя, выиграв сражение. Но во все времена не было недостатка в талантливых людях, когда того требовали обстоятельства; и если было достаточно золота и предстояли великие дела, то единственно нужный человек немедленно возникал из толпы. А так как, особенно в наших делах, достаточно одного Вобана, то ничто лучше не доказывает бесполезности Школ. Наконец, неужели никто не понимает, что, поощренные такой подготовкой, избранные люди без борьбы не дадут превратить себя в ничтожество? Неужели это разумная политика? Не значит ли это разжигать ненасытное честолюбие? Разве не обучались эти пылкие головы рассчитывать все, кроме собственной участи? Наконец, среди шестисот юношей есть исключения, сильные личности, которые сопротивляются умалению своего достоинства, и я их знаю. Но если бы я рассказал об их борьбе с людьми и существующими порядками, когда, вооруженные полезными проектами или планами, которым дано породить жизнь и богатство в прозябающих ныне провинциях, они встречают препятствия там, где государство мнило создать им помощь и поддержку, то все сочли бы человека сильного и талантливого, человека, самая природа которого уже есть чудо, гораздо более несчастным и достойным жалости, чем какая-нибудь неполноценная натура, покорно согласившаяся на угасание своих способностей. Вот почему я предпочитаю руководить коммерческим или промышленным предприятием, жить на гроши, пытаясь разрешить хоть одну из множества проблем, стоящих перед промышленностью или перед обществом, чем оставаться на своем нынешнем посту. Вы скажете, что в моем убежище ничто не мешает мне упражнять силы своего ума и искать в тиши обыденной жизни решения какой-нибудь проблемы, сулящей пользу человечеству. Ах, сударь! Разве не знаете вы воздействия провинциальной среды и развращающего влияния жизни, занятой ровно настолько, чтобы отнять все время на почти никчемные работы, и вместе с тем занятой недостаточно, чтобы приложить полученные нами богатые знания?

Не думайте, дорогой мой покровитель, что меня снедает жажда богатства или безрассудное стремление к

славе. Я слишком трезво смотрю на вещи, чтобы не понять всю тщету славы. Жизнь, которую я веду, не вызывает во мне желания жениться, ибо, изведав доставшуюся мне участь, я не настолько ценю человеческое существование, чтобы сделать подобный печальный подарок своему второму я. И хотя я рассматриваю деньги как одно из самых могущественных средств, дающих члену общества возможность действовать, все же они лишь средство. Итак, единственную радость мне может дать уверенность в том, что я полезен моей стране. Величайшим наслаждением для меня была бы работа в области, подходящей к моим склонностям и знаниям. Если в ваших краях, среди ваших знакомых, в вашем кругу вы услышите о каком-нибудь предприятии, в котором могли бы пригодиться мои силы, дайте мне знать, в течение полугода я буду ждать вашего ответа. Мысли, которые я поверил вам, мой покровитель и друг, разделяют со мной и другие. Многие из моих товарищей, окончивших Политехническую школу, попались, как и я, в западню своей специальности: инженеры-географы, капитаны-преподаватели, которые наделены военным талантом, но, очевидно, останутся капитанами до конца дней своих и горько жалеют, что не перешли в действующую армию. И вот постепенно мы все пришли к признанию, что являемся жертвами длительной мистификации — мистификации, распознать которую нам удалось, когда поздно уже было от нее освободиться, когда лошадь уже слилась воедино с машиной, которую она вертит, когда больной притерпелся к своей болезни. Рассмотрев внимательно все эти печальные следствия, я поставил перед собой следующие вопросы, которые хочу сообщить вам, человеку умному, способному зрело их обдумать, не забывая, что вопросы эти — плод размышлений, очищенных огнем страдания.

Какую цель ставит себе государство? Хочет ли оно получить талантливых инженеров? Избранные им способы прямо противоречат цели. С их помощью оно, несомненно, создаст самую плоскую посредственность, какой только может пожелать правительство, которое боится выдающихся людей. Хочет ли государство открыть дорогу избранным умам? Оно уготовило им самое жалкое положение: нет ни одного человека, окончившего Шко-

лу, который между пятьюдесятью и шестьюдесятью годами не пожалел бы о том, что он попался в ловушку, спрятанную за посулами государства. Может быть, государство хочет иметь своих гениев? Но какие же великие таланты после 1790 года вышли из специальных Школ? Не будь Наполеона, появился бы разве Кашен, гению которого мы обязаны Шербургской плотиной? Деспотизм империи отличил его, конституционный режим предал его забвению. Много ли членов, вышедших из специальных Школ, насчитывает Академия наук? Быть может, двоих или троих! Талантливый человек всегда проявит свой талант и вне специальных Школ. В той области знаний, какой занимаются Школы, гений подчиняется лишь своим собственным законам, он развивается лишь в обстоятельствах, над которыми человек не властен: ни государство, ни наука о человеке, антропология, не могут их предвидеть. Рике, Перроне, Леонардо да Винчи, Палладио, Брунелески, Микеланджело, Браманте, Вобан, Вика обязаны своей гениальностью незаметным и глубоко скрытым причинам, которые мы называем случаем,— любимое слово глупцов. Никогда — со Школами или без них — не могло бы случиться, чтобы эти великие работники не ответили на зов своего века. Итак, добилось ли с помощью своей организации государство того, что общественно полезные работы стали выполняться лучше или дешевле? Прежде всего, частные предприятия отлично обходятся без инженеров; затем, работы, ведущиеся государством, всегда оказываются самыми дорогими, а особенно дорого стоит содержание огромного дорожного ведомства. И, наконец, в других странах, в Германии, в Англии, в Италии, где подобных учреждений не существует, аналогичные работы производятся по крайней мере так же хорошо, но зато гораздо дешевле, чем во Франции. Последние три страны известны новыми полезными изобретениями в этой области. Я знаю, что вошло в моду, говоря о наших Школах, повторять, будто Европа нам завидует; но почему-то Европа, наблюдая нас в течение пятнадцати лет, не попыталась создать у себя подобные Школы. Англия, особенно искусная в расчетах, учредила превосходные Школы для рабочего населения, откуда выходят практические люди, мгновенно вырастающие, когда от практики они переходят к теории.

Стефенсон и Мак-Адам не кончали наших знаменитых Школ. Да и зачем это им? Когда молодые способные инженеры, полные огня и благородных стремлений, в начале своей карьеры разрешили задачу содержания дорог во Франции, которые требуют сотен миллионов каждые четверть века и находятся в совершенно плачевном состоянии, то напрасно публиковали они ученые статьи и докладные записки; все гибло в пучине Главного управления, этого парижского центра, куда попадает все, но откуда ничего не выходит, где старики завидуют молодым, где высокие посты служат прибежищем для старых инженеров, уже неспособных работать. Вот так-то и получается, что, имея целое ученое ведомство, раскинувшееся по всей Франции, которое, являясь частью административной машины, должно было бы в своей области направлять и просвещать страну, мы все еще будем спорить о железных дорогах, когда другие страны их уже построят. Однако если суждено когда-либо Франции доказать превосходство института специальных Школ, то именно сейчас, в великолепную пору расцвета общественных работ, предназначенных переделать облик государств и продлить человеческую жизнь, изменив законы пространства и времени. Бельгия, Соединенные Штаты, Германия, Англия, у которых нет политехнических школ, покроются сетью железных дорог, пока наши инженеры будут только намечать свои планы, пока бесчестные интересы, скрывающиеся за каждым проектом, будут мешать их выполнению. Во Франции нельзя положить ни один камень без того, чтобы десяток парижских бумажных душ не настрочили глупых и бесполезных докладов. Итак, что касается государства, оно не извлекает никакой выгоды из своих специальных Школ; что касается самих инженеров, то положение их незавидно, и вся их жизнь оказывается жестоким разочарованием. Однако способности, которые проявляет ученик в возрасте от шестнадцати до двадцати шести лет, доказывают, что, если предоставить его собственной судьбе, он создал бы себе более достойное и высокое положение, чем то, на какое обрекло его государство. Каждый из этих избранных, будь он коммерсантом, ученым или военным, мог бы действовать в широкой сфере, если бы его драгоценные способности,

его горячее рвение не были бы преждевременно и бессмысленно истощены. В чем же прогресс? И государство и человек, несомненно, проигрывают при существующей системе. Разве не требует полувековой опыт изменения в устройстве наших Школ! Какая священная власть отбирает из каждого поколения Франции тех людей, кому суждено стать ученой частью нации? Чем только не должны были бы заниматься эти верховные жрецы судьбы? Математика, может быть, не так нужна им, как физиология. Не кажется ли вам, что им пригодилось бы ясновидение, делающее чародеями всех великих людей? Экзаменаторы состоят из старых профессоров, людей почтенных и поседевших в трудах, чья миссия ограничивается отбором людей с наилучшей памятью; они выполняют лишь то, что с них спрашивают. А между тем их деятельность должна бы стать самой почетной в государстве и предполагает наличие качеств необыкновенных. Не думайте, покровитель и друг мой, что порицание мое касается только Школы, которую я окончил, оно направлено не только на самое учреждение, но также, и главным образом, на способ зачисления в него учеников. Таким способом является *конкурс* — новейшее и до крайности вредное изобретение, вредное не только в науке, но и повсюду, где только оно применяется: в искусстве, в любом отборе людей, проектов или вещей. Если, к несчастью для наших хваленых Школ, они выдвинули не больше выдающихся деятелей, нежели любое собрание молодых людей, то еще более постыдно, что первые большие премии академии не подарили нам ни одного великого художника, музыканта, архитектора или скульптора, равно как всеобщие выборы, вызвавшие наплыв посредственности, за двадцать лет не привели к власти ни одного великого государственного человека. Мои рассуждения относятся к ошибке, приносящей во Франции вред и воспитанию и политике. Ужасная эта ошибка основана на незнании следующего правила:

Ничто, ни опыт, ни природа, не может дать уверенности в том, что умственные способности подростка сохранятся у взрослого человека.

В настоящее время я связан со многими достойными людьми, которых заботят все нравственные недуги, сне-

дающие Францию. Они, так же как я, признают, что таланты, которые фабрикует высшее образование, очень недолговечны, ибо они не находят себе применения и лишены будущего; что образование, получаемое в наших начальных школах, не дает государству ничего, потому что лишено веры и чувства. Вся наша система народного просвещения требует полного переустройства, и руководить им должен человек, обладающий глубокими знаниями и сильной волей, одаренный талантом законодателя, который в новые времена можно было встретить, пожалуй, только у Жан-Жака Руссо.

Быть может, избыток людей со специальным образованием следовало бы использовать в начальных школах, столь необходимых народу. У нас нет для просвещения народных масс достаточного количества терпеливых и преданных делу учителей. Пугающее количество нарушений закона и преступлений говорит о глубокой общественной язве; причина ее в том полуобразовании, какое дается народу и какое способно разрушить все общественные связи, ибо заставляет народ думать достаточно для того, чтобы отказаться от полезных для власти религиозных верований, но недостаточно для того, чтобы возвыситься до теории послушания и долга, являющейся последним словом трансцендентальной философии. Невозможно заставить всю нацию изучать Канта; поэтому народу нужнее вера и привычка, нежели умственные занятия и размышления. Если бы можно было начать жизнь сызнова, я, пожалуй, поступил бы в семинарию и стал простым сельским священником или учителем. Теперь я слишком далеко продвинулся по своему пути, чтобы быть только учителем начальной школы; к тому же я могу воздействовать на более широкий круг, чем одна школа или один приход. Я пытался примкнуть к сен-симонистам, но они избрали дорогу, по которой я не могу следовать за ними; однако, несмотря на свои ошибки, они коснулись многих болезненных ран, явившихся следствием нашего законодательства, ран, которые приведут Францию к глубокому нравственному и политическому кризису и не врачуются жалкими паллиативами.

Прощайте, сударь, примите заверения в моей почтительной и неизменной привязанности, которая,

не взирая на все эти рассуждения, постоянно возрастает.

Грегуар Жерар».

По старой привычке, присущей всем банкирам, Гростет тут же набросал на обороте письма ответ и сверху надписал сакраментальное слово: *отвечено.*

«Обсуждать замечания, заключенные в вашем письме, дорогой Жерар, тем более бесполезно, что по воле случая (пользуясь любимым словом глупцов) я собираюсь сделать вам предложение, которое вам поможет выбраться из беды. Госпожа Граслен — владелица монтеньякских лесов и совершенно бесплодного плато, простирающегося у подножия холмов, на которых раскинулись ее леса,— намерена извлечь доход из этих огромных владений, начав эксплуатацию лесов и возделав каменистые равнины. Для того, чтобы привести в исполнение это намерение, ей нужен человек ваших знаний и вашего рвения, который, подобно вам, соединял бы в себе бескорыстие с пониманием практической пользы. Немного денег и много работы! Огромный результат, достигнутый малыми средствами! Полное преобразование целого края! Открыть источник изобилия в самой обездоленной местности — не к этому ли вы стремились, вы, мечтающий создать поэму? Судя по искренности вашего письма, я могу без колебаний пригласить вас к себе в Лимож. Но, друг мой, повремените подавать в отставку. Испросите себе только отпуск, объяснив своему начальству, что хотите изучить некоторые специальные вопросы вне сферы работ, ведущихся государством. Тогда вы не потеряете своих прав и будете располагать временем, чтобы судить, выполнимо ли предприятие, задуманное монтеньякским кюре и одобренное госпожой Граслен. При личном свидании я объясню вам все выгоды, которые ждут вас в случае осуществления этих обширных преобразований.

Всегда можете рассчитывать на дружбу преданного вам

Гростета».

Госпожа Граслен написала в ответ Гростету лишь несколько слов:

«Спасибо, друг мой, жду вашего протеже».

Показав письмо инженера г-ну Бонне, она сказала:

— Еще одна раненая душа, жаждущая исцеления!

Кюре прочел письмо раз и другой, молча прошелся по террасе и вернул его г-же Граслен со следующими словами:

— Это человек выдающийся, с прекрасной душой. Он говорит, что школы, созданные революционной мыслью, фабрикуют бездарностей. Я же называю их фабрикой неверующих, ибо господин Жерар если не атеист, то протестант...

— Мы спросим у него,— сказала Вероника, пораженная таким ответом.

Через две недели, несмотря на декабрьские холода, г-н Гростет приехал в монтеньякский замок, чтобы представить своего подопечного, которого с нетерпением ожидали Вероника и г-н Бонне.

— Нужно очень любить вас, дитя мое,— сказал старик, взяв Веронику за обе руки и целуя их с галантностью пожилых людей, которая никогда не оскорбляет женщину,— да, очень любить вас, чтобы покинуть Лимож в подобную погоду. Но я хотел сам преподнести вам в подарок господина Жерара. Вот он. Этот человек должен вам понравиться, господин Бонне,— добавил он, дружески приветствуя священника.

Внешность Жерара оказалась не очень привлекательна. Это был человек среднего роста, приземистый, с шеей, как бы втянутой в плечи, с рыжеватыми волосами, красными глазами альбиноса и почти белыми ресницами и бровями. Цвет лица у него, как у всех особей этого рода, отличался ослепительной белизной, но сильно пострадал от рябин, оставленных оспой; упорные занятия, очевидно, испортили ему зрение, и он носил темные очки. Сбросив грубый синий плащ, он остался в костюме, который никак не способствовал изяществу его облика. Небрежно надетая и застегнутая одежда, кое-как повязанный галстук, несвежая сорочка — все обличало неумение заботиться о себе, в котором упрекают людей науки, почти всегда очень рассеянных. Развитой торс при худобе ног, вся осанка Жерара указывали на некоторое физическое истощение, вызванное привычкой к размышлениям. Однако пылкая мысль и сильные чувства, о которых можно было судить по письму Жерара, озаря-

ли его лоб, словно изваянный из каррарского мрамора. Казалось, природа избрала именно лоб, чтобы запечатлеть на нем величие, твердость духа и доброту этого человека. Нос у него, как у всех представителей гальского племени, был несколько приплюснут. Прямые, четкие очертания рта указывали на безупречную скромность и чувство меры; лицо его, утомленное постоянными занятиями, казалось постаревшим раньше времени.

— Мы прежде всего должны благодарить вас, сударь,— обратилась г-жа Граслен к инженеру,— за то, что вы согласились руководить работами в краю, который не может дать вам других радостей, кроме сознания содеянного добра.

— Сударыня,— ответил он,— господин Гростет столько рассказывал мне о вас во время пути, что я счастлив быть вам полезен, а будущая жизнь подле вас и господина Бонне меня как нельзя более привлекает. Если меня не изгонят из здешних мест, я хотел бы закончить тут мои дни.

— Мы постараемся сделать все, чтобы вы не изменили своих намерений,— улыбаясь, сказала г-жа Граслен.

— А вот и бумаги, которые передал мне главный прокурор,— сказал Гростет Веронике, отводя ее в сторону.— Он был очень удивлен, что вы не обратились непосредственно к нему. Все, о чем вы просили, было исполнено очень быстро и охотно. Прежде всего ваш подопечный будет восстановлен во всех гражданских правах, а через три месяца вам доставят Катрин Кюрье.

— Где же она? — спросила Вероника.

— В больнице святого Людовика,— ответил старик.— Пока она не выздоровеет, ей нельзя уехать из Парижа.

— Ах, бедная девушка больна?

— Здесь вы найдете все интересующие вас сведения,— сказал Гростет, вручая бумаги Веронике.

Она вернулась к обществу и, опираясь на руки Гростета и Жерара, повела гостей в роскошно обставленную столовую на первом этаже. Вероника угощала всех обедом, но сама не принимала в нем участия. С первого дня приезда в Монтеньяк она всегда ела в одиночестве, и Алина свято хранила тайну этого сурового закона до тех пор, пока ее хозяйке не стала грозить смерть.

К обеду были приглашены мэр, мировой судья и монтеньякский врач.

Врач, молодой человек лет двадцати семи, по имени Рубо, давно хотел познакомиться с женщиной, знаменитой во всем Лимузене. Кюре ввел его в замок тем охотнее, что хотел собрать вокруг Вероники общество, которое могло бы развлечь ее и дать пищу ее уму. Рубо был одним из тех высокообразованных молодых врачей, какие выходят теперь из парижской Медицинской школы. Несомненно, он мог бы блистать на обширном поприще столицы; но в Париже его испугала борьба честолюбий, и, чувствуя в себе более склонности к науке, нежели к интригам, и более дарований, чем алчности, он, следуя своему мягкому характеру, избрал скромное поприще в провинции, надеясь, что там его оценят скорее, чем в Париже. В Лиможе Рубо натолкнулся на установившиеся привычки и постоянный круг пациентов; тогда он поехал вслед за г-ном Бонне, который по его доброму, располагающему к себе лицу сразу угадал в нем своего приверженца, последователя и помощника. Маленький белокурый Рубо обладал довольно бесцветной внешностью, но в его серых глазах читалось глубокомыслие физиолога и упорство подлинного ученого. Раньше в Монтеньяке жил бывший полковой хирург, больше занимавшийся своим винным погребом, чем больными, и к тому же слишком старый, чтобы исполнять нелегкие обязанности сельского врача. Теперь он умер. Рубо провел в Монтеньяке полтора года, и все полюбили его. Но юный ученик Деплена и последователей Кабаниса не верил в католицизм. В вопросах религии он придерживался полнейшего индифферентизма и не желал от него отступаться. Кюре это приводило в отчаяние, и не потому, что неверие Рубо приносило какой-нибудь вред,— он никогда не говорил о религии; то, что он не посещал церковь, можно было объяснить его занятостью, к тому же он неспособен был вербовать учеников и вел себя, как наилучший католик. Он только воздерживался от размышлений над проблемами, которые ставил как бы вне пределов человеческого понимания. Узнав, что врач считает пантеизм религией всех великих умов, кюре предположил, будто он склоняется к учению Пифагора о превращениях.

Рубо видел г-жу Граслен впервые, и она произвела

на него глубокое впечатление. Знания врача помогли ему угадать по ее поведению, по выражению болезненного лица ужасные физические и моральные страдания, характер силы сверхчеловеческой, великую способность переносить самые неожиданные превратности судьбы; он уловил все, даже то, что было неясно или скрыто умышленно. Заметил он также и недуг, снедающий сердце этого прекрасного создания, ибо как по окраске плода можно догадаться о грызущем его черве, так иной раз по цвету лица врач может распознать ядовитую мысль, отравляющую жизнь больного. С первой же встречи Рубо так горячо привязался к г-же Граслен, что боялся полюбить ее больше, чем дозволено простой дружбой. Лоб, походка и особенно взгляд Вероники говорили о том, что для любви она умерла, так же красноречиво, как взгляды других женщин говорят обратное. Мужчинам всегда понятен этот язык. И врач стал по-рыцарски преклоняться перед г-жой Граслен. Он обменялся быстрым взглядом с кюре. Г-н Бонне тут же подумал:

«Вот удар молнии, который обратит этого неверующего. Госпожа Граслен убедит его лучше, чем я».

Мэр, старый сельский житель, был поражен роскошью столовой и совершенно растерян тем, что обедал с одним из самых богатых людей в департаменте; он надел свой лучший костюм, который стеснял его, и оттого еще больше стеснялся окружающих. Г-жа Граслен в своем траурном платье казалась ему очень важной; за все время обеда он ни разу не раскрыл рта. Бывший фермер из Сен-Леонара, он купил единственный приличный дом в деревне и собственноручно обрабатывал свою землю. Хотя он умел и читать и писать, все же обязанности мэра он мог выполнять только с помощью судебного пристава, который подготавливал ему дела. Бедняга мечтал о прибытии в деревню нотариуса, чтобы переложить на плечи государственного чиновника все свои тяжкие обязанности; но кантон Монтеньяка был настолько беден, что учреждение конторы считалось там делом бесполезным, и жителей постоянно обирали нотариусы из окружного городка.

Мировой судья, по имени Клузье, в прошлом был адвокатом в Лиможе, где он защитил не много дел, ибо пытался применить на практике прекрасную аксиому,

гласившую, что адвокат является главным судьей и для клиента и для суда. В 1809 году он получил место в Монтеньяке с весьма скромным содержанием, на которое еле мог прожить. Ко времени нашего рассказа он впал в самую благородную и самую безысходную нищету. После двадцати двух лет жизни в этой бедной общине Клузье стал настоящим сельским жителем и в своем допотопном сюртуке походил на местного фермера. Под этой грубоватой внешностью таился ясный ум, способный предаваться высоким политическим размышлениям, но впавший в полную леность вследствие превосходного понимания людей и их интересов. Попади этот человек в высшую сферу, он походил бы на Лопиталя. Долгое время судья обманывал проницательность г-на Бонне и, будучи, подобно всем подлинно глубоким людям, неспособен на интриги, в конце концов дошел до созерцательного состояния древних отшельников. Несмотря на все лишения, он чувствовал себя богатым, и никакие посторонние соображения не влияли на его дух; он знал законы и судил справедливо. Жизнь его, ограниченная самым необходимым, была чиста и размеренна. Крестьяне любили и уважали г-на Клузье за отцовскую беспристрастность, с какой судил он их тяжбы, и за помощь советом в мелких делах. Последние два года у добряка Клузье, как называл его весь Монтеньяк, работал письмоводителем его племянник, неглупый молодой человек, в дальнейшем немало способствовавший процветанию кантона. В физиономии старика-судьи сразу располагал к себе большой, высокий лоб. Растрепанные кустики поседевших волос торчали по обе стороны лысой головы. Багровый цвет лица и некоторая тучность заставляли предполагать, что, невзирая на свою воздержанность, Клузье поклонялся Бахусу, подобно Тролону и Тулье. Судя по едва слышному голосу, его мучила астма. Возможно, что сухой воздух горного Монтеньяка и удерживал судью в этих местах. Он снимал домик у довольно зажиточного сапожника. Клузье видел уже Веронику в церкви и составил себе о ней суждение, не поделившись своими мыслями ни с кем, даже с г-ном Бонне, с которым начал понемногу сходиться. Впервые в своей жизни старый мировой судья попал в общество людей, способных понять его.

Усевшись вокруг роскошно сервированного стола —

Вероника перевезла в Монтеньяк всю свою лиможскую обстановку,— шестеро мужчин в первую минуту пришли в замешательство. Врач, мэр и мировой судья не знали ни Гростета, ни Жера́ра. Но за первым же блюдом добродушие старого банкира растопило лед первой встречи. Приветливая г-жа Граслен вовлекла в беседу Жерара и подбодрила Рубо. С ее помощью молодые люди, наделенные отменными достоинствами, признали родство своих душ. Вскоре каждый почувствовал себя в дружеской среде. И когда был подан десерт, когда заблистал хрусталь и фарфор с золотистыми ободками, когда полилось вино, разлитое Алиной, Шампионом и лакеем Гростета, разговор стал достаточно откровенным, чтобы случайно соединившиеся четыре избранные личности решились высказать свои истинные мысли о важных вопросах, которые любят обсуждать расположенные друг к другу собеседники.

— Ваш отпуск совпал с Июльской революцией,— сказал Гростет Жерару, как бы спрашивая его мнение.

— Да,— ответил инженер,— я был в Париже все эти три знаменательных дня. Я видел все и вывел весьма утешительное заключение.

— А именно? — поспешно спросил г-н Бонне.

— Сейчас патриотизм живет только под грязными блузами,— сказал Жерар,— Франции грозит гибель. Июль явился добровольным поражением людей, выдающихся по своему происхождению, богатству и таланту. Самоотверженные массы завоевали победу богатым, образованным классам, которым чужда самоотверженность.

— Если судить по тому, что произошло за год,— добавил мировой судья г-н Клузье,— совершившаяся перемена пошла на пользу терзающему нас злу — индивидуализму. Через пятнадцать лет любое благородное намерение будет встречено вопросом: *Какое мне до этого дело?* — криком свободы воли, низведенной с высот религии, куда возвели ее Лютер, Кальвин, Цвингли и Нокс, в область политической экономии. *Каждый за себя, каждый у себя* — эти две фразы вместе с вопросом: *Какое мне дело?* — составляют триединую мудрость буржуа и мелкого собственника. Подобный эгоизм — результат пороков нашего слишком поспешно созданного граждан-

ского законодательства, которому Июльская революция дала опасное благословение.

Мировой судья погрузился в обычное молчание, предоставив гостям обдумывать смысл сентенции. Воодушевленный словами Клузье и взглядом, которым обменялись Гростет и Жерар, г-н Бонне дерзнул на большее.

— Добрый король Карл Десятый,— сказал он,— потерпел неудачу в осуществлении самого дальновидного, самого спасительного плана, какой замышлял когда-либо монарх на благо вверенным ему народам, и церковь может гордиться своей ролью советчицы в этом деле. Но мужество и ум изменили высшим классам, как изменили уже однажды при решении великого вопроса — закона о праве старшинства, который останется вечной славой единственного смелого человека, выдвинутого Реставрацией, графа Пейронне. Восстановить нацию при посредстве семьи, лишить печать ее отравляющего воздействия, оставив ей только право быть полезной, ограничить выборную Палату ее истинным назначением, вернуть религии ее влияние на народ — вот четыре основных пункта внутренней политики династии Бурбонов. Ну что ж, через двадцать лет вся Франция признает необходимость этой великой и мудрой политики. Впрочем, для короля Карла Десятого положение, которое он хотел изменить, было еще более опасным, нежели то, при котором пала его отеческая власть. Будущее нашей прекрасной страны—где время от времени все ставится под сомнение, где спорят вместо того, чтобы действовать, где печать, достигнув самодержавной власти, стала орудием самого низкого честолюбия — будущее докажет мудрость этого короля, вместе с которым ушли истинные принципы правления; история воздаст ему должное за то мужество, с каким боролся он против лучших друзей, после того, как, исследовав язву и осознав ее глубину, увидел необходимость целительных средств, не встретивших поддержки у тех, ради кого он шел на бой.

— Отлично, господин кюре, вы говорите откровенно и без малейшего притворства,— воскликнул Жерар,— но я не стану с вами спорить! Наполеон, задумав поход в Россию, на сорок лет опередил дух своего века; он не был понят. Россия и Англия 1830 года объясняют кампанию 1812 года. Карла Десятого постигла та же беда: через два-

дцать пять лет его ордонансы, быть может, станут законами.

— Франция — страна слишком красноречивая, чтобы не быть болтливой, слишком тщеславная, чтобы можно было распознать подлинные ее таланты, и, несмотря на великолепный здравый смысл ее языка и ее народа, пожалуй, последняя страна, в которой следовало вводить систему двух совещательных палат,— снова заговорил мировой судья.— По крайней мере, все невыгодные стороны нашего характера должны были бы быть подавлены строгими ограничениями, которые поставил им опыт Наполеона. Система эта еще годится в стране, действия которой определены природными условиями, например, в Англии; но право старшинства в применении к закону о наследовании земли необходимо везде. Когда право это уничтожено, представительная система становится нелепостью. Англия обязана своим существованием почти феодальному закону, по которому земля и родовой замок достаются старшему в роде. Россия зиждется на феодальном праве самодержавия. Поэтому обе эти нации стоят на пути небывалого прогресса. Австрия могла сопротивляться нашим завоеваниям и возобновить войну против Наполеона лишь благодаря праву старшинства, которое сохраняет действующие силы семьи и обеспечивает крупное производство продуктов, необходимое государству. Династия Бурбонов, чувствуя, что по вине либерализма ее оттесняют на третье положение в Европе, пожелала отстоять свое место, а страна свергла ее в тот момент, когда она спасала страну. Не знаю, куда приведет нас нынешняя система.

— Случись война, Франция окажется без лошадей, как Наполеон в 1813 году, когда, ограниченный только ресурсами Франции, он не мог воспользоваться двумя победами, при Лютцене и Баутцене, и потерпел поражение под Лейпцигом! — воскликнул Гростет.— Если продлится мир, зло еще более усугубится: через двадцать пять лет поголовье лошадей и рогатого скота уменьшится во Франции вдвое.

— Господин Гростет прав,— заметил Жерар.— Вот почему дело, которое вы задумали, сударыня,— продолжал он, обращаясь к Веронике,— окажет великую помощь всей стране.

— Да,— подтвердил мировой судья,— ведь у сударыни один только сын. Но будет ли такой случай наследования повторяться вечно? В течение некоторого времени большое прекрасное хозяйство, которое вы, надеюсь, заведете, принадлежа одному владельцу, будет производить и лошадей и рогатый скот. Но рано или поздно придет день, когда леса и луга либо подвергнутся разделу, либо будут проданы по участкам. Подвергаясь одному разделу за другим, шесть тысяч арпанов вашей равнины будут принадлежать в конце концов тысяче, а то и больше собственников, а тогда прощай и коневодство и породистый скот.

— Ну, до того времени...— начал было мэр.

— Слышите вопрос «Какое мне дело?», приведенный господином Клузье? — воскликнул Гростет.— Это он и есть. Но, сударь мой,— строгим тоном обратился банкир к удивленному мэру.— Время это уже наступило! В радиусе десяти лье вокруг Парижа мельчайшие поместья едва могут прокормить молочных коров. Коммуна Аржантейля насчитывает тридцать тысяч восемьсот восемьдесят пять земельных наделов, из которых иные не приносят и пятнадцати сантимов дохода! Я не представляю себе, как бы вышли из положения владельцы скота без питательных кормов, получаемых из Парижа. Но эта слишком насыщенная пища и необходимость держать коров в стойлах вызывают у животных болезни, от которых они умирают. В окрестностях Парижа коров употребляют для упряжки, словно лошадей. Культуры более выгодные, чем травы,— огороды, фруктовые сады, древесные питомники, виноградники — вытесняют луга. Еще несколько лет, и молоко будут присылать в Париж на почтовых, как свежую рыбу. В окрестностях почти всех крупных городов происходит то же, что и вокруг Парижа. Зло непрерывного раздела земельной собственности охватило сто городов Франции и когда-нибудь поглотит ее целиком. По сведениям Шапталя, в 1800 году едва насчитывалось два миллиона гектаров виноградников; сейчас, согласно точным статистическим данным, их по крайней мере десять миллионов. Нормандия, раздробленная нашей системой наследования, потеряет половину своих лошадей и коров, но она все же не утратит монополии на поставку молока в Париж, ибо, к счастью,

климат ее неблагоприятен для виноградников. Кроме того, мы сможем наблюдать любопытное явление непрерывного роста цен на мясо. В 1850 году, то есть через двадцать лет, Париж, который в 1814 году платил от семи до одиннадцати су за фунт мяса, будет платить за него двадцать су, если только не появится какой-нибудь гениальный человек, способный осуществить идею Карла Десятого.

— Вы точно указали на главную язву Франции,— откликнулся мировой судья.— Причина зла коренится в статье Гражданского кодекса о наследовании, которая требует равного раздела имущества. Эта статья словно пестом дробит земельные владения, раздает состояния, лишая их необходимой устойчивости, и в конце концов убьет Францию, ибо, разъединяя, никогда не соединяет вновь. Французская революция породила вирус разрушения, и июльские дни возобновили его активность. Пагубность нового принципа заключается в приобщении крестьянина к собственности. Если статья о наследовании — основное начало зла, то крестьянин — его орудие. Крестьянин не возвратит ничего из того, что сумел захватить. Как только новый порядок бросил кусок земли в его вечно разверстую пасть, он начал делить землю и будет делить, пока не дойдет до клочка в три борозды. Но и тогда он не остановится! Он перережет три борозды поперек, как показал это господин Гростет на примере Аржантейля. Ни с чем не сообразная ценность, какую придает крестьянин своей крохотной делянке, делает невозможным восстановление крупной земельной собственности. Прежде всего бесконечный раздел земли уничтожил судопроизводство и право; понятие собственности превратилось в бессмыслицу. Но мало того, что власть фиска и закона бессильна на мелких участках, где невозможно осуществить самые мудрые ее предначертания,— есть бедствие еще большее. У нас имеются землевладельцы, получающие пятнадцать или двадцать пять сантимов дохода! Господин Гростет рассказал вам сейчас об уменьшении поголовья лошадей и быков; во многом виной здесь наша законодательная система. Землевладелец-крестьянин заводит только коров, с них он кормится, он продает телят, продает даже масло; о том, чтобы выращивать быков, а тем более лошадей, он и

не думает. Но так как у него никогда нет достаточного запаса кормов на засушливые годы, то он ведет свою корову на рынок, когда не может прокормить ее. Если же по роковой случайности выпадет два неурожайных года подряд, то на третий год вы заметите в Париже невероятные изменения в ценах на говядину и особенно на телятину.

— Как же тогда будут устраивать патриотические банкеты? — спросил, улыбаясь, врач.

— О! — воскликнула г-жа Граслен, взглянув на Рубо.— Нигде политика не может обойтись без газетных нападок, даже здесь!

— Буржуазия,— продолжал Клузье,— выполняет в этом ужасном деле роль пионеров в Америке. Она скупает большие владения, с которыми крестьянин не может справиться, и начинает делить их, а затем раздробленная на части, разорванная в клочья земля, проданная с аукциона или по частям, попадает к тем же крестьянам Сейчас все выражается в цифрах. Я не знаю цифр более красноречивых, чем следующие. Во Франции сорок девять миллионов гектаров земли, вернее, сорок, потому что отсюда следует исключить дороги, проселки, дюны, каналы и земли бесплодные, невозделанные или лишенные средств, как, например, монтеньякская равнина. Однако на эти сорок миллионов гектаров при тридцати двух миллионах жителей приходится сто двадцать пять миллионов парцелл, облагаемых земельным налогом. Я считаю в круглых цифрах. Таким образом, мы находимся вне аграрного закона и еще не испили до конца чашу нищеты и раздора! Те, кто дробит земельные владения и уменьшает производство, будут кричать через свои органы, будто истинная социальная справедливость состоит в том, чтобы каждый получал продукт своей земли. Они скажут, что вечная собственность — это воровство! Начало положили сен-симонисты.

— Представитель правосудия высказал свое мнение,—произнес Гростет,—вот что может добавить к этим смелым выводам банкир. То, что собственность стала доступна крестьянину и мелкому буржуа, причиняет Франции огромный ущерб, о котором правительство и не подозревает. В стране насчитывается три миллиона крестьянских семей, не включая сюда нищих. Семьи эти живут на

заработанную плату. И заработанная плата выплачивается деньгами, а не продуктами...

— Еще одна непоправимая ошибка нашего законодательства,— прервал банкира Клузье.— Право платить продуктами можно было ввести в 1790 году, но вводить подобный закон теперь — значит вызвать революцию.

— Таким образом, пролетарий прибирает к рукам деньги страны,— продолжал Гростет.— Но у крестьянина нет другой страсти, другого желания, другого стремления, другой цели, как стать владельцем земли. Желание это, по справедливому замечанию господина Клузье, порождено революцией; оно является результатом продажи национального достояния. Нужно не иметь ни малейшего представления о том, что происходит в деревне, чтобы не принять как непреложный факт то, что каждое из этих трех миллионов семейств ежегодно закапывает в землю по пятьдесят франков, изымая тем самым сто пятьдесят миллионов из денежного обращения. Наука политической экономии считает аксиомой, что один экю стоимостью в пять франков, который проходит в течение дня через сто рук, абсолютно равен пятистам франкам. Однако для нас, давно наблюдающих положение деревни, ясно, что крестьянин облюбовал себе только землю. Он подстерегает и поджидает ее, он никуда не станет помещать свой капитал. Приобретение земли исчисляется для крестьянина сроком в семь лет. Таким образом, в течение семи лет крестьяне держат в полном бездействии тысячу сто миллионов франков, но поскольку мелкая буржуазия хранит не меньшие суммы для приобретения земель, к которым крестьянин не может и подступиться, то за сорок два года Франция теряет проценты по крайней мере с двух миллиардов, то есть около ста миллионов за семь лет, или шестисот миллионов за сорок два года. Но она потеряла не только эти шестьсот миллионов; она не могла создать на шестьсот миллионов новых промышленных или сельскохозяйственных предприятий, а это уже означает потерю тысячи двухсот миллионов, ибо если бы промышленный продукт не ценился вдвое против своей себестоимости, промышленность погибла бы. Пролетариат сам лишает себя шестисот миллионов заработанной платы! Эти шестьсот миллионов чистого убытка, которые

для экономиста, строго учитывающего потерю доходов от обращения, представляют убыток почти в тысячу двести миллионов, объясняют отсталость нашей торговли, нашего флота и нашего сельского хозяйства по сравнению с Англией. Несмотря на различие в размерах наших территорий, причем Франция чуть ли не втрое больше, Англия могла бы поставить лошадей для кавалерии двух французских армий, а мяса там хватает для всех. Но, кроме того, поскольку распределение земельной собственности делает ее почти недоступной для низших классов, в Англии каждый экю становится достоянием коммерческого оборота. Итак, кроме вредоносного дробления земельной собственности и уменьшения поголовья лошадей, рогатого скота и овец, статья о наследовании влечет за собой потерю шестисот миллионов франков вследствие накопления капиталов в руках крестьян и буржуа, другими словами, потерю по меньшей мере тысячи двухсот миллионов поступлений от производства, или изъятие из денежного обращения трех миллиардов в течение полувека.

— Последствия моральные еще ужаснее последствий материальных! — воскликнул кюре.— Мы создали нищих землевладельцев в народе, полузнаек в мелкой буржуазии и принцип: *Каждый за себя, каждый у себя*, который проявил уже свое действие на высшие классы в июле этого года, а скоро развратит и среднее сословие. Пролетариат, забывший о чувствах, отказавшийся от веры, не знающий другого бога, кроме зависти, другого фанатизма, кроме голодного отчаяния, выйдет вперед и наступит ногой на сердце страны. Чужеземцы, выросшие под сенью монархического закона, увидят у нас королевство без короля, законодательство без законов, собственность без собственников, выборы без правительства, свободу воли без силы, равенство без счастья. Будем надеяться, что бог пошлет Франции человека, отмеченного провидением, одного из тех избранников, которые дарят народам новый дух, и, будет ли он Марием или Суллой, поднимется ли с низов или снизойдет с высот, он переделает общество!

— Для начала он предстанет перед судом присяжных или перед исправительной полицией,— возразил Жерар.— В 1831 году Сократа и Иисуса Христа ожидал

бы тот же приговор, что некогда постиг их в Иерусалиме и в Аттике. Теперь, так же как в древние времена, завистливая посредственность обрекает на голодную смерть мудрецов, великих политических целителей, которые изучили язвы Франции и противостоят духу своего времени. Если они борются с нищетой, мы высмеиваем их или называем мечтателями. Во Франции великий человек будущего вызывает такое же возмущение в сфере морали, как самодержавный владыка в сфере политики.

— Когда-то софисты обращались к маленькой кучке людей, теперь периодическая печать позволяет им вводить в заблуждение всю нацию! — воскликнул мировой судья.— А пресса, которая ратует за здравый смысл, не имеет отклика!

Мэр смотрел на г-на Клузье с величайшим изумлением. Г-жа Граслен, радуясь, что в простом мировом судье встретила человека, увлеченного столь важными вопросами, спросила у своего соседа, г-на Рубо:

— Знаете ли вы господина Клузье?

— По-настоящему я узнал его только сегодня. Вы делаете чудеса, сударыня,— ответил он ей шепотом.— Но взгляните на его лоб, какая прекрасная форма! Не правда ли, он напоминает традиционный классический лоб, каким все скульпторы наделяли Ликурга и мудрецов Греции? Совершенно очевидно, что Июльская революция имеет антиполитический смысл,— произнес уже вслух, после того как он обдумал про себя все выкладки Гростета, этот бывший студент, который, может быть, и сам бросился бы на баррикады.

— В ней заложен тройной смысл,— сказал Клузье.— Мы охватили право и финансы, но вот соображения, касающиеся правительства. Королевская власть, ослабленная догмой национального суверенитета, во имя которого были произведены выборы 9 августа 1830 года, будет пытаться подавить этот враждебный ей принцип, дающий народу право призывать на трон новую династию всякий раз, когда народ не поймет намерений своего короля, и тогда нас ждет внутренняя борьба, которая, разумеется, надолго задержит развитие Франции.

— Англия мудро обошла все эти подводные камни,— продолжал Жерар.— Я был там, я восхищен этим пчелиным ульем, который роится над миром и цивилизует

его; там дискуссия — это политическая комедия, призванная удовлетворить народ и скрыть действия власти, которая чувствует себя свободно в своей высшей сфере; там выборы не находятся в руках тупой буржуазии, как во Франции. Произойди в Англии раздробление земельной собственности, страна прекратила бы свое существование. Социальным механизмом правят там крупные землевладельцы, лорды. Английский морской флот на глазах у Европы захватывает целые области земного шара, чтобы удовлетворить требованиям национальной торговли и к тому же высылать туда несчастных и недовольных. Вместо того, чтобы преследовать, уничтожать и не признавать талантливых людей, английская аристократия отыскивает таланты, награждает их и постоянно дает им работу. Англичане быстро решают все, что касается действий правительства и выбора людей или вещей,— у нас же все тянется медленно; меж тем медлительны они, а нетерпеливы мы. У них деньги смелы и заняты делом, у нас — боязливы и подозрительны. То, что говорил господин Гростет об ущербе, понесенном французской промышленностью по вине крестьянина, находит свое подтверждение в картине, которую я вам обрисую в нескольких словах: английская столица своей неутомимой деятельностью создала на десять миллиардов промышленных ценностей и приносящих доход предприятий, в то время как французская столица, превосходящая ее роскошью, не создала и десятой доли этого.

— Это тем более странно,— заметил Рубо,— что они флегматики, а мы большей частью сангвиники или холерики.

— Вот, сударь,— сказал Клузье,— большой и неизученный вопрос: создание институтов, способных формировать темперамент народа. Конечно, Кромвель был великим законодателем. Он один создал современную Англию, издав *Навигационный акт*, который сделал англичан врагами всех других наций и привил им неукротимую гордость, ставшую для них точкой опоры. Но все же, несмотря на их мальтийскую крепость, если Франция и Россия поймут роль Черного и Средиземного морей, придет день, когда путь в Азию через Египет или через Евфрат, проложенный с помощью новых открытий, убьет

Англию, как некогда открытие мыса Доброй Надежды убило Венецию.

— И ни слова о боге! — воскликнул кюре.— Господин Клузье и господин Рубо равнодушны к вопросам религии. А вы, сударь? — спросил он у Жерара.

— Он протестант,— ответил Гростет.

— Вы это сразу угадали,— произнесла Вероника, взглянув на кюре, и подала руку Клузье, приглашая гостей перейти в ее комнату.

Неблагоприятное впечатление от внешности Жерара совершенно рассеялось, и трое монтеньякских нотаблей мысленно поздравляли друг друга с таким приобретением

— К сожалению,— заметил г-н Бонне,— незначительные разногласия, разделяющие греческую и латинскую церковь, являются причиной антагонизма между Россией и католическими странами, омываемыми Средиземным морем,— антагонизма, который сулит человечеству большие несчастья в будущем.

— Каждый молится своему святому,— улыбаясь, сказала г-жа Граслен.— Господин Гростет думает о потерянных миллиардах, господин Клузье — о нарушенном праве, врач видит в законодательстве проявление темперамента, господин кюре видит в религии препятствие к согласию между Россией и Францией.

— Добавьте еще, сударыня,— отозвался Жерар,— что, по моему мнению, накопление капиталов в руках мелкого буржуа и крестьянина надолго задерживает строительство железных дорог во Франции.

— Чего же вы хотите? — спросила она.

— О, я хочу, чтобы у нас были такие превосходные государственные советники, какие обдумывали законы при императоре, и законодательный корпус, избранный талантами страны наравне с земельными собственниками, единственным назначением которого будет борьба против дурных законов и нелепых войн. Ибо наша палата депутатов в том виде, в каком ее учредили, придет в конце концов к полной анархии в законодательстве.

— Боже мой,— воскликнул кюре в священном порыве патриотизма,— почему же столь просвещенные умы,— он указал на Клузье, Рубо и Жерара,— видя зло и зная целебное средство против него, не применят для начала

лекарство к самим себе! Вы все, представители угнетаемых классов, признаете необходимым, чтобы массы подчинялись государству так же беспрекословно, как солдаты во время войны. Вы хотите единства власти и требуете, чтобы оно никогда не ставилось под сомнение. Но то, чего добилась Англия, пробудив в человеке гордость и стремление к богатству — что тоже является верованием,— у нас можно осуществить только при помощи чувств, порожденных католицизмом,— а вы не католики! Я, священник, выхожу на время из своей роли и принимаюсь размышлять вместе с мыслителями. Как хотите вы, чтобы массы стали религиозны и послушны, если среди вышестоящих они видят безбожие и непокорность? Народы, объединенные верой, всегда легко справятся с народами неверующими. Закон общих интересов, являющийся источником патриотизма, разрушается законом частных интересов, который является источником эгоизма. Прочным и длительным может быть лишь то, что естественно, а в политике естественным началом является семья. Семья должна быть отправной точкой всех установлений. Общие последствия говорят об общих причинах; и то, на что вы все указали с разных точек зрения, проистекает из одного и того же общественного принципа, который лишен силы, ибо основан на свободе воли, а свобода воли — мать индивидуализма. Ставить счастье в зависимость от безопасности, ума и талантов всего общества менее разумно, чем ставить счастье в зависимость от безопасности, ума и талантов отдельной личности. Отдельный человек бывает разумнее, чем вся нация. У народов есть сердце, но нет глаз, они чувствуют, но не видят. Правительства обязаны видеть и не подчиняться чувствам. Есть, следовательно, очевидное противоречие между первыми побуждениями массы и действиями власти, которая должна определять силу и единство массы. Появление великого государя — это дело случая, говоря вашим языком; но вверять себя какому бы то ни было собранию, хотя бы состоящему из честных людей,— безумие. В настоящее время Франция безумна! Увы, вы в этом убеждены не меньше, чем я. Если бы все подобные вам добросовестные люди подали пример, если бы все искусные руки принялись за восстановление алтарей великой республи-

ки душ, единой церкви, которая наставила человечество на правильный путь, мы вновь увидели бы во Франции чудеса, какие творили в ней некогда наши отцы.

— Что поделаешь, господин кюре! — возразил Жерар.— Если говорить, как на духу, то для меня вера— это ложь, которой человек тешит самого себя, надежда— ложь, которую он сочиняет о будущем, а ваша милосердная любовь подобна хитрости ребенка, который хорошо ведет себя, чтобы получить в награду лакомство.

— Однако же, сударь, как хорошо спится, когда нас баюкает надежда,— сказала г-жа Граслен.

Эти слова, остановившие Рубо, который собирался заговорить, встретили молчаливое одобрение Гростета и кюре.

— Не наша вина,— сказал Клузье,— что Иисус Христос не успел сформулировать основы государства, согласные с его моралью, как сделали это Моисей и Конфуций, два величайших законодателя человечества. Ибо и евреи, рассеянные по всей земле, и китайцы, отрезанные от всего мира, существуют все же как нация.

— Ах, я вижу, как много мне предстоит работы! — простодушно воскликнул кюре.— Но я восторжествую, я обращу вас всех!.. Вы сами не подозреваете, как близки вы к вере. За ложью таится истина, сделайте один шаг вперед и оглянитесь!

После этого возгласа разговор принял другое направление.

На следующий день, перед отъездом, Гростет пообещал Веронике принять участие во всех ее планах, как только выяснится возможность их осуществления. Г-жа Граслен и Жерар отправились верхом проводить карету банкира по монтеньякской дороге до шоссе, соединяющего Бордо и Лион. Инженеру так не терпелось осмотреть территорию, а Веронике так хотелось показать ее, что они еще накануне уговорились об этой поездке. Распрощавшись со славным стариком, они пересекли обширную равнину и поехали вдоль горной цепи, от начала подъема, ведущего к замку, до Живой скалы. Теперь инженер мог убедиться в существовании длинного сланцевого выступа, замеченного Фаррабешем. Выступ этот, очевидно, представлял собой последний слой основания холмов. Следовательно, направив воды так, чтобы они не задержива-

лись в естественном желобе, созданном самой природой, и очистив желоб от скопившейся в нем земли, можно было бы произвести орошение всей округи при помощи длинной водосточной трубы, пролегающей почти на десять футов выше равнины. Прежде всего, и это решало дело, следовало определить запас воды, поступающей в поток Габу, и выяснить, не впитываются ли воды склонами русла.

Вероника дала лошадь Фаррабешу, который должен был сопровождать инженера и помогать ему во всех исследованиях. После нескольких дней работы Жерар нашел, что хотя основание двух параллельных горных цепей и состоит из различных пород, оно достаточно прочно, чтобы удержать воду. В течение января следующего года, обильного дождями, он рассчитал количество воды, протекающей в долине Габу. Если к этому запасу добавить воды из трех источников, отведя их также в поток, то общего количества воды будет достаточно для орошения площади в три раза большей, чем монтеньякская равнина. Перекрытие русла Габу и работы, необходимые для того, чтобы по трем долинам направить воду в равнину, должны были стоить не более шестидесяти тысяч франков, ибо на меловом плато инженер нашел кальциты, позволяющие получить дешевую известь, а камень и дерево не стоили ничего и не требовали перевозки. До того времени, пока пересохнет русло Габу — необходимое условие для работы,— можно будет подготовить все материалы, с тем чтобы как можно быстрее осуществить основное сооружение. Но подготовительные работы в равнине, по расчетам Жерара, должны были обойтись не менее чем в двести тысяч франков, помимо издержек на посевы и посадки. Всю равнину следовало разделить на квадратные участки по двести пятьдесят арпанов в каждом и, не распахивая земли, очистить ее от самых крупных камней. Потом землекопы должны будут прорыть множество канав и выложить их камнем, чтобы можно было пускать и задерживать воду по мере надобности, не теряя при этом ни капли. Для подобного предприятия необходимы были усердные руки самоотверженных и сознательных работников. Случай дарил ровную, вполне пригодную площадь и воду, которую можно распределять по желанию благодаря тому, что она падает с десятифу-

товой высоты; итак, все способствовало получению превосходных сельскохозяйственных результатов и созданию таких же великолепных зеленых ковров, какие составляют гордость и богатство Ломбардии. Жерар вызвал из департамента, где служил раньше, старого, опытного десятника по имени Фрескен.

Написав Гростету, г-жа Граслен попросила у него взаймы сто пятьдесят тысяч франков, гарантируя этот заем государственными облигациями, рента с которых должна была в течение шести лет принести сумму, достаточную, по подсчетам Жерара, для погашения долга и оплаты процентов. Заем был заключен в марте. К этому времени проект Жерара, которому помогал его десятник Фрескен, был закончен, равно как сметы, исследования и работы по нивелировке и зондажу.

Весть о начале обширных работ облетела всю округу и всколыхнула неимущее население кантона. Неутомимый Фаррабеш, Колора, Клузье, мэр, Рубо — все люди, преданные своему краю или г-же Граслен, подыскивали работников и отбирали бедняков, на которых можно было положиться. Жерар купил для себя и для г-на Гростета тысячу арпанов земли по другую сторону монтеньякской дороги. Десятник Фрескен тоже купил пятьсот арпанов и вызвал в Монтеньяк жену и детей.

В первых числах апреля 1833 года Гростет прибыл в Монтеньяк осмотреть купленные Жераром земли, а главным образом затем, чтобы привезти г-же Граслен Катрин Кюрье, которая из Парижа в Лимож приехала дилижансом. Они появились в замке, когда г-жа Граслен собиралась в церковь. Г-н Бонне должен был отслужить мессу, дабы призвать благословение божье на готовые к началу работы. В церкви собрались все рабочие, их жены и дети.

— Вот ваша подопечная,— сказал старик, представляя Веронике худенькую, болезненную женщину лет тридцати.

— Вы Катрин Кюрье? — спросила г-жа Граслен.

— Да, сударыня.

Вероника бросила на Катрин быстрый взгляд. Это была довольно высокая, хорошо сложенная девушка с добрым бледным лицом и прекрасными серыми глазами. Овал ее лица и линии лба отличались тем возвышенным

и простым благородством, какое иногда наблюдаешь в деревне у очень молоденьких девушек; эти ранние цветы с ужасающей быстротой гибнут от тяжелой работы в поле, от хозяйственных забот, жары и отсутствия ухода. В ее движениях чувствовалась свобода, присущая деревенским девушкам, но смягченная невольно усвоенными в Париже привычками. Проживи Катрин все это время в Коррезе, несомненно, лицо ее поблекло бы, покрылось морщинами и утратило свои нежные краски. В Париже она побледнела, но сохранила красоту; болезнь, усталость, горе наделили ее таинственным даром грусти и той внутренней духовной жизни, которой лишены бедные сельские жительницы, обреченные на почти животное существование. Ее костюм, отмеченный парижским вкусом, который быстро усваивают даже наименее кокетливые женщины, делал ее непохожей на крестьянку. Бедняжка была очень смущена: она ничего не знала о своей дальнейшей судьбе и не могла еще судить о г-же Граслен.

— Любите ли вы по-прежнему Фаррабеша? — спросила у нее Вероника, когда Гростет оставил их наедине.

— Да, сударыня,— покраснев, ответила Катрин.

— Почему же, раз уж вы послали ему тысячу франков за то время, что он отбывал наказание, вы не отыскали его, когда он вернулся? Он внушает вам отвращение? Доверьтесь мне, как матери. Может быть, вы боялись, что он совсем испортился или разлюбил вас?

— Нет, сударыня, но я совсем неграмотная и служила у очень строгой старой дамы; она заболела, и пришлось ухаживать за ней, не отходя ни на шаг. Хотя, по моим расчетам, день освобождения Жака был близок, я не могла уехать из Парижа, пока не умерла эта дама, которая ничего мне не оставила, несмотря на все мои преданные заботы о ней. Я заболела от переутомления и бессонных ночей и хотела выздороветь раньше, чем возвращаться сюда. Но когда я проела все мои сбережения, пришлось лечь в больницу святого Людовика, а там уж меня вылечили.

— Хорошо, дитя мое,— сказала г-жа Граслен, тронутая этим простодушным объяснением.— Но почему вы так внезапно покинули родителей, почему остави-

ли своего ребенка, почему не давали о себе знать, не попросили кого-либо написать письмо?..

Вместо ответа Катрин заплакала.

— Сударыня,— сказала она наконец, ободренная рукопожатием Вероники,— не знаю, права ли я, но я не в силах была оставаться в деревне. Я сомневалась не в себе, а в других, боялась сплетен, насмешек. Пока Жак подвергался опасности, я была ему нужна, но когда его увезли, я почувствовала, что у меня нет сил: быть девушкой с ребенком и без мужа!.. Самой последней твари жилось бы лучше, чем мне. Не знаю, что бы со мной стало, если бы кто-нибудь сказал дурное слово о Бенжамене или его отце. Я бы наложила на себя руки, помешалась бы. Отец или мать могли бы когда-нибудь в сердцах попрекнуть меня. А я слишком вспыльчива, чтобы терпеть придирки или оскорбления, хотя у меня и мягкий характер. Я была жестоко наказана, ведь я не могла видеть свое дитя, и дня не проходило, чтобы я не вспоминала о нем! Обо мне все забыли, никто обо мне не думал, а этого я и хотела. Все считали, что я умерла, а сколько раз я хотела бросить все и приехать хоть на денек, чтобы взглянуть на своего сыночка!

— Вот ваш сын, дитя мое!

Катрин увидела Бенжамена и задрожала, как в лихорадке.

— Бенжамен,— сказала г-жа Граслен,— обними свою мать.

— Мою мать?! — воскликнул пораженный Бенжамен. Он бросился на шею Катрин, а та сжала его в объятиях, не помня себя от счастья. Но мальчик вдруг вырвался и бросился вон из комнаты, крикнув на ходу:

— Бегу *за ним!*

Госпожа Граслен усадила Катрин, которая едва не лишилась чувств, и увидела г-на Бонне; она невольно покраснела, встретившись с проницательным взглядом своего духовника, словно читавшего в ее сердце.

— Надеюсь, господин кюре,— сказала она дрожащим голосом,— вы не замедлите обвенчать Катрин и Фаррабеша. Узнаете вы господина Бонне, дитя мое? Он расскажет вам, что после своего возвращения Фаррабеш вел себя, как честный человек, и заслужил уважение всей округи; теперь в Монтеньяке вас ждут почет и счастье.

С божьей помощью вы заживете безбедно, потому что я сдам вам в аренду ферму. Фаррабеш снова получил гражданские права.

— Все это верно, дитя мое,— подтвердил кюре.

В этот момент появился Бенжамен, тащивший отца за руку. При виде Катрин и г-жи Граслен Фаррабеш побледнел и замер не в силах произнести ни слова. Он понял, как деятельно добра была одна и как страдала в разлуке другая. Вероника увела кюре, который, в свою очередь, собирался увести ее. Как только они отошли достаточно далеко, чтобы их не могли услышать, г-н Бонне пристально посмотрел на свою духовную дочь, и она, покраснев, с виноватым видом опустила глаза.

— Вы позорите милосердие,— сказал он сурово.

— Но почему? — возразила она, поднимая голову.

— Милосердие настолько же выше любви, сударыня,— продолжал г-н Бонне,— насколько человечество выше одного человека. Все это сделано не от чистого сердца, не во имя одной лишь добродетели. С высот человечности вы упали до культа отдельного человека! Благодеяние, оказанное вами Фаррабешу и Катрин, таит в себе воспоминания и задние мысли, а потому не является заслугой в глазах господа. Вырвите сами из своего сердца жало, оставленное там духом зла. Не лишайте ценности свои деяния. Придете ли вы, наконец, к святому неведению творимого вами добра? Только в нем высшая награда человеческих поступков.

Госпожа Граслен отвернулась и отерла слезы, которые показали кюре, что он коснулся кровоточащей раны в ее сердце. В это время подошли Фаррабеш, Катрин и Бенжамен, чтобы поблагодарить свою благодетельницу, но она знаком велела им удалиться и оставить ее наедине с г-ном Бонне.

— Видите, как я всех огорчила,— сказала она, указав на их опечаленные лица, и кюре, послушавшись своего доброго сердца, знаком велел им вернуться.

— Будьте счастливы,— сказала тогда Вероника.— Вот указ, который возвращает вам гражданские права и избавляет от всех унизительных формальностей,— добавила она, протягивая Фаррабешу бумагу, которую держала в руке.

Фаррабеш почтительно поцеловал Веронике руку и по-

смотрел на нее долгим взглядом, нежным и покорным, спокойным и беспредельно преданным, как взгляд верного пса.

— Жак много страдал, сударыня,— сказала Катрин, и улыбка засветилась в ее прекрасных глазах.— Но я надеюсь дать ему теперь столько счастья, сколько было у него горя. Ведь что бы он ни сделал, он не дурной человек.

Госпожа Граслен отвернулась, сердце ее разрывалось при виде этой счастливой семьи. Г-н Бонне оставил ее и направился в церковь, куда вслед за ним пошла и она, тяжело опираясь на руку Гростета.

После завтрака все отправились посмотреть на открытие работ. Пришли туда и деревенские старики. С высокого склона, по которому поднималась дорога в замок, г-н Гростет, г-н Бонне и стоявшая между ними Вероника могли наблюдать расположение будущих четырех дорог, вдоль которых были сложены собранные камни. Пятеро землекопов, выбрасывая годную землю на края поля, расчищали дорогу шириной в восемнадцать футов. По обе стороны дороги четыре человека копали канавы и тоже выбрасывали землю на поле, возводя длинные насыпи. Позади шли два человека, и по мере того, как продвигалась насыпь, рыли в ней ямы и сажали деревья. На каждом участке тридцать трудоспособных бедняков, двадцать женщин и сорок девушек или детей собирали камни, которые рабочие укладывали вдоль насыпи так, чтобы видно было, сколько камней собрала каждая группа. Таким образом, все работы шли одновременно, и усердные, умелые рабочие быстро справлялись с делом. Гростет обещал г-же Граслен прислать молодые деревья и попросил о том же своих друзей. Питомников замка, разумеется, было недостаточно для таких обширных посадок. В конце дня, незадолго до торжественного обеда в замке, Фаррабеш попросил г-жу Граслен уделить ему несколько минут.

— Сударыня,— сказал он, придя к ней вместе с Катрин,— вы были так добры, что обещали мне дать в аренду ферму возле замка. Оказывая мне эту милость, вы хотели дать мне возможность разбогатеть. Но у Катрин есть некоторые соображения насчет нашего будущего, которые я позволю себе изложить перед вами. Если я разбогатею,

найдутся завистники, пойдут разговоры, я начну опасаться неприятностей, и Катрин никогда не будет спокойна. В общем, нам лучше жить подальше от людей. Поэтому я хочу просить вас дать нам для фермы участок, расположенный в устье Габу, на общинных землях, и к нему клочок леса на обратном склоне Живой скалы. В июле у вас там будет много рабочих, и они без труда построят ферму, выбрав удобное место повыше. Там мы будем счастливы. Я вызову к себе Гепена. Мой освобожденный каторжник будет работать, как лошадь; глядишь. мы и женим его. Сынишка наш тоже не бездельник. Никто не станет подглядывать за нами, мы возделаем этот заброшенный уголок, и я сил не пожалею, чтобы у вас там была знатная ферма. К тому же для большой фермы я могу предложить вам в арендаторы кузена Катрин, у него есть деньги, и он лучше, чем я, справится с такой махиной. Если даст бог, ваше предприятие закончится успешно, то через пять лет у вас будет пять-шесть тысяч голов рогатого скота или лошадей, да и равнина вся будет распахана — тогда, конечно, понадобится умная голова, чтобы во всем разобраться.

Госпожа Граслен согласилась на просьбу Фаррабеша, отдав справедливость его здравому смыслу.

После начала работ в равнине г-жа Граслен зажила размеренной жизнью сельских жителей. Утром она ходила к мессе, занималась воспитанием сына, которого обожала, и обходила работы. После обеда она принимала своих монтеньякских друзей в маленькой гостиной, расположенной на втором этаже павильона часов. Она научила Рубо, Клузье и кюре играть в вист, которым увлекался Жерар. В девять часов, закончив партию, все расходились по домам. Единственными событиями этой тихой жизни были успехи той или иной части большого дела.

В июне русло Габу пересохло, и Жерар переселился в дом сторожа. Фаррабешу уже построили к этому времени ферму в устье Габу. Пятьдесят каменщиков, прибывших из Парижа, возвели между двумя горными склонами стену толщиной в двадцать футов, которая опиралась на бетонное основание, заложенное на глубине двенадцати футов. Эта стена вышиной примерно в шестьдесят футов постепенно сужалась и в верхнем сечении

достигала не более десяти футов толщины. Со стороны долины Жерар пристроил к стене бетонный подпор, в основании достигавший двенадцати футов. Со стороны мелового плато такой же подпор был покрыт слоем плодородной земли. Следовательно, грандиозное сооружение было надежно укреплено и вода не могла прорвать его. На соответствующей высоте инженер предусмотрел водослив на случай особо обильных дождей. Каменная кладка доходила в каждой горе до туфа или до гранита, с тем чтобы вода нигде не могла просочиться. Мощная преграда была закончена в середине августа. К этому же времени Жерар подготовил три канала в трех основных долинах; все работы обошлись дешевле, чем было предусмотрено его сметой. Теперь можно было завершить постройку фермы при замке. Фрескен, ведя ирригационные работы в равнине, использовал канал, прорытый самой природой вдоль подножия горной цепи, и от него отвел оросительные канавы. Каждая канава была снабжена шлюзом и выложена имевшимися в изобилии камнями, что позволяло держать воду на нужном уровне.

Каждое воскресенье, после мессы, Вероника, инженер, кюре, врач и мэр спускались парком в равнину и наблюдали за движением воды. Зима 1833—1834 года была очень дождлива. Воды трех ручьев, направленные в русло потока, и дождевая вода превратили долину Габу в три пруда, расположенных на разной высоте, с тем чтобы создать запас воды на случай засухи. В тех местах, где долина расширялась, Жерар, использовав несколько пригорков, превратил их в островки и засадил разнообразными деревьями. Эта сложная операция совершенно изменила весь ландшафт, но для того, чтобы он принял подлинный свой облик, требовалось еще пять или шесть лет. «Наш край был совсем голым,— говорил Фаррабеш,— мадам подарила ему одежду».

После проделанных великих преобразований Веронику стали звать *мадам* во всей округе. В июне 1834 года, когда прекратились дожди, в засеянных лугах испытали оросительную систему, и щедро напоенная молодая зелень показала превосходные качества, не уступая травам итальянских *марчити* и швейцарских лугов. Сеть каналов, устроенная по образцу ломбардских ферм, позволяла также поливать участки с гладкой, как ковер,

поверхностью. Содержащаяся в снегу селитра, растворяясь в воде, немало способствовала прекрасному качеству трав. Инженер надеялся, что они будут не хуже трав Швейцарии, для которой селитра, как известно, является неиссякаемым источником богатства. Деревья, посаженные вдоль дорог, получали достаточно влаги благодаря оставшейся в канавах воде и быстро росли. Итак, в 1838 году, через пять лет после начала задуманных г-жой Граслен преобразований, невозделанная монтеньякская долина, которую двадцать поколений считали совершенно бесплодной, стала зеленой, цветущей и плодородной. Жерар выстроил здесь пять ферм с земельными участками в тысячу арпанов каждый, не считая главной фермы при замке. Фермы Жерара, Гростета и Фрескена, которые получали избыток воды из владений г-жи Граслен, были возведены по такому же плану, и хозяйство в них велось по той же методе. В своем имении Жерар построил прелестный павильон. Когда все работы были закончены, жители Монтеньяка по предложению мэра, с радостью сложившего свои обязанности, выбрали мэром коммуны Жерара.

В 1840 году, по случаю отправки первого стада быков на парижские рынки, в Монтеньяке состоялся сельский праздник. На фермах равнины выращивали крупный рогатый скот и лошадей; после расчистки почвы здесь был обнаружен слой плодородной земли, которая в дальнейшем могла бы еще больше обогатиться благодаря ежегодным накоплениям перегноя, удобрению, остающемуся после выпаса скота, а главное, талым водам, собирающимся в бассейне Габу.

В этом году г-жа Граслен сочла необходимым пригласить воспитателя к своему сыну, которому исполнилось одиннадцать лет: она не хотела расставаться с ним, но, однако, хотела, чтобы он был образованным человеком. Г-н Бонне написал в семинарию. Г-жа Граслен, со своей стороны, сообщила о своих пожеланиях и заботах монсеньеру Дютейлю, недавно посвященному в сан архиепископа. Выбор человека, которому предстояло прожить в замке не менее девяти лет, был большой и серьезной задачей. Жерар еще раньше предложил обучить своего друга Франсиса математике, но он не мог заменить воспитателя; выбор подходящего человека тем более

тревожил г-жу Граслен, что она чувствовала, как пошатнулось ее здоровье. Чем краше расцветал ее любимый Монтеньяк, тем с большей суровостью, тайно от всех, умерщвляла она свою плоть. Монсеньер Дютейль, с которым она состояла в постоянной переписке, подыскал ей нужного человека. Из своей епархии он прислал молодого учителя, по складу своему призванного быть воспитателем в частном доме. Рюффен обладал обширными знаниями; тонкая чувствительность его натуры не исключала строгости, необходимой для воспитателя, руководящего развитием ребенка; набожность молодого учителя ни в чем не умаляла его учености; и, наконец, он отличался терпением и приятной внешностью. «Этот юноша — подлинный подарок для вас, дорогая дочь моя,— писал прелат,—он достоин воспитывать принца. Надеюсь, вы позаботитесь о его будущем, ибо он станет духовным отцом вашего сына».

Господин Рюффен так понравился интимному кружку г-жи Граслен, что его приезд ничуть не нарушил отношений близких друзей, ревниво оспаривавших каждый час, каждую минуту своего кумира.

В 1843 году процветание Монтеньяка превзошло самые смелые надежды. Ферма в устье Габу соревновалась с фермами равнины, а ферма при замке подавала пример во всех усовершенствованиях. Остальные пять ферм, арендная плата которых, постоянно возрастая, достигла в течение двенадцати лет тридцати тысяч франков за каждую, приносили теперь шестьдесят тысяч франков дохода. Фермеры, которые начали пожинать плоды и своих трудов и жертв, принесенных г-жой Граслен, могли теперь приступить к удобрению лугов равнины, где росли травы высокого качества, не боявшиеся никакой засухи. Арендаторы фермы Габу с радостью внесли первую арендную плату в четыре тысячи франков. В этом году один из жителей Монтеньяка установил ежедневное сообщение дилижансом между Лиможем и центром округа. Племянник г-на Клузье продал должность судебного пристава и открыл в Монтеньяке нотариальную контору. Административные власти назначили Фрескена сборщиком податей в кантоне. Новый нотариус построил себе хорошенький домик в верхнем Монтеньяке, посадил на своем участке тутовые деревья и стал помощником Же-

рара. Инженер, воодушевленный отличными успехами, задумал осуществить проект, способный принести неисчислимые богатства г-же Граслен, которая с этого года начала получать ренту, до сего времени уходившую на выплату займа. Жерар решил превратить в канал маленькую речушку и направить в нее избыточные воды потока Габу. Канал, впадавший в Вьену, позволил бы эксплуатировать двадцать тысяч арпанов леса, который заботами Колора содержался в отменном порядке, но за отсутствием средств сообщения не приносил никакого дохода. Определив оборот рубки и восстановления леса в двадцать лет, можно было бы вырубать ежегодно по тысяче арпанов и сплавлять в Лимож ценный строительный материал. Таково было и намерение покойного Граслена, который, в свое время не очень прислушиваясь к планам кюре, касающимся равнины, серьезно задумывался над превращением речки в канал.

ГЛАВА V

ВЕРОНИКА В МОГИЛЕ

В начале следующего года, несмотря на всю сдержанность г-жи Граслен, друзья стали замечать в ее состоянии страшные предвестия близкой кончины. На все увещевания доктора Рубо, на самые хитрые вопросы самых проницательных ее друзей у Вероники был один ответ: она чувствует себя превосходно. Весной она совершила осмотр своих лесов, ферм и прекрасных лугов, но в ее детской радости ясно читались печальные предчувствия.

Когда выяснилось, что необходимо возвести бетонную стену от плотины Габу до монтеньякского парка — вдоль подножия так называемого Коррезского холма,— Жерар решил огородить весь монтеньякский лес, присоединив его к парку. Г-жа Граслен назначила ежегодную сумму в тридцать тысяч франков на эти работы, которые требовали не менее семи лет, но зато должны были защитить великолепный лес от права порубки, предоставляемого местным властям по отношению к неогороженным частным лесным угодьям. Таким образом, три пруда долины Габу оказались в пределах парка. Посередине каждого пруда, гордо именовавшихся озерами, находился зеленый островок. В этом году Жерар, сговорив-

шись с Гростетом, приготовил Веронике сюрприз ко дню ее рождения. Он построил на самом большом острове, расположенном во втором пруду, маленький домик, с виду довольно непритязательный, но внутри отделанный с изысканным вкусом. Бывший банкир охотно принял участие в заговоре, к которому присоединились также Фаррабеш, Фрескен, племянник Клузье и большинство богатых жителей Монтеньяка. Гростет прислал для домика прелестную мебель. Башенка дома, скопированная с колокольни Веве, производила чарующее впечатление на фоне зелени. Зимой Фаррабеш и Гепен с помощью монтеньякского плотника тайно соорудили, выкрасили и оснастили шесть лодок — по две для каждого пруда.

В середине мая, после завтрака, который г-жа Граслен дала для друзей, они повели ее через великолепно разбитый парк, о котором последние пять лет Жерар заботился как архитектор и ботаник, в прелестный луг долины Габу. Там, у берегов первого озера, плавали две лодочки. Луг, орошенный несколькими чистыми ручьями, лежал в самом низу прекрасного амфитеатра, от которого начинается долина Габу. Искусно расчищенный лес, то образуя живописные заросли, то открывая глазу очаровательные просеки, окружал луг, придавая ему столь милую сердцу уединенность. На пригорке Жерар выстроил точную копию шале из Сионской долины, которым любуются все путешественники на пути в Бригг. В этом уголке он собирался поместить молочную ферму замка. С крытого балкона открывался вид на созданный инженером ландшафт,— пруды придавали ему сходство с прекраснейшими местами Швейцарии. День был великолепный. На голубом небе — ни облачка; на земле — пленительные картины, возможные только в чудесном месяце мае. Деревья, посаженные десять лет назад вдоль берегов,— плакучие ивы, вербы, ольха, ясени, голландские, итальянские и виргинские тополи, боярышник и терновник, акации, березы, все тщательно отобранные, расположенные в красивых сочетаниях на подходящей для каждого вида почве,— удерживали в своей листве испарения, легким туманом поднимавшиеся над водой. Водная гладь, ясная, как зеркало, и спокойная, как небо, отражала зеленую чащу леса; вершины деревьев четко вырисовывались в прозрачном воздухе, возвышаясь над подер-

нутым дымкой плотным кустарником. Пруды, отделенные друг от друга мощными плотинами, сверкали, как три зеркала с различным углом отражения; вода звонкими каскадами переливалась из одного водоема в другой. По плотинам можно было пройти с берега на берег, не огибая для этого всю долину. С балкона шале сквозь деревья видны были бесплодные плоские степи общинных земель, беспредельные, словно открытое море, и резко отличавшиеся от цветущей природы озер и лесов.

Когда Вероника увидела радость друзей, помогавших ей сесть в самую большую лодку, слезы выступили у нее на глазах, и она не могла произнести ни слова, пока лодка не достигла первой плотины. В то время, как все поднялись на плотину, чтобы перейти в следующую флотилию, Вероника заметила на острове прелестный новый домик и Гростета, сидевшего на скамье со всей своей семьей.

— Им хочется, чтобы я пожалела о жизни?—спросила она у кюре.

— Нам хочется помешать вам умереть,— ответил Клузье.

— Нельзя вернуть жизнь мертвецам,—возразила Вероника.

Господин Бонне бросил на свою духовную дочь суровый взгляд, и она снова замкнулась в себе.

— Позвольте мне заботиться о вашем здоровье,— нежным, умоляющим голосом произнес Рубо,— и я сохраню для кантона его живую славу, а для всех нас — друга, связующего воедино наши жизни.

Вероника опустила голову. Жерар начал медленно грести к острову, лежавшему посреди самого большого пруда. Вдали звенела вода, падающая из первого переполненного сейчас водоема, оглашая словно песней пленительный пейзаж.

— Вы хорошо сделали, избрав для прощания со мной этот восхитительный уголок,— сказала она, любуясь красивыми деревьями, закрывшими своей густой листвой оба берега.

В знак неодобрения друзья позволили себе лишь мрачное молчание, и Вероника, снова встретив взгляд г-на Бонне, легко соскочила на берег и постаралась принять веселый вид. Она снова стала владетельницей зам-

ка и была так очаровательна, что семья Гростета узнала в ней прекрасную г-жу Граслен прошлых дней.

— Ты можешь еще жить! — шепнула ей на ухо мать.

В этот прекрасный праздничный день, среди великолепия, созданного силами самой природы, ничто, казалось, не должно было огорчить Веронику, и все же именно тут настиг ее последний удар.

Общество собиралось вернуться в замок к девяти часам по пролегающим через луга дорогам, которые, не уступая по красоте английским и итальянским, являлись гордостью инженера. Запасы камней, сложенных во время расчистки равнины вдоль дорог, позволяли содержать их в таком порядке, что через пять лет они стали походить на шоссе. При выходе из первого ущелья, со стороны равнины почти у самого подножия Живой скалы, гостей поджидали экипажи. Вся упряжка состояла из лошадей, выращенных в Монтеньяке. Это было первое поколение, годное для продажи; управляющий конным заводом отобрал десять лошадей для конюшни замка, и испытание их качеств входило в программу праздника. Коляска г-жи Граслен, подарок Гростета, была запряжена четверкой самых красивых горячих коней в простой сбруе.

После обеда оживленное общество отправилось пить кофе в деревянной беседке, выстроенной по образцу беседок Босфора и расположенной на оконечности острова, откуда открывался вид на третий пруд. Домик Колора,—который, увидев, что ему не под силу выполнять трудные обязанности главного лесничего, сейчас занял место Фаррабеша,— составлял одну из главных прелестей пейзажа, замкнутого мощной плотиной Габу, красиво выделявшейся на фоне пышной зеленой растительности.

Госпожа Граслен надеялась увидеть из беседки Франсиса, который бегал где-то возле питомника, выращенного Фаррабешем. Она разыскивала его взглядом, но никак не могла найти; г-н Рюффен показал ей мальчика: он играл с детьми внучек Гростета на берегу озера. Вероника испугалась, как бы он не упал в воду. Никого не слушая, она вышла из беседки, вскочила в лодку, велела высадить себя на плотине и побежала к сыну. Это небольшое происшествие послужило сигналом к отъезду. Почтен-

ный прадед Гростет предложил вернуться по живописной тропинке, которая огибала последние два озера, следуя прихотливым извивам гористых берегов. Издали г-жа Граслен увидела, что Франсиса обнимает какая-то женщина в трауре. Судя по форме шляпы и покрою платья, женщина эта была иностранкой. Испуганная Вероника позвала сына, который тотчас же прибежал.

— Кто эта женщина?—спросила она у детей.—И почему Франсис ушел от вас?

— Эта дама назвала его по имени,— сказала одна из девчушек.

В это время к ним подошли Жерар и матушка Совиа, опередившие остальных.

— Кто эта женщина, дорогой мой мальчик? — спросила г-жа Граслен у Франсиса.

— Я ее не знаю,— ответил малыш.— Но, кроме тебя и бабушки, никто меня так не ласкал. Она плакала,— шепнул он матери на ухо.

— Хотите, я побегу за ней? — предложил Жерар.

— Нет! — ответила г-жа Граслен непривычно резким тоном.

С чуткостью, которую Вероника сразу оценила, Жерар увел детей навстречу остальным гостям и оставил ее с матерью и сыном.

— Что она тебе сказала? — спросила старуха Совиа у внука.

— Не знаю, она говорила не по-французски.

— Ты ничего не понял? — спросила Вероника.

— Ах, она повторяла без конца одно и то же, вот почему я и запомнил: *dear brother*.

Вероника оперлась о руку матери, не выпуская руки сына. Но едва она сделала несколько шагов, как силы покинули ее.

— Что с ней? Что случилось? — спрашивали все у матушки Совиа.

— О! Моей дочери совсем плохо! — прерывающимся глухим голосом ответила старуха.

Госпожу Граслен отнесли в коляску на руках. Она пожелала, чтобы Алина с Франсисом сели с ней, и взяла в провожатые Жерара.

— Вы, кажется, бывали в Англии,— сказала она ему,

немного оправившись,— и знаете английский. Что значит: dear brother?

— Кто же этого не знает! — воскликнул Жерар.— Это значит: *дорогой брат*.

Вероника бросила на мать и на Алину взгляд, от которого они затрепетали, но обе сдержали свое волнение.

Радостные крики, сопровождавшие отъезд, великолепие солнечного заката, безукоризненный бег лошадей, скачка следующих за экипажами всадников — ничто не могло вывести г-жу Граслен из оцепенения. Мать поторопила кучера, и коляска первой подъехала к замку. Когда общество вновь соединилось, гостям сообщили, что Вероника заперлась у себя и никого не принимает.

— Боюсь,— сказал Жерар друзьям,— что госпоже Граслен нанесен смертельный удар.

— Куда? Как? — раздались вопросы.

— В сердце,— ответил Жерар.

На третий день Рубо выехал в Париж; он нашел положение г-жи Граслен настолько серьезным, что для спасения ее жизни решил обратиться за помощью и советом к лучшему парижскому врачу. Но Вероника согласилась принять Рубо лишь затем, чтобы положить конец уговорам матери и Алины, умолявших ее позаботиться о себе: она чувствовала, что ранена насмерть. Она отказалась видеть г-на Бонне, велев ему передать, что еще не пришло время. Все приехавшие из Лиможа друзья пожелали остаться подле Вероники, но она просила извинить ее, если она изменит долгу гостеприимства; ей хотелось остаться в полном одиночестве. После поспешного отъезда Рубо гости монтеньякского замка вернулись в Лимож растерянные и подавленные, ибо все, кого привез с собой Гростет, обожали Веронику. Друзья терялись в догадках относительно причины этого таинственного несчастья.

Вечером, через два дня после отъезда многочисленного семейства Гростет, Алина ввела в комнату г-жи Граслен Катрин. Жена Фаррабеша остановилась как вкопанная при виде перемены, происшедшей с ее хозяйкой: Веронику нельзя было узнать.

— Господи,— воскликнула она,— какую беду натворила эта несчастная девушка! Знай мы об этом с Фаррабешем, ни за что бы ее не пустили к себе. Теперь она

проведала, что мадам больна, и послала меня сказать госпоже Совиа, что хочет поговорить с ней.

— Она здесь! — вскричала Вероника.— Где же она?

— Муж отвел ее в шале.

— Отлично,— сказала г-жа Граслен,— оставьте нас и скажите Фаррабешу, что он может уйти. Передайте этой даме, что моя мать придет к ней, пусть она ждет.

С наступлением ночи Вероника вышла из дому и, опираясь на руку матери, медленным шагом направилась через парк к шале. Луна блистала, воздух был чист, природа словно хотела подбодрить взволнованных женщин. Матушка Совиа по временам останавливалась, чтобы дать отдых дочери; страдания Вероники были так невыносимы, что они только к полуночи вышли на тропинку, спускавшуюся из лесу к поросшему травой пригорку, на котором поблескивала серебристая кровля шале. Озаренная луной спокойная гладь озер отливала перламутром. Легкие ночные звуки, отчетливо слышные в тишине, сливались в сладостную гармонию. Вероника присела на скамейку, и со всех сторон ее обступила прекрасная звездная ночь. Тихий разговор двух голосов и скрип песка под шагами двоих людей донеслись издали по воде, которая передает все звуки в тишине так же верно, как отражает предметы в спокойную погоду. Вероника различила мягкий голос священника, шелест его сутаны и шуршание шелковой, должно быть, женской, одежды.

— Уйдем,— сказала Вероника матери.

Они вошли в низкое помещение, предназначавшееся для хлева, и присели на ясли.

—Дитя мое,— говорил священник,— я не браню вас, вы заслуживаете прощения, но по вашей вине может произойти непоправимое несчастье, ибо она душа этого края.

— О сударь, я уеду сегодня же,— отвечала чужестранка,— но я должна сказать вам, что покинуть родину второй раз — для меня равносильно смерти. Если бы я хоть один еще день осталась в этом ужасном Нью-Йорке, в Соединенных Штатах, где не знают ни надежды, ни веры, ни милосердия, я умерла бы, даже ничем не болея. Воздух, которым я дышала, разрывал мне грудь, пища не насыщала меня. я умирала, хотя с виду была полна жизни и здоровья. Муки мои прекратились, едва я ступи-

ла на палубу корабля: я почувствовала себя во Франции. О сударь! Я видела, как умерли с горя моя мать и одна из невесток. Мой дедушка Ташрон и моя бабушка тоже умерли, умерли, дорогой мой господин Бонне, несмотря на невиданное процветание Ташронвиля. Да, мой отец основал поселок в штате Огайо. Этот поселок превратился чуть ли не в город, и треть принадлежащих ему земель обрабатывает наша семья, которой во всем помогает бог: посевы наши удались, продукты у нас отменные, и мы богаты. Мы даже выстроили католическую церковь. Все жители нашего города — католики, мы не допускаем людей другой веры и надеемся своим примером обратить тысячи сект, которые нас окружают. Истинную религию исповедует меньшинство в этой мрачной стране денег и расчета, где стынет человеческая душа. И все же я вернусь туда и лучше умру, чем причиню малейшее горе матери нашего дорогого Франсиса. Об одном только прошу вас, господин Бонне, проводите меня сегодня ночью на кладбище, чтобы я могла помолиться на *его* могиле. Она одна влекла меня сюда; но, приближаясь к месту, где он лежит, я чувствовала, что становлюсь совсем другой. Нет! Никогда я не думала, что буду так счастлива здесь!

— Ну что ж,— сказал кюре,— пойдемте. Если настанет день, когда вы сможете вернуться без помехи, я напишу вам, Дениза. Быть может, побывав на родине, вы будете меньше страдать на чужбине...

— Покинуть родину теперь, когда она так прекрасна! Подумайте только, что сделала г-жа Граслен с потоком Габу,— сказала девушка, указывая на озаренный луной пруд.— И все эти владения будут принадлежать нашему дорогому Франсису!

— Нет, вы не уедете, Дениза,— произнесла г-жа Граслен, появляясь в дверях хлева.

Сестра Жана-Франсуа Ташрона всплеснула руками при виде заговорившего с ней призрака. Бледная, освещенная луной Вероника казалась привидением, которое возникло из сгустившегося за дверью мрака. Глаза ее сверкали, как звезды.

— Нет, дочь моя, вы не покинете родную землю, ради которой приехали из такой дали, и вы будете тут сча-

стливы, или бог откажется помогать мне в моих делах. Ведь это он послал вас сюда!

Она взяла пораженную Денизу за руку и повела ее по тропинке на другой берег озера, оставив мать на скамейке вместе с кюре.

— Предоставим ей поступать по собственной воле,— сказала старуха.

Через несколько минут Вероника вернулась одна. Кюре и мать довели ее до замка. Очевидно, Вероника решила держать свой замысел в тайне, ибо никто в деревне не видел Денизу и ничего о ней не слышал.

Госпожа Граслен слегла в постель и больше уже не вставала. С каждым днем ей становилось все хуже; она досадовала, что не может подняться, не раз пыталась выйти на прогулку в парк, но напрасно. И все же в начале июня, через несколько дней после рокового происшествия, сделав отчаянное усилие, она поднялась и пожелала принарядиться и надеть драгоценности, словно в праздничный день. Она попросила Жерара подать ей руку,— инженер, так же как все друзья, каждый день приходил справляться о ее здоровье. Когда Алина сказала что ее хозяйка хочет погулять, все прибежали в замок. Г-жа Граслен, которая собрала все свои силы, казалось, исчерпала их во время этой прогулки. Она выполнила свое намерение огромным напряжением воли, и это неизбежно должно было привести к роковым последствиям.

— Пойдемте в шале, но только вдвоем,— нежным голосом сказала она Жерару, глядя на него с некоторым кокетством.— Это, наверно, моя последняя вольная выходка: сегодня ночью мне снилось, что приехали врачи.

— Вы хотите осмотреть леса? — спросил Жерар.

— Да, последний раз,— ответила она и добавила таинственным тоном: — Но, кроме того, я хочу сделать вам одно странное предложение.

Вероника велела Жерару сесть с ней в лодку на втором озере, к которому они пришли пешком. Когда инженер, удивляясь про себя тому, что она сделала такую дальнюю прогулку, взялся за весла, она указала ему на свой домик — это была цель их путешествия.

— Друг мой,— продолжала она, помолчав и обведя долгим взглядом небеса, воду, холмы и берега,— у меня

к вам весьма странная просьба, но я надеюсь, что мою просьбу вы исполните.

— Любую! Я уверен, что вы можете хотеть только добра! — воскликнул он.

— Я хочу женить вас,— продолжала она,— и вы исполните желание умирающей, уверенной в том, что она создаст ваше счастье.

— Но я слишком безобразен,— возразил инженер.

— Девушка эта хороша, она молода, она хочет жить в Монтеньяке. Если вы женитесь на ней, вы скрасите последние дни моей жизни. Нам нечего говорить о ее душевных качествах, это — существо избранное. А так как одного взгляда достаточно, чтобы оценить ее прелесть, молодость и красоту, то мы сейчас и увидимся с ней. На обратном пути вы мне ответите окончательно: *да* или *нет*.

После этого доверительного сообщения инженер стал грести так торопливо, что вызвал невольную улыбку на губах г-жи Граслен. Дениза, которая скрывалась от всех глаз в домике на острове, узнав г-жу Граслен, поспешила открыть дверь. Вероника и Жерар вошли. Бедная девушка вспыхнула, встретив взгляд инженера, который был поражен ее красотой.

— Катрин позаботилась о вас? — спросила Вероника.

— Как видите, сударыня,— ответила Дениза, показав накрытый к завтраку стол.

— Вот господин Жерар, о котором я вам говорила,— продолжала Вероника.— Он станет опекуном моего сына, и после моей смерти вы вместе будете жить в замке до совершеннолетия Франсиса.

— О сударыня, не говорите так!

— Но посмотрите на меня, дитя мое,— сказала она Денизе, у которой сразу выступили слезы на глазах.— Она приехала из Нью-Йорка,— обратилась Вероника к Жерару.

Этими словами она вовлекла Жерара в разговор. Он задал несколько вопросов Денизе, и Вероника отпустила их посмотреть третье озеро Габу и тем временем побеседовать. Около шести часов Жерар и Вероника возвращались в лодке обратно к шале.

— Что вы мне скажете? — спросила она, глядя на инженера.

— Даю вам свое слово.

— Хотя вы и лишены предрассудков,— продолжала она,— я должна вам рассказать об ужасных обстоятельствах, вынудивших бедную девочку покинуть деревню, куда ее вновь привела тоска по родине.

— Какой-нибудь проступок?

— О, нет! — воскликнула Вероника.— Неужели бы я тогда знакомила вас? Она сестра молодого рабочего, который погиб на эшафоте...

— А! Ташрона,— подхватил Жерар,— убийцы папаши Пенгре...

— Да, она сестра убийцы,— повторила г-жа Граслен с невыразимой иронией,— можете взять обратно свое слово...

Она не кончила фразы; Жерару пришлось на руках отнести ее в шале, где она пролежала несколько минут без чувств. Очнувшись, она увидела у своих ног Жерара, который воскликнул, едва она открыла глаза:— Я женюсь на Денизе!

Госпожа Граслен подняла Жерара и, взяв его за голову, поцеловала в лоб. Заметив, что он удивлен подобным выражением благодарности, Вероника пожала ему руку и сказала:

— Скоро вы узнаете разгадку этой тайны. Поторопимся вернуться на террасу, где ждут нас друзья. Уже очень поздно, а я очень слаба, но все же хоть издали я хочу попрощаться со своей дорогой равниной!

День был знойный, но грозы, которые, пощадив Лимузен, прокатились в этом году по большей части Европы и Франции, достигли теперь бассейна Луары, и воздух к вечеру посвежел. На фоне ясного неба четко рисовались все линии горизонта. Какими словами описать чудесную музыку приглушенных шумов деревни, встречающей тружеников после возвращения с полей? Для того, чтобы воссоздать это зрелище, нужно быть и великим пейзажистом и живописцем человеческих лиц. В непередаваемом своеобразном единении сливаются усталость человека и усталость природы. Малейший шум полнозвучно отдается в разреженном воздухе остывающего жаркого дня. Женщины сидят у порога и, поджидая муж-

чин, с которыми зачастую прибегают и ребятишки, судачат между собой, продолжая усердно вязать. Над крышами вьется дымок, предвещая последнюю дневную трапезу, самую радостную для крестьян: после нее они лягут спать. В общем оживлении отражаются спокойные, счастливые мысли людей, завершивших трудовой день. Слышны вечерние песни, совсем непохожие на утренние. В этом сельские жители подобны птицам, чье вечернее воркование так отличается от веселых утренних трелей. Природа поет гимн отдыху, как по утрам поет она радостный гимн восходящему солнцу. Все живое окрашено нежными гармоническими красками, которые закат разливает по деревне, сообщая мягкий оттенок даже песку на проселочных дорогах. Если кто и посмеет противиться чарам этого прекраснейшего часа, его покорят цветы своим пьянящим благоуханием, неотделимым от нежного звона насекомых, от влюбленного щебета птиц. Распаханное поле за деревней подернулось легкой прозрачной дымкой тумана. На луговых просторах, прорезанных большой дорогой, обсаженной хорошо принявшимися, тенистыми тополями, акациями и японскими айлантами, гуляют огромные превосходные стада; коровы разбрелись по лугам — одни жуют жвачку, другие еще пасутся. Женщины, мужчины и дети заняты прекраснейшей из полевых работ: косят сено. Вечерний воздух, освеженный дыханием дальней грозы, доносит живительный аромат скошенной травы и уже увязанного в вязанки сена. Вся прекрасная панорама открывалась глазу до мельчайших подробностей; были ясно видны работавшие люди: кто, опасаясь грозы, поспешно метал стога, вокруг которых суетились подносчики с охапками сена на вилах; кто нагружал повозки вязанками сена; кто еще косил вдалеке; кто ворошил лежавшую длинными пластами траву, чтобы она скорее сохла; кто сгребал ее в маленькие стожки. Слышны были крики и смех ребятишек, кувыркавшихся в куче сена. Мелькали розовые, красные и голубые юбки, косынки, загорелые руки и ноги женщин, защищенных от солнца широкополыми соломенными шляпами, темные рубахи и белые штаны мужчин. Последние солнечные лучи просачивались сквозь листву тополей, посаженных вдоль канав, деливших равнину на неравные участки, и озаряли разбросанные по лугам повозки, за-

пряженные лошадьми, пасущиеся стада, пестрые группы мужчин, женщин и детей. Погонщики быков и пастушки начали сгонять свои стада, сзывая их пением пастушьего рожка. Эта сцена была одновременно шумной и безмолвной — странное противоречие, которое удивит лишь людей, незнакомых с прелестями сельской жизни. С обоих концов в деревню непрерывной чередой въезжали повозки, нагруженные зеленым сеном. В этом зрелище было что-то завораживающее. И Вероника молча шла между кюре и Жераром. Когда через проулок между домами, расположенными ниже террасы и церкви, открылся вид на главную улицу Монтеньяка, Жерар и г-н Бонне заметили, что взгляды всех женщин, мужчин и детей устремлены на них, а главным образом, конечно, на г-жу Граслен. Сколько любви и признательности выражали эти лица! Какие благословения летели вслед Веронике! С каким набожным почтением смотрели все на трех благодетелей этого края! Так человек сливал свой благодарственный гимн с торжественной музыкой вечера.

Госпожа Граслен не отрывала глаз от великолепной зелени лугов—самого любимого ее детища, но священник и мэр наблюдали за стоящими внизу крестьянами; в выражении их лиц трудно было ошибиться: на них читались скорбь, печаль и сожаления, смешанные с надеждой. Все в Монтеньяке знали, что г-н Рубо отправился в Париж за учеными людьми и что благодетельницу кантона сразил смертельный недуг. На всех рынках в округе десяти лье крестьяне спрашивали у жителей Монтеньяка: «Как чувствует себя ваша хозяйка?» И великая тайна смерти парила над деревней, над этой мирной сельской картиной. Далеко в лугах косарь, отбивавший косу, девушка с вилами в руках, фермер, стоявший на стогу, глубоко задумывались при виде этой великой женщины, славы департамента Коррезы, они искали признаков благодетельной перемены и любовались Вероникой, радуясь и забывая о работе. «Она гуляет, значит, ей стало полегче!» Эти простые слова были на устах у всех.

Мать г-жи Граслен сидела на железной скамье, которую Вероника велела поставить в углу террасы, откуда открывался вид на кладбище. Она смотрела, как идет Вероника по дорожке, и слезы струились у нее по лицу.

Мать знала, что, собрав все свое мужество, Вероника борется с предсмертными муками и держится на ногах лишь благодаря героическим усилиям воли. Эти почти кровавые слезы, пробежавшие по изрезанному морщинами пергаментному лицу, никогда не выдававшему ни малейшего волнения, вызвали ответные слезы у маленького Франсиса, который сидел на коленях у г-на Рюфена.

— Что с тобой, дитя мое? — испуганно спросил воспитатель.

— Бабушка плачет,— ответил мальчик.

Господин Рюфен, который смотрел на приближавшуюся к ним г-жу Граслен, перевел взгляд на матушку Совиа, и сердце у него дрогнуло, когда он увидел это старое лицо римской матроны, окаменевшее от горя и залитое слезами.

— Почему вы не уговорили ее остаться дома, сударыня? — спросил воспитатель у старой матери, немое горе которой было для всех священно.

Вероника шла величественной походкой, держась с обычным своим изяществом, и тут у матушки Совиа, впавшей в отчаяние при мысли, что она переживет свою дочь, вырвались слова, которые многое объяснили.

— Она ходит,—крикнула старуха,— ходит, а на ней эта страшная власяница, которая исколола всю ее кожу!

При этих словах молодой человек похолодел. Он всегда восхищался грациозными движениями Вероники и содрогнулся, подумав об этой ужасной неусыпной власти души над телом. Любая парижанка, славившаяся непринужденностью обращения, осанкой и походкой, должна была бы уступить пальму первенства Веронике.

— Она не снимает ее вот уже тринадцать лет, с тех пор, как перестала кормить малютку,— продолжала старуха, указав на Франсиса.— Здесь она сотворила чудеса, но если бы стало известно, как она живет, ее бы канонизировали. С тех пор, как мы здесь, никто не видел, чтобы она ела. А знаете, почему? Три раза в день Алина приносит ей кусок черствого хлеба и сваренные без соли овощи в глиняной миске, из которой разве только собак кормить! Да, вот как питается женщина, которая вернула жизнь всему кантону. Она молится, стоя коленями на подоле своей власяницы. Если бы она не умерщвляла свою плоть, говорит она, никогда бы вы не видели ее такой

веселой. Я говорю это вам,— продолжала старуха шепотом,— чтобы вы все рассказали врачу, за которым поехал в Париж г-н Рубо. Если он запретит моей дочери продолжать покаяние, быть может, он спасет ей жизнь, хотя рука смерти уже занесена над ее головой. Взгляните на нее! Ах! Сколько сил понадобилось мне, чтобы вынести эти пятнадцать лет!

Старуха взяла внука за руку, провела ею по своему лбу и щекам, словно эта детская ручонка источала целительный бальзам, и прижалась к ней поцелуем, полным любви, тайна которой принадлежит бабушкам наравне с матерями. Вероника вместе с Клузье, священником и Жераром была уже в нескольких шагах от скамьи. Озаренная мягким светом заката, она блистала пугающей красотой. На ее пожелтевшем лбу, прорезанном длинными морщинами, набегающими одна на другую, словно облака, лежала печать упорной мысли и внутренних тревог. Лишенное красок, совершенно белое лицо отличалось матовой зеленоватой белизной растений, не знающих солнца. Очерченное тонкими, но не сухими линиями, оно несло на себе следы ужасных физических страданий, порожденных муками нравственными. Душа и тело Вероники находились в непрерывном борении. Она была настолько измождена, что походила на себя не более, чем дряхлая старуха на свой девический портрет. В пылающих глазах отражалась деспотическая власть, которую дала ей христианская воля над телом, превратившимся в то, чего потребовала религия. Душа этой женщины влекла за собой тело, как Ахилл, воспетый языческой поэзией, тащил за собой труп Гектора; душа с победным кличем влачила тело по каменистым дорогам жизни; в течение пятнадцати лет она кружила с ним вокруг небесного Иерусалима, в который хотела войти не с помощью обмана, а торжествуя свою победу. Ни один из отшельников, живших в сухих, бесплодных африканских пустынях, не подавлял свои чувства более сурово, чем Вероника, живя в роскошном замке, в благодатном краю, среди живописной ласковой природы, под защитой огромного леса, из которого по слову науки— наследницы Моисеева жезла— забил источник изобилия, процветания и счастья для всей округи. Она созерцала плоды двенадцатилетних терпеливых трудов, достойных стать гордостью любого

выдающегося человека, с той кроткой скромностью, которую кисть Понтормо придала неземному лику христианской Чистоты, ласкающей небесного единорога. Набожная владетельница замка шла, скрестив руки на груди и вперив глаза в далекий горизонт, а сопровождавшие ее спутники не смели нарушить молчание, глядя, как озирает она бескрайние, некогда бесплодные равнины, ныне полные жизни.

Но вот Вероника остановилась в двух шагах от матери, которая смотрела на нее так, как, наверно, смотрела богоматерь на распинаемого Христа, и, подняв руку, указала на развилку шоссе, от которой отделялась монтеньякская дорога.

— Видите коляску, запряженную почтовыми лошадьми? — улыбаясь, спросила она.— Это возвращается господин Рубо. Скоро мы узнаем, сколько часов осталось мне жить.

— Часов! — воскликнул Жерар.

— Разве я не сказала вам, что это моя последняя прогулка? — ответила она Жерару.— Разве не затем я вышла, чтобы последний раз полюбоваться этим прекрасным зрелищем во всем его блеске? — Она показала на деревню, все население которой высыпало в этот час на церковную площадь, и на зеленые луга, озаренные последними лучами солнца.— Ах,— продолжала она,— не мешайте мне видеть благословение божье в этих странных явлениях природы, которые позволили нам собрать урожай! Вокруг нас грозы, ливни, гром и град разят все, не зная ни отдыха, ни жалости. Так думает народ, почему же не думать мне так вместе с ним? Я хочу видеть тут доброе предзнаменование того, что ждет меня, когда я закрою глаза!

Франсис встал и, взяв руку матери, провел ею по своим волосам. Вероника, тронутая этой красноречивой лаской, схватила сына в объятия, со сверхъестественной силой подняла его, усадила, словно грудного младенца, к себе на левую руку и, поцеловав, сказала:

— Видишь эту землю, сын мой?Когда ты станешь мужчиной, продолжай дело своей матери.

— Не много есть сильных, избранных людей, которым дано смотреть смерти в лицо, вступать с ней в долгий поединок и проявлять при этом мужество и искусство, до-

стойные восхищения! Вы показали нам это ужасное зрелище, сударыня,— строго произнес священник.—Но вы, должно быть, не чувствуете к нам жалости. Позвольте нам по крайней мере надеяться, что вы ошибаетесь. Бог даст, вы завершите начатые вами труды.

— Все я делала с вашей помощью, друзья мои,— ответила она.— Я могла быть вам полезна, но больше уже не могу. Все зазеленело вокруг нас, и теперь печально здесь лишь одно мое сердце. Вы знаете, дорогой мой кюре, что мир и прощение я могу найти только там...

И она показала на кладбище. Никогда она так не говорила со дня своего приезда, когда ей стало дурно на этом же месте. Кюре взглянул на свою духовную дочь и, за многие годы научившись проникать в ее душу, понял, что в этих простых словах таилась новая его победа. Вероника должна была сделать над собой ужасное усилие, чтобы нарушить двенадцатилетнее молчание такой многозначительной фразой. И кюре, благоговейно сложив руки, с глубоким религиозным волнением посмотрел на эту семью, все тайны которой хранились в его сердце. Жерар, которому слова о мире и прощении показались странными, замер в изумлении. Ошеломленный г-н Рюфен не сводил глаз с Вероники. Тем временем несущаяся во весь опор коляска приближалась по обсаженной деревьями дороге.

— Их пятеро! — воскликнул кюре, успевший сосчитать седоков.

— Пятеро! — отозвался Жерар.— Как будто пятеро знают больше, чем двое?

— Ах! — вскрикнула г-жа Граслен, схватив кюре за руку.— С ними главный прокурор! Зачем он приехал сюда?

— И дедушка Гростет! — закричал маленький Граслен.

— Сударыня,— сказал кюре, поддержав г-жу Граслен и отведя ее в сторону,— найдите в себе мужество, будьте достойны самой себя!

— Чего он хочет? — повторяла она, опираясь на балюстраду.— Матушка!

Старуха Совиа бросилась к дочери с живостью, несвойственной ее возрасту.

— Я снова увижу его,— сказала Вероника.

— Раз он приехал с господином Гростетом,— сказал кюре,— то, несомненно, у него добрые намерения.

— Ах, сударь! Моя дочь умрет! — воскликнула матушка Совиа, увидев, какое впечатление произвели на дочь эти слова.— Может ли человеческое сердце вынести такие жестокие волнения? Господин Гростет все время не давал ему увидеться с Вероникой.

Лицо г-жи Граслен пылало.

— Итак, вы его ненавидите? — спросил аббат Бонне у своей духовной дочери.

— Она уехала из Лиможа, чтобы не посвящать в свою тайну весь город,— сказала матушка Совиа, в испуге глядя, как быстро менялось и без того искаженное лицо г-жи Граслен.

— Разве вы не видите, что он отравляет последние оставшиеся мне часы? Я должна думать только о небе, а он словно гвоздями прибивает меня к земле! — крикнула Вероника.

Кюре взял г-жу Граслен под руку и повел ее за собой; когда они остались вдвоем, он устремил на нее свой кроткий взгляд, которым успокаивал самые сильные душевные бури.

— Если это так,— сказал он,— приказываю вам как ваш духовник принять его, быть с ним ласковой и приветливой, сбросить с себя бремя гнева и простить его, как бог простит вас. Значит, живут еще остатки страсти в душе, которая, казалось мне, очистилась от скверны. Сожгите это последнее зерно ладана на алтаре покаяния, не то все в вас останется ложью.

— Мне суждено было сделать еще и это усилие, теперь оно сделано,— ответила она, утирая слезы.— Дьявол таился в этом уголке моего сердца; я знаю, бог вложил в сердце господина Гранвиля мысль приехать сюда. Доколе будет господь разить меня? — воскликнула она.

Она остановилась, чтобы мысленно произнести молитву, и, вернувшись к матери, тихонько сказала ей:

— Дорогая матушка, будьте ласковы и добры с господином главным прокурором.

Старая оверпка содрогнулась от ужаса.

— Надежды больше нет,— прошептала она, схватив священника за руку.

В это время раздалось щелканье бича, и коляска, преодолев подъем, въехала через открытые ворота во двор; приезжие тут же направились к террасе. То были прославленный архиепископ Дютейль, прибывший в Лимож, чтобы посвятить в сан монсеньера Габриэля де Растиньяка, главный прокурор, Гростет и г-н Рубо, шедший об руку с одним из самых знаменитых парижских врачей, Орасом Бьяншоном.

— Добро пожаловать,—сказала Вероника гостям.— А вам я особенно рада,— добавила она, пожимая руку главному прокурору.

Изумление г-на Гростета, архиепископа и матушки Совиа было так велико, что им изменила обычная сдержанность, присущая старикам. Все трое переглянулись...

— Я рассчитывал на заступничество монсеньера и моего друга господина Гростета,— отвечал г-н де Гранвиль,— чтобы вымолить у вас доброжелательный прием. Я горевал бы до конца своих дней, если бы не увидел вас.

— Благодарю того, кто привел вас сюда,— сказала Вероника, глядя на графа де Гранвиля впервые за последние пятнадцать лет.— Я долго питала к вам недобрые чувства, но теперь поняла, что была несправедлива, и вы узнаете, почему, если останетесь в Монтеньяке до послезавтра. Господин Бьяншон,— продолжала она, здороваясь с Орасом Бьяншоном,— несомненно, подтвердит мои опасения. Сам бог послал вас, монсеньер,— сказала она, склоняясь перед архиепископом.— Во имя старой дружбы вы не откажетесь напутствовать меня в последние минуты. Какой милости я обязана тем, что собрались вокруг меня все, кто любил и поддерживал меня всю жизнь?

При слове *любил* она с прелестной улыбкой посмотрела на г-на де Гранвиля, которого до слез тронуло это проявление дружбы. Глубокое молчание царило при встрече. Оба врача, догадываясь о муках, которые терпела Вероника, мысленно спрашивали себя, каким чудом держится эта женщина на ногах. Остальные три гостя были так испуганы страшной переменой в облике Вероники, что могли выражать свои мысли только взглядами.

— Позвольте мне,— сказала она с обычной своей

милой манерой,— удалиться вместе с двумя этими господами. Дело не терпит отлагательства.

Она улыбнулась гостям и, опираясь на руки обоих врачей, направилась к замку неверной, медленной походкой, которая предвещала близкую катастрофу.

— Господин Бонне,— сказал архиепископ, глядя на кюре,— вы сотворили чудеса.

— Не я, а бог, монсеньер,— возразил кюре.

— Говорили, что она умирает,— сказал г-н Гростет,— но она мертва, остался один дух...

— Душа,— поправил Жерар.

— Она всегда неизменна! — воскликнул главный прокурор.

— Она подобна стоикам античных времен,— заметил воспитатель.

Все молча прошлись вдоль балюстрады, рассматривая окрестный пейзаж, освещенный красными отблесками вечерней зари.

— Для меня, видевшего эти места тринадцать лет назад,— сказал архиепископ, указывая на плодородные равнины, на долину и горы Монтеньяка,— все это кажется таким же чудом, как то, чему мы были сейчас свидетелями: почему вы позволили госпоже Граслен подняться? Ей следовало лежать.

— Она лежала,— ответила матушка Совиа.— Но, проведя в постели десять дней, она захотела встать и последний раз осмотреть поместье.

— Я понимаю, что ей хотелось попрощаться с делом своей жизни,— сказал г-н де Гранвиль,— но она могла умереть здесь, на террасе.

— Господин Рубо советовал нам не спорить с ней,— возразила матушка Совиа.

— Какое чудо! — снова воскликнул архиепископ, который не мог оторвать глаз от равнины.— Она возделала пустыню! Но мы знаем, сударь,— добавил он, обращаясь к Жерару,— как много заложено тут ваших знаний и трудов.

— Мы все были только ее рабочими,— заметил мэр.— Да, мы были только руками, мыслью была она!

Матушка Совиа оставила гостей, чтобы узнать о решении парижского врача.

— Нам понадобится героизм, чтобы присутствовать

при ее смерти,— сказал главный прокурор архиепископу и кюре.

— Да,— откликнулся г-н Гростет,— но для такого друга надо идти на все.

Обуреваемые мрачными мыслями, они молча ходили взад и вперед по террасе; в это время к ним подошли два фермера г-жи Граслен, которых послали снедаемые горьким нетерпением жители деревни, чтобы узнать приговор, вынесенный парижским врачом.

— Они совещаются, мы сами ничего еще не знаем, друзья мои,— ответил архиепископ.

Тут из замка поспешно вышел г-н Рубо, все бросились к нему.

— Ну, как она? — спросил мэр.

— Ей осталось не больше двух суток жизни,— отвечал г-н Рубо.— В мое отсутствие болезнь зашла далеко; господин Бьяншон понять не может, как она держалась на ногах. Такие необычайные явления можно объяснить только состоянием экзальтации. Итак, господа,— обратился врач к архиепископу и кюре,— она принадлежит вам, наука бессильна, и мой знаменитый собрат полагает, что вам едва хватит времени для свершения всех церемоний.

— Пойдемте, вознесем богу свои молитвы,— сказал кюре прихожанам.— Ваше преосвященство, без сомнения, соблаговолит причастить ее святых тайн?

Архиепископ наклонил голову, он не мог произнести ни слова, глаза его были полны слез. Каждый — кто сидя, кто опустив голову на руки, кто опершись на балюстраду — погрузился в свои мысли. Раздался печальный звон церковного колокола. И тут послышались шаги множества людей: все население деревни двинулось к порталу храма. Отблеск зажженных свечей осветил деревья в саду г-на Бонне. Зазвучало торжественное пение. Над полями царило угасающее зарево заката, птичий щебет умолк. Только лягушки тянули свою долгую, звонкую и тоскливую трель.

— Пойду исполнять долг свой,— произнес подавленный горем архиепископ и медленным шагом направился в замок.

Совет врачей происходил в большой зале замка. Огромная зала сообщалась с парадной спальней, отделан-

ной красной камкой,— эту комнату тщеславный Граслен обставил со всей роскошью, принятой у финансистов. За четырнадцать лет Вероника побывала здесь не более шести раз, парадные апартаменты ей были совершенно не нужны, она никогда там не принимала; но выполнение последнего долга и борьба с последней вспышкой возмущения лишили ее сил; она не в состоянии была подняться к себе. Когда знаменитый врач взял больную за руку и нащупал пульс, он только молча посмотрел на г-на Рубо; они вдвоем подняли ее и понесли на стоявшую в спальне кровать. Алина поспешно распахнула дверь. Как на всех парадных кроватях, на этой кровати не было белья. Врачи уложили Веронику поверх красного камчатного покрывала. Рубо открыл окна, поднял занавеси и позвал кого-нибудь на помощь. Прибежали слуги и матушка Совиа. В канделябрах зажгли пожелтевшие свечи.

— Видно, суждено было,— улыбаясь, воскликнула умирающая,— чтобы моя смерть стала тем, чем и должна быть смерть для христианской души,— праздником!

Во время осмотра она добавила:

— Главный прокурор сделал свое дело — я умирала, он поторопил меня...

Старуха мать взглянула на дочь и поднесла палец к губам.

— Я буду говорить, матушка,— ответила ей Вероника.— Подумайте! Перст божий виден во всем: я умираю в красной комнате.

Матушка Совиа вышла, испуганная ее словами.

— Алина,— крикнула старуха,— она заговорила, она заговорила!

— Ах, барыня уже не в здравом уме! — воскликнула верная служанка, которая в это время несла простыни для Вероники.— Бегите за господином кюре, сударыня!

— Вашу хозяйку нужно раздеть,— сказал Бьяншон вошедшей Алине.

— Это будет нелегко, на сударыне надета власяница из конского волоса.

— Как! В девятнадцатом веке еще существуют подобные ужасы? — воскликнул великий врач.

— Госпожа Граслен никогда не позволяла мне даже прощупать желудок,— заметил г-н Рубо,— я мог следить

за ходом болезни лишь по ее лицу, по состоянию пульса, по сведениям, которые получал от матери и горничной.

Веронику перенесли на диван, пока устраивали постель на парадной кровати, стоявшей в глубине комнаты. Врачи переговаривались вполголоса. Матушка Совиа и Алина хлопотали с бельем. На лица обеих оверног страшно было смотреть, сердца их разрывались от страшной мысли: «Мы готовим для нее постель последний раз, здесь она и умрет!»

Осмотр был недолгим. Прежде всего Бьяншон потребовал, чтобы Алина и матушка Совиа, не слушая больную, силой разрезали власяницу и надели на нее рубашку. Во время этой процедуры врачи вышли в залу. Проходя мимо них с завернутым в салфетку страшным орудием покаяния, Алина сказала:

— Тело госпожи Граслен — сплошная язва.

Оба врача вошли в комнату.

— У вас, сударыня, воля более сильная, чем у Наполеона,— сказал Бьяншон после того, как задал Веронике несколько вопросов, на которые она отвечала с полной ясностью мысли,— вы сохраняете все свои умственные способности в последнем периоде болезни, когда император утратил могучую силу своего интеллекта. Судя по тому, что я знаю о вас, я могу говорить вам правду.

— Умоляю вас об этом на коленях,— сказала она.— Вы можете точно измерить, сколько мне еще отпущено жизненных сил, они все понадобятся мне на последние несколько часов.

— Тогда думайте только о своем спасении,— сказал Бьяншон.

— Если бог оказывает мне милость, позволяя мне умереть сразу,— произнесла Вероника с ангельской улыбкой,— поверьте, что милость эта пойдет на благо церкви. Присутствие духа необходимо мне теперь, чтобы выполнить замысел божий, а Наполеон к этому времени завершил уже предначертанный ему путь.

Оба врача в изумлении переглянулись, услышав эти слова, произнесенные так непринужденно, словно г-жа Граслен беседовала с ними в своей гостиной.

— А! Вот и врач, который исцелит меня! — сказала Вероника, увидев входящего архиепископа.

Она собрала все силы, чтобы сесть, опираясь на подушки, любезно попрощалась с г-ном Бьяншоном, попросив его принять от нее не деньги, а подарок за добрую весть, которую он принес ей; она шепнула несколько слов матери, и та увела врача. Беседу с архиепископом Вероника отложила до прихода кюре, а пока выразила желание немного отдохнуть. Алина бодрствовала подле своей хозяйки. В полночь г-жа Граслен проснулась и спросила, где архиепископ и кюре. Служанка указала на них — они молились за Веронику. Она знаком отправила мать и Алину, и по второму ее знаку оба пастыря подошли к кровати.

— Монсеньер и вы, господин кюре, я не скажу вам ничего, что не было бы вам уже известно. Вы, монсеньер, первый заглянули в мою совесть, вы прочли в ней почти все мое прошлое, и этого беглого взгляда оказалось для вас достаточно. Мой духовник, этот ангел, которого послал мне бог, знает больше; ему я должна была признаться во всем. Ум ваш просвещен духом церкви, с вами я хочу посоветоваться, что мне делать, чтобы умереть истинной христианкой. Вы, суровые святые души, верите ли вы, что небо ответит прощением на самое глубокое раскаяние, какому предавалась когда-либо грешная душа? Думаете ли вы, что я исполнила свой долг на земле?

— Да,— ответил архиепископ.— Да, дочь моя.

— Нет, отец мой, нет,— возразила она, выпрямившись и сверкая глазами.— Здесь, рядом, лежит в могиле несчастный, который несет на себе бремя ужасного преступления, а в роскошном замке живет женщина, которая славится своими благодеяниями и добродетелями. Все благословляют эту женщину! Все проклинают несчастного юношу! На преступника пало всеобщее осуждение—я пользуюсь везде почетом. Я больше него виновна в злодеянии, а в тех добрых делах, что принесли мне столько славы и признательности, большая доля принадлежит ему. Мне, обманщице, воздают почести; он, жертва своей скромности, покрыт позором! Через несколько часов я умру, и весь кантон будет оплакивать меня, весь департамент будет славить мои благодеяния, мое благочестие, мои добродетели; а он умер, провожаемый проклятиями, на глазах у толпы, привлеченной на площадь

ненавистью к убийце! Вы, мои судьи, вы милосердны; но я сама слышу властный голос, и он не дает мне покоя. Ах! Рука господа, более жесткая, чем ваша, разила меня изо дня в день, словно предупреждая, что еще не все я искупила. Мои грехи можно искупить только публичным покаянием. Он теперь счастлив! За свое преступление он принял позорную смерть перед богом и людьми. А я все еще обманываю весь мир, как обманула земное правосудие. Каждая дань уважения оскорбляет меня, каждая похвала ранит мое сердце. Разве не видите вы в приезде главного прокурора веление неба, согласное с голосом, который кричит мне: сознайся!

Оба священника, князь церкви и смиренный кюре, эти сильные умы, молчали, опустив глаза. Судьи, слишком взволнованные величием и покорностью грешницы, не решались произнести свой приговор.

— Дитя мое,— сказал архиепископ, поднимая свое прекрасное лицо, изможденное постом и молитвой,— вы идете дальше требований церкви. Слава церкви в том, чтобы сочетать свои догмы с нравами каждой эпохи, ибо церкви суждено идти вместе с человечеством веками веков. По ее решению тайная исповедь заменила исповедь публичную. Эта замена создала новые законы. Достаточно тех страданий, которые вы претерпели. Усните с миром: бог услышал вас.

— Но разве желание преступницы не согласно с законами ранней церкви, которая дала небу столько святых, мучеников и проповедников, сколько есть звезд на тверди небесной? — пылко возразила Вероника.— Кто же воззвал: *покайтесь друг перед другом?* Разве не ближайшие ученики спасителя нашего? Позвольте мне открыто, на коленях, покаяться в моем позоре! Только так исправлю я зло, которое причинила людям, причинила несчастной семье, изгнанной и почти вымершей по моей вине. Люди должны узнать, что мои благодеяния — это не дар, а уплата долга. А вдруг потом, после моей смерти, какой-нибудь случай сорвет скрывающую меня завесу лжи?.. Ах, при этой мысли я чувствую, как приближается мой смертный час!

— В этих словах я вижу расчет, дитя мое,— сурово сказал архиепископ.— В вас сильны еще страсти, особенно та, которая, казалось мне, уже угасла...

— О, клянусь вам, монсеньер,— воскликнула Вероника, прервав прелата и глядя на него остановившимися от ужаса глазами,— сердце мое очищено раскаянием, на какое только способна согрешившая женщина: я вся полна лишь мыслью о боге.

— Предоставим, монсеньер, правосудию небесному идти своим путем,— сказал кюре дрогнувшим голосом.— Вот уже четыре года я противлюсь этому намерению, в нем заключается единственный повод для споров между мною и моей духовной дочерью. Эта душа открыта передо мной до дна, земля больше не имеет на нее прав. Пятнадцать лет рыданий, слез и покаяния искупили общую вину двух грешников; не думайте, что отголоски страсти звучат в ее жестоких угрызениях. Давно уже это горячее раскаяние чуждо пылких воспоминаний. Да, потоки слез погасили жаркий пламень. Я ручаюсь,— продолжал он, положив руку на голову г-жи Граслен и показав прелату ее полные слез глаза,— я ручаюсь за чистоту этой ангельской души. К тому же в ее замысле я вижу желание восстановить честь отсутствующей семьи, которая по воле провидения имеет здесь своего посланца.

Вероника взяла дрожащую руку кюре и поднесла ее к губам.

— Вы часто были ко мне суровы, дорогой пастырь, но теперь я поняла, где кончалась ваша апостольская кротость! Вы,— обратилась она к архиепископу,— вы, верховный владыка этого уголка божьей державы, будьте моей опорой в страшный час позора! Я склонюсь на коленях, как последняя из женщин, а вы поднимете меня, дав мне прощение, и, быть может, я стану равна тем, кто не знал падения.

Архиепископ молчал, мысленно взвешивая все доводы и возражения, которые прозревал своим орлиным оком.

— Монсеньер,— снова заговорил кюре,— религия подверглась жестоким испытаниям. Возвращение к старинным обычаям, вызванное тяжестью вины и покаяния, может превратиться в торжество церкви, за которое все будут нам благодарны.

— Скажут, что мы фанатики. Скажут, что мы потре-

бовали этой ужасной исповеди.— И архиепископ снова погрузился в размышления.

В это время, предварительно постучавшись, вошли Орас Бьяншон и Рубо. Когда дверь отворилась, Вероника увидела свою мать, сына и всех домашних, молившихся за нее на коленях. Священники из двух соседних приходов тоже были здесь, они пришли, чтобы прислуживать г-ну Бонне, а также затем, чтобы приветствовать знаменитого прелата, которому французское духовенство единодушно прочило кардинальский сан, надеясь, что его высокий, истинно галликанский ум способен просветить священную коллегию.

Орас Бьяншон должен был вернуться в Париж, он пришел проститься с умирающей и поблагодарить ее за щедрость. Врач ступал медленными шагами, догадавшись по выражению лиц обоих священников, что речь идет о ране душевной, которая привела к телесному недугу. Уложив Веронику, он взял ее за руку и пощупал пульс. Глубокое безмолвие сельской легней ночи придавало торжественность этой сцене. Большая зала с распахнутыми настежь двухстворчатыми дверьми была ярко освещена; все молились, стоя на коленях, кроме двух священников, сидя читавших свои требники. По одну сторону роскошной парадной кровати стояли прелат в фиолетовой рясе и кюре, по другую — оба врача.

— Она не знает покоя даже в смерти! — сказал Орас Бьяншон, подобно всем богато одаренным людям умевший находить слова, достойные великих событий, свидетелем которых он бывал.

Архиепископ встал, словно движимый внутренним порывом; он позвал г-на Бонне, и, направившись к дверям, они пересекли спальню, затем залу и вышли на террасу, где провели в беседе несколько минут. Увидев, что они возвращаются, закончив обсуждение спорного церковного вопроса, Рубо поспешил к ним навстречу.

— Господин Бьяншон просил передать, чтобы вы торопились. Г-жа Граслен умирает в страшном возбуждении, не имеющем отношения к ее болезни.

Архиепископ ускорил шаг и, подойдя к г-же Граслен, смотревшей на него с тревогой, сказал:

— Ваше желание будет исполнено!

У Бьяншона, не снимавшего руки с пульса больной, вырвался жест удивления, он посмотрел на Рубо и на обоих священников.

— Монсеньер, это тело больше не подчиняется законам науки. Ваши слова вдохнули жизнь туда, где уже царила смерть. Вы заставите меня верить в чудеса.

— В нашей больной уже давно жива только душа!— сказал Рубо, и Вероника поблагодарила его взглядом.

В этот миг счастливая улыбка, появившаяся на губах у Вероники при мысли о полном искуплении, придала ее лицу выражение небесной чистоты, так красившее ее в восемнадцать лет. Страшные морщины, проведенные жизненными тревогами, темные краски, серые пятна, все меты времени, наделившие пугающей красотой это лицо, выражавшее только страдание,— одним словом, все ужасные перемены в облике Вероники исчезли; казалось, до сих пор она носила маску, и маска эта упала. Последний раз повторился чудесный феномен, при котором красота жизни и чувств этой женщины находила верное отражение на ее лице. Все в облике Вероники очистилось и просветлело, словно мечи, сверкавшие в руках слетевших к ней ангелов-хранителей, озарили ее своим отблеском. Такой она была, когда в Лиможе называли ее *прекрасная г-жа Граслен*. Любовь к богу оказалась еще могущественнее, чем преступная любовь; одна пробудила некогда все жизненные силы, другая победила предсмертное бессилие. Раздался приглушенный крик, матушка Совиа бросилась к кровати.

— Наконец я снова вижу мое дитя! — воскликнула она.

Выражение, с каким произнесла старуха слова *мое дитя*, так живо напомнило о невинной поре детства, что все свидетели этой прекрасной смерти опустили головы, стараясь скрыть свое волнение. Знаменитый врач, склонившись, поцеловал руку г-жи Граслен и вышел. Стук колес его экипажа, нарушивший ночную тишину, возвестил, что нет надежды сохранить душу этого края. Когда г-жа Граслен задремала, архиепископ, кюре, врач и все друзья, испытывавшие тяжкую усталость, тоже прилегли отдохнуть. На заре умирающая проснулась и попросила, чтобы открыли окна. Ей хотелось последний раз увидеть восход солнца.

В десять часов утра монсеньер Дютейль, облаченный в епископские ризы, вошел в комнату г-жи Граслен. Прелат и г-н Бонне с таким доверием относились к этой женщине, что не стали давать ей никаких советов относительно границ, которых должна она держаться в своих признаниях. Вероника увидела, что духовных лиц больше, чем было их в приходе Монтеньяка,— здесь присутствовали священники из соседних общин. Четыре сельских кюре собирались прислуживать монсеньеру. Великолепные церковные украшения, которыми одарила г-жа Граслен свой приход, придавали церемонии особую пышность. Восемь мальчиков из хора, в красных с белым одеждах, стояли двумя рядами от кровати до выхода в залу, держа в руках высокие подсвечники золоченой бронзы, выписанные Вероникой из Парижа. По обе стороны возвышения стояли убеленные сединами ризничие с крестами и хоругвями. Преданные Веронике прихожане принесли деревянный алтарь из ризницы, убранный и подготовленный для того, чтобы монсеньер мог служить перед ним мессу. Г-жа Граслен была глубоко взволнована,— подобные заботы церковь уделяет лишь коронованным особам. Двери из залы в столовую были открыты, и Веронике виден был весь первый этаж замка, где собралось почти все население деревни. Друзья позаботились о том, чтобы в зале находились только домочадцы. Впереди, у дверей спальни, столпились ближайшие друзья и люди, на чью скромность можно было положиться. Г-да Гростет, де Гранвиль, Рубо, Жерар, Клузье и Рюфен поместились в первом ряду. Все они стояли, чтобы голос кающейся не был слышен никому, кроме них. К тому же рыдания друзей заглушали признания умирающей. Впереди всех стояли две женщины, на которых страшно было смотреть. Первая была Дениза Ташрон; чужеземная, квакерски простая одежда сделала ее неузнаваемой для земляков, но тут присутствовал человек, которому трудно было забыть ее; появление Денизы оказалось лучом света в страшной тайне. Главный прокурор внезапно постиг истину; роль, в которой он выступал перед г-жой Граслен, открылась ему в полной мере. Судейского чиновника, этого сына девятнадцатого века, меньше других подверженного власти религиозных догм,

охватил ужас, ибо только теперь он понял, какую тайную драму переживала Вероника в особняке Граслена во время процесса Ташрона. Эти трагические дни вновь возникли в его памяти, освещенные горящими глазами старухи Совиа, которые, пылая ненавистью, словно изливали на него два потока расплавленного свинца. Эта женщина, стоявшая в десяти шагах перед ним, не простила ему ничего. И человек, представлявший земное правосудие, содрогнулся. Бледный, раненный в самое сердце, он не смел взглянуть на ложе, где женщина, которую он так любил, сраженная рукою смерти, лежала, собирая все силы, чтобы победить агонию величием своей страшной вины. При одном взгляде на сухой профиль Вероники, четким белым пятном выделявшийся на красной камке, у него кружилась голова. В одиннадцать часов началась месса. Когда кюре из Визе прочел апостола, архиепископ снял стихарь и встал на пороге двери.

— Христиане, собравшиеся здесь, дабы присутствовать при таинстве соборования хозяйки этого дома,— сказал он,— вы, соединившие свои молитвы с молитвами церкви, дабы предстательствовать за нее перед господом и испросить ей вечное спасение, знайте, что в свой смертный час она сочла себя недостойной принять святое причастие, не свершив в назидание ближним публичного покаяния в самом большом своем грехе. Мы противились ее благочестивому намерению, хотя обычай публичного покаяния был принят в первые дни христианства. Но поскольку бедная женщина сказала нам, что речь идет о восстановлении доброго имени одного из сынов этого прихода, мы предоставили ей свободно следовать зову раскаяния.

После этих слов, произнесенных с мягким пастырским достоинством, архиепископ отошел в сторону, уступив место Веронике. Умирающая выступила вперед, опираясь на руки двух величественных, всеми почитаемых людей — кюре и старой матери; не подарило ли ей материнство тело, а матерь духовная, церковь,— душу? Вероника преклонила колени на подушке и, сложив руки, на мгновение задумалась, из какого-то небесного источника в своем сердце черпая силы для того, чтобы заговорить. В эти минуты молчание стало страшным. Никто

не смел взглянуть на соседа. Все глаза были опущены. И все же, когда Вероника подняла глаза, она встретилась с взглядом главного прокурора, и выражение его бледного лица заставило ее покраснеть.

— Я не могла бы почить в мире,— слабым голосом заговорила Вероника,— если бы оставила о себе ложное представление, которое все вы, слушающие меня, могли себе создать. Вы видите перед собой великую грешницу, которая вверяет себя вашим молитвам и пытается заслужить прощение публичным признанием в своей вине. Вина эта столь тяжела, последствия ее так ужасны, что, быть может, никакое покаяние не может ее искупить. Но чем больше унижений перенесу я на земле, тем меньше буду я опасаться гнева божьего в царствии небесном, куда я стремлюсь.

Отец мой, относившийся ко мне с доверием, двадцать лет назад поручил моим заботам юношу из этого прихода, который отличался примерным поведением, способностями к наукам и превосходными душевными качествами. Юноша этот был несчастчый Жан-Франсуа Ташрон. С тех пор он привязался ко мне, как к своей благодетельнице. Каким образом чувство мое к нему стало греховным? Об этом, я думаю, мне позволено умолчать. Быть может, вы сочтете, что самые чистые чувства, руководящие нами в земной юдоли, незаметно уклонились от правильного пути, станете искать оправдания в необычайной самоотверженности, в человеческой слабости, во множестве причин, как будто смягчающих тяжесть моей вины. Но даже если сообщниками моими были чувства самые благородные, я не стану от того менее виновной. Я предпочитаю открыто сказать, что, стоя по своему воспитанию и общественному положению выше этого мальчика, которого доверил мне мой отец и от которого меня должна была отделять свойственная нашему полу стыдливость, я роковым образом послушалась голоса дьявола. Я испытала слишком сильное материнское чувство к этому юноше, чтобы остаться равнодушной к его робкому и безмолвному обожанию. Он первый оценил меня по достоинству. Быть может, меня соблазнил ужасный расчет: я подумала, как скромен будет мальчик, обязанный мне всем и по воле случая стоящий от меня так далеко, хотя по рожде-

нию мы оба равны. Наконец, слава о моей благотворительной деятельности, об исполнении религиозного долга служила завесой, скрывающей мое поведение. Увы! Свою страсть я таила в тени алтарей, и это, без сомнения, один из величайших моих грехов. Самые добродетельные поступки, любовь к матери, мое благочестие, подлинное и искреннее, несмотря на мои заблуждения,— все служило жалкому торжеству безрассудной страсти, и я чувствовала, как опутывают меня неразрывные узы. Моя бедная обожаемая мать, которая слушает меня сейчас, долго, сама того не зная, была невинной сообщницей зла. Когда глаза ее открылись, я совершила уже столько опасных поступков, что она нашла в своем материнском сердце силы молчать. Ее молчание превратилось в высшую добродетель. Любовь к дочери победила любовь к богу. Ах, я торжественно снимаю с ее души эту тяжесть! Она закончит дни свои, не принуждая лгать ни лицо свое, ни свои глаза. Пусть будет чиста от осуждений ее материнская любовь, пусть ее благородная святая старость, увенчанная всеми добродетелями, предстанет во всем своем блеске, освобожденная от цепи, которая невольно влекла ее к бесчестию!..

Тут голос Вероники пресекся от рыдания; Алина подала ей нюхательную соль.

— Даже преданная служанка, которая оказывает мне эту последнюю услугу, относилась ко мне лучше, чем я заслуживала, она делала вид, что не знает того, что ей было хорошо известно. Но она была посвящена в тайну сурового покаяния, умерщвлявшего мою плоть, которая, наконец, сдалась.

Итак, я прошу прощения у людей в том, что обманывала их, подчиняясь ужасной человеческой логике. Жан-Франсуа Ташрон виновен меньше, чем общество могло думать. Ах! Я умоляю всех, кто слушает меня! Подумайте, как был он молод, как опьяняло его и мое раскаяние и невольные соблазны. Больше того! В нем говорила честность, но честность плохо понятая, и она-то привела к величайшему несчастью. Мы оба не могли больше выносить эту непрестанную ложь. Он взывал, несчастный, к моей гордости, он хотел, чтобы эта роковая любовь не была постыдна для меня. Я, только я виновна в его преступлении! Вынужденный необходи-

мостью, бедный юноша, виновный лишь в безграничной преданности своему кумиру, избрал самый непоправимый, самый опасный из всех запретных путей. Я узнала обо всем лишь в день преступления. Но в момент выполнения ужасного замысла рука божья опрокинула все здание ложных расчетов. Я прибежала, услышав крики, которые до сих пор звучат в моих ушах. Я догадалась о кровавой борьбе, но не в моей власти было остановить ее, я сама была причиной ее безумия. Ташрон был тогда безумен, я утверждаю это.

Тут Вероника посмотрела на главного прокурора, а из груди Денизы вырвался глубокий вздох.

— Он лишился разума, когда увидел, как неожиданно рухнуло все, что считал он своим счастьем. Несчастного юношу совратило с пути собственное сердце; роковая неизбежность вела его от проступка к преступлению, от преступления к двойному убийству. Одно мне ясно: он вышел из дома моей матери невинным, а вернулся туда преступником. Только я одна во всем свете знала, что не было здесь ни преднамеренности, ни тех отягчающих обстоятельств, что стоили ему смертного приговора. Сотни раз я хотела признаться во всем, чтобы спасти его, и сотни раз героическим усилием, продиктованным мне свыше, смыкала свои уста. Возможно, именно то, что я была там, в нескольких шагах, и придало ему ужасное, постыдное, позорное мужество убийцы. Один он бежал бы. Я воспитала эту душу, развила этот ум, облагородила это сердце, я знала: он неспособен на низкие чувства. Воздайте справедливость этому невинному орудию, воздайте справедливость тому, кто благодаря милосердию божьему мирно спит в могиле, которую орошали вы слезами, догадываясь, без сомнения, об истине! Карайте и проклинайте виновную, она перед вами! Придя в ужас от совершенного преступления, я все сделала, чтобы скрыть его. Мне, не имевшей своих детей, отец поручил чужое дитя, чтобы я привела его к богу, а я привела его на эшафот! Ах, осыпайте меня упреками, разите меня, час мой пришел!

Когда Вероника произнесла эти слова, глаза ее засверкали неукротимой гордостью. Архиепископ, который стоял позади Вероники, осеняя ее епископским жезлом, вышел из своего бесстрастного спокойствия, он протянул

правую руку и прикрыл глаза кающейся. Раздался глухой стон, словно вырвавшийся в предсмертной муке. Жерар и Рубо подхватили упавшую в глубокий обморок Денизу Ташрон и унесли ее из комнаты. Когда Вероника увидела это, глаза ее погасли, она взволновалась. Но вскоре душевный покой мученицы вернулся к ней.

— Теперь вы знаете,— продолжала она,— я не заслуживаю ни похвал, ни благословений за все, что я здесь сделала. Во имя неба я вела тайную жизнь, исполненную сурового покаяния, и небо будет судить ее! Жизнь моя, известная всем, была отдана исправлению совершенного мною зла; свое раскаяние я запечатлела в делах, которые оставят неизгладимый след на этой земле; быть может, оно будет существовать вечно. Оно живет в золотых полях, в растущей деревне, в ручьях, устремившихся с гор в равнину, некогда дикую и бесплодную, а теперь зеленую и цветущую.

Ни одно дерево не будет срублено здесь в течение столетия без того, чтобы местные жители не вспомнили, чьи угрызения совести взрастили его. Кающаяся душа, вдохнувшая жизнь в этот край, будет еще долго жить среди вас. То, что приписывали вы таланту и достойно примененному богатству, сделано наследницей своего раскаяния, той, что совершила преступление. Долг обществу возвращен, на мне одной лежит ответ за жизнь юноши, оборванную в расцвете сил; мне была она доверена, и с меня спросят отчета!..

Слезы хлынули из глаз Вероники, погасив пылавший в них огонь. Она помолчала.

— И еще есть среди вас человек, который честно выполнил свой долг и тем навлек на себя мою ненависть, как казалось мне, вечную,— продолжала она.— Он был для меня первым орудием моей пытки. Все произошло слишком недавно, ноги мои слишком глубоко погрузились в кровь, чтобы я могла заглушить в себе ненависть к правосудию. Я поняла, что, пока хоть зерно гнева живет в моем сердце, не умрут во мне греховные страсти. Мне не нужно было прощать, я лишь очистила тайное прибежище, где скрывалось зло. Как ни дорого далась мне эта победа, но она одержана.

Вероника увидела залитое слезами лицо главного прокурора. Земное правосудие тоже способно испы-

тывать муки совести. Когда кающаяся подняла голову, чтобы продолжать исповедь, она встретилась с полными слез глазами старца Гростета, который протягивал к ней руки, словно умоляя: довольно! И тут эта неподражаемая женщина услышала такие раздирающие рыдания, что, тронутая столь сильной любовью, успокоенная бальзамом всеобщего прощения, она почувствовала, как охватила ее смертельная слабость; увидев, что силы Вероники иссякли, старая мать бросилась к ней и, словно в дни своей молодости, на руках отнесла ее в постель.

— Христиане,— сказал архиепископ,— вы слышали исповедь кающейся. Она подтвердила приговор правосудия земного и может успокоить его сомнения или тревоги. Вас же слова ее побудят снова присоединить молитвы ваши к молитвам церкви, которая служит мессу, дабы испросить у всевышнего милосердное прощение в ответ на столь великое раскаяние.

Служба возобновилась. Вероника следила за ней с видом такого глубокого внутреннего покоя, что казалась другой женщиной. На лице ее появилось выражение непорочной чистоты, освещавшее его в те дни, когда она невинной девушкой жила в родительском доме. Заря вечной жизни уже окрасила ее лоб белыми и золотистыми бликами. Вероника внимала таинственной музыке и черпала жизненные силы в своем желании последний раз соединиться с богом. Кюре Бонне подошел к кровати и дал Веронике отпущение грехов. Архиепископ помазал ее святым елеем, и на лице его отразились отцовские чувства, показавшие всем молящимся, как дорога была ему эта заблудшая, но вновь обретенная овечка. Совершив помазание, прелат закрыл для всего земного эти глаза, причинившие так много зла, и замкнул печатью церкви слишком красноречивые уста. Уши, слыхавшие столько дурных внушений, стали глухи навек. Чувства, укрощенные покаянием, были теперь освящены, и дух зла потерял власть над этой душой. И все величие и глубина таинства предстали перед людьми, увидевшими, как увенчались заботы церкви исповедью умирающей.

Приготовленная к причастию, Вероника вкусила тела господня с чувством надежды и радости, растопившим льды неверия, на которые так часто наталкивался кюре.

Потрясенный Рубо стал в этот миг католиком! Зрелище это было и трогательным и страшным; но оно было настолько торжественно, что искусство живописи, быть может, нашло бы в нем сюжет для одного из своих шедевров.

Когда, после причастия, умирающая услыхала, как читают евангелие от Иоанна, она знаком попросила мать привести к ней сына, которого раньше увел из комнаты воспитатель. Увидев преклонившего колени Франсиса, прощенная мать почувствовала себя вправе благословить свое дитя и, возложив руки на его голову, испустила последний вздох. Старуха Совиа стояла рядом, не уходя с поста, как все последние двадцать лет. Эта по-своему героическая женщина закрыла своей многострадальной дочери глаза и поцеловала их один за другим. Тогда все священники и ризничие окружили кровать. Освещенные трепетным пламенем свечей, они затянули грозную мелодию De profundis, и звуки ее поведали крестьянам, стоящим на коленях перед замком, друзьям, молящимся в комнатах, и всем слугам, что мать кантона скончалась. Рыдания и стоны сопровождали заупокойное пение.

Исповедь владетельницы замка не вышла за порог спальни, ее слышали только друзья. Когда крестьяне соседних сел вместе с жителями Монтеньяка пришли один за другим, чтобы, бросив зеленую ветвь, сказать со слезами и молитвой последнее прости своей благодетельнице, они увидели какого-то подавленного горем судейского; он стоял на коленях, держа в своих руках холодную руку женщины, которую, сам того не желая, ранил так жестоко, но так заслуженно.

Два дня спустя главный прокурор, Гростет, архиепископ и мэр, держа за концы черное покрывало, провожали тело г-жи Граслен к месту последнего упокоения. Ее опустили в могилу при полном молчании. Не было произнесено ни слова, ни у кого не хватало сил заговорить, глаза у всех были полны слез. «Это святая!» — шептали люди, уходя по дорогам кантона, который она возродила, и слово это как бы вдохнуло душу в созданные ею поля. Никому не показалось странным, что г-жу Граслен похоронили рядом с Жаном-Франсуа Ташроном. Она не просила об этом; это старая мать, движимая любовью

и состраданием, посоветовала ризничему положить рядом тех, кого земля разлучила так жестоко, но общее раскаяние соединило в чистилище.

Завещание г-жи Граслен было таким, как все ожидали. В Лиможе она учредила стипендии в коллеже и основала койки в богадельне, предназначенные только для рабочих; она ассигновала значительную сумму — по триста тысяч франков каждые шесть лет — на приобретение части деревни, называемой Ташроны, где завещала выстроить приют для бедных стариков кантона, для больных, для родильниц, не имеющих крова, для подкидышей; приют должен был носить имя Ташронов. Вероника пожелала, чтобы уход за больными был поручен сестрам-монахиням. и выделила четыре тысячи франков на жалованье хирургу и врачу. Г-жа Граслен просила Рубо быть главным врачом приюта, подыскать себе в помощь хирурга и наблюдать с санитарной точки зрения за постройкой здания вместе с Жераром, который назначался архитектором. Кроме того, она завещала в дар монтеньякской общине обширные луга, доходы с которых должны были идти на уплату податей. Церкви был оставлен фонд помощи для особых случаев: на эти деньги следовало оказывать поддержку молодым людям и детям Монтеньяка, проявившим склонности к искусству, наукам или какому-нибудь ремеслу. В своем стремлении к разумной благотворительности завещательница указала суммы, ассигнуемые на поощрение талантов. Весть о смерти Вероники, встреченная повсюду как общественное бедствие, не вызвала никаких пересудов, оскорбительных для памяти этой женщины. Такая сдержанность была как бы воздаянием почести ее высоким добродетелям со стороны благочестивых тружеников, возродивших в этом уголке Франции чудеса, описанные в «Нравоучительных письмах».

Жерар, назначенный по завещанию опекуном Франсиса Граслена, поселился в замке; через три года после смерти Вероники он женился на Денизе Ташрон, в которой Франсис обрел вторую мать.

Париж, январь 1837 — март 1845.

ПРИМЕЧАНИЯ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

ЭТЮДЫ О НРАВАХ

Сцены сельской жизни

СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ

Роман «Сельский врач» был впервые опубликован в сентябре 1833 года. Он вышел в двух книгах, делился на 36 небольших глав. До выхода этого издания Бальзак опубликовал в журнале «Литературная Европа» («L'Europe litéraire») эпизод из романа под названием «История императора, рассказанная старым солдатом на сеновале» (июнь 1833 года).

Окончательную редакцию роман получил в четвертом его издании 1839 года.

В 1846 году «Сельский врач» вошел в XIII том первого издания «Человеческой комедии» («Сцены сельской жизни»).

В романе нашла себе место положительная социально-политическая программа, которая, по убеждению Бальзака, должна была оздоровить буржуазную Францию. Выразителем социально-политических идеалов Бальзака в этом романе является сельский врач Бенаси, стремящийся использовать борьбу частных интересов на благо обществу, ограничив хищничество богачей при помощи церкви и религиозного воспитания. Утопичность программы Бенаси заключается в том, что она предполагает возможным существование капиталистического общества без непримиримых противоречий, без обнищания масс и жестокой классовой борьбы.

Стремясь доказать благотворность усилий Бенаси-реформатора и воспитательной деятельности Жанвье, Бальзак отказывается от обычного для него метода анализа общественных отношений: он показывает богачей и бедняков изолированно, вне противоречий и социальной борьбы друг с другом. И все же суровая правда капиталистической действительности прорывается на страницы романа. Сытой, обеспеченной жизни богатых крестьян противостоит судьба батраков Моро, вынужденных до глубокой старости работать на чужой земле, и беспросветная нищета крестьянской семьи, с которой знакомится Женеста при въезде в деревню.

Политическое кредо Бальзака, изложенное в романе, является весьма противоречивым. Охранительному, религиозно-монархическому тезису противостоит в произведении антитезис, доказываю-

щий неизлечимость болезни, разъедающей буржуазно-капиталистическое общество. Бальзак как бы спорит с самим собой, пытаясь убедить себя в осуществимости своей утопии.

В «Сельском враче» писатель устами Бенаси определяет буржуазное государство как союз имущих против неимущих. Но тот же Бенаси верит в возможность существования надклассового государства-монархии, стоящего над народом и буржуазией и способного не только ослабить, но даже уничтожить классовую борьбу.

Стр. 10. *Мадмуазель Рокур,* Франсуаза — французская трагическая актриса.

Стр. 11. *Пиго-Лебрен* — псевдоним Гийома Пиго де л'Эпинуа (1753—1835) — французский писатель, автор эротических романов, запрещенных в период Империи.

Стр. 49. *Синиль,* или вайда — растение, из которого изготовляется синяя краска.

Стр. 68. *Мне случалось видеть моравских братьев, лоллардов...* — *Моравские* или *чешские братья* — религиозная секта, возникшая в Чехии в XV веке; проповедовала нравственное самоусовершенствование путем простой трудовой жизни.— *Лолларды* — «бедные братья», средневековая религиозная секта в Англии, выражавшая требования плебейских масс. Лолларды выступали против духовенства и феодалов, за социальное равенство.

Стр. 74. *Босская долина* — сельскохозяйственный район к югу от Парижа, известный своим плодородием.

Стр. 78. *Двадцать девятый бюллетень* — обращение Наполеона к армии, в котором говорилось о трудностях отступления из России; издан Наполеоном в Молодечно в 1812 году.

Стр. 129. *...общественный договор неизменно будет союзом имущих против неимущих.*— Жан-Жак Руссо в своей работе «Об общественном договоре» утверждал, что государство возникло в результате договора между собой свободных, независимых индивидов. Бальзак употребляет здесь выражение «общественный договор» как синоним понятия «государство».

Стр. 146. *Он запер их в той самой казарме, где они болтовней занимались...* — Подразумевается государственный переворот 18 брюмера (9 ноября 1799 года). Сторонники Наполеона оцепили здание, где заседал Совет пятисот, и разогнали его. Правительство Директории было свергнуто.

Стр. 149. *Один-то остался в живых...*— Имеется в виду Бернадот Жан-Батист (1763—1844) — маршал Франции; с 1818 года — король Швеции под именем Карла XIV; принимал участие в коалиции против Наполеона.

Стр. 161. *...под гнетом полумонастырской дисциплины ораторианцев...*— *Ораторианцы* — монашеский орден, руководил во Франции многочисленными коллежами, в которых обучалась молодежь.

Стр. 178. *Во времена французской революции, после конкордата...*— Речь идет о договоре 1801 года между Наполеоном и папой римским, согласно которому папа признавался главой фран-

цузской церкви и только епископы назначались главой государства.

Стр. 213. *Он отправился в Рошфор...*— В 1815 году, после поражения под Ватерлоо и отречения, Наполеон отправился в Рошфор и там отдал себя в руки англичан на борту английского военного корабля «Беллерофонт».

СЕЛЬСКИЙ СВЯЩЕННИК

Роман «Сельский священник» печатался в газете «Ла пресс» с небольшими перерывами с января по август 1839 года; в этом газетном варианте произведение состояло из трех частей: Сельский священник, Вероника, Вероника в могиле.

В 1841 году, после значительной авторской переработки, роман вышел отдельным изданием; в 1845 году он был включен в «Сцены сельской жизни» первого издания «Человеческой комедии».

Роман «Сельский священник» Бальзак рассматривал как своеобразную параллель к «Сельскому врачу». В «Сельском священнике» он также большое место отводит изложению своих социально-политических взглядов. В авторском предисловии к изданию 1841 года Бальзак отмечал, что «это произведение, в котором серьезные вопросы морали, политики, философии, религии преобладают над собственно романическим материалом».

Священник Бонне, аскет, мечтатель и филантроп, по своим взглядам и стремлениям близок врачу Бенаси. Бонне мечтает при помощи религии добиться нравственного перерождения своих прихожан, возрождения бедной, отсталой округи.

Путь к достижению экономического благоденствия страны Бальзак ошибочно видит в сохранении и разумном, инициативном развитии крупного дворянского землевладения.

Капиталистический прогресс должен, с точки зрения Бальзака, регулироваться и направляться дворянством и церковью. История округи Монтаньяк должна служить доказательством справедливости подобных взглядов. Однако в романе «Сельский священник» нет уже той уверенности в возможность осуществления подобных реформаторских планов, которая была присуща роману «Сельский врач». Да и само описание социальной идиллии здесь дано более бегло, отодвинуто на второй план. Бальзак сам как бы объективно признает несостоятельность своих социальных иллюзий; устами одного из персонажей романа он замечает, что Монтаньяк — недолговечное исключение, так как община неминуемо в ближайшем будущем распадется под напором эгоистических интересов, стремления к обогащению.

Утопические мечты Бальзака о реформаторской роли католицизма, о добрых, разумных землевладельцах и самоотверженных мудрых священниках, способствующих процветанию жизни общества, сочетаются в романе с верным пониманием противоречий и особенностей буржуазного экономического развития. О глубоком проникновении писателя в сущность экономических процессов Маркс писал Энгельсу: «В «Curé de village» Бальзака написано

следующее: «Si le produit industriel n'était pas *le double en valeur* de son *prix de revient en argent*, le commerce n'existerait pas». Qu'en dis tu?» [1].

Буржуазное общество для Бальзака — арена столкновения корыстных интересов, эгоистических стремлений. В письме Жерара звучит тема, одна из основных в творчестве Бальзака — неизбежная гибель таланта в мире наживы и алчности. Судьба Жерара — исключение, правило же — либо жалкое прозябание, либо низкий путь карьериста.

В романе «Сельский священник» большое место занимают вопросы религии. Бальзак сообщал Ганской 17 сентября 1838 года: «Я написал начало «Сельского священника», религиозное дополнение к философской книге, которую Вы уже знаете,— к «Сельскому врачу». Бальзака интересует не только процесс и результаты реформаторской деятельности, но и личность реформатора — Вероники Граслен, с образом которой связана тема католического раскаяния.

Могучий почерк Бальзака-реалиста проявился не в обрисовке этого образа, а главным образом в первой части романа, когда писатель в свойственной ему реалистической обстоятельной манере раскрывает процесс обогащения и возвышения буржуа — торговца железом Совиа и ростовщика Граслена. Граслен, Совиа — образы, примыкающие к лучшим реалистическим созданиям писателя.

Стр. 227. *...продававшийся с национальных торгов замок.*— Земельные владения монастырей, а также поместья дворян-эмигрантов были объявлены во время революции 1789—1794 годов национальным имуществом и продавались с торгов.

«Черная шайка» — так назывались в период Реставрации скупщики родовых аристократических замков, предназначенных на снос.

Стр. 232. *...посещение мессы, которую служил не присягнувший священник.*— Во время революции священники должны были принести присягу на верность республиканскому правительству, иначе они лишались права служить в церкви.

Стр. 238. *Физиогномика* — лженаука, согласно которой можно якобы определить характер человека по чертам его лица и форме черепа. Основатель физиогномики — Иоганн-Каспар Лафатер (1741—1801), швейцарский ученый, философ и богослов.

Стр. 261. *Кассандра* — в греческой мифологии дочь троянского царя, прорицательница, предсказывавшая лишь мрачные, трагические события.

Ламенне, Фелисите-Робер (1782—1854) — французский богослов, представитель так называемого «христианского социализма». Идеи Ламенне преследовались официальной церковью.

Стр. 276. *Сеид*, то есть приверженец, слепо преданный чело-

---

[1] «Если бы продукты промышленности не имели стоимости вдвое большей, чем стоимость их изготовления, то торговля не существовала бы». Что ты скажешь на это?». (К. Маркс — Ф. Энгельс. Собр. соч., т. XXIV, стр. 146. Письмо от 14 декабря 1868 года.)

век, от имени Сеида, раба Магомета. Образ Сеида был создан Вольтером в трагедии «Магомет».

Стр. 278. *Процесс Фюальдеса.*— Фюальдес, крупный судейский чиновник времен Империи и Реставрации, был убит в 1817 году в притоне своими друзьями-преступниками, боявшимися доноса с его стороны.

Стр. 283. *Дженни Динс* — героиня романа Вальтера Скотта «Эдинбургская темница» (1818).

Стр. 284. *«Последний день осужденного»* — повесть В. Гюго, опубликованная в 1829 году, в которой он выступил против смертной казни.

Медея — героиня одноименных трагедий древнегреческого поэта Еврипида (V век до н. э.) и французского драматурга XVII века Корнеля.

Стр. 287. *«Поповская партия»* — прозвище, данное либералами ультрароялистам, связанным с конгрегациями (объединениями монашеских орденов). Идеологами ультрароялистов выступали Жозеф де Местр и Бональд.

Джеффри, Джордж (1640—1689) — английский канцлер при Карле II и Якове II.

Лобардемон, Жан-Мартин — один из ближайших помощников кардинала Ришелье в борьбе с своеволием феодалов, был членом королевского суда.

Стр. 308. *...знаменитые епископы Марселя и Мо ...архиепископы Арля и Камбрэ.*— *Епископ Мо* — Жак Бенинь Боссюэ (1627—1704) был известен своими проповедями. *Архиепископ Камбрэ* — Фенелон Франсуа де Салиньяк де Ламот (1651—1715), писатель-моралист, автор книги «Приключения Телемака, сына Улисса», содержащей критику абсолютизма. *Епископ Марселя* — Бельзене — принимал активное участие в борьбе с чумой в 1720—1721 годах. *Архиепископ Арля* — Дюло — казнен по приговору революционного трибуиала в 1792 году.

Стр. 318. *...уже в 1829 году... провидел судьбы монархии* — то есть понимал неизбежность ее краха. В результате Июльской буржуазной революции 1830 года рухнула монархия Бурбонов.

Стр. 334. *...борьба, разжигаемая принцем Полиньяком между либералами и Бурбонами...*— Князь Арман Полиньяк возглавил в ноябре 1829 года кабинет министров, проводил крайне реакционную политику, был одним из вдохновителей ультрароялистов. Политика Полиньяка привела к резкому обострению внутреннего положения во Франции.

Стр. 337. *В августе 1830 года...*— то есть после Июльской буржуазной революцин 1830 года.

Стр. 351. *Вы похожи на язычника Ореста, станьте же святым Павлом!* — *Орест* — герой греческой мифологии, после убийства матери преследуемый богинями мщения Эриниями, сошел с ума. *Павел* — согласно библейской легенде, язычник Савл, презиравший христиан, будто бы услышал голос бога; потрясенный этим, раскаявшись, он принял христианство и стал известным под именем апостола Павла.

Стр. 358. *...Маленький капрал* — так называли Наполеона в целях конспирации его сторонники.

Стр. 386. *Ла Кентини*, Жан (1626—1688) — французский садовод, был назначен главным садовником садов и оранжерей Людовика XIV.

Стр. 391. *...бедствия, постигшего в самом сердце Парижа первый висячий мост...* — Речь идет о неудачной постройке висячего моста через Сену в 1826 году. Мост рухнул.

Монж, Гаспар (1746—1818) — французский математик, один из основателей Политехнической школы.— *Вобан*, Себастьен (1633—1707) — французский военный инженер, создатель системы военных укреплений.— *Рике*, Пьер-Поль (1604—1680) — французский инженер, строитель Большого южного канала во Франции.

Стр. 396. *Кашен*, Жозеф-Мари (1757—1825) — французский инженер, по его проекту был построен мол в Шербурге.

Стр. 397. *Стефенсон*, Джордж (1781—1848) — английский изобретатель, построил первую железную дорогу в Англии.— *Мак-Адам* — шотландский инженер, первый начал строить дороги с грунтовым покрытием и стал укреплять их укатанным камнем.

Стр. 403. *Пифагор* (ок. 580—ок. 500 до н. э.)—математик, создатель религиозно-мистического учения о переселении душ.

Стр. 405. *Лопиталь*, Мишель (ок. 1505—1573) — французский политический деятель, канцлер Франции, стремился примирить католиков с гугенотами.

Стр. 406. *Три знаменательных дня* — то есть дни Июльской буржуазной революции 1830 года — 27, 28, 29 июля.

Лютер, *Кальвин*, *Цвингли* — реформаторы католической церкви, выступавшие в Германии, Франции и Швейцарии в XVI веке.

Нокс, Джон (1505—1572) — последователь учения Кальвина, пропагандировал идеи Реформации в Шотландии.

Стр. 407. *Закон о праве старшинства.*— Согласно Гражданскому кодексу, введенному Наполеоном в 1804 году, было уничтожено право старшинства, или право первородства, то есть преимущественное право старшего сына нераздельно наследовать состояние отца. Равное право наследования получали все дети. Это вело к раздроблению владений старой аристократии.

Стр. 408. *Ордонансы.*—26 июля 1830 года правительство Карла X, борясь с нарастающим революционным движением во Франции, опубликовало ордонансы, чрезвычайные королевские указы, коими объявлялась распущенной палата депутатов, вводились новые ограничения в избирательную систему, устанавливалась более строгая цензура. Ордонансы вызывали возмущение в народных массах и послужили толчком к началу событий Июльской революции 1830 года.

Стр. 415. *Навигационный акт* Кромвеля был принят в 1651 году Долгим парламентом по инициативе Кромвеля. Актом устанавливалась монополия британского торгового флота в торговле с колониями, в торговле со странами Африки, Америки и Азии.

Стр. 465. *«Нравоучительные письма»* — ежегодные отчеты французских католических миссионеров.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

ЭТЮДЫ О НРАВАХ

Сцены сельской жизни

Сельский врач. *Перевод А. А. Худадовой* 5
Сельский священник. *Перевод Р. И. Линцер* 225
Примечания 466

БАЛЬЗАК.

Собрание сочинений
в 24 томах. Том XVII.

Редактор тома
М. Н. Черневич.

Иллюстрации художника
А. З. Иткина.

Оформление художника
А. А. Васина.

Технический редактор
А. Ефимова.

Подп. к печ. 1/IX 1960 г. Тираж 349 000 экз. Изд. № 1414. Зак. 1867.
Вум. л. 7,37 Печ. л. 24,19+2 вкл. (0,2 п. л.). Уч.-изд. л. 26,04.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина.
Москва, улица «Правды», 24.